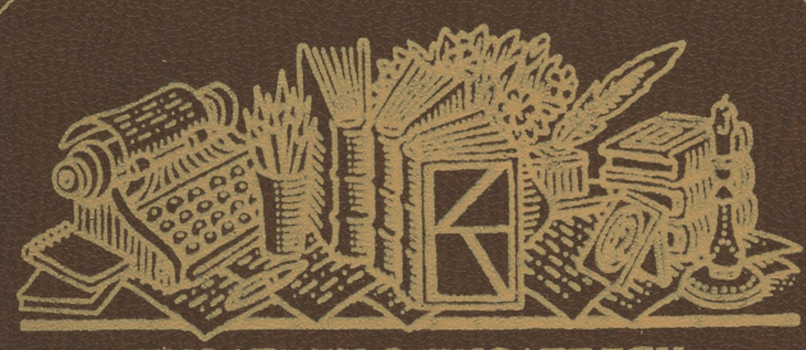
С. ТХОРЖЕВСКИЙ
ПОРТРЕТЫ ПЕРОМ



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

С. ТХОРЖЕВСКИЙ

ПОРТРЕТЫ ПЕРОМ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

С. ТХОРЖЕВСКИЙ

ПОРТРЕТЫ ПЕРОМ

ПОВЕСТИ О В. ТЕПЛЯКОВЕ,
А. БАЛАСОГЛО,
Я. ПОЛОНСКОМ

МОСКВА «КНИГА» 1986

ББК 84Р7-4
Т 92

Вступительная статья *Д. А. Гранина*

Разработка серийного оформления
Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера, Н. А. Ящука

Художник *А. Л. Костин*

Т $\frac{4702010200-040}{002(01)-86}$ 80—86

РИСУНОК ЖИЗНИ ХАРАКТЕРНЫЙ...

Три повести С. С. Тхоржевского писались в разное время, самостоятельно, но вместе они составляют как бы специально задуманный цикл повестей. Задуманный и выполненный очень своеобразно, однако, думаю, что получилось это само собой и, как все, что получается само собой, куда интереснее и глубже замысленного.

Повести эти о трех русских писателях, каждый из них писатель небольшой, не первого ранга, каждый прожил в общем-то обыкновенную жизнь и вот про него пишут книгу. Почему? Чего ради? Что же увидел в этой жизни автор? И что вообще делает жизнь ценной и важной? Неужели только талант, обязательно большой талант, или причастность к гению достойны внимания писателя?

Подобного рода вопросы заставляют вчитаться внимательнее в этот своеобычный цикл и говорить о нем подробнее.

Предметом исследования автора явилась русская литературная среда середины XIX века. Не стало Пушкина, не стало Лермонтова, но литературная жизнь продолжается. Возникают и исчезают альманахи, журналы, газеты, появляются новые имена, иные гаснут тут же, иные разгораются. Медленно, но не без их участия движется российская словесность к новым вершинам. Читая о том, как автор работал в архивах, разбирал этот гербарий жизни, естественно задумываешься над тем, что же остается от времени, от страстей и стараний человеческих. Бумаги? Чаще всего и полнее всего отображен был пишущий человек в бумагах III отделения. И логично, что автор воссоздает человека по этим свидетельствам, учитывая их пристрастность.

Повесть «Странник» посвящена малоизвестному поэту пушкинской поры Виктору Теплякову. Ни в большой, ни в малой «библиотеке поэта» нет его отдельного сборника. Не вошел. Не достиг, подобно многим другим поэтам того времени. Да почему только того, точнее будет сказать: подобно поэтам всех времен. А между тем жизнь его имела рисунок характерный... В юности пострадал не то за масонство, не то за связь с декабристами. Был прощен царем. Путешествовал. Служил по дипломатической части... Писал грустные стихи, подражая Пушкину. Был отмечен им, а также Жуковским, с которым дружил. Умер в Париже 37 лет. В «Литературной энциклопедии» о нем всего несколько строк. В поэтическом обиходе он остался как автор грустных стихов...

Взрослая жизнь начиналась в ту пору рано. Теплякову, когда он отказался присягнуть царю, был 21 год. Его помиловали, но сослали в Херсон. Не в Сибирь, а как бы не очень-то всерьез отнеслись и выкинули из привычной жизни, не дав славы героя и страдальца. Поступок свой он совершил в одиночку и наказан был за него одиночеством. Очень точно автор назвал эту повесть «Странник». В его судьбе чьи-то имена, города напоминают о Пушкине: Одесса, опала, Воронцов, благосклонность его жены, друзья и брат в Петербурге... Но обстоятельства еще не создают поэта. Повесть в какой-то мере выявляет закономерность и связи характера, одаренности и обстоятельств. В сопоставлении с Пушкиным проступает загадочность и непостижимость гения. События, переживания, неудачи, восторги, проходя через поэта, как через линзу, прожигают нас и через десятки, сотни лет. В другом же случае столь же богатая переменами жизнь бедна чувствами, и «магический кристалл» не усиливает их, а притушает, слабые отблески еле доходят до нас.

Нигде не изменяя законам жанра, не давая воли воображению, автор ведет нас за своими героями, и постепенно мы проникаемся доверием к его, автора, объективности. Тепляков, этакий Мельмот-скиталец, как называют его друзья, так стремившийся к великим делам, пусто и холодно завершает свою молодость, да и жизнь. Скептик с тонкой душой, он неожиданно подтверждает жизненность, казалось бы, чисто литературных героев того времени — Онегина и Печорина. Как и они, он способен на многое и ничего не совершает, как и они, видит и презирает ничтожность окружающего и терпит, его разочарование ни к чему не приводит.

Почему Тепляков в 25 лет перестал писать стихи? Мы так и не узнаем. Не все времена годны для поэзии. Тхоржевский как бы сохраняет ту тайну, которой является человек при жизни и остается после смерти. Может быть, Тепляков в другие времена достиг бы большего, расцвел бы. Это, возможно, одна из судеб, через которую доходит облик и воздух эпохи.

Он жаждал дела осмысленного, благородного, а окружали его жалкие люди и глупые дела. Путешествуя безрадостно и бесцельно, нигде не находил он удовлетворения. Желание его в конце концов исполнялось, но все нагоняло тоску. Что-то сжигало этого человека. Поступок, совершенный в юности, требовал достойного продолжения, а продолжения не было... Время от времени в рассказе Тхоржевского слышится сомнение — а оправдана ли такая жизнь, нужен ли максимализм, в чем его смысл?.. Мог же он записать встречу с Пушкиным, вечера у Вяземского, вести записки о Востоке. Но ему хотелось великих свершений. А может его и не было, этого великого дела, а были трудные, невыигрышные обязанности на благо этих вот жалких людей в душной стране. И в этом был подвиг не совершенный. Один за другим вопросы возникают перед внимательной читательской душой.

Загадочная его, так и не распустившаяся, жизнь закончилась, оставив недоуменное раздумье, которое и составляет драгоценный осадок этой повести.

Имя Баласогло еще менее известно, чем Теплякова. Оно связано даже для специалистов лишь с делом Петрашевского.

Жизнь его начиналась ярко, с некоторой долей авантюризма. Еще подростком он отличался храбростью — при военных действиях под Варной. Целеустремленность, редкие способности — все предрекало Баласогло блестящую будущность. Только ли косность и тупость чиновников помешали ему? Отчетливо видно, сколько надо преодолеть для любого результата, как сильны были те, кто хоть чего-то добились. Истории Баласогло и Теплякова показывают высоту барьера, который надо взять, чтобы двигаться вперед. Они неординарны, они одарены, но это никому не нужно, они трудолюбивы, но этого мало, они настойчивы, но все это увядает среди всеобщего бездействия и продажности.

Повесть о Баласогло отличается недоговоренностью, но Тхоржевский не позволяет себе ничего досочинять. Немногие известные факты выстраиваются в связную биографию. Энтузиазм, восторженность лишь освещают начало пути Баласогло. Неудача по службе, расстройство планов и проектов — несчастья преследуют его. Молодость, возбужденная угаром идей и планов, помешала создать крепкие дружеские и семейные связи. Жена, дети, должности, литература — все это приносило унижения и огорчения, все ускользало. Занятия науками не поощрялись, люди просвещенные, ищущие, прямолинейные — пугали. Такое впечатление, что роль судьбы в его жизни сыграла жена. Ее таинственная связь с Дубельтом возбуждает воображение. И то, что Тхоржевский удерживается от соблазна романтической истории между шефом жандармов и женой сосланного им человека, избавляет книгу от малейшего привкуса беллетристики, которая портит лучшие повествования такого рода. Факты делают эту историю значительнее. Жена Баласогло получает деньги вместе с матерью доносчика Антонелли. Дубельт платит своей любовнице, словно агенту.

В беспросветном одиночестве Баласогло проводит свою жизнь. Сосланный в Петрозаводск, отданный во власть чиновника-мерзавца, он все же добивается интересного для себя дела, путешествует по Карелии. Стоит отметить, что культура в России в XIX веке, да порою и раньше, распространялась с помощью ссыльных. Некоторые действия Баласогло непоследовательны, факты частью утеряны, скрыты от нас, контуры души едва просвечивают, но автор верен себе, он сохраняет эту незаполненность, эту незавершенность для нашего воображения.

Баласогло, не в пример другим петрашевцам, ссылкой был сломлен. В будущем его ждали не менее тяжкие унижения, сумасшедший дом, жалкое существование в Николаеве. В этой повести возникает широкая панорама — Николаев, Одесса, Петрозаводск, Петербург; писатели, художники — Гончаров, Федотов, Шевченко, Майков... Кто кончает с собой, кто уезжает, кто пытается приспособиться, ищет компромисса. В такие времена литература продолжается усилиями литераторов средней руки, их приспособляемость выше, уязвимость меньше. То там, то здесь появляются статьи, стихи, из-за которых издателей вызывают в III отделение, закрывают журналы, наказывают.

Обыватель строит свое мировоззрение, формирует свои идеалы, пользуясь массовой литературой, и массовая литература отражает его вкусы и потребности. Пусть эта литература минутна, злободневна, но она характерна, по спросу на нее можно судить об уровне общественного сознания и нравов. Людям мыслящим она нужна в меньшей степени, обывателю она заменяет собственные мысли и чувства. Если литераторы этого толка занимаются своим делом честно, искренне, они много доброго и полезного могут сделать. Гений осваивается сперва литературной средой. Гении — событие прежде всего в литературной среде. Средний писатель готовит и воспитывает читателя, он как бы популяризирует великих писателей, помогая привыкнуть к новой форме, новой образности.

Третья, самая интересная, хотя и более привычная повесть — о Полонском. Привычность ее связана с тем, что имя Полонского просвещенному читателю, любителю поэзии достаточно известно. И хотя жизнь поэта можно считать неяркой, типичной, тем интереснее эта повесть. Перед нами притягательный образ поэта, который дорог не только своим талантом, но прежде всего своим душевным складом. «Для меня важно, что был он не только талантливым, но, по единодушному свидетельству современников, светлым и добрым человеком. Иначе бы я не взялся за перо», — пишет автор.

Интересно, как автор восстанавливает эти эмоциональные, казалось, неуловимые качества. Будучи человеком добрым, Полонский находит удовлетворение в своей доброте, он создает как бы примеры нежной дружбы. Перед нами — история ясной, любящей, страдающей души, которая осталась в этом мире в письмах и стихах. Идеи молодости воплотились у Полонского в реальную доброту повседневной деятельности. Полонский мил автору чрезвычайно, это ощущается даже в стиле повествования, в особой поэтичности, в ярких картинах тифлисской и одесской жизни. Тут жизнь, соответствуя то несчастному, то беспричинно-веселому Полонскому, играет красками, запахами, полна дружелюбием и общительностью. Наследие Полонского включает эти дружеские связи, переписку, которые столько дали окружающим. Молодой человек на вопрос, зачем он едет на вечер к старику Полонскому, ответил: «Для душевной дезинфекции». Такими людьми, как Полонский, создавалась литературная среда здоровая, а не губительная, питательная, а не растлевающая. Как важно, чтобы были люди бескорыстно преданные литературе, не зарабатывающие на ней денег, славы, любящие ее, а не себя в ней. Они зажигают в других страсть к правдивому слову. Ничего не имея при жизни и ни на что не претендуя, они верно служат делу русской литературы, так много значащей в жизни нашего народа.

Даниил Гранин

СТРАННИК



Глава первая

Здесь шум единый — ветра вой,
На башне крик ночного врана,
Часов церковных дальний бой,
Да крики стражей, да порой
Треск зоревого барабана.

Виктор Тепляков.
«Затворник» (1826)

Если ты воодушевлен общим порывом, захвачен общей волной, принимать решения — вместе с другими — куда легче, чем те же самые решения принимать потом в одиночку.

Вспомним один малоизвестный исторический пример.

Вспомним один поступок, совершенный уже после того, как потерпело сокрушительную неудачу восстание 14 декабря 1825 года. Большинство его участников были схвачены и в казематах Петропавловской крепости ожидали грозного суда. Уже твердо и прочно воцарился новый император всероссийский Николай I.

И вот в это время, когда уже все непричастные к восстанию, военные и штатские, были приведены к присяге Николаю, нашелся в Петербурге молодой человек, который, по примеру восставших, уже *после* их разгрома, уклонился от присяги царю.

Как и все, он бывал на исповеди в церкви, на вопросы священника приучен был с детства отвечать честно. И когда священник спросил, присягнул ли он новому государю, — ответил: «Нет». Священник пригрозил, что донесет на него, если молодой человек не примет присяги безотлагательно. Казалось бы, нет более возможности уклониться, но он все равно не присягнул. А в следующий раз послал к исповеди — вместо себя — своего младшего брата, который мог, не принимая греха на душу, сказать, что он присягал, — так оно и было. Несмотря на их большое внешнее сходство, во время исповеди священник распознал подмену и немедленно донес на братьев куда следует.

Ну, вот и схватили обоих. 20 апреля 1826 года были арестованы и доставлены в Петропавловскую крепость отставной поручик Виктор Тепляков, двадцати одного года от роду, и его семнадцатилетний брат Аггей, юнкер лейб-гвардии Конноегерского полка.

При обыске у Виктора Теплякова не было обнаружено ничего недозволенного, за исключением масонских книг и знаков. Эти же знаки оказались наколоты у него на руках. А ведь масонство еще в 1822 году было объявлено вне закона.

Виктор Тепляков родился в Тверской губернии, в дворянской семье, одиннадцати лет был отдан в Московский университетский пансион, а шестнадцати лет — «спеша жить», по его собственному выражению, — поступил юнкером в Павлоградский гусарский полк.

В том же полку служил майор Петр Каверин. Он был старше Теплякова на десять лет и в свое время также воспитывался в Московском университетском пансионе. Но по окончании пансиона не сразу пошел на военную службу: учился в университетах, сначала в Москве, затем в Германии, в Геттингене. Там он был принят в масонскую ложу «Августа Золотого Циркуля».

По возвращении в Россию Каверин вступил в «Союз благоденствия» — тайное общество будущих декабристов. Позднее, когда «Союз благоденствия» перестал существовать, было создано в Петербурге новое тайное общество — Северное. В него Каверин уже не вступил. Но продолжал считать себя масоном. Ввёл в масонскую ложу горячего юношу Виктора Теплякова — уже не юнкера, а корнета гусарского полка.

В те времена масонство (или, еще говорили, франкмасонство) казалось привлекательным для многих образованных молодых людей. Оно отличалось не только эффектной внешней стороной: строгими ритуалами тайных собраний, знаками, непонятными для непосвященных. Привлекала в нем идея самосовершенствования, идея братства и взаимной поддержки. Масонство сглаживало различия религиозные: православные, протестанты и католики могли состоять в одной ложе. В «Исповедании веры франкмасонов» утверждалось: «Если различие религий произвело столько смут, это объединение в среде франкмасонов будет содействовать укреплению всех уз». В разные масонские ложи приняты были многие будущие участники восстания 14 декабря.

Не имея определенной политической окраски, масонство не противоречило монархическим принципам, так что император Александр I поначалу относился к масонам снисходительно и терпел существование в России масонских лож. Но позднее пришел к выводу, что эти ложи опасны уже тем, что они *тайные* и таким образом ускользают от контроля, 1 августа 1822 года царь издал указ:

«1) Все тайные общества, под каким бы наименованием они ни существовали, как-то масонских лож и другими, закрыть и учреждения их впредь не дозволять.

2) Всех членов сих обществ обязать подписками, что они впредь не будут составлять ни масонских, ни других тайных обществ.

3) ...Не желающие же дать подписку должны быть удалены от службы».

Сотни офицеров после этого дали подписку в том, что они «впредь не будут составлять ни масонских, ни других тайных обществ». Дал такую подписку и Каверин.

Но корнет Виктор Тепляков скрыл свою причастность к масонам и подписки не дал — видимо, связывать себя подобной подпиской не хотел.

В начале 1823 года Каверин ушел в отставку и поселился в имении под Калугой. Летом того же года он путешествовал по России и с дороги слал письма младшему своему товарищу Виктору Теплякову.

Вот письмо из Николаевской слободы в низовьях Волги: «Здесь самые значительные запасы соли... Если бы государю угодно было пожаловать мне и вам, Виктор Григорьевич, несколько бугров [соляных], вы бы, я уверен, тотчас оставили службу и поехали в Геттинген, а я бы продолжал свое путешествие, только с вящим спокойствием... В Царицыне кажут палку Петра I, хотя она и мудрая палка, но как вы знаете, что я не люблю ни мудрых, ни глупых, ни долгих, ни коротких — словом, никаких палок, то я проеду мимо...»

Значит, Тепляков уже рад был бы тоже уйти в отставку и поступить в университет — быть может, по примеру Каверина, в геттингенский, но не позволяли средства...

Почти годом позже (в апреле 1824-го) Каверин писал ему: «Намерение ваше путешествовать, ловить смешное и странное, приятное и полезное — достойно вас и идет к вашим летам, способностям...»

В письме 10 мая: «Вы просите, как вам быть, чтобы быть в Петербурге. Дождаться сентября — и в отставку, а там куда хотите, а то зачем набиваться на неприятности» (Тепляков последовал совету — подал в отставку, сославшись на слабое здоровье, именно в сентябре).

В письме 24 июня Каверин написал о смерти Байрона:

«Получая Allgemeine Zeitung — вероятно, поразило вас там [известие] о потере славного поэта? За последнее письмо особенно благодарю — из него видно, что вы понимали, любили и почитали умершего».

В письме 15 октября из Калуги: «Как же вы сделали, чтобы не быть на смотру у государя, или вы были?»

По этим отдельным фразам из писем Каверина (ответные письма не сохранились) можно себе представить, пусть приблизительно, чем жил и дышал Виктор Тепляков.

С юных лет он увлекался поэзией Байрона. Много читал, свободно владея французским и немецким языками, достаточно понимая английский, итальянский, древнегреческий и латынь. Он сам уже писал стихи, но только два стихотворения удалось ему напечатать до ареста в 1826 году. Писал он в духе времени, то есть в элегическом роде. Сквозь некоторую выспренность его элегий пробивалось нечто реальное, подлинное:

> Вотще мне рай твой милый взгляд сулит, —
> Что мертвому в приветливой деннице? —
> Пусть на твоей каштановой реснице
> Слеза любви волшебная дрожит...

Кто была она — с каштановыми ресницами — мы не знаем.

В мае 1824 года он был произведен в поручики, в марте следующего года получил просимую отставку и снял гусарский мундир. А еще через год с небольшим его заключили в крепость, в Невскую куртину, откуда затем перевели в бастион Анны Иоанновны, в камеру № 4.

После памятного петербуржцам страшного наводнения поздней осенью 1824-го многие казематы Петропавловской крепости все еще не могли просохнуть как следует. Тем более что их никогда не держали открытыми настежь. Когда здесь топили печи, ручьи бежали по стенам, на которых пробивался мох. Арестант Виктор Тепляков мрачно замечал:

Ручей медлительно бежит
Зеленой по стенам змеею.

Еще можно было бы упомянуть о мокрицах, выползающих изо всех щелей, о тусклом свете сальной свечи под закопченным низким сводом потолка...

Без пера и бумаги Тепляков угрюмо слагал стихотворные строки — должно быть, твердил их себе, стиснув пальцы и поплотнее запахиваясь в арестантский халат, или кутаясь в суконное одеяло на жесткой койке, или шагая из угла в угол, чтобы согреться:

А в сей пучине — мрак сырой;
Здесь хлад осенний и весной
Всю в жилах кровь оледеняет.

Кровь леденела не только от холода. Приходили минуты отчаяния, когда он не мог удержаться от слез. Ночами так трудно было уснуть в этих каменных стенах:

В них сна вотще зеницы ждут —
И между тем в сей мгле печальной
Без пробужденья дни текут;
Минуты черные бредут
Веков огромных колоссальней.

И неизвестно было, какой расправы можно ждать впереди. На допрос его долго не вызывали, считая, должно быть, что с решением этого дела спешить нечего (были дела поважнее, в других казематах сидели восставшие 14 декабря), так что пусть он дожидается своей очереди, дрогнет в каземате и проникается сознанием своей вины.

В начале июня ему передали письмо от брата Алексея. Алексей Тепляков (средний брат — младше Виктора и старше Аггея) приехал из Твери для свидания с арестованными братьями.

Свидание было дозволено, однако не с глазу на глаз, а в присутствии плац-майора. Наверно, Алексей от своего имени и от имени родителей просил Виктора вести себя разумно, не упорствовать, ибо лбом стену не прошибешь...

Когда, наконец, вызвали Виктора Теплякова из камеры на допрос, он уже придумал себе некоторое оправдание. Сказал, во-первых, что легкомысленно хотел выдавать себя среди знакомых за масона, для этого приобрел масонские книги и знаки и даже наколол себе знаки эти на руках. Ведь если б он сознался в причастности к масонкой ложе, пришлось бы ему отвечать на вопрос, кто его туда ввел... А еще в оправдание свое сказал, что не присягал ныне царствующему императору сначала по болезни, потом по беспечности. Впрочем, в глазах властей беспечность в данном случае также представлялась возмутительной.

Сейчас он уже был явно нездоров. Его осмотрел лекарь и подал затем рапорт коменданту крепости: «...отставной поручик Тепляков одержим слабостью всего корпуса и весьма значительною рожею и опухолью на лице». Поскольку «по сырости каземата и неудобности в нем лечения пользование продолжать невозможно», он, лекарь, просит отправить арестанта Теплякова в госпиталь.

Так что спасибо лекарю — 22 июня больной арестант был переведен из крепости в Военно-сухопутный госпиталь, «в особый покой», то есть под замок.

Наконец, о братьях Тепляковых было доложено царю, и он повелел: юнкера Аггея Теплякова из крепости освободить и перевести его из гвардии в армию, отставного же поручика Виктора Теплякова привести к присяге «на верность подданства» и затем отправить на покаяние в монастырь.

Легко ли было молодому человеку и дальше отказываться от присяги Николаю? Нет, не желал он быть похороненным заживо, а из заключения выпускали его при условии, что он присягнет...

О повелении царя запереть Виктора Теплякова в монастырь петербургский генерал-губернатор сообщил в секретном послании митрополиту Серафиму. Митрополит, выполняя высочайшую волю, распорядился направить этого отставного поручика в близкую — на окраине Петербурга — Александро-Невскую лавру. В канцелярию лавры послал особое предписание:

«1) Поручика Теплякова из монастыря никуда и ни под каким предлогом не отпускать. 2) Иметь бдительнейшее за ним смотрение, поместив его на жительство с каким-нибудь благоразумным и благочестивым иеромонахом или иеродиаконом в одной келье. 3) Велеть ему во все посты исповедаться, и если отец его духовный удостоит, то приобщить его и святых тайн. 4) В свободное от богослужения время велеть ему заниматься чтением святых отцов, более же всего молиться и поститься. 5) Тщательнейше и при всяком случае наблюдать за образом мыслей его и поступков и, что замечено в нем будет доброго или худого, о том доносить нам...»

Его переправили из госпиталя в монастырь 15 июля, а в ночь на 13-е пятеро главных участников восстания были повешены возле Петропавловской крепости. Знал ли он об этом? Возможно, и не знал...

В лавре, в монашеской келье, не было, конечно, сырости и холода каземата, но ужасала мысль о том, что никакого срока покаяния не назначено. Это означало: будут его держать в монастыре, взаперти, пока не сочтут, что он достаточно покаялся, — хоть до конца жизни. Как же отсюда вырваться?

По его просьбе и с разрешения монастырского начальства посетил его в лавре 11 августа доктор Арендт. К этому доктору Тепляков обращался еще осенью прошлого года (уже тогда страдал золотухой), и теперь Арендт, понимая его нынешнее положение, написал свидетельство, что для совершенного излечения Теплякову нужно «употребление минеральных серных вод». Это означало для больного необходимость поездки на кавказские минеральные воды и — глав-

ное! — давало благоприличное обоснование для просьбы выпустить его на волю из стен монастыря.

Такое прошение Тепляков немедленно составил. Приложил к нему свидетельство Арендта. Письменно просил канцелярию лавры «донести преосвященнейшему митрополиту — как об искреннем моем покаянии, так и бедственном состоянии моего здоровья и испросить благословения его высокопреосвященства для увольнения меня из оной лавры, ибо недуги мои требуют, по мнению пользующего меня медика, мер деятельнейших и более решительных, коих при настоящем моем положении предпринять невозможно...».

Митрополит с ответом не спешил и лишь в конце сентября написал генерал-губернатору, что Тепляков за время пребывания в лавре ни в каких дурных поступках не замечен, так что можно спросить при случае государя императора, не соблаговолит ли его величество отпустить Теплякова из монастыря.

Минул еще месяц, и генерал-губернатор направил митрополиту секретное послание: «Его величеству угодно было высочайше повелеть, чтобы Тепляков назначил себе место для жительства, где иметь его под присмотром; к водам же, для излечения, если пожелает, позволить отправиться на Кавказ, но и там иметь его под присмотром».

В начале ноября царская милость была ему объявлена. Его выпустили из стен монастыря!

Поскольку доктор Арендт ему рекомендовал теплый и сухой климат, Тепляков попросил разрешения поселиться в Одессе, самом большом и, по рассказам, самом живом городе на юге России. Эта его просьба была воспринята как дерзость — еще чего захотел! Генерал-губернатор сообщил шефу жандармов Бенкендорфу: «Тепляков позволил себе делать некоторые домогательства и условия насчет времени отъезда и места жительства; посему государь император высочайше соизволил выслать его на жительство в Херсон с тем, чтобы местная полиция имела за поведением его надзор».

И, конечно, ему не посчитали нужным объяснить, почему в Одессу нельзя.

Он выехал из Петербурга один, без всякого сопровождения.

По дороге, между Петербургом и Москвой, он, конечно, завернул в тверскую деревню Дорошиху, от губернского города в трех верстах, — в усадьбу, где жили его родители. И вместо того чтобы ехать, подчиняясь воле царя, далее в Херсон, взял да и остался в родном доме.

Нет, покорностью не отличался Виктор Тепляков!

Отец послал на имя царя просьбу о всемилостивейшем прощении сына — и стал ждать ответа. Авось придет сыну прощение и не надо будет отправляться ему в далекий и неведомый Херсон.

Почти два месяца прожил Виктор Тепляков у родителей, в Дорошихе. Наступила зима, и снегом занесло поля вокруг усадьбы, никто о нем не вспоминал.

Но вот тверской губернатор получил из Петербурга предписание

объявить коллежскому советнику Григорию Теплякову, что на его просьбу о прощении сына «высочайшего соизволения не последовало» и царь повелел оставить Виктора Теплякова на жительстве в Херсоне. Царю и в голову прийти не могло, что вопреки его повелению сей отставной поручик живет еще вовсе не в Херсоне, а в Тверской губернии, в имении своего отца.

«Случай сей открыл мне, — написал губернатор в рапорте на имя царя, — что проживающий у коллежского советника Теплякова, Тверского уезда сельце Дорошихе, сын его поручик Виктор Тепляков не должен быть терпим на жительстве в здешней губернии...» Губернатор послал частного пристава Дозорова (соответствующая должности фамилия!) в Дорошиху: взять там Виктора Теплякова и к нему, губернатору, привести!

Когда пристав Дозоров явился в усадьбу, Виктор Тепляков заявил, что болен и никуда не пойдет.

Узнав о таком ответе, губернатор приказал выяснить, в самом ли деле болен этот дерзкий молодой человек. А пока что поручил приставу оставаться в Дорошихе и наблюдать, чтобы Виктор Тепляков никуда не отлучался — как бы не сбежал! Посетили усадьбу исправник и лекарь. Исправник доставил губернатору свидетельство о том, что «от бывшей простуды осталась у него [Теплякова] малая опухоль около ушей».

«Усмотрев из сего явное упорство поручика Теплякова», губернатор затребовал двух жандармов. Отрядил их к исправнику, «поручив ему поручика Теплякова, как проживающего здесь самовольно, и в предосторожность, чтоб он не мог куда-либо скрыться, взять и доставить его сюда» — в Тверь. А затем, в сопровождении жандарма, на санях в Москву. Дальше тверские жандармы ехать были не обязаны.

Упорствовать Виктору Теплякову становилось уже бесполезно. Отец простился с ним — должно быть, со слезами. Дал сыну, ради трудностей предстоящей жизни, немалую сумму денег. И отправил с ним крепостного слугу — в Херсон.

Какой глушью был в те времена этот степной город с ветряными мельницами на окраинах...

По приезде Виктор Тепляков снял себе квартиру в частном доме, не представляя, чем тут можно будет заняться, и надеялся весной поехать лечиться на воды — на Кавказ.

На беду, одним из его соседей в Херсоне оказался некто Головкин, мещанин по сословному определению, а по образу жизни — вор и темная личность. В апреле этот сосед подговорил слугу Теплякова, недалекого парня, обокрасть молодого барина и половину украденных денег отдать «на сохранение» ему, Головкину. Парень так и сделал, но его быстро поймали. Те деньги, что оказались при нем, он вернул — и Тепляков его простил. Головкин же, разоблаченный в присутствии частного пристава, сначала во всем признался, а затем, как видно, поделился с этим приставом частью украденных денег, от собственного признания

отрекся и не вернул ничего. И пристав, что называется, умыл руки.

Но на этом не кончилось. Однажды в июне, поздно вечером, к Теплякову ворвались грабители — несколько человек, лица их были выбелены мелом. Ранили Теплякова ножом в левое колено, связали его и слугу, зажгли свечку, нашли, где хранятся деньги, забрали все, что только смогли унести, и скрылись.

И напрасно Тепляков обращался затем в полицию. Там никто не хотел ударить палец о палец. Становилось ясно, что грабители вошли в сговор с местной полицией — с той самой полицией, что держала его здесь «под присмотром»...

С отчаянным раздражением рассказал он обо всем в письме не кому-нибудь, а самому царю. Терять уже было нечего: пусть же император всероссийский знает, чего стоит его полиция, пусть! «Деньги, вещи, платье — все погибло, все-все, что только имел я, — писал Тепляков. — ...Осмеливаюсь всеподданнейше Вас просить о дозволении мне переехать в другое место».

Должно быть, это письмо Теплякова произвело некоторое впечатление на царя. Он дал распоряжение послать ограбленному отставному поручику пятьсот рублей ассигнациями.

В сентябре того же года граф Пален, управляющий новороссийскими губерниями (то есть губерниями на южной окраине России), получил из Петербурга письмо: «Государь император высочайше соизволил одобрить мнение Вашего сиятельства, чтобы проживающий в г. Херсоне под полицейским надзором отставной поручик Тепляков был определен на службу куда-либо во вверенных управлению Вашему губерниях, но только не в Одессе».

Граф Пален определил Теплякова на службу подальше от Одессы — в Таганрог, чиновником для особых поручений при градоначальнике.

В начале января 1828 года Тепляков переехал из Херсона по степным дорогам в Таганрог. Весной, с началом морской навигации, назначен был на службу в таганрогской таможне. Здесь он прослужил совсем недолго — пользуясь высочайшим разрешением, к лету отправился на Кавказ.

В городе Горячие Воды (через два года его переименуют в Пятигорск) местные эскулапы предлагали всем приезжающим больным брать ванны и пить воду из разных источников по очереди — видимо, в простом расчете, что хоть какая-нибудь вода должна помочь.

Трудно сказать, воды ли помогли Теплякову или что другое, но здесь он почувствовал себя гораздо лучше. И совсем не хотелось ему возвращаться в скучный Таганрог. Еще 30 апреля послал он письмо генерал-губернатору Новороссии графу Воронцову, в Одессу, просил найти ему другое место, другое занятие.

Воронцов истолковал его просьбу как желание перебраться в Одессу, где жить ему не дозволено, и ответил так: «Милостивый государь! На письмо Ваше ко мне от 30 апреля уведомляю

Вас, что в настоящее время я не могу исполнить желания Вашего касательно доставления Вам места в моей канцелярии за совершенно полным числом чиновников, составляющих оную».

Ответ Воронцова Виктор Тепляков с чувством досады переписал в письме к брату Алексею: «Прошу заметить: он не может исполнить моего желания касательно службы по *его канцелярии.* Можете ли Вы себе представить, чтобы я мог желать оной по чьей бы то ни было канцелярии? — К брату он обращался на «вы», так уж было принято в их семье. — Но как ни на есть, какая же надежда останется мне, по Вашему мнению? Неужели умереть в Таганроге?»

А пока что он по предписанию докторов пил минеральные воды прямо из источников и купался в ваннах, сложенных из тесаных каменных плит. Часто отправлялся верхом на лошади в прогулки по окрестностям Горячих Вод — «истинно-романтическим», как называл он их в письме к брату. Восхищался первозданной красотой Кавказских гор и слагал стихи:

Ты ль, *пасмурный* Бешту, колосс сторожевой,
В тумане облаков чело свое скрывая,
Гор пятиглавый царь, чернеешь предо мной
Вдали, как туча громовая?

«Пасмурный Бешту» — цитата из поэмы Пушкина «Кавказский пленник», — Тепляков как бы подчеркивал совпадение впечатлений.

А двуглавая снежная вершина Эльбруса казалась ему похожей на черкесское седло...

Степей обширною темницей утомленный,
Как радостно, отчизна гор,
Мой на тебя открылся взор!

Близко познакомился он в Горячих Водах с таким же поднадзорным, как и он сам, — с бывшим гвардейским офицером Григорием Римским-Корсаковым. Этот человек тоже имел характер весьма независимый и тоже мог бы угодить в каземат после восстания 14 декабря — если бы не пребывал тогда за границей и поэтому оказался в стороне. А прежде он, как и Петр Каверин, состоял в тайном «Союзе благоденствия». Кстати, оба — и он, и Каверин — были знакомы с Пушкиным, были — в разное время — с великим поэтом в отношениях дружеских...

Римский-Корсаков нисколько не остепенился в свои нынешние тридцать шесть лет. Вид у него, под стать характеру, был лихой — длиннейшие усы, под нижней губой росшая буйно эспаньолка — «совершенный Fra-Diavolo», по отзыву одного чиновного москвича. Но, видно, таким он нравился Виктору Теплякову.

Потом Римский-Корсаков отмечал в письме к нему, что помнит его как «славного товарища, доброго приятеля, милого собеседника, неровного умориста [юмориста?], как неровны хребты кавказские».

Покинули они Кавказ, наверное, вместе — в октябре. Но Римский-Корсаков отправился в родную Москву, а Тепляков — ничего не поделаешь — в Таганрог.

В этом городе таможня зимой запиралась на замок: Азовское море у Таганрога замерзало, и навигация прекращалась. Так что на зиму Тепляков был свободен от служебных обязанностей в таможне. С разрешения градоначальника он поехал в Херсон: еще надеялся, что полиция ему поможет вернуть хоть малую часть отнятого грабителями. Не знаем, может, в конце концов что-то вернуть удалось...

Из Херсона он поехал в Одессу. В ту самую Одессу, где жить ему не разрешено.

Глава вторая

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я...

А. С. Пушкин

На Балканах с прошлого года продолжалась русско-турецкая война. Русские войска занимали укрепленную линию от города Варны у Черного моря до берега Дуная.

В Одессе война напоминала о себе военными кораблями на рейде и прибывающими беженцами-болгарами, которых время от времени задерживал портовый карантин.

Директор одесского музея древностей Бларамберг надеялся, что на занятой ныне территории — в Варне и дальше, на склонах Балкан, древнего Гемуса, — можно будет разыскать следы античной цивилизации: обломки мрамора с древнегреческими и латинскими надписями, барельефы, древние монеты и так далее. Вот если бы туда отправить образованного человека... С этой просьбой в марте 1829 года Бларамберг и обратился к генерал-губернатору Воронцову.

Именно в это время прибыл из Херсона в Одессу Виктор Тепляков. Генерал-губернатору стало известно, что этот молодой человек жаждет занятия более живого, нежели служба в таможне.

Воронцов вызвал его к себе. И объявил, что готов доверить ему серьезное поручение — безотлагательно отправиться в Варну. Подробную инструкцию даст Бларамберг. Для выполнения разысканий, для переправки по морю в Одессу всего отысканного и приобретенного и на прочие расходы казначей выдаст тысячу рублей. По возвращении надо будет отчитаться в расходах.

Тепляков согласился с величайшей готовностью. Ему наконец-то повезло!

Последние пять дней перед отплытием в Варну он провел в беседах с директором одесского музея. Бларамберг усердно его наставлял и просвещал по части археологии. «Если его пламен-

ные усилия,— рассказывал потом Виктор Тепляков в письме к брату Алексею,— сделать меня, в продолжении сих пяти суток, *адептом* археологии возбуждали мою внутреннюю усмешку, то будьте уверены, что наружность моя представляла в это время всю благоговейную любознательность *неофита.* Сему-то грешному фарисейству обязан я входом в sanctum sanctorum [святая святых] почтенного антиквария». Однако книги, которые Тепляков успел просмотреть перед отплытием, давали очень скудные сведения о крае, куда он направлялся. Оказывалось, что край этот — истинная terra incognita...

Бларамберг предполагал, что у берегов Черного моря, в окрестностях Кюстенджи (древнего Томиса) можно разыскать гробницу умершего там в изгнании римского поэта Овидия.

Это было 20 марта, под вечер: Виктор Тепляков вышел из города к карантинной пристани, к морю. «Таможенная гроза собралась и довольно быстро рассеялась над моими чемоданами,— шутил он потом в письме к брату Алексею,— врата карантинной пристани разверзлись и, скрыпя, затворились за мною». Один из карантинных чиновников представил «маленького, но еще довольно бодрого старичка и объявил, что это капитан венецианского брига *La Perseveranza*»,— бриг готовился отплыть в Варну. «Ялик этого капитана качался у берега; слуга и вещи мои ожидали меня на оном. Я спустился в эту легкую лодочку, капитан за мною — и вот уже четыре весла вонзились в шипучие волны. Челнок наш полетел стрелою к стоящим на рейде судам; на каждом из них звонили *рынду,* когда, пристав к своему бригу, мы начали один за другим взбираться на палубу».

Когда стемнело, Тепляков долго смотрел на огни Одессы и мысленно прощался с ними. Потом спустился в каюту, где над его койкой висел гравированный образ мадонны с надписью *Stella del mare* (Звезда моря). Лег и уснул.

«Проснувшись на другое утро, я воображал не видеть уже более ничего, кроме воды и неба»,— рассказывает он. Не тут-то было. Полный штиль еще двое суток не давал возможности парусному бригу тронуться в путь. Тепляков маялся, «чрезвычайно досадовал на это безветрие и, видя перед собою все еще меркантильную Одессу, мучил капитана беспрестанными расспросами о состоянии атмосферы... Наконец — ура, ура! — 23-го свежий северный ветер подул с берега... Натянутые паруса округлились, и заколебавшийся корабль тронулся с места».

«Шуми, шуми, послушное ветрило...» — громко декламировал Тепляков, расхаживая по палубе.

Долго еще бриг плыл вдоль берегов.

Наступила ночь. «Не спал один только я,— рассказывает Тепляков,— да рулевой матрос у озаренного ночною лампою компаса... Глаза мои искали маяка берегов одесских: одиноко мерцал он едва заметной огненной точкою...»

Потом картину этой ночи Тепляков восстановит в стихотворных строках:

Все спит, — лишь у руля матрос сторожевой
О дальней родине тихонько напевает
  Иль, кончив срок урочный свой,
Звонком товарища на смену пробуждает.
Лишь странница-волна, взмутясь в дали немой,
Как призрак в саване, коленопреклоненный,
  Над спящей бездною встает;
  Простонет над пустыней вод —
И рассыпается по влаге опененной.

У берегов Добруджи пришлось выдержать шторм. Тепляков рассказывает: «...убаюканный клокочущей стихиею, я долго не мог приподнять головы со своей койки и видел только летавшего из угла в угол капитана, слышал только плеск волны, перескакивавшей через палубу. Около вечера, однако ж, волны до того разыгрались, что, полагая быть гораздо покойнее наверху, я наконец решился выйти на палубу... Отуманенное море казалось мне слитым в единый сумеречный дым с погасшими над ним небесами. Все объемлемое взором пространство то отбегало прочь, то подымалось чудовищною горою на горизонте и, завывая, неслось на бриг наш... После полуночи ветер стал, однако, мало-помалу стихать, и на рассвете густой туман, скрывавший от меня берега Болгарии, начинал уже рассеиваться... Проглянуло солнце».

Утром 27 марта уже ясно расслышался дальний гул варнской зоревой пушки. До Варны оставалось только восемь миль. Но полное безветрие вынудило капитана бросить якорь. «На другой день — тоже безветрие. Варна была уже в глазах моих... — рассказывает Тепляков. — Терпение мое наконец истощилось». Капитан предложил переправиться на берег на баркасе, и сразу же баркас был спущен на воду.

Четыре матроса работали веслами, в радостном ожидании Тепляков глядел вперед — туда, где на пологом береговом склоне зеленых холмов виднелись белые домики с красными черепичными крышами. Несколько минаретов возвышались над городом, купола их серебристо блестели. Стены крепости местами были разрушены, широкие проломы оставались там со времени прошлогодней осады. Баркас проплыл между рядами стоящих на рейде судов и пристал к берегу возле крепостных ворот.

У Теплякова было при себе письмо Воронцова к главному военному начальнику в крепости Варна генералу Головину. У первого встреченного русского солдата он спросил, как найти квартиру генерала. Солдат охотно взялся проводить Теплякова и его слугу, повел их по узким, но людным улочкам, вдоль глухих стен домов. Дома здесь были построены так, что окна выходили не на улицу, а во внутренние дворики.

Головин принял Теплякова любезно. Предложил остановиться на квартире его адъютантов, пока не подыщут более удобное жилье.

«На другой день по прибытии моем в Варну,—рассказывает Тепляков,—мне отвели квартиру в бедном греческом домике, тесном, полуразрушенном, но по соседству с квартирою генерала Головина». По узкой лесенке он поднялся на галерею вдоль стены дома, обращенной в сад, и вошел в пустую комнату. В окнах, заклеенных бумагой, не было стекол, свет проникал только через дверь (кстати говоря, стекол не было нигде по всей Варне, заменяли их чаще всего деревянные решетки). Хорошо, что погода была уже по-весеннему теплой—можно было не только не топить камин, но и держать наружную дверь открытой.

Притащили в комнату колченогий стол, две скамейки и кровать. На столе Тепляков с удовольствием разложил свои книги и бумаги, на беленой стене повесил карты Болгарии. Не замедлил явиться хозяин дома, грек. Сел у камина, раскурил трубку и—видать, любопытство одолевало—завел разговор с постояльцем. «Я говорил по-русски, он—по-турецки и по-гречески,—рассказывает Тепляков.—Много ли мы понимали друг друга—об этом ни слова: довольно того, что, протолковав более часу, мы расстались самыми добрыми приятелями».

Он написал письмо брату Алексею: «Знаете ли, почему этот бродячий быт дороже мне всех ваших... но оставим это. Скажу только, что с дощатого крыльца моего я вижу с одной стороны роскошную пелену моря, усеянного судами; с другой—любуюсь разноцветною панорамою Варны. Посреди моего двора цветет юное миртовое дерево, у забора пестреет огород и небольшой цветник, а за воротами шумит фонтан [то есть просто источник] под склоном огромной плакучей ивы». Где-то рядом, в листве, слышалось воркованье лесных горлиц; оно становилось особенно явственным, когда наступала ночная тишина.

Он принялся выискивать в городе предметы древности. Заглядывал в уцелевшие церкви.

Стены цитадели оказались «испещрены обломками мраморных карнизов, великолепных капителей и разных других украшений изящного греческого зодчества». Видимо, при возведении цитадели—бог знает когда—эти куски мрамора были использованы просто как строительный материал.

В разных кварталах города Тепляков обнаружил пять обломков мраморных надгробий с барельефами и греческими надписями. Нашел барельеф с изображением головы всадника, нашел барельеф с изображением Эскулапа, Гигеи, богини здоровья, и двух женщин с младенцем. «Этот памятник древности,—рассказывает Тепляков,—отыскан в погребе одного грека, между старыми бочками и бутылками, я нашел его покрытым запекшейся кровью»: на этом куске мрамора, возможно, рубили голову петуху; впрочем, кровь могла оказаться и человеческой.

Приобретать монеты и медали было не просто.

«Есть ли у тебя *антики*?»—спрашиваете вы у купца, сидящего с поджатыми ногами в глубине своей лавки и окруженного густы-

ми облаками табачного дыма. Легкое уклонение головы или лаконическое «Йок! (нет)» — так рассказывает Тепляков. Когда же старинные монеты у торгаша имеются, «глупая улыбка появляется на устах его; кожаный мешок развязывается иногда целые полчаса, и наконец — множество различных монет: старых талеров, флоринов и часто наших полновесных павловских грошей и копеек — сыплется перед вами на стол вместе с драгоценными медалями Греции. В эту минуту физиономия нумизмата оживляется быстротою переменною, жажда корысти становится главным ее выражением... Не имея ни малейшего понятия о достоинстве своего товара, купец подстерегает все ваши движения и если заметит, что внимание ваше обращено в особенности на какую-либо монету, то вы можете быть уверены, что грозное: 800 или 1000 левов, подобно внезапному электрическому удару, оттолкнет вас от оной. Разгадав наконец сию важную тайну, я решился посвящать все наружные знаки моего восторга старым грошам и копейкам. Только таким образом удалось мне купить до сих пор несколько древних монет и медалей, из коих некоторые кажутся мне драгоценными...»

Но он, конечно, не только разыскивал монеты и барельефы. «Я нахожу неизъяснимое удовольствие, — писал он брату, — скитаться без всякой цели по темным и перепутанным улицам Варны; всего же более люблю бродить по здешней пристани...»

При содействии Головина ему удалось отправить собранные обломки мрамора на одном из купеческих судов в Одессу.

До минувшей осени в Варне жило множество турок, но все они покинули город после капитуляции турецкого гарнизона 27 сентября. Место их теперь занимали греки и болгары, толпами бежавшие из тех городов и селений, что оставались под властью султана.

Тепляков как-то спросил дочку хозяина дома, обворожительную четырнадцатилетнюю Деспину, страшно ли ей было, когда русские корабли обстреливали Варну. Спросил по-турецки, с трудом подбирая слова — только-только начинал он понимать язык. Она ответила: «Хаир! Пек еииды! [Нет! Это прекрасно!] — бом! бом! бом! — пек еииды!»

Пора ему было начинать разыскания в окрестностях, это уже связано было с некоторым риском — не то, что безопасные прогулки по городу. Для начала он выбрал краткую поездку в монастырь святого Константина, верстах в десяти от Варны. Генерал Головин предоставил ему переводчика и двух конвойных казаков.

Тепляков зарядил свои пистолеты, пристегнул к поясу дагестанский кинжал, сел на оседланную лошадь и вместе с двумя казаками и переводчиком выехал из северных ворот города.

Ехали по узкой дороге вдоль моря, среди цветущих садов с благоухающими белыми и розовыми цветами. В глубине зеленой лощины, вблизи прибрежных скал, увидели монастырь.

«Постная монашеская фигура встретила меня, — рассказывает

Тепляков, — со всем подобострастием восточного невольника у ворот монастырских и, поклонясь до земли, бросилась предупредить казака, подошедшего взять мою лошадь. Крыльцо гостеприимного брата было уже обставлено подушками, бедные рогожки покрывали пол оного. Добрый монах исчез и чрез минуту возвратился, отягченный каймаком, творогом и сметаною. За ним следовал маленький болгарин, неся также несколько блюд с оливами, сельдереем и с новым запасом многоразличной сметаны; деревянная баклажка вина заключала эти гастрономические приготовления. «Садитесь, садитесь, отец мой!» — повторял я беспрестанно своему раболепному Амфитриону, но он кланялся до земли с приложенными ко лбу руками, потом складывал их крестом на желудке и, потупив глаза в землю, оставался неподвижен... Нет сомнения, что мысль о каком-нибудь маленьком турецком тиране владела в это время всеми умственными способностями одеревенелого инока. Он остался единственным монашеским существом в здешней обители, вся прочая братия разбежалась во время варнской осады. Проглотив из любопытства чашку турецкого кофе, т. е. кофейной гущи без сахара, я отправился в сопровождении анахорета взглянуть на монастырские достопримечательности. Храм св. Константина Великого точно так же убог, сумрачен, тесен, как и все варнские церкви. Неугасаемая лампада теплится день и ночь перед образом первого христианского императора. Я поклонился ему и зажег свечу, толщиной в целый рубль, перед его святою иконою». Это произвело такое впечатление на монаха, что он при выходе из церкви сразу же указал на брошенный в углу кусок мрамора с барельефом и греческой надписью.

Больше ничего тут раздобыть не удалось.

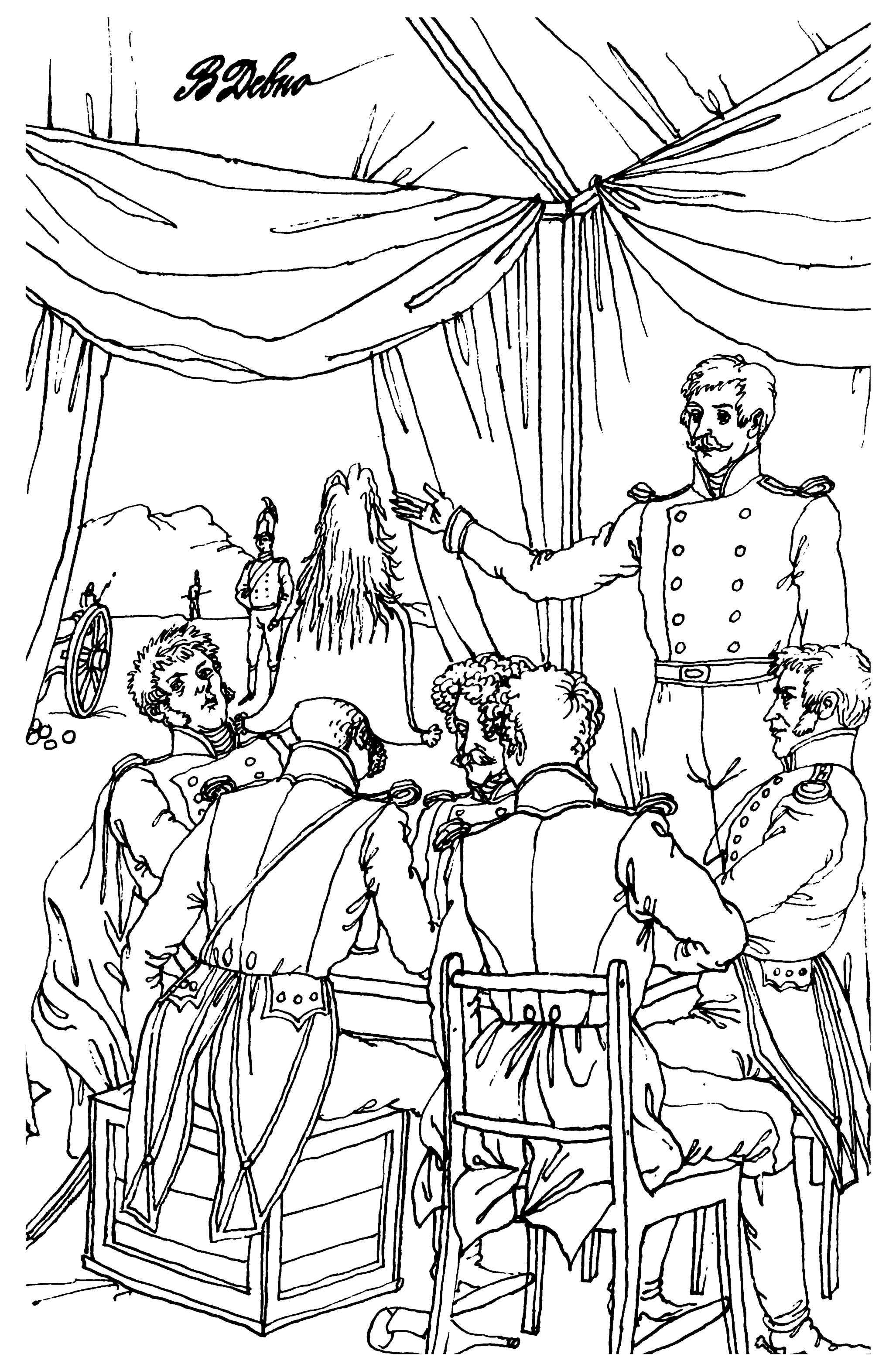
В первый день пасхи в Варне ожидалось нападение неприятеля. «Генерал Головин, больной накануне, расхаживал уже по комнате, когда я посетил его после заутрени, — рассказывает Тепляков, — и на вопрос мой, в самом ли деле будут к нам незваные гости, отвечал: «Милости просим! Мы готовы принять их».

Вернулся с донесением адъютант, сообщил, что турки перешли сегодня утром речку Камчик, схватили с передовых постов одного казака, отрубили ему голову саблей и с этим трофеем отступили.

По многим рассказам Теплякову было известно, что отсеченные головы «неверных» янычары складывают в бочки и, пересыпав — для сохранности — солью, отсылают в Константинополь как свидетельство своей воинской доблести. Головы там выставляют на копьях для всеобщего обозрения. В иных случаях отсекают не голову, а уши, их также отсылают в бочках, пересыпанные солью... Слыша такие рассказы, никто не рисковал ездить по дорогам в одиночку.

Тепляков решил проехать вдоль укрепленной линии от Варны до городка Праводы. Первой остановкой на пути должен был стать Гебеджинский редут.

Он отправился туда 21 апреля в сопровождении двух казаков


В Девно

на верховых лошадях. Ехал верхом и его слуга — «живой арсенал, с огромной венгерской саблей у бедра, с предлинным арнаутским ружьем и коротким карабином за плечами, с черкесским кинжалом, турецким ятаганом и несколькими парами тульских пистолетов у пояса».

Выехали из западных ворот крепости. «Встреченные нами у ворот похороны показались моим спутникам знаком гибельного предзнаменования, — рассказывает Тепляков, — а дикие надгробные мраморы, расположенные на могилах старого *чумного* кладбища, наполнили и мое воображение самыми черными думами, мелькнув на правой стороне дороги».

Слева, у южных ворот, показались белые шатры русского военного лагеря. Кавалькада по ровной дороге обогнула тихий лиман и свернула в лощину. Вот и Гебеджинский редут.

«Полковник Лидерс, начальник редута, узнав о цели моего путешествия, — рассказывает Тепляков, — показал мне пять бронзовых медалей, найденных солдатами в земле, при укреплении соседней деревни Девно. Две из них греческие: одна из них принадлежит древней Одессе, другая — Ольвии; остальные три — римские».

Однако нечто удивительное Лидерс обещал показать завтра.

Ночь Тепляков проспал в его шатре. Утром они сели на лошадей и под охраной довольно значительного конвоя поехали по лесной дороге. Версты через три открылась вдруг небольшая песчаная площадка и на ней — шесть каменных колонн. Проехали еще немного, и уже «огромные массы сих необыкновенных колонн предстали глазам моим... — рассказывает Тепляков. — Совершенное отсутствие капителей, правильных карнизов и разных других украшений зодчества уничтожает, по крайней мере для меня, всякую возможность рассуждать об архитектурном ордене... Неужели эта разительная правильность форм и пропорций есть одна только прихоть природы, обманывающей человека столь совершенным подражанием искусству, в стране, населенной памятниками древности и роями славных исторических воспоминаний?» Так оно и было, но ни Тепляков, ни Лидерс этого не знали и готовы были предположить, что перед ними — грандиозные обломки какого-то древнего мира.

Тепляков сознавал себя профаном в археологии. Но надеялся, что его разыскания дадут толчок новым исследованиям ученых — «подобно ньютонову яблоку» (так он потом напишет в отчете).

Кавалькада возвращалась в редут. Остановились у придорожного источника, Тепляков наполнил прохладной водою шляпу, напился из нее, нахлобучил мокрую шляпу на разгоряченную голову. В редуте пообедали позднее привычного часа, и после обеда Тепляков решил сейчас же трогаться дальше — в Девно.

Вместе с ним и его слугой поехал сопровождающим только один казак — собственно, не ради вооруженного прикрытия (что бы он смог один?), а для указания дороги. Проскакали около десяти верст. Вдали показались два укрепленных земляных редута с пушками по углам и палатки большого военного лагеря.

Рядом — казачьи биваки: дымились костры, расседланные и стреноженные лошади пощипывали копны сена.

Подъехали ближе, и Тепляков соскочил с коня возле шатра полковника Енакиева, командира 38-го егерского полка.

Вошел в шатер, представился. Объяснил цель своего прибытия. В ответ услышал шутливое замечание, что сюда он явился слишком поздно. Оказывается, множество найденных медалей Енакиев уже отослал жене. Или просто роздал офицерам. А сейчас — пожалуйста — он высыпал на стол оставшиеся медали, целую груду, и Тепляков принялся их разбирать. Древнегреческих обнаружил всего три-четыре, остальные — большей частью римские. Охотно забрал все: пригодятся.

Вечером в шатре собрались офицеры — пили пунш, дымили трубками. Дышать стало нечем, у Теплякова разболелась голова. Выбрался на свежий воздух. Однако ночевать под открытым небом оказалось холодновато, пришлось вернуться в шатер.

Утром он узнал, что ночью в Девно прибыл генерал Рот. К Роту у него было рекомендательное письмо от Воронцова.

Рот его принял в своем шатре, прочел письмо и приказал писарю написать такую бумагу: «Предъявителю сего, отставному поручику Теплякову, имеющему порученность... изыскивать древности в Болгарии, предлагаю гг. начальникам 6-го и 7-го пехотных корпусов... оказывать ему в том всякое зависящее пособие, а для осмотра, где нужным признает, мест в расположении наших войск давать ему конвой, смотря по надобности, из казаков и пехоты... Апреля 23-го дня 1829 г. Начальствующий войсками по правую сторону Дуная генерал от инфантерии...» — и Рот поставил свою подпись.

Полковник Енакиев согласился показать Теплякову надгробную плиту с латинской надписью, об этой плите он невзначай упомянул накануне. Поехали, посмотрели — валялась возле дороги. Латинскую надпись Тепляков переписал в тетрадь.

«Храбрые егеря 38-го полка, проведав о существовании человека, платящего новые серебряные рубли за старые медные полушки, не оставляли меня с самого утра в покое», — рассказывает Тепляков. Пришлось объяснить, что не всякие деньги его интересуют.

Под вечер он решил ехать дальше, в Праводы. Генерал Рот распорядился дать ему в сопровождение семерых казаков. Когда выехали из Девно, начался дождь. Тепляков надел плащ и подхлестнул коня.

На полдороге до Правод располагался еще один военный лагерь — Эски-Арнаутларский. До недавнего времени здесь было турецкое селение Эски-Арнаутлар, ныне покинутое жителями. В этом лагере нужно было сменить конвой, отпустить девненских казаков. Здесь Тепляков последовал за ними к шатру какого-то офицера. Этот офицер прочел подписанную Ротом бумагу и сказал, что полчаса назад целый батальон выступил отсюда в направлении Правод — сопровождает военные обозы. Так что Тепляков

может взять из лагеря трех или четырех казаков и догнать этот батальон.

Ну, и отлично. Сменился конвой, сменили лошадей. Двинулись легкой, «архиерейской» рысцой по дороге в Праводы.

«Густой туман катился по темно-зеленому скату гор, небо чернело час от часу более, проклятый дождь стучал и усиливался! — рассказывает Тепляков. — Верстах в трех от Эски-Арнаутлара нагнали мы обетованный батальон и около получаса ехали нога за ногу под его прикрытием. Наскучив потом столь погребальным шествием, а еще более порывами разыгравшейся бури, я пустился с моими казаками вперед, и через несколько минут штыки конвойной пехоты скрылись от глаз моих». Через полчаса небо прояснилось, но Тепляков уже промок до нитки.

«Уже совсем смеркалось, — рассказывал он потом в письме к брату, — когда мы остановились под пушками праводских укреплений, и потому были не без труда впущены в город здешними передовыми караулами». Своим расположением Праводы живо напомнили ему городок на Северном Кавказе — Горячие Воды...

«Я приказал вести себя к квартире генерала Нагеля, начальника расположенной здесь дивизии, и вскоре потом спрыгнул с коня у ворот его», — рассказывает далее в письме Тепляков. Когда он вошел в комнату — «убийственный вист, одно из эстетических наслаждений Петрополя, развернулся передо мной во всей своей роскоши... Генерал Нагель принял меня довольно мило, но до крайности удивил вопросом: очень ли был я напуган землетрясением, коего несколько ударов едва совсем не расстроило, около вечера, игры их? Я, может быть, в это время скакал и потому ничего на пути своем не заметил. Недаром же настигшая меня гроза была так прекрасна! Генерал пригласил меня остановиться в его собственной квартире, но тут один из игроков объявил, что у него мне будет гораздо просторнее, и вследствие того просил сделать в ту же минуту честь его обители. Этот благодетельный смертный разогрел мою душу кипятком такого душистого чаю, какого я не пивал с тех самых пор, как расстался с вашими метрополиями; потом накрытое буркою сено — теплая, мягкая постель приняла утомленную плоть мою и вместе с деревенской опрятностью комнатки показалась мне именно тем, что эпикурейцы британские зовут comfortable.

На другой день посетил я генерала Купреянова, известного своими подвигами во время прошлогодней кампании».

Генерал уверил Теплякова, что при инженерных работах по укреплению Правод ничего древнего найдено не было, за исключением двух монет.

В этот день и в последующий генерал Купреянов показывал гостю праводские укрепления. Речка была перегорожена плотиной, так что образовалась водная преграда, охраняющая городок с северной стороны. Сам городок — белые домики среди невысоких гор — поражал не только отсутствием жителей, но и отсутствием деревьев. Минувшей зимой в обезлюдевшем городке не оказалось

запасов топлива, и солдатам пришлось рубить сады, чтобы обогреться и готовить пищу. «Городок сей утопал, по словам генерала Купреянова, в тени фруктовых деревьев... — рассказывает Тепляков. — Теперь все перед вами голо, подобно плешивой голове Сократовой!»

Днем 4 мая, когда он уже собрался покинуть Праводы и обедал вместе с генералом Купреяновым, в шатер генерала привели двух перебежчиков с турецкой стороны. Они сообщили: войска великого визиря Решид-паши, до семи тысяч человек, расположились лагерем поблизости, на высотах Ени-Базара. Что и говорить, сведения были тревожными.

Опустив перебежчиков, генерал хмуро сказал Теплякову:

— Согласитесь, что обстоятельства не благоприятствуют вашему возвращению в Варну. Неприятель почти на вашей дороге... — И с невеселой усмешкой добавил: — Вы едете в понедельник — тяжелый день!

Но конвойные казаки и слуга уже были готовы к отъезду, конь его оседлан и навьючен, и Тепляков не захотел остаться. В три часа дня он тронулся по дороге среди лесистых гор.

Вот уже снова Эски-Арнаутларский лагерь.

Здесь Теплякову в первый раз встретился генерал Рындин — встреча была очень кстати: этому генералу Тепляков смог передать поклон от его семейства в России.

Не задерживаясь, поехал дальше. Уже стемнело, когда он добрался до лагеря в Девно. Встретил его полковник Енакиев и, конечно, пригласил к себе. В его шатре и в этот вечер было шумно, душно от табачного дыма, азартно играли в карты; за парусиновой стенкой лаяли собаки. С трудом удалось Теплякову уснуть.

Около семи утра он проснулся от громких криков: «К ружью! К ружью!» Оказалось, что на рассвете турки перехватили дорогу на Эски-Арнаутлар, и два егерских полка уже выступили, чтобы очистить дорогу от неприятеля. Пойти следом готовились еще два казачьих полка.

Что же произойдет теперь под Эски-Арнаутларом? И неужели он, Тепляков, упустит возможность увидеть все это своими глазами?

Он вскочил на коня и примкнул к конному строю казаков — они двинулись. Путь до Эски-Арнаутлара оказался уже свободным. Но где-то впереди — слышно было — шел бой.

«Густой туман покрывал окрестность, — рассказывает Тепляков, — казаки шли на рысях; протяжный грохот ружей, заглушаемый по временам пушечными выстрелами, становился с каждым шагом все слышнее и явственнее, и вот Эски-Арнаутларская долина начала уже перед нами развертываться посреди густых облаков тумана и пыли».

Оба казачьих полка, как им было приказано, спешились в Эски-Арнаутларе. В двух верстах отсюда, на полпути до Правод, греме-

ли выстрелы. Тепляков подстегнул коня и поскакал вперед один.

Но скоро ему пришлось остановиться.

Сквозь туман пробилось солнце, осветив склоны гор и внезапно открывшуюся картину сражения. Турецкая конница — несколько тысяч всадников с голыми до плеч смуглыми руками, в чалмах или в красных фесах, — неслась, крича и вытянув сабли, навстречу рядам русских пехотинцев в черных киверах. Отчаянно ржали кони. В рядах пехоты, выстроенной в боевые порядки — четвероугольные каре, — загремели барабаны, затрубил рог, солдаты двинулись — штыки наперевес... Несколько раз неприятельским всадникам приходилось осаживать коней и отлетать прочь, и все же им удалось ворваться в строй пехоты, и «в продолжение получаса, — рассказывал потом Тепляков, — я не видал ничего, кроме сверкающих в дыму сабель, склонявшихся долу штыков, дикого, бешеного остервенения...». Он жадно смотрел туда, сжимая поводья, — бывший гусар, а ныне штатский человек с пистолетом, сознающий с болью и смятением полную свою бесполезность в таком бою...

Внезапно появился новый отряд русской пехоты, бросился в штыковую атаку, турки смешались, начали отступать. Русский полк, насмерть стоявший в каре, «покрывал уже землю своими изрубленными трупами... Мертвый, он еще образовывал обширный правильный четвероугольник... — так записал Тепляков. — Тело генерала Рындина было узнано мною только по изрубленным эполетам...»

Потрясенный, вернулся Тепляков под вечер в Девно. Снова ночевал в шатре полковника Енакиева. Во сне видел прошедшее сражение: снилось ему, что сам он участвует в бою — скачет на коне, сшибается саблей с турецкими конниками... Утром проснулся с мучительной головной болью.

Вот он и увидел, какая она, война.

Нет, не только обломки мрамора и древние монеты хранила болгарская земля. Сколько костей было в ней зарыто, сколько крови пролилось на берегах Черного моря, древнего Понта Эвксинского, и на склонах Балкан — со времен вторжения персидского царя Дария и много позднее — в годы турецкого завоевания, при султане Мураде (Амюрате)... И не видно конца кровавым трагедиям... Тепляков напишет потом:

Когда б всей крови, здесь пролитой,
Из дола хлынула струя,
Иль рати, в сих местах побитой,
Извергла кости бы земля —
С тех пор, как Дария дружины
Топтали Фракии долины,
С тех пор, как варваров на римского Орла
За тучей туча находила
И с Амюратова сошедшая чела
Кроваволунной ночи мгла
Богов отчизну омрачила, —
О! верно б груда сих костей
Как новый Гемус возвышалась
И синева морских зыбей
До дна бы кровью напиталась!..

Свидетель сражения под Эски-Арнаутларом, Тепляков в тот день еще не знал, почему все именно так произошло.

Началось с того, что на рассвете 5 мая, в низко нависшем тумане, турецкая конница окружила Эски-Арнаутлар с трех сторон, перерезав дорогу отсюда на восток, в Девно, и дорогу на юго-запад, в Праводы. Как только об этом было донесено генералу Роту, он двинул из Девно два егерских полка. Они атаковали турок, заставив их отступить от дороги, и прошли по ней до Эски-Арнаутлара. К трем часам туда прибыл и сам Рот. Чтобы освободить дорогу дальше, на Праводы, он решил послать вперед Охотский пехотный полк. Генерал-майор Геркен, получив приказ двинуться по дороге с Охотским полком, заявил Роту, что, как известно, силы неприятеля тут значительно превышают силы одного полка и он один не сможет пробиться на Праводы. Однако Рот раздраженно повторил свой приказ.

Охотский полк, состоявший из двух батальонов при двух орудиях, не прошел и нескольких верст, как неприятельская пехота преградила ему путь, справа и слева появились турецкие всадники. Батальоны охотцев остановились и выстроились в каре.

Услышав далекую пальбу, генерал Рот послал на Праводы еще 31-й егерский полк под командой генерал-майора Рындина. В узкой долине среди гор солдатам оказалось негде развернуться, два батальона егерей выстроились в каре позади уже поредевших в бою каре Охотского полка. Турки вели огонь из двенадцати орудий. Неприятельская конница ворвалась в ряды егерей, тесня их к краю дороги, к оврагу. Еще тяжелее пришлось Охотскому полку. Началась резня, которую Тепляков видел своими глазами.

Но и тогда генерал Рот не пошел на выручку со всеми силами, которыми он располагал в Эски-Арнаутларе (здесь было собрано еще пять полков: 32-й егерский, Якутский, Селенгинский и два казачьих). Рот направил к месту сражения один батальон 32-го егерского, затем еще батальон Якутского полка.

К этому времени конники великого визиря уже решили, что сражение выиграно, спешились, разбрелись и принялись грабить убитых. И тут-то командир 32-го егерского полковник Лишин бросил в штыковую атаку свой батальон. Этим внезапным и решительным ударом он спас Охотский и 31-й егерский полки от окончательного истребления. Противник отступил в замешательстве. Бой длился до наступления темноты. Поражение обернулось победой, но как дорого она обошлась! Генерал Купреянов рассказывал потом, что в Охотском полку осталось в живых только двадцать два человека.

На другой день, 6 мая, Рот послал адъютанта с рапортом к командующему армией графу Дибичу. Он рапортовал, что пять полков под Эски-Арнаутларом выдержали многократные атаки всех сил великого визиря, что потери русских составляют пятьсот человек убитыми, а потери турок — две тысячи. Он утаил тот позорный факт, что по его вине Охотский и 31-й егерский полки оказались разбиты поодиночке.

Оставшийся в живых генерал Геркен послал рапорт в Петербург — через военного министра — на имя царя. Он обвинил генерала Рота в том, что Охотский полк был им послан под Эски-Арнаутларом на явную и бесполезную смерть.

Месяцем позже военный министр писал Дибичу, что распоряжения Рота 5 мая под Эски-Арнаутларом «ни в каком отношении не могут быть оправданы, и очень важное обвинение, адресованное после этого сражения прямо государю одним из подчиненных генералов, заставляет меня опасаться, что тут кроется что-нибудь очень важное и что это может быть разъяснено только на месте. Только государь может сообщить Вам фамилию этого генерала и приказать Вам, как Вы должны поступить с ним; могу только сказать, что, представляя это донесение государю, я не преминул выразить ему всю гнусность этого поступка, который я нахожу вне всякого порядка и дисциплины, даже в случае, если все в нем сказанное правда... Я прошу Вас, дорогой граф, все это хранить в полном секрете, пока государь не известит Вас сам, что не замедлит быть в скором времени».

Вот так: не поступок Рота, пославшего солдат на бесполезную смерть, назывался гнусным, а поступок Геркена, до глубины души возмущенного тупостью Рота как командира.

Дибич написал царю: «Поведение генерала Г. тем более позорно, что оно могло быть лишь последствием выговора, данного ему генералом Ротом за то, что он опоздал к делу 5-го числа, и за противные дисциплине выражения, произнесенные им при этом случае». Геркен оказывался виновен в том, что «опоздал» там, где вообще его не следовало посылать с одним полком, и, главное, в нарушении субординации. Напрасно загубленная жизнь солдат меньше беспокоила Дибича, военного министра и самого царя, нежели «противные дисциплине выражения». Кстати, царь знал (и написал о том Дибичу): «...характер Рота таков, что его все терпеть не могут». Тем не менее Роту все простилось, а генерал Геркен был разжалован и посажен на год в крепость.

На братской могиле русских солдат, убитых под Эски-Арнаутларом, поставили большой крест. В том же месяце мае, на месте сражения — в лощине зацвели над весенней травой красные тюльпаны.

И, как реквием погибшим, осталась в русской словесности элегия Виктора Теплякова «Эски-Арнаутлар»:

Наш храбрый полк, несметный враг
Твою твердыню бил стальную —
И, не попятясь ни на шаг,
Ты весь погиб за честь родную!
Но доблесть храбрых не умрет:
Ее товарищ их походный,
Какой-нибудь старик безродный,
Порою зимних непогод,
В лачуге русской воспоет!

Оставив Эски-Арнаутлар, Тепляков, по дороге к Варне, обогнал огромные фургоны — в них везли раненых, встретил военные обозы,

но мирных жителей почти не видел. «Кое-где только, — записал он, — согбенные нуждой, томимые голодом, блуждают толпы болгар вкруг пепла разоренных лачуг своих».

Утром 10 мая он въехал в ворота Варны.

Вот знакомая улица, дом, сад, лесенка на галерею... Но что это? В его комнате — свежепобеленные стены, множество цветов, рассыпанных на столе, на полу... Он был взволнован, растроган. Впорхнула Деспина, он встретил ее заготовленной заранее турецкой фразой: «Сабах хаир гюзель кызым!» («Доброе утро, красивая девушка!»). И тут выяснилось, что комната украшена вовсе не ради его ожидаемого приезда. Его уже сочли убитым где-нибудь на дороге, а комнату украсили к свадьбе: тетушка Деспины только что вышла замуж за приезжего армянина, и торжество Гименея совершилось именно в этих стенах. «Я стиснул кулак и топнул ногою, — признаётся Виктор Тепляков в письме к брату, — потом засмеялся... и отправился к генералу Головину на целый день божий».

Генерал передал ему полдюжины почтовых пакетов, один из них — от Бларамберга. Тот извещал о прибытии по морю в Одессу из Варны обломков мрамора с барельефами и древними надписями, поздравлял с первым успехом.

Теперь Тепляков решил, не откладывая, отплыть на попутном корабле в Сизополь. Этот городок на южном берегу Бургасского залива был занят русскими войсками — десантом с моря — еще в феврале.

Из Варны Тепляков отплыл 12 мая. Часть своих вещей, книги, шкатулку и еще не отосланные обломки древних мраморов оставил в Варне, у адъютанта генерала Головина.

Вот и Сизополь. Домики тесно жмутся у берега. В море покачиваются рыбачьи лодки. На мысу ветряные мельницы медленно вращают деревянными крыльями.

Здесь Тепляков сошел на берег.

Неделю спустя командующий русским отрядом в Сизополе генерал Понсет послал Воронцову весьма ироническое письмо: «Ваше сиятельство! Великий человек, Бларамберг, прислал по Вашему повелению очень любезного господина, который занимается здесь разглядыванием молодых гречанок и находит очень мало древностей. Я сам сделался нумизматом и плачу дороже, чем он; за это он мстит мне, разломав стену, на которой, по его мнению, должны обнаружиться письмена...»

В числе прочего Тепляков приобрел в Сизополе две прекрасные древнегреческие вазы — и тоже отправил в Одессу.

В июне на болгарские берега Черного моря пришла чума.

Быстро опустела Варна: и жители, и войска покинули зараженный город. Адъютант генерала Головина поручик Муравьев послал Теплякову письмо:

«Наконец есть случай писать к Вам, но все еще не отправлять шкатулку, ибо мы не решаемся вверить оную купцу, и лучше

дождусь, когда пойдут отсюда казенные транспорты, хотя это пройдет еще целую неделю. Камни и книги к Вам доставить можно, но вещей никаких, и все они предадутся сожжению; у нас здесь ад земной, и Вы хорошо делаете, что сюда не заезжаете, все умирают, и мы только ожидаем своей очереди.

...Варна опустела, мы все стоим лагерем около нее, и мертвые, и живые.

...Прощайте, почтеннейший Виктор Григорьевич, желаю Вам больше нашего быть уверенным в существовании».

Но вторглась чума и в Сизополь, все русские офицеры и солдаты переведены были из города в военный лагерь.

Теплякову предоставил место в своей палатке генерал Свободский. 9 июля Тепляков писал брату: «Здесь царство смерти. Спереди — война, сзади — зараза; справа и слева — огражденное карантинами море. Дни наши — суть беспрерывные похороны; наши ночи — ежечасные тревоги, возбуждаемые Абдерахманом-пашой, коего силы, состоящие, по уверению пленных, из 18 000 воинов, расположены в 6 верстах отсюда».

Но вот 11 июля русские войска высадились на северном берегу Бургасского залива, с боем заняли городки Месемврúю и Анхиалó. «Это бессмертное событие избавило, между прочим, и меня от чумного Сизополя, — записал Тепляков в путевом дневнике. — Как отрадно было смотреть из палатки на отплытие нашей эскадры к противоположному берегу и вскоре потом — на покрытую пушечным дымом Месемврию! Каждый залп артиллерии отзывался в сердце, как труба ангела, воскресителя мертвых. Через несколько дней, по занятии берегов залива Бургасского, нанял я быстролетный греческий *каик* и отплыл на нем из *неблагополучного города Сизополя,* как было сказано в свидетельстве, выданном мне от генерала Понсета. Генерал Свободский навязал на меня своего переводчика, анхиалота [то есть уроженца Анхиало], скрывавшегося почему-то около 8 лет на чужбине от турецкого ятагана. К этому изгнаннику присоединилось еще с полдесятка его сограждан. Для всех нас на каике почти не было места; некоторые из моих спутников могли быть поражены чумою, но нетерпение облобызать родную землю говорило за них моему сердцу громче всех других соображений. Эта филантропия чуть-чуть не обошлась мне, впрочем, довольно дорого, ибо отягченный людьми каик выставлялся из воды едва ли не на одну только четверть, а поднявшийся в то же время противный северный ветер кружил, приподнимал и забрасывал его волнами. Только к вечеру усмирилось море. Очень поздно вышел я в Анхиало на берег и потому был принужден провести весь остаток ночи в беседе с русскими часовыми, не хотевшими впустить меня в город без медицинского разрешения. Это разрешение последовало лишь на рассвете».

Тепляков покинул Сизополь вовремя, это его спасло. Понсет и Свободский вскоре заразились чумой, а заболевшим не было никакого спасения.

При первой возможности отплыл Тепляков из Анхиало в Одессу.

Уже и думать не приходилось о том, чтобы высадиться на берег у Кюстенджи (на полпути между Варной и устьем Дуная) ради поисков гробницы Овидия.

Глава третья

Я родился простым зерном,
Был заживо зарыт в могилу,
Но бог весны своим лучом
Мне возвратил и жизнь и силу.
И долговязой коноплей
Покинул я земное недро,
И был испытан я судьбой...

В. А. Жуковский (1831)

Граф Воронцов был весьма доволен многочисленными приобретениями одесского музея: древними барельефами, медалями и монетами, доставленными Тепляковым из Болгарии. Поэтому не стал прогонять его из Одессы, хотя и не мог дать ему официального разрешения жить здесь: указанное для Теплякова самим царем ограничение на жительство («только не в Одессе») отменено не было.

Так что Виктор Тепляков остался в Одессе, можно сказать, на птичьих правах. Но два года назад он не то что на птичьих правах, а вовсе без всякого права остался в Дорошихе, когда царь повелел ему быть в Херсоне... Ясно, что и теперь, оставаясь формально чиновником для особых поручений при таганрогском градоначальнике, он и не подумал добровольно возвращаться в Таганрог.

Нашел он себе в Одессе квартирку на Приморском бульваре. Отсюда, с высоты крутого берега, море открывалось широко и просторно. Внизу, прямо напротив дома, где жил он теперь, стоял на якоре сторожевой корабль. На утренней и вечерней заре с этого корабля слышался пушечный выстрел, а в остальное время лишь тихий шум моря долетал до окон домов на бульваре.

Здесь написал Тепляков элегию «Возвращение». После всего пережитого за последние четыре года он к тихой спокойной жизни вовсе не стремился, нет! Напротив, его удручало затишье:

Окончен путь; мой крепкий сон
Уж бранный шум не возмущает;
Штыки не блещут вкруг знамен;
Фитиль над пушкой не сверкает.
Редут не пышет, как волкан,
И огнь его ночной туман
Ядром свистящим не пронзает,
И ярким заревом гранат
Эвксина волны не горят.
И что ж, в глуши ли молчаливой
Теперь промчится жизнь моя,
Как разгруженная ладья,
Качаясь в море без прилива?
Нет, други, нет! я посох свой
Еще пенатам не вручаю;
Сижу на бреге — и душой
Попутный ветер призываю!

Но откуда можно ждать попутного ветра?

В газетах он мог прочесть о подписании мира в турецком городе Адрианополе (в *Единополе,* как называли его русские солдаты). Война окончилась. Турция признала свое поражение, согласилась открыть проливы — Дарданеллы и Босфор — для торговых кораблей всех стран. Греция обретала независимость от султана, Россия прочно заняла восточный берег Черного моря. Однако с западного берега русские войска ушли. Можно сказать, что не турецкие войска, а чума заставила победителей уйти оттуда. «Заразе, нередко угрожавшей южному краю России, положены сугубые преграды учреждением по обоюдному соглашению карантинной службы на Дунае» — так сказано было в царском манифесте 19 сентября.

Минувшая война была еще у всех в памяти, и Виктор Тепляков подумал о том, что его письма из Болгарии, если их напечатать, могут привлечь интерес читающей публики. Брат Алексей, отправляясь из Москвы в Петербург, взял с собой первое из писем — для того, чтобы предложить его «Литературной газете», издаваемой поэтом Дельвигом при непосредственном участии Пушкина.

И сразу — удача! Первое «Письмо из Варны» Виктора Теплякова было напечатано 26 января 1830 года, сопровожденное редакционным примечанием: «Откровенный рассказ, живой слог, поэтический взгляд на предметы и веселое равнодушие в тех случаях, где судьба была неприветлива к сочинителю, — вот отличительный характер его писем, которые, без сомнения, понравятся читателям. *Л. газеты».* Примечание появилось без подписи, но вполне возможно, что автором его был Пушкин.

Алексей Тепляков привез с собой в Петербург еще новое стихотворение брата «Странники». В этом стихотворении звучали два голоса, как бы спорившие между собой в душе поэта:

Первый

Блажен, блажен, кто жизни миг крылатый
Своим богам — пенатам посвятил;
Блажен, блажен, кто дым родимой хаты
Дороже роз чужбины оценил!

Второй

Блажен, блажен, кто моря зрел волненье,
Кто божий мир отчизною назвал,
Свой отдал путь на волю провиденья
И воздухом Вселенной подышал!

Эти стихи брат его Алексей предложил в петербургский альманах «Северные цветы», издаваемый также Дельвигом. Стихи были напечатаны, и ближайший помощник Дельвига Орест Сомов написал автору: «Вы удивили и порадовали меня и стихами и прозой, ибо у нас редко кто соединяет дар владеть языком [поэзии и] рассудительной, холодной прозы... Алексей Григорьевич Тепляков взял у меня назначенный для Вас экземпляр «Северных цветов», украшенный прелестным вашим стихотворением «Странники». Пушкин очень хвалит оное, Дельвиг также...»

Отзывом Пушкина Тепляков был, конечно, обрадован и окрылен!

Тогда же, в феврале, познакомился он с еще одним человеком, знавшим Пушкина лично (встречались в Москве у общих знакомых). Это был Михаил Розберг, ровесник Виктора Теплякова, окончивший Московский университет. Он приехал в Одессу и поселился в том же самом доме на Приморском бульваре. Вскоре Тепляков перебрался на другую квартиру, но они продолжали часто видеться. Сблизил их общий интерес к истории и словесности.

Розберг получил место редактора газеты «Одесский вестник». Как видно, истинного удовлетворения должность эта ему не доставляла. Он жаловался в одном письме, что круг людей, с которыми можно встречаться в Одессе, узок, что видеть беспрестанно одних и тех же — «наконец становится незанимательно», но ничего не поделаешь: в Одессе «главное удовольствие состоит в том, чтобы вместе поскучать».

В начале лета он поехал в Москву. В Москве узнал, что Пушкин снова здесь, и решился к нему зайти. В письме Виктору Теплякову — 8 июня — Розберг рассказывал, что накануне был у Пушкина и тот «долго расспрашивал об Одессе, о вас, когда узнал, что мы знакомы и жили в одном доме».

Пушкин расспрашивал о нем!

Еще в октябре минувшего 1829 года Воронцов послал секретное письмо военному министру с просьбой исходатайствовать у царя «прощение прежним проступкам Теплякова и всемилостивейше наградить за ревностное усердие его к службе и отличное исполнение сделанных ему поручений». В начале нового, 1830 года пришел ответ: «Его императорское величество соизволил предоставить Вашему сиятельству объявить высочайшее благоволение г. Теплякову за похвальную его службу — на исключение же штрафа из формулярного его списка не последовало высочайшего соизволения».

Высочайшее благоволение Воронцов объявил Теплякову официальным письмом. В Таганрог не выпроваживал. Но и выехать из Одессы без разрешения генерал-губернатора Тепляков не имел права. Объявленное высочайшее благоволение вовсе не означало, что теперь он может место жительства выбирать себе сам.

В августе он обрадовался возможности посетить Крым: кто-то, вероятно, его туда пригласил, а Воронцов не препятствовал, слава богу. На борту колесного парохода Тепляков отплыл в Евпаторию. Потом рассказывал в письме к одному из одесских знакомых: «... холодное оцепенение моего сердца, усыпленное годовым однообразием предметов, исчезло вместе с первыми брызгами воды, зашипевшей под колесами моего парохода. Грудь моя вздохнула свободнее... Я долго стоял на палубе и безмолвно любовался то исчезающей панорамою Одессы, то ясною синевою моря...» До Евпатории пароход шел целые сутки.

Сойдя на берег в Евпатории, Тепляков двинулся дальше — на

верховой лошади в Симферополь. Ехал по степной пыльной дороге, встречая скрипучие арбы и неторопливых верблюдов, а по сторонам — стада овец, табуны лошадей, сады, пашни. Эта дорога заняла еще целый день. При закатном солнце, запыленный, донимаемый зноем и жаждой, он увидел домики среди пирамидальных тополей — Симферополь — и лиловую гряду гор вдали.

Ночевал в жалкой гостинице, утром отправился дальше — через Бахчисарай и Байдары — на южный берег Крыма, в Алупку.

Рядом с Алупкой, над морем, буйная дикая растительность уже превращалась в роскошный сад графа Воронцова, здесь уже строился его будущий дворец. Воронцов дал распоряжение таврическому губернатору Казначееву продавать незанятые участки вдоль морского берега. Тот, кто приобретал участок, обязывался развести виноградник. Желающих оказалось более чем достаточно.

Проведя два месяца среди райской природы южного берега Крыма, Тепляков увлекся идеей поселиться там и написал письмо Казначееву с просьбой выделить ему участок, причем сам определил местность, где хотел бы поселиться: Магарач. Казначеев ответил: «...дорога по Магарачу еще не начертана, и, следовательно, участки еще не определены, несмотря на все мои настояния». Прочие приморские участки «уже назначены в присутствии графа, и переменить их назначение трудно».

Так что идея поселиться в крымском раю вспыхнула и погасла. Возможно, Тепляков и не был особенно огорчен.

Осенью он получил официальное разрешение проживать в Одессе и был назначен чиновником для особых поручений при генерал-губернаторе. Однако никаких новых поручений Воронцов ему не давал.

Он задумал создать большой поэтический цикл — «Фракийские элегии». Фракию он воспринимал не в современных, а в ее древних пределах — не как юго-восточный угол Балканского полуострова, а как страну от Мраморного моря до устья Дуная.

Многие строки элегий родились у него еще во время путешествия в Болгарию, но лишь теперь они обретали завершенность под его пером.

«Первую фракийскую элегию» он отослал Сомову для «Северных цветов на 1831 год». Вторую отдал в подготовленный к печати «Одесский альманах». Первая рисовала отплытие из Одессы и прощание поэта с родными берегами — в духе Байрона, его «Паломничества Чайльд Гарольда». Во второй возникал смутный образ Овидия, поэта-изгнанника, могилу которого он, Тепляков, собирался было разыскивать у черноморских берегов. Казалось, его собственная судьба в чем-то повторяет судьбу Овидия, и тот мог бы сказать ему:

Подобно мне, ты сир и одинок меж всех
И знаешь сам хлад жизни без отрады,
Огнь сердца без тепла, и без веселья смех,
И плач без слез, и слезы без услады!

Орест Сомов писал ему из Петербурга: «Пушкин, князь Вязем-

ский, барон Дельвиг и Зайцевский [тоже поэт] Вам кланяются: все они называют Вас своим знакомцем по чувствам и таланту».

Воодушевленный такими отзывами, Виктор Тепляков согласился на предложение брата Алексея издать отдельный сборник стихотворений. Ради этого поехал осенью (конечно, с разрешения Воронцова) в Москву.

В сборник он дал три десятка стихотворений. Но самое удачное — «Фракийские элегии» — не включил. Может быть, потому, что задуманный цикл еще завершен не был.

Занятый в Москве хлопотами по изданию сборника, он все откладывал возвращение в Одессу. Получил оттуда два письма, такие разные... «Одесса все по-прежнему однообразна и скучна», — сетовал в письме Розберг. А знакомая молодая дама, разошедшаяся с мужем-генералом, написала: «Мы очень веселимся в Одессе; я принимаю раз в неделю, танцуем до 5 часов утра. Я вижу отсюда вашу улыбку сожаления над таким удовольствием, но наконец у каждого свои удовольствия, а эти по крайней мере невинны... Отлично знаю, что наш добрый город Одесса имеет несчастие вам не нравиться».

В начале весны 1932 года сборник стихотворений Виктора Теплякова наконец вышел в свет.

Очень скоро стал очевидным неуспех книжки. Винить ли было критиков и читателей в равнодушии или непонимании? Честно говоря, далеко не все было удачно в этом сборнике, многое звучало тяжеловесно и невнятно...

Кажется, с бóльшим интересом были приняты читателями его опыты в жанре эпистолярной прозы — письма из Болгарии... Может быть, стоит собрать их и попытаться выпустить отдельной книгой? Брат обещал всяческое содействие.

Виктор Тепляков вернулся в Одессу.

Осенью он отвел душу в новой своей элегии «Одиночество»:

Мне грустно! догорел камин трескучий мой;
Последний красный блеск над угольями вьется...

Мы не знаем имени женщины, которой он увлекся тогда. Но не получилось в его жизни так, как в мифе о Пигмалионе и Галатее: не зажглось сердце в мраморе от прикосновения резца скульптора... И уже с горечью написал поэт стихотворение «Галатея»:

Кто ж мне жизнию повеет,
Райский бред осуществит;
Лед сердечный разогреет,
Зной душевный прохладит? —
Мрамор надобен мне чистый;
Живо творческий резец
Воплотит мечту Артиста,
Упоение сердец!
И любовь своим дыханьем
Сердце в мраморе зажжет,
И в нее живым лобзаньем
Душу дивную вдохнет...
Но напрасно я питаю

День и ночь свою мечту —
Изо льда ли изваяю
Галатеи красоту!

Какие, при всей их горечи, певучие получились строчки: «Изо льда ли изваяю Галатеи...»

Брат Алексей напоминал из Москвы о планах издать письма из Болгарии отдельной книгой. Виктор Тепляков отвечал:

«Вы спрашиваете о турецких письмах! Гм! Они на мази, на ходу, мой почтеннейший!.. Первый том кончен и находится в руках переписчика... Обжегшись однажды на проклятых стихотворениях, что за радость задохнуться от угара нашей *винегретной* прозы? — Таковы должны быть об этой статье Ваши мысли... Скажите также без всяких обиняков, прислать Вам рукопись или нет?..

Я почти никуда не выхожу, никого не принимаю. Элегии покамест умерли и *богу весть*, когда воскреснут. Второй том писем, если не засну без просыпу, надеюсь кончить к весне».

Одесский «свет» его тяготил. Он не любил балы, великосветские приемы, не любил кичащихся своим чином, титулом, властью. Писал брату: «Я в минувшее время почитал всех мертво-живых Помпеев общества именно тем, что алгебра называет, кажется, *отрицательным* количеством. Теперь — что мне до сих вампиров!» Собственно, о том же он писал брату еще из Болгарии (к сожалению, письма из Болгарии нам известны лишь в том виде, в каком они вошли в его книгу): «...в раззолоченной петербургской гостиной я бывал гостем столь же несносным, как и всякий другой, и признаться ли Вам, что перед ярким бивачным огнем, под занавескою открытого неба, или даже один в своих огромных, с загнутою спинкою креслах (разумеется, не здесь, а в Одессе), я чувствую себя тысячу и один раз умнее и довольнее целым светом, нежели в толпе блистательных *ягу* (Вы, конечно, помните последнее гулливерово странствие), представителей его и моих глупостей. Что, в самом деле, мне, страннику из племени *простосердечных*, подобно гурону фернейского краснобая [то есть Вольтера, написавшего повесть «Простосердечный»], — что мне, говорю я, до ваших князей А. Б. В., до графов Г. Д. Е., до генералов Ж. З. И.!»

Однако именно от них, власть имущих, зависело, как сложится его судьба.

Это самое письмо свое включил он в книгу «Писем из Болгарии» не в том виде, в каком написалось оно «перед ярким бивачным огнем». Так, «один, в своих огромных, с загнутою спинкою креслах (разумеется, не здесь, а в Одессе)» — вставлено позднее: до отплытия в Варну не было у него в Одессе ни своего угла, ни, тем паче, никаких кресел. А презрительное перечисление по буквам алфавита князей, графов и генералов, возможно, пришлось автору как-то выправить, дабы, например, не оказалось в перечислении графа В. (Воронцов такого упоминания не простил бы!).

Книга «Письма из Болгарии», благодаря попечениям брата, вышла из печати к осени 1833 года в Москве. Вероятно, был это, по замыслу, лишь первый из двух томов, так как вошли в него письма из Варны, Гебеджи, Девно и Правод и не вошли более поздние письма из Сизополя и Анхиало. Второй же том мог вызвать возражения цензуры: тяжелые картины чумы в военном лагере под Сизополем могли быть сочтены неуместными и нежелательными на печатных страницах.

Мы не знаем, то ли эта книга, то ли стихи Виктора Теплякова обратили на него благосклонное внимание жены графа Воронцова, Елизаветы Ксаверьевны (той самой, в которую прежде был влюблен Пушкин). В октябре она дважды присылала Теплякову приглашения в генерал-губернаторский дворец: один раз — на обед, другой раз — на прием в честь турецкого посла. Конечно, Тепляков оказывался там лишь одним из многочисленных гостей, но все же внимание графини Воронцовой было благодетельным (и впоследствии он с признательностью вспоминал о ней).

Воронцов переслал экземпляр «Писем из Болгарии» в Петербург, военному министру — для преподнесения императору от имени автора. Можно предположить, что это было идеей Елизаветы Ксаверьевны: она понимала, что, если книга обратит на себя высочайшее внимание, это может оказать автору лучшую протекцию.

Он же мечтал, что его снова пошлют в какое-нибудь путешествие, может быть в Константинополь... Черт возьми, без протекции никак было не обойтись.

И еще одна знатная одесская дама отнеслась к Теплякову с особенным сочувствием — графиня Роксандра Скарлатовна Эдлинг.

Ей было сорок семь лет. В молодости она была фрейлиной жены императора Александра I, замуж вышла поздно, детей у нее не было. Отец ее был молдаванин, мать — гречанка, муж — то ли немец, то ли голландец, родиной своей она считала Грецию, бóльшую часть жизни провела в России, родным же языком ее был французский. Она была умна, интересна, устраивала у себя дома званые вечера по четвергам.

Возможно, она уже тогда рассказывала друзьям о том, о чем писала в воспоминаниях. По ее словам, Александр I, которого она хорошо знала лично, понимал необходимость отмены или хотя бы ограничения крепостного права в России: «Александр был проникнут этой великой задачей, но его ужасала мысль об опасностях, которые могли постигнуть его родину от преобразования столь необходимого». Думается, графиня Эдлинг не совсем верно оценивала императора Александра (был он, говоря словами Пушкина, «властитель слабый и лукавый», — графиня Эдлинг знала, что он слаб, и не предполагала, что он лукав). Но она сознавала необходимость преобразований в России — значит, должна была сочувствовать замыслам декабристов. Так же, как сочувствовал им Виктор Тепляков. При близком знакомстве он угадал в этой женщине родственную душу.

Она очень скоро стала ему верным другом и всячески старалась ему помочь.

Ее одесский дом находился на углу Театрального переулка и Екатерининской. На той же улице жил ее брат, человек весьма консервативный, бывший чиновник министерства иностранных дел и давний друг управляющего Азиатским департаментом того же министерства, старого грека Родофиникина. Через брата графиня Эдлинг намерена была достать Теплякову рекомендательные письма...

В начале апреля 1834 года, с наступлением теплых дней, она уехала в свое имение Манзырь в Бессарабии. Оттуда в конце месяца прислала Виктору Теплякову письмо (по-французски, конечно, так что привожу его в переводе): «К Вам, кажется, можно применить поговорку об отсутствующих: с глаз долой — из сердца вон: Вы не только не приехали ко мне, как я надеялась, но даже не писали, как обещали. Все же, я думаю, в один прекрасный день Вы вспомните меня, теперь же посылаю рекомендательное письмо для Константинополя... Но уедете ли Вы? Я в этом совсем не уверена, зная, как несчастлива ваша звезда».

Он тоже не был уверен. И отчаянно досадовал, что время проходит в пустых ожиданиях. Завел себе палку с надписью: «memento mori» — «помни о смерти». Для него эта надпись, конечно, означала: «надо спешить жить!»

В Одессе жила тогда племянница всеми почитаемого поэта Василия Андреевича Жуковского, Анна Петровна Зонтаг, ее муж был начальником одесского порта. Она переслала дядюшке в Петербург два экземпляра книги Теплякова — с просьбой преподнести их императрице и ее сыну, наследнику. Выполнить эту просьбу Жуковскому было нетрудно, ведь он занимал высокую должность воспитателя царских сыновей.

Но не мог ли автор книги показаться навязчивым? Один экземпляр «Писем из Болгарии» — императору, другой — императрице, третий — наследнику... Нет, как видно, неудобным это не считалось. Жуковский передал два полученных им экземпляра по назначению (императрице — через ее личного секретаря).

Но прежде, чем отдать книгу, Жуковский прочел ее сам и послал племяннице Анне Петровне — для Теплякова — такое письмо: «Позвольте принести Вам искреннюю благодарность и за себя: я позавидовал сердечно Вашему подарку, ибо давно уже уважаю Вас как поэта с дарованием необыкновенным и как приятного прозаика, умеющего давать слогом своим прелесть учености. Желаю, чтобы Вы продолжали трудиться с пером в руках и чаще появлялись на сцене литературной. Желаю этого как эгоист, для собственного удовольствия, и как русский, для чести нашей отечественной литературы».

Анна Петровна переслала это письмо Теплякову вместе с запиской: «Посылаю Вам ответ от Жуковского, приходите ко мне на минутку, мне хочется показать Вам то, что он ко мне пишет на Ваш счет». Тепляков, конечно, поспешил зайти в Анне Петровне и прочел в письме Жуковского к ней: «Письмо Ваше и экземпляры книги

Теплякова получил: я давно многие отрывки его читал и всегда с особенным удовольствием. Он поэт и в то же время ученый человек».

Чуть ли не в тот же самый день стало известно, что граф Воронцов получил от императора — для автора книги «Письма из Болгарии» — всемилостивейший подарок: золотые часы с цепочкой.

Более трех лет граф не находил для Теплякова решительно никаких занятий, но теперь сразу нашел. Царская милость немедленно повлияла на его отношение к поэту!

Последовал приказ в канцелярию, и там было составлено, от имени Воронцова, письменное предписание:

«Состоящему в штате моем отставному поручику Теплякову.

Частые кораблекрушения, коим подвергаются купеческие суда, идущие в константинопольский пролив, подали мысль о составлении проекта насчет улучшения воздвигнутых турецким правительством у самого входа в Босфор со стороны Черного моря двух маяков, кои, как отзываются шкипера, не всегда освещаются исправно. Полагают также полезным поставить маяк против мыса ложного Босфора (Карабурну), где разбиваются многие суда.

Желая иметь верные сведения: освещаются ли постоянно маяки у входа в Босфор, со стороны Черного моря находящиеся, а также, каким образом производится сие освещение, — я поручаю вашему благородию отправиться в Константинополь и, по собрании частным образом подробнейших по означенному предмету справок, представить мне оные с вашими замечаниями.

Если представится вам удобный случай посетить Смирну, то вы можете туда поехать для собрания сведений о производящихся там торговых оборотах с Россиею и, удостоверившись, в чем именно оные ныне заключаются, представить мне таковые сведения по возвращении вашем в Одессу. Паспорт для свободного проезда в Константинополь, Смирну и обратно в Одессу у сего прилагается».

В ближайшие дни Воронцов намерен был уехать в Крым, в свое алупкинское имение. Предполагал вернуться в Одессу к середине июля и затем направиться в Петербург. Поэтому Тепляков видел для себя необходимость исполнить поручение и возвратиться из Константинополя до середины июля, чтобы застать Воронцова в Одессе. Надо успеть.

Директор одесской Публичной библиотеки Антонио Спада был добрым знакомым Теплякова и перед его отъездом согласился взять на хранение остающиеся вещи. 30 мая прислал записку: «Только что получил два сундука, запертые и запечатанные; равным образом и скрипку; все это будет тщательно сохранено в святилище Публичной библиотеки...»

Приятели поэта устроили прощальный вечер, это было 1 июня. Растроганные «неизбежными кипучими возлияниями» (по его собственному выражению), проводили его от дома до берега моря. На

рейде стоял на якоре австрийский бриг. Завтра он должен был отплыть в Константинополь.

Ночью, в душной и тесной каюте, возбужденный выпитым вином, Тепляков не мог уснуть. Задремал только на рассвете. Когда проснулся и выскочил на палубу, солнце сияло уже высоко над синевой моря, с ослепительным блеском пенились волны и свежий ветер надувал паруса.

Глава четвертая

Весь мир, вся жизнь загадка для меня,
Которой нет обещанного слова.
Все мнится мне: я накануне дня,
Который жизнь покажет без покрова;
Но настает обетованный день—
И предо мной все та же, та же тень.

П. А. Вяземский

На европейском берегу Босфора, между Константинополем и выходом пролива в Черное море, угнездилось тихое селение Буюк-Дерé. Рядом, на пологом склоне, великолепный сад спускался к набережной и окружал красивое двухэтажное здание — русское посольство.

Из окон посольства открывался вид на синий пролив и на высокий противоположный берег, розовый на закате, сизый — в тени — по утрам.

Повседневная жизнь в посольстве текла размеренно и ровно. С утра не спеша брались за текущие дела. О времени обеда напоминал колокольчик. Под вечер — прогулки по набережной. Позднее, когда стемнеет, — музицирование в гостиной.

Посланник Аполлинарий Петрович Бутенев — худой, со впалыми щеками и почти бесцветными глазами — был человеком чрезвычайно выдержанным, со всеми любезным, осмотрительным, как и следует дипломату. Он любил нерушимый порядок, любил пирамиды бенгальских роз в саду. В делах дипломатических следовал тактике своего начальника, вице-канцлера и министра иностранных дел графа Нессельроде — избегал поспешности, предпочитал выжидание.

Выдержку, неторопливость, безупречную любезность Бутенев ценил и в своих подчиненных.

Его вполне устраивал в должности первого секретаря посольства Владимир Павлович Титов — светский молодой человек, тонкогубый, слегка лысеющий со лба. Титов питал слабость к азиатскому кейфу — блаженству созерцания и покоя. Был он одаренным литератором, иногда печатался в журналах, но только под псевдонимом, не иначе. Самым заметным его сочинением был «Уединенный домик на Васильевском» — записанный Титовым в Петербурге устный рассказ Пушкина. Так что, собственно, сочинил сию таинственную историю Пушкин, Титов лишь изложил ее письменно и опубликовал, получив на то великодушное согласие поэта.

Летом 1832 года Титов, проездом из Москвы в Константинополь, побывал в Одессе и рассказал об этом в письме, посланном уже из Буюк-Дере, московскому другу своему Шевыреву, известному литератору. Написал, что в Одессе «видел А. П. Зонтаг, Розберга и пансионского Виктора Теплякова. Известный в Одессе под названием Виктора Гюго, он, как ты знаешь, пишет посредственные стихи и твердит остроты, не всегда удачные». «Пансионским» Титов именовал Теплякова потому, что знал его еще в Московском университетском пансионе (Титов и Шевырев были двумя годами младше и поступили в пансион, должно быть, позднее; друзьями Теплякову не были ни в пансионе, ни после; как поэта не принимали его всерьез).

В том же письме Шевыреву Титов рассказывал о жизни своей в Буюк-Дере: «Я, грешный, как улитка свернулся снова в самого себя. Вечером из канцеляриста превращаюсь в философа и веду жизнь созерцательную. Отворю настежь окна на пролив, закуриваю трубку сирийского табаку и смотрю на волны Босфора; как нарочно, теперь отражается в них с одной стороны полный месяц, а с другой — зарево пожара. Верный старой привычке, Стамбул горит ежегодно и никогда весь не сгорает».

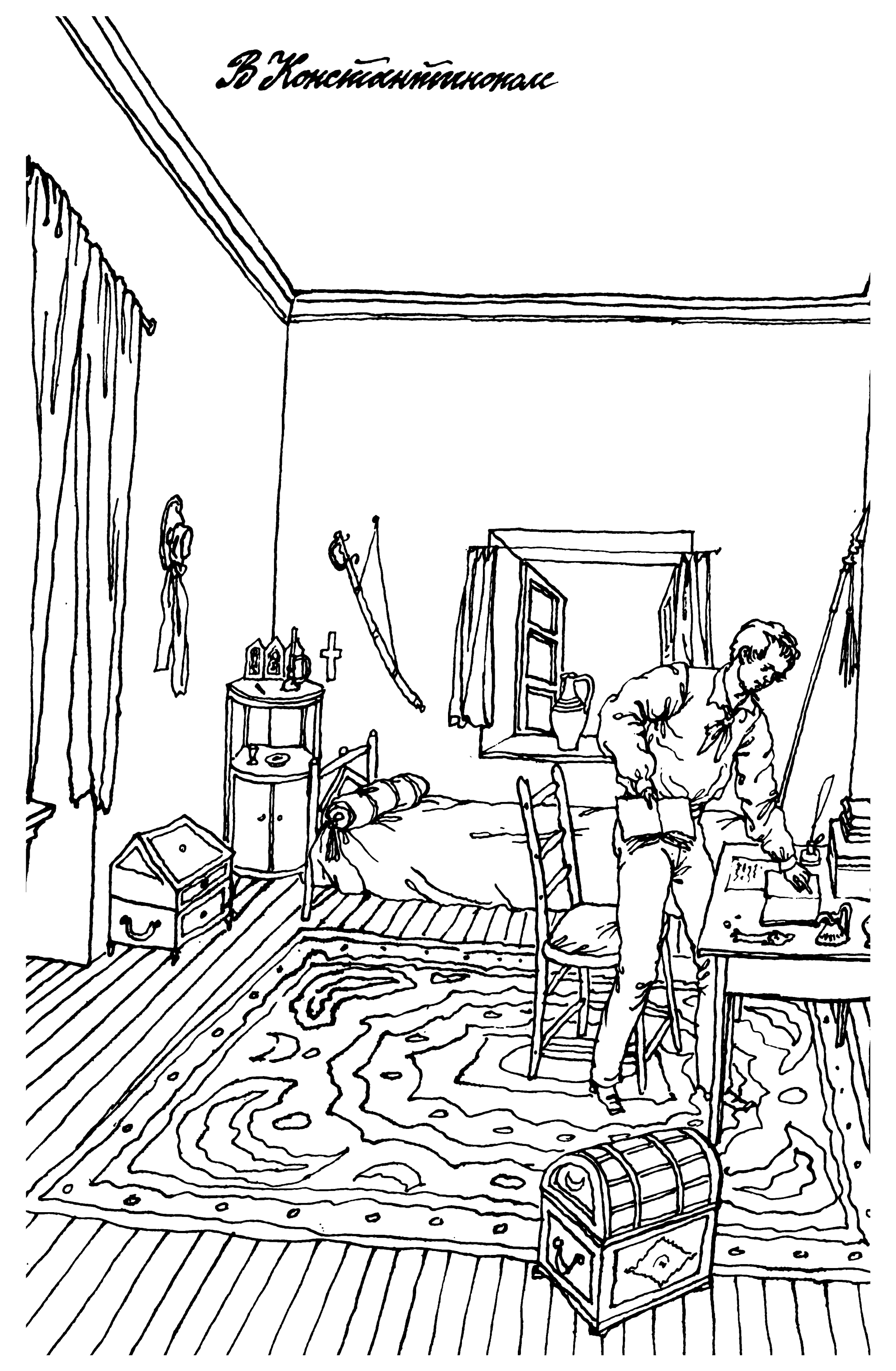
А в июне 1834 года встретился Владимир Титов с Виктором Тепляковым здесь, в Буюк-Дере.

Как и большинство путешествующих, в первый раз Тепляков увидел Константинополь с борта корабля. Бухта Золотой Рог разделяла город надвое: влево — «дивная мозаика Стамбула» (по выражению Теплякова) с монументальным старым дворцом султана Сарай-Бурну, с величественной мечетью Айя-София; вправо — сгрудившиеся в дикой тесноте домики Галаты. Далее, выше в гору, самая благоустроенная часть города — Пера.

Сойдя на берег у входа в бухту Золотой Рог, он должен был миновать Галату и выехать на главную улицу Перы, где ему рекомендовали гостиницу.

На этой главной улице толкотня была невообразимая, встречные экипажи цеплялись колесами — не проехать, верховые криками заставляли толпу уступать дорогу, погонщики вели навьюченных ослов. Дома здесь были в два и в три этажа, и верхние этажи выступали над нижними, образуя как бы навес над улицей. В пестрой разноязыкой толпе все были одеты по-разному, по-своему — турки, греки, армяне. Из открытых настежь дверей кофеен веяло ароматом кофе, а рядом несло зловонием — давал о себе знать рыбный рынок, балык-базар. Еще дальше, в новых богатых кварталах, главная улица становилась шире. За последними городскими строениями, мимо армянского кладбища, издали похожего на кипарисовую рощу, дорога вела в Буюк-Дере. А вправо другая дорога спускалась к берегу Босфора и новому дворцу султана Долма-Бахче́.

Незнакомый шумный город, где все было для него так ново, заинтересовал необычайно, и Тепляков сразу пожалел, что приехал


В Константинополе

сюда с кратковременной миссией. Вот если бы его определили здесь на службу в русское посольство...

Посланника он не застал на месте: Бутенев уехал в отпуск, в Россию. В посольстве отнеслись к Теплякову равнодушно, ему даже не предложили остановиться в одном из флигелей дома в Буюк-Дере, где жили посольские служащие. Титов прислал записку: «Согласно желанию Вашему, я посылал расспросить о квартире. Удобнее всего будет для Вас, я думаю, поселиться в здешней локанде под фирмою *A. Гami.* Оттуда Вы будете иметь приятный вид на пролив, притом можете иметь там же готовый стол. Если Вы найдете для себя достаточною одну комнату, то будете платить в сутки 5 пиастров, а если две, то 10; по здешним ценам это весьма дешево».

Тепляков тогда же послал письма к Антонио Спада и графине Эдлинг. Ответное письмо Спада пришло примерно через месяц: «Все Ваши подробные описания Константинополя, милостивый государь, чрезвычайно заинтересовали меня... Продолжайте Ваши прелестные рассказы об остатках древней Византии; рисуйте османлисов с той энергией, которая Вам так свойственна». Спада уверял, что спешить с возвращением в Одессу нет смысла: «ваше скорое возвращение может показаться поступком несвоевременным» — если собранные сведения окажутся недостаточными...

Да, с возвращением можно было не спешить.

Собрать нужные сведения о маяках при входе в Босфор, вероятно, было не так-то просто. Но он их собрал и написал необходимый отчет.

Кроме того, в прогулках по огромному городу, таившему для него загадки, подобно нескончаемым сказкам тысячи и одной ночи, он с увлечением изучал памятники старины, искал следы древней Византии. Начинал овладевать турецким языком.

Еще в своих «Письмах из Болгарии» Тепляков признавался: «Мой ум был всегда, подобно Стернову, каким-то странствующим рыцарем, которому плоть моя служила только смиренным оруженосцем». И подобно Стерну, замечательному писателю XVIII столетия, автору книги «Сентиментальное путешествие», Виктор Тепляков был тогда еще тоже путешественником *сентиментальным...*

В Константинополе он застрял на два месяца. Поселился было в Буюк-Дере (должно быть, по адресу, подсказанному Титовым), но скоро предпочел перебраться обратно, в шумную Перу, ибо все его интересы, все увлечения были там, в кипучей турецкой столице, а не здесь, в чинном дипломатическом уединении Буюк-Дере.

В адрес посольства пришло для него письмо от графини Эдлинг. «Я получила Ваше письмо из Константинополя, — писала она, — за которое тысячу раз благодарю. Оно пробудило во мне тоску по родине. Я очень рада, что Вы не ошиблись в своем ожидании и наслаждаетесь одной из тех хороших минут в жизни, которые есть *отдых божественный*, а он помогает нам легче сносить горести, неизбежные в нашем существовании». Сообщив о предстоящем в конце лета отъезде Воронцова в Петербург, она далее написала:

«Я убеждена, что его сношения с графом Нессельроде легко доставят ему случай помочь Вашему определению в константинопольскую миссию, и, зная его любезность, не сомневаюсь, что, если Вы к нему обратитесь, он для Вас это сделает. Тогда под шум волн Босфора Ваша фантазия доставит Вам наслаждение, достойное Вашего таланта... Будьте уверены в преданности, которую я питаю именно к Вам, потому что рассчитываю, что найду в Вас то, что так редко можно встретить в людях, а именно: прямоту, доброту, таланты и правдивость».

Теплякову предстояло еще путешествие в Смирну. Он загорелся желанием пропутешествовать дальше — через Эгейское море в Афины... Оказалось, это можно устроить без особых затруднений, и в русском посольстве в Буюк-Дере пошли ему навстречу — выписали паспорт для поездки в Грецию.

В письме к брату Алексею Виктор Тепляков рассказывал с воодушевлением: «...французская бомбарда *Адель* приняла меня на свою палубу, и около полудня невообразимая Византия утонула уже передо мною со всей роскошью своих домов, куполов, минаретов в голубых волнах Пропонтиды» (то есть Мраморного моря).

Вечером, уже в Дарданеллах, как вспоминал он впоследствии, горы по обеим сторонам пролива «потянулись полосатыми склонами к обагренному вечерним огнем мысу, на котором пестреют дома, сады и мечети Галлиполи; не забыть ни широких пенистых волн, ни трепетавших между снастей звезд...».

Путь по морю вдоль гористых берегов Малой Азии, при постоянной зависимости от попутного ветра, оказался долгим, и лишь через двенадцать дней плавания Тепляков смог выйти на берег в Смирне. Здесь он должен был, по его словам, «преобразиться из небрежного скитальца в чопорного, притязательного европейца, извлечь из чемодана свою парадную амуницию, делать и принимать посещения».

В Смирне существовало русское консульство, там, вероятно, могли сообщить ему сведения о торговле — те, что затребовал Воронцов. В окрестностях Смирны благоухали в садах лимонные и апельсиновые деревья, по дорогам верблюды позвякивали колокольцами...

Как раз в те жаркие августовские дни, когда Виктор Тепляков был в Смирне, ему исполнилось тридцать лет. Молодость осталась за плечами. Но его надежды, казалось, только начали исполняться.

Впереди была Греция, вдохновлявшая Байрона, страна древней культуры, уцелевшей в развалинах, но тем не менее прекрасной.

Всего несколько лет назад, в освободительной войне, Греция добилась независимости от султана. Однако по настоянию европейских монархов, с которыми Греция вынуждена была считаться, королем ее был поставлен молодой баварский принц.

Столица молодого государства, Афины, едва начинала возрождаться к жизни. У подножья холмов теснились домики с плоскими крышами, стены их обмазывали глиной и белили известью. Весной

на немощеных улочках, у плетней, паслись козы, летом скудная зелень выгорала на солнце, под ногами клубилась пыль.

Временно король обосновался в Навплии, еще меньшем городке близ Афин. Королевским дворцом именовали здесь темно-серый, внешне ничем не примечательный дом, в пять окон по фасаду. Русское посольство занимало дом напротив.

Когда Тепляков прибыл в Навплию, русский посланник в Греции Катакази устроил ему высочайшую аудиенцию. В посольстве дали Теплякову дипломатический мундир, и, переодевшись, он вместе с посланником направился во дворец. Здесь посланник представил королю Теплякова как русского дипломата. Разговор получился несущественным: король расспрашивал Теплякова о Константинополе, об Одессе и об одесских греках, посланника — о его семействе. Запомнился тронный зал, обтянутый по стенам малиновым сукном, и ярко одетый король — в светло-синем мундире с красным, шитым серебром воротником и серебряными эполетами.

Тепляков хотел совершить хотя бы небольшое путешествие по Греции, от Афин до Коринфа, и легко получил разрешение и паспорт.

Путь до Коринфа верхом на лошади занимал более суток, так что на полдороге приходилось останавливаться на ночлег.

Стоял октябрь, но было еще совсем тепло, зеленели оливковые рощи, на склонах гор паслись овцы, и только редкие пашни чернели по-осеннему — хлеб уже был убран.

Коринф, оказалось, особенно пострадал во время минувшей войны. «Это развалины на развалинах, — записал в дневнике Тепляков. — ...Коринф представляет деревню, лишенную жителей, неживую, опустошенную, словно после разбойничьего нашествия или гибельного землетрясения. Сердцу больно».

К вечеру над горами и морем сгустился туман, начал накрапывать дождь. Ночевал Тепляков в полуразрушенной гостинице, где в окнах не было стекол и заменяла стекла бумага (как тут было не вспомнить дом, в котором он жил в Варне).

Наутро проводник повел его на гору Акрокоринф. Сквозь туман пробилось солнце, после дождя свежо пахло листвой, щебетали птицы...

В Афины Тепляков вернулся через два дня. Он принялся с жаром осматривать и изучать афинские древности. «Я был ослеплен этими чудесами», — записал он в дневнике после того, как в первый раз поднялся на холм Акрополис и увидел древние руины: Пропилеи, Парфенон, Эрехтейон. Красота мраморных развалин казалась особенно поразительной в лучах заката и в лунном сиянии.

Наступил ноябрь. Пора было думать о возвращении в Константинополь и в Одессу. Тепляков съездил верхом на лошади в близкую к Афинам гавань Пирей — узнать, когда можно ожидать попутный корабль. Толком ничего не узнал. На море дул сильный ветер, тусклое солнце едва просвечивало сквозь тучи. Но еще можно было искупаться около прибрежных камней, вода была не холодной.

Через день в Афинах его познакомили с капитаном судна, которое вот-вот должно было отойти из Пирея прямо в Констан-

тинополь. За двенадцать испанских талеров капитан согласился взять Теплякова на борт и предоставил ему каюту.

Под проливным дождем Тепляков покидал Афины и, пока добрался до Пирея, промок и продрог.

Ночью, при сильном ветре и дожде, корабль снялся с якоря и поплыл прямо на восток, к берегам Малой Азии. Понадобилось четверо суток, чтобы пересечь Эгейское море и подойти к острову Хиос. Отсюда надо было поворачивать к северу, но лишь один раз ветер подул с юга и проглянуло солнце, затем погода окончательно испортилась. Ветер дул с севера, в лоб; штормило, волны перекатывались через палубу. Только 15 ноября корабль вошел в Дарданеллы. В густом тумане и при встречном ветре корабль трое суток почти не продвигался вперед. Наконец капитан решил бросить якорь в Галлиполи и объявил Теплякову, что далее, в Константинополь, не поплывет. Ни уговоры, ни угрозы не помогли.

Узнал Тепляков, что скоро, по пути в Константинополь, должен остановиться здесь, в Галлиполи, австрийский пароход «Мария-Доротея». Придется его подождать. Забрал свои вещи и сошел на берег.

Ему предоставил комнату агент австрийского парохода. Комната оказалась холодной, печки в ней, разумеется, не было. Обогреваться можно было только в харчевне, перед мангалом — жаровней с горячими углями, где жарилась рыба. Тут Тепляков сидел с утра до вечера в томительном бездействии и тоске. Когда угли остывали и подергивались пеплом, уходил в свою комнату.

Но вот утром 26-го — наконец-то! — показался пароход. Ожидающие подхватили свои вещи, сели в лодки и поплыли к пароходу.

Вечером в удобной каюте Тепляков блаженно уснул. Среди ночи его разбудила загремевшая якорная цепь. Выйдя на палубу, он увидел перед собой Галату в ночном тумане.

Утром высадился на берег. По знакомым улицам — к дому, где его знали, — не шел, летел. Вот уже и Пера. «Наконец я на улице Четырех Углов, вижу гауптвахту, повертываю влево, и вот наконец дверь моей квартиры растворилась...» — это запись в его дневнике. В квартире жили три женщины и «дети отверженниц мира» (по выражению Теплякова), так что, вероятно, эти женщины и были «отверженицами». Но он относился к ним с нежностью и признательностью. День возвращения сюда отметил в дневнике как «один из счастливейших дней» в своей жизни.

Только 2 декабря он собрался посетить посольство в Буюк-Дере. Направился туда на борту какого-то суденышка и кратко записывал в дневнике: «Опять божественный Босфор. Перекрашенный Долма-Бахче (теперь белый). Деревья без листьев, одни зеленые кипарисы. Буюк-Дере, моя прежняя квартира. Визит посланнику».

Тепляков видел посланника в первый раз — только в августе Бутенев вернулся из отпуска. Вернулся он с новой женой. Шесть лет вдовел, а нынешним летом женился, и весьма обдуманно — по возрасту она годилась ему в дочери, зато была сестрой графа Хрептовича, зятя графа Нессельроде. Породнившись таким образом с вице-канцлером, Бутенев несомненно упрочил свое положение.

Он встретил Теплякова любезно — впрочем, любезным он был всегда. Выслушал рассказ о путешествии в Грецию. Тепляков заметил, что хотел бы, до того как вернется в Одессу, представить ему свои труды — описания древностей Константинополя и Смирны. Просил при случае объяснить Воронцову, что он, Тепляков, задержался в путешествии не ради праздного любопытства, а ради изучения древностей, что отразится в его трудах. Бутенев отвечал уклончиво, ничего не обещал.

Скверная погода заставила Теплякова вернуться в Перу не по волнам Босфора, а сухим путем. Наконец 8 декабря, в дождь и густой туман, он простился с Константинополем — сел на борт парохода «Николай I», который отправлялся в Одессу.

Ожидалось — пароход остановится в Буюк-Дере, но, когда проплывали мимо, разыгралась такая буря, что капитан отказался бросить якорь. Шквальный ветер нес не то дождь, не то снег... Пароход вышел в Черное море.

Одесский берег был по-зимнему гол, море отливало металлическим блеском. Всех прибывших ожидал двухнедельный карантин.

Карантином же назывался ряд унылых одноэтажных зданий за оградой, у самого моря. Над оградой был поднят желтый флаг — он означал отсутствие чумных в карантине (при обнаружении чумы был бы вывешен красный, как сигнал об опасности). Волны разбивались о длинный карантинный мол.

Пароход стал на якорь. Вот уже поднялись на палубу карантинный чиновник и доктор, чиновник принялся проверять паспорта. Проверял — не касаясь их, не беря в руки. Желающим отправить в город письма предложил положить их на палубу. Он брал каждое длинными щипцами и бросал в особый железный ящик (письма подлежали окуриванию — прежде чем передадут их на почту)... Каждый прибывший должен был также предстать перед доктором. Доктор приказывал расстегнуть воротник и показать шею, сильно хлопнуть себя под мышками и ударить себя кулаком в пах. Потому что было известно: что чумные пятна появляются в первую очередь на шее, под мышками и в паху — эти места становятся особенно чувствительными...

Наконец прибывшие получили разрешение сойти на берег. Лодки доставили их на мол, по молу побрели они в карантин.

Карантинные здания оказались поделены на отдельные помещения, каждое — с выходом в отдельный дворик. Перед окнами зябко шуршали безлиственные в эту пору акации.

В общей ограде можно было увидеть особую крытую галерею: две стенки из деревянных решеток и между ними коридор — он разделял тех, кто подходил к карантину со стороны города, и тех, кто пребывал в карантине. Галерея называлась итальянским словом parlatorio («говорильня», точнее — место для разговоров). Возле ограды стоял часовой.

В день прибытия Тепляков послал записку графине Эдлинг. И в тот же день получил ответ: «Наконец-то Вы вернулись, при-

ветствую Вас... Я буду очень рада узнать, что Вы свободны от карантина; когда же наступит счастливый день?.. Если смогу, приду повидать Вас в карантине, то есть если не будет холодно».

Первым делом ему надо было обдумать, написать и, не откладывая в долгий ящик, отправить письмо в Буюк-Дере Бутеневу. «Я в отчаянии, — написал ему Тепляков, — что буря, продолжавшаяся во время моего пребывания на пароходе у Буюк-Дере, помешала мне лично поднести Вашему превосходительству две работы, которые теперь осмеливаюсь послать Вам...» К письму Тепляков эти работы приложил. Он писал далее: «Если я не ошибаюсь, можно было бы оказать действительную услугу не только своей стране, но и всей просвещенной Европе, посвятив себя наблюдениям, которые опять стали новы в ту минуту, когда в Турции все идет к полному преобразованию. Поглощенный этими идеями, я сперва решился было провести зиму в Константинополе, чтобы весною снова начать свои экскурсии, но, будучи зависим, во-первых, от обстоятельств, призывающих меня сюда, с другой стороны — сознавая трудности, которые испытывал бы частный человек, пускаясь на такое предприятие без дозволения и помощи свыше, я решился сам поехать в Петербург и представить свой план на одобрение правительства».

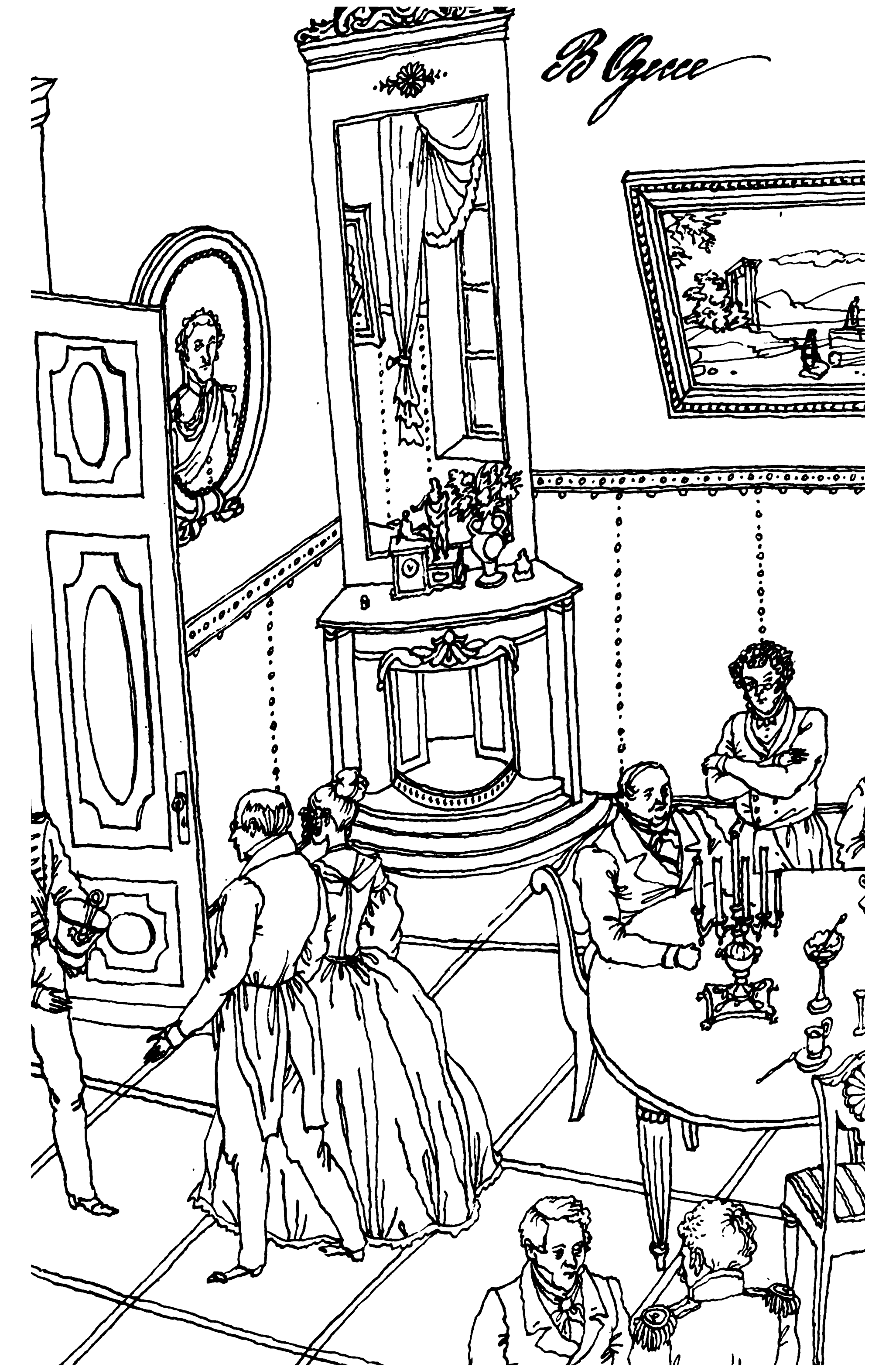
Он, возможно, еще не сознавал, что его план Бутенев поддерживать не станет, потому что ему вообще не может нравиться человек, стремящийся действовать по собственной инициативе, независимо от указаний высокого начальства.

Тепляков же надеялся, что им заинтересуется министерство иностранных дел...

Наконец он был выпущен из карантина. В тот же день, вечером, он попал на бал во дворец генерал-губернатора. Ожидал расспросов и был поражен тем, что Воронцов ни словом не обмолвился с ним о делах, ни о чем не спросил!

Вероятно, Воронцов уже получил письмо Бутенева, написанное в тот самый день, когда пароход «Николай I» проплывал по Босфору мимо Буюк-Дере. В постскриптуме к письму Бутенев небрежно замечал: «Полагаю, что в числе пассажиров на борту «Николая I» находится поэт и археолог Тепляков, вернувшийся из Греции, который, боясь, что он просрочил время своего отпуска, просил меня быть его адвокатом перед Вашим превосходительством». Не добавив к этому ни слова, Бутенев давал понять, что адвокатом поэта и археолога он быть не намерен.

Но Воронцова нисколько не беспокоило то, что Тепляков задержался в путешествии. И с отчетом о путешествии Воронцов не торопил. Потому что задание, данное Теплякову, было, вообще, не очень существенным, сведения о маяках и о торговле можно было, вероятно, получить через посольство в Константинополе и консульство в Смирне, никого для этого не посылая из Одессы. Просто — когда Тепляков удостоился за книгу «Писем из Болгарии» царской милости (золотых часов), Воронцов счел своевременным оказать ему благоволение со своей стороны.


В Одессе

Глава пятая

...Насмешливая природа, вместе с творческим даром, дала ему и все причуды поэта: и эту врожденную страсть к независимости, и это непреоборимое отвращение от всякого механического занятия, и эту привычку дожидаться минуты вдохновения, и эту беззаботную неспособность рассчитывать время.

В. Ф. Одоевский. «Русские ночи»

Теперь он с нетерпением ждал ответа Бутенева на его письмо, отправленное сразу же по возвращении в Одессу. Наступил новый, 1835 год, прошел еще месяц, два, три — ответа не было. Тепляков не выдержал, написал Бутеневу снова. Выразил беспокойство, не затерялось ли предыдущее письмо? Не затерялся ли пакет, в котором было два его труда о Востоке? Написал, что ожидание ответа задерживает его отъезд в Петербург.

Собственно, отъезд в Петербург он откладывал главным образом из-за неопределенности обещаний Воронцова: то ли поддержит его просьбу о назначении в Константинополь и отпустит из Одессы, то ли нет. Графиня Эдлинг в один из мартовских дней прислала Теплякову записку: «Я опять думала о Вашем деле, а во время завтрака у меня был один господин, с которым произошел такой случай, как с Вами, то есть просьба принята была очень благосклонно, были обещания, надежды, а потом такая галиматья, что он покинул Одессу, потеряв всякую надежду на успех... Думаю, Вы можете добиться того, что желаете, даже не прибегая к помощи дипломатии, но для этого надо развязать связывающий Вас тут Гордиев узел, не разрубая его». Она советовала попросить Воронцова, чтобы тот послал письмо в Петербург шефу жандармов графу Бенкендорфу и объяснил бы в письме, что назначение в Константинополь — единственная милость, о которой Тепляков просит. Графиня Эдлинг предполагала, что вряд ли можно обойтись без согласия шефа жандармов, поскольку над Тепляковым все еще тяготеет его провинность, за которую он был сослан на юг России.

Нет, Воронцов письма к Бенкендорфу не послал, но 5 апреля наконец-то подписал Теплякову отпуск. Можно было отправляться в Петербург.

По дороге он провел несколько дней в Москве, потом заехал в Дорошиху. Оказалось, отец лежит больной, и Виктор Тепляков задержался в родительской усадьбе на две недели. Только 18 мая выехал он в дилижансе из Твери и 21-го прибыл в Петербург.

Снова увидел он северную столицу — после восьми с лишним лет вынужденного расставания...

Ему надо было явиться в министерство иностранных дел, на Дворцовую площадь.

За последние годы площадь преобразилась: в ее центре была воздвигнута грандиозная колонна, и с вышины ее бронзовый ангел с крестом смотрел вниз, на императорский Зимний дворец.

В министерстве принял Теплякова управляющий Азиатским департаментом — седовласый «папа Родофиникин», как фамильярно именовали его между собой петербургские чиновники (в том же Азиатском департаменте служил его сын, так что добавление «папа» оказывалось необходимым в разговоре, дабы ясно было, о ком речь).

Тепляков подал прошение — просил причислить его к русской миссии в Константинополе. В прошении отмечал: «С тех пор, как по поручению начальства Новороссийского края изучал я во время войны 1829 года классическую страну, занятую в это время нашими войсками, я почти полностью посвятил себя изучению Востока...»

Но если б он ограничился подачей прошения, вряд ли мог бы рассчитывать на благоприятный ответ. По совету графини Эдлинг и с ее рекомендательным письмом он явился с визитом к управляющему почтовым департаментом князю Александру Николаевичу Голицыну.

В то время князю уже перевалило за шестьдесят. Одет он был в неизменный светло-серый фрак и белый жилет с голубой лентой через плечо. Прежде, при Александре Первом, Голицын занимал более высокие посты, был обер-прокурором Синода, но столпы церкви добились его отставки, ибо, с их точки зрения, князь никак не соответствовал этой суровой должности: слабо разбирался в вопросах веры, снисходительно относился к масонам. Было также известно, что в молодые годы он набожностью не отличался и образ жизни вел далеко не монашеский. Ныне, в кругу приятелей, Голицын признавался, что «самой лютой» из его страстей была любовь к женщинам, и охотно рассказывал старые закулисные анекдоты Зимнего дворца.

С графиней Эдлинг он познакомился еще в те годы, когда она была незамужней молодой фрейлиной. С той поры Голицын считал своим долгом выполнять ее просьбы. В июне 1835 года, после визита Теплякова, он написал ей с неизменной галантностью:

«Ваш протеже, графиня, господин Тепляков, представился мне с Вашим письмом; сначала я обрадовался получению письма от Вас, по этой причине он был очень хорошо мною принят. Мы с ним затем побеседовали, это человек интересный и может быть полезен для той цели, для которой он себя предлагает; к сожалению, он прибыл накануне отъезда вице-канцлера на воды, в тот же день граф Нессельроде посетил меня, чтобы раскланяться, и я ему сразу же передал все, о чем просил г-н Тепляков. Граф очень хорошо принял мои ходатайства и обещал заняться этим по возвращении, поскольку он уже откланялся императору и не может причислять к нашей константинопольской миссии, не испросив приказа его величества...» Нессельроде собирался вернуться в Петербург не раньше октября. Так что Тепляков должен был набраться терпения.

Князю Голицыну и его секретарю Попову он вынужден был рассказать о себе довольно подробно. Решил все же не признаваться в том, что в 1826 году отказывался от присяги царю. Такое признание могло отпугнуть Голицына, и все хлопоты пошли бы

насмарку... Сказал, что в те дни, когда жандармы хватали участников разгромленного восстания 14 декабря, он, Тепляков, на исповеди сказал священнику: «Теперь всех берут, я боюсь, что и до меня доберутся», и вот священник пригрозил донести — будто бы только об этих его словах... О дальнейшем Тепляков не стал умалчивать в разговоре с Голицыным.

Родофиникин, замещавший министра в его отсутствие, распорядился составить бумагу, в коей испрашивалось согласие Воронцова на продолжение пребывания Теплякова в столице — «для занятий по Азиатскому департаменту». Можно было догадаться — не послал бы Родофиникин этой бумаги, если бы не ходатайство влиятельного лица...

Из Одессы переслали Теплякову долгожданный ответ Бутенева, отправленный из Буюк-Дере 27 мая (посланник с ответом не спешил). «Я чрезвычайно тронут, — писал щедрый на любезности Бутенев, — доверием, которое Вы в такой степени выражаете мне своими письмами — последним, от 21 марта, и предыдущим — о похвальном намерении посвятить Ваш талант и досуг путешествиям и литературному труду, предметом которого был бы Константинополь и соседние страны. Убежденный в пользе подобного проекта и в успехе, с которым Вы осуществили бы его, я не считаю себя однако вправе предложить его от своего имени императорскому правительству. Мне кажется, что графу Воронцову, Вашему просвещенному и расположенному к Вам начальнику, в ведении которого Вы имеете честь находиться, принадлежит инициатива подобного предложения. Если оно будет принято императорским двором, я в свою очередь буду очень счастлив предложить Вам все возможное содействие и услуги, от меня зависящие».

Короче говоря, Бутенев ничего не желал предпринимать, несмотря на то что был якобы «чрезвычайно тронут» доверием Теплякова и был бы «очень счастлив» ему помочь.

До возвращения в Петербург вице-канцлера оставалось одно: ждать ответа Воронцова на запрос Родофиникина. А так как на лето Воронцов, конечно, уплыл в Крым, отстранясь тем самым от мелких повседневных дел, ответ его можно было ожидать только осенью.

Единственно отрадными были для Виктора Теплякова петербургские встречи с собратьями по перу.

Посетил он Жуковского — конечно, поблагодарил еще раз за лестный отзыв о книге «Письма из Болгарии». Встретился с князем Владимиром Одоевским, которого помнил по Московскому университетскому пансиону, — Одоевский был на год старше, учились вместе. Новой встрече посодействовал приехавший в отпуск из Константинополя Титов.

Однажды в июне прислал он Теплякову записку: «Одоевский весьма желает возобновить с Вами знакомство и поручил мне звать Вас к себе на нынешний вечер. Итак, не можете ли Вы приехать к нему

часу в 9-м. Я непременно буду уже там к этому времени. Одоевский живет за Черной речкой, у самой Выборгской заставы, на даче Ланской».

Неподалеку от Одоевского, на даче у Черной речки жил этим летом с семьей Александр Сергеевич Пушкин. Можно предположить, что здесь его Тепляков и встретил в первый раз. В одной из тетрадей Теплякова, среди беглых, предельно кратких записей под заголовком *1835 год*, осталась такая же, к сожалению, краткая запись: «Встреча с Пушкиным». И ниже: «Посещение Пушкина.— Пушкин у меня».

Уже 4 июля Тепляков уехал в Дорошиху—навестить больного отца в его усадьбе. Затем еще месяц провел в Москве.

Графиня Эдлинг писала ему из Одессы: «Ваше письмо из Петербурга доставило бы мне большое удовольствие, если б я не чувствовала в нем Вашего обычного нетерпения... Князь Голицын писал мне и уверяет, что вице-канцлер решительно обещал ему, что Вы будете причислены к константинопольской миссии и что он даст своей канцелярии распоряжение приготовить все необходимые бумаги. Доказательством того, что он сдержал слово, служит обращение Родофиникина к графу Воронцову с просьбой уступить Вас их департаменту».

«К сожалению, граф вернется в Одессу не ранее 15-го или 20 сентября,—сообщала она в следующем письме.—Если уж Вы получите его ответ, держитесь Родофиникина и не адресуйтесь к другим чиновникам, это могло бы оттолкнуть его, а он—личность очень влиятельная при вице-канцлере».

В ответном письме Тепляков благодарил графиню Эдлинг за ее хлопоты и соглашался с ее советом держаться Родофиникина, так как выясняется, что именно он—«главная волна всего этого моря».

В Петербург Тепляков вернулся 15 октября. Вскоре получил из Одессы свидетельство о продлении отпуска. И тогда папа Родофиникин подписал другое свидетельство—об оставлении Теплякова при Азиатском департаменте по делам службы. Но это была лишь первая преодоленная ступенька в министерстве иностранных дел.

По вечерам он часто бывал у князя Одоевского, который жил в Мошковом переулке, рядом с набережной Невы, занимая двухэтажный флигель в доме своего тестя Ланского. Тут собирался круг избранных—то есть людей даровитых, не пустых. В этом кругу Тепляков мог забывать о своих невзгодах. Мог чувствовать себя равноправным собеседником, чье служебное положение и чин здесь не значили, слава богу, ничего.

Одоевский вызывал глубокое уважение уже тем, что превыше всего ставил справедливость. Он позднее писал: «Справедливостью не только заменяется великодушие, но в некоторой степени справедливость выше великодушия, ибо в великодушии есть нечто вроде милостыни, которая всегда унижает ее получающего, как бы осторожно ни была подана. Справедливость равнит просящего с подающим».

Он был истинный аристократ, представитель древнейшего рода (происхождение свое Одоевские вели по прямой линии от Рюрика, некогда княжившего на Руси). По сравнению с князем Одоевским император Николай и вся династия Романовых могла считаться выскочками и плебеями. Но не было в Одоевском ни малейшего чванства, и людей он оценивал не по титулам и фамилиям, а по степени дарований и образованности. Сам он обладал образованием поистине энциклопедическим, был не только даровитым литератором, но и тончайшим музыкантом.

Правда, широта его интересов мешала ему сосредоточиться на чем-то одном. Он не столько сосредоточивался, сколько рассредоточивался. «На меня нападают за мой энциклопедизм, смеются даже над ним, — отмечал он в записях для себя. — Но мне не приходилось еще ни разу сожалеть о каком-нибудь приобретенном знании. Мне советуют удариться в какую-нибудь специальность, но это противно моей природе. Каждый раз, когда я принимался за какую-нибудь специальность, предо мною восставали целые горы разных вопросов, которым ответ я мог найти лишь в другой специальности... Конечно, такое разнообразие направлений осложняет жизнь, но доставляет много не всем доступных наслаждений. Мне весело, что я могу говорить с химиком, с физиком, с музыкантом, даже немножко с математиком, с юристом, с врачом на их языках... И здесь не одна потеха для самолюбия. Мне так же весело уметь говорить на этих языках, как человеку, знающему иностранные языки, путешествовать: он везде дома, везде может удовлетворить своей любознательности, везде легко ему понять то, что для других навеки остается темным...»

По натуре кабинетный ученый, Одоевский не был человеком действия. Во время восстания декабристов он жил еще в Москве и о заговоре, может быть, ничего и не знал. После разгрома восстания были арестованы многие друзья молодого князя, в том числе его двоюродный брат Александр Одоевский. Как вспоминает одна современница, Владимир Одоевский тогда «был сумрачен, но спокоен, только говорил, что заготовил себе медвежью шубу и сапоги на случай дальнего путешествия». Нет, его никуда не сослали, даже не сочли нужным вызвать на допрос...

Теперь ему было уже за тридцать. Его отличал нежный цвет лица, высокий, почти детский голос. Женат он был на женщине старше его на несколько лет, детей у них не было. И он, «вероятно, чтоб не казаться моложе своих лет [а может, для того, чтобы казаться не моложе своей жены], еще более гнулся, чем в Москве, ходил тихо и всюду носил с серебряным набалдашником палку». Жена выглядела полной его противоположностью: смуглая кожа, грубоватые черты лица. Знакомые галантно называли ее la belle créole (прекрасной креолкой).

Просторную библиотеку князя, на втором этаже его флигеля, друзья именовали в шутку «львиной пещерой». Здесь было великое множество книг на разных языках: Одоевский свободно владел французским, немецким, английским, итальянским, испан-


У Одоевского

ским. Его любимым писателем был Гофман, автор «Житейских воззрений кота Мурра», мыслитель и фантаст. У себя в доме Одоевский завел большого черного кота, названного также Мурром. Этот любимец своего хозяина всегда располагался с ним рядом или у него на коленях и казался таким же высокомудрым, как его литературный образец. Жуковский, шутник, однажды записку свою к Одоевскому надписал так: *Кн. Одоевскому или коту его.*

В библиотеку князя гости обычно переходили к концу вечера — из гостиной на первом этаже. Сюда приносили самовар, княгиня разливала чай, и гости размышляли вслух о высоких материях...

К сожалению, никто не записал этих разговоров. Также неизвестно, о чем здесь говорил Тепляков. А может, он молча сидел и слушал.

Кроме дома Одоевского, привлекал Теплякова также дом аристократа-библиомана Сергея Васильевича Салтыкова на Малой Морской. «Его значительная библиотека заключала в себе величайшую редкость, — записал в воспоминаниях один из его знакомых. — ...Если называли при нем какую-нибудь книгу, он сам выносил ее и говорил: «У меня все есть». Известно было, что в юности Салтыков жил вместе с родителями в Париже, там его застала французская революция. Он рассказывал, что видел собственными глазами, как в саду Пале-Рояля Камилл Демулен «вскочил на стол и произнес свою знаменитую речь» — призвал парижан взяться за оружие.

Так что в домах Одоевского и Салтыкова было что послушать, было что узнать, было чем вдохновиться...

Новый, 1836 год Тепляков встречал у Одоевского — в кругу немногочисленных гостей. Пришли также Пушкин и Жуковский. Очень жаль, что об этой встрече Нового года не знаем никаких подробностей.

Всю зиму Тепляков посещал субботние вечера у Жуковского, бывал у профессора словесности Плетнева. Плетнев тогда усердно помогал Пушкину в подготовке издания нового журнала «Современник».

Перспектива же попасть в константинопольскую миссию все еще оставалась в тумане. «Медленность и холодность Нессельрода» Тепляков с беспокойством отмечал в дневнике.

Должно быть, Нессельроде полагал, что Тепляков, как человек с небезупречным прошлым, нетерпеливый и склонный к самовольным действиям, мало подходит для дипломатической службы. В феврале, в очередном докладе царю о делах министерства, вице-канцлер упомянул о предложении послать Теплякова в Константинополь. И, видимо, выразил свои сомнения. Они были неизбежны, поскольку «при определении чиновников к миссиям нашим в чужих краях министерство принимает всегда в соображение нравственность их и образ мыслей», как отмечал ранее Нессельроде в записке к шефу жандармов.

Услышав от вице-канцлера о Теплякове, император, должно быть, вспомнил, что это же тот самый отставной поручик, что пытался уклониться от присяги на верность подданства. И повелел навести о нем справки через военное министерство.

По высочайшему повелению наводятся справки о нем! Новость не могла не встревожить. Тепляков узнал ее, вероятно, через Родофиникина и по его же настоянию написал в этот критический момент царю: «Теплая вера в беспредельность Вашего отеческого милосердия озаряет мою душу отрадной надеждою, что правдивый гнев Ваш на неумышленный поступок юности перестал, наконец, тяготеть над жизнью, сокрушенной десятью годами бед и раскаяния». Пришлось так написать скрепя сердце...

Затем он отметил в дневнике: «Благополучное окончание дела. Канальство министерства иностранных дел». Какое «канальство» он имел в виду, мы с точностью не знаем. О том, что тучи над его головой как будто рассеялись и Родофиникин дал наконец определенные обещания, он сообщил в письме графине Эдлинг.

«Еще до получения Вашего письма, дорогой Тепляков, — ответила она, — я уже знала хорошую новость, которую Вы мне сообщаете. Князь Голицын уже писал мне о благоприятном обороте Вашего дела, а теперь Родофиникин известил моего брата о Вашем назначении в Константинополь. Всему этому я уже порадовалась, но Вы так мило и с таким чувством приписываете мне Ваш успех, что я поняла все наслаждение содействовать карьере поэта. Шутки в сторону, я очень счастлива, что Вы наконец достигли пристани».

Действительно, 9 апреля он был определен на службу в Азиатский департамент. Родофиникин распорядился включить его в состав константинопольской миссии. Однако должности ему не определили никакой.

При содействии Одоевского он подготовил к изданию в Петербурге второй сборник стихотворений. Относился к новой книге своей очень ревниво, сам ходил в типографию и наблюдал за набором. По настоянию автора сборник набирался «с воздухом»: каждое стихотворение отделялось от предыдущего и последующего чистой белой страницей. Главное место в сборнике заняли семь «Фракийских элегий».

Он сам написал предисловие:

«Автор предлагаемых Стихотворений отнюдь не почитает *неизбежного* в наше время предисловия той живой водой, которая, по сказанию артистов, возвращает на миг первобытную красоту и блеск древней живописи Геркуланума. Анализ самого себя кажется ему, напротив, тем утренним дымом, который, поднимаясь с долины, не только не допускает до нее света, но даже скрывает больше и больше от глаз узоры ее разнообразной растительности...

Когда, по замечанию одного писателя, человек не знает, кто его любит и кому сам он может поверить себя, тогда он всенародно исповедуется... Он вопрошает: не найдется ли созвучной души, которая поняла бы и разделила его тайные муки и радости...»

Предисловие это он послал Одоевскому и приложил записку:

«Вот Вам, любезнейший князь, *предисловие,* которое Вы вчера у меня спрашивали. Крайне желалось бы мне знать о нем Ваше мнение. Потрудитесь между тем возвратить его мне или передать поскорее в типографию. При сем прилагаю еще одно маленькое стихотворение, которое лучше бы, кажется, напечатать в *Северной Пчеле,* нежели в *Сыне Отечества,* почти никем не читаемом. Впрочем, Вы лучше моего знаете, что делать...

За все это благоволите наперед принять чувство моей искренней благодарности с уверением, что я никогда не забуду столь благосклонных хлопот, которые Вам угодно принять на себя с истинно-обязательной снисходительностью.

Я писал в типографию о предоставлении Вам отпечатанных листов. Полагаю, что теперь они уже в Вашем распоряжении.

Сердцем и душою Ваш

В. Т.».

Одоевский решил переслать новое стихотворение Теплякова «Любовь и ненависть» в журнал «Московский наблюдатель». Сопроводил стихи собственным, лестным для автора примечанием. Это примечание он предварительно послал прочесть Теплякову. Тепляков поблагодарил, но не удержался, отметил: «Я бы только не совсем напирал в них [примечаниях] на археологию — ремесло, столь противоположное поэзии; я упомянул бы слегка, что к археологическому путешествию автор был принужден вовсе не зависевшими от него обстоятельствами и потому-то отвращался от них к своей господствующей стихии. Я бы, кроме того, в словах «изучал страны Азии, как воин» — обозначил яснее *волонтерство...»*

В итоге оба внесли поправки: Тепляков — в свое предисловие, Одоевский — в свои примечания.

Стихотворение «Любовь и ненависть» появилось уже в апрельской книжке журнала «Московский наблюдатель». В примечании (без подписи) Одоевский сообщал о предстоящем выходе в свет второго сборника стихотворений Виктора Теплякова: «...мы желаем от всего сердца, чтобы публика оценила по достоинству подарок поэта. Добросовестные труды у нас редки и еще реже бывают соединены с живым поэтическим вдохновением: надобно дорожить такими трудами». Одоевский писал: «Особенные обстоятельства поставили сочинителя в странное для поэта, но не бесплодное положение: они заставили его рыться в археологической пыли и быть свидетелем и даже участником в последней славной войне россиян на Востоке. На стихотворениях остались следы этих различных ощущений, которые придают картинам Теплякова совсем особенный колорит...»

Тогда же, в апреле, книга была разрешена цензурой. Предстояло еще найти книгопродавца, который взялся бы продать весь намеченный тираж — шестьсот экземпляров...

В июне, когда Теплякову надо было трогаться в путь — на юг, тираж книги еще отпечатан не был. Перед отъездом он посетил Одоевского. И тот дал ему письмо — для передачи в Москве Шевыреву:

«Это письмо, любезнейший Степан Петрович, тебе доставит наш

общий товарищ по пансиону — Виктор Григорьевич Тепляков. Мне нечего тебе рекомендовать его — ты его знаешь и без меня. Он едет на Восток для ученых эксплораций [то есть исследований]. Пиши с ним к Титову. Более писать мне тебе нечего и некогда, тем более, что я на днях уже писал к тебе.

Твой *Одоевский.*

Скажи Теплякову, чтобы он прочел тебе свои фракийские элегии — в них много по мне прекрасного и нового».

По дороге Тепляков смог еще провести месяц у родителей в деревне. Далее заехал в Москву. 18 августа прибыл в Одессу.

Здесь его неприятно поразили слухи о том, что в Константинополе чума. 26-го он послал письмо Одоевскому:

«...Дней через шесть сажусь я на пароход и отплываю к очумленным берегам Византии: грустно, но что же делать! Переношусь душою к прошедшему и все чаще посещаю мысленно Мошков переулок...»

Уже грустно было уезжать...

«Сделайте благодеяние, — написал он далее, — не оставляйте и со своей стороны моей сироты-книжицы, которая покажется около будущего ноября на свет божий».

В октябре Пушкин поместил в третьей книге своего нового журнала «Современник» отзыв о стихотворениях Виктора Теплякова. В примечании было сказано: «Отпечатаны и на днях поступят в продажу».

«В наше время молодому человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона и невольным соучастием не сблизить судьбы своей с судьбою Чильд-Гарольда. Ежели, паче чаяния, молодой человек еще и поэт и захочет свои чувствования выразить, то как избежать ему подражания? Можно ли за то его укорять?» — так начал свою статью о книге Теплякова Александр Сергеевич Пушкин.

Лучшей в книге представлялась Пушкину элегия «Гебеджинские развалины». Большую часть ее он перепечатал в «Современнике». И отметил: «Это прекрасно! Энергия последних стихов удивительна!»

Вот эти последние строки, обращенные к Байрону:

Ты прав, божественный певец:
Века веков лишь повторенье!
Сперва — свободы обольщенье,
Гремушки славы наконец;
За славой — роскоши потоки,
Богатства с золотым ярмом,
Потом — изящные пороки,
Глухое варварство потом!

Автор не скрывал, что эти строки — вольный перевод из Байрона, и соответствующие строки Байрона приводил в примечаниях (вот перевод подстрочный: «Такова мораль всех человеческих преданий; она в бесконечном повторении прошедшего: вначале свобода, затем слава; когда они исчезают — богатство, пороки, разложение — и, наконец, варварство»). Но Пушкин считал, что Теплякова нельзя укорять за такие заимствования, ибо в них — «надежда открыть новые миры, стремясь

по следам гения, — или чувство, в смирении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь».

По поводу «Второй фракийской элегии» Пушкин заметил, что «поэт приветствует незримую гробницу Овидия стихами слишком небрежными», однако следует поблагодарить автора «за то, что он не ищет блистать душевной твердостию насчет бедного изгнанника, а с живостью заступается за него».

Пушкин заканчивал отзыв так:

«Остальные элегии (между коими шестая [«Эски-Арнаутлар»] весьма замечательна) заключают в себе недостатки и красоты, уже нами указанные: силу выражения, переходящую часто в надутость, яркость описания, затемненную иногда неточностию. Вообще главные достоинства «Фракийских элегий»: блеск и энергия; главные недостатки: напыщенность и однообразие.

К «Фракийским элегиям» присовокуплены разные мелкие стихотворения, имеющие неоспоримое достоинство: везде гармония, везде мысли, изредка истина чувств. Если бы г. Тепляков ничего другого не написал, кроме элегии «Одиночество» и станса «Любовь и ненависть», то и тут занял бы он почетное место между нашими поэтами».

В заключение Пушкин перепечатывал в журнале элегию «Одиночество» — целиком. Заканчивалась она так:

Пусть Соломоновой премудрости звезда
Блеснет душе моей в безоблачном эфире, —
Поправ земную грусть, быть может, я тогда
Не буду тосковать о друге в здешнем мире!

Отзыв Пушкина появился на страницах журнала, когда Тепляков уже был далеко от Петербурга — на берегу Босфора. При тогдашней медлительности почты: от Петербурга до Одессы — на лошадях, по Черному морю — на первых колесных пароходах — каким огромным казалось это расстояние... В самом деле — как далеко...

Глава шестая

Не наслажденье жизни цель,
Не утешенье наша жизнь.
О! не обманывайся, сердце.
О! призраки, не увлекайте!..

А. С. Грибоедов

Снова он в Буюк-Дере. Совсем рядом, в Константинополе, свирепствует чума, поэтому служащие посольства соблюдают строжайшую изоляцию. Без крайней необходимости никто не покидает здания посольства и огражденного решеткой сада.

Бутенев принял Теплякова холодно — словно бы начисто забыв, что сам же ему написал: «...буду очень счастлив предложить Вам все возможное содействие...» Теперь становилось ясно, что эта фраза в письме была ничего не значащей вежливостью дипломатического чиновника, пустыми словами, о которых странно было бы напоминать. Бутенев сказал, что не может предложить ему сейчас никакого дела, никакого занятия. Все дела распределены между служащими согласно их

должностям, а какая должность у Теплякова? Никакой. Ну, значит, ему и делать нечего.

Расстроенный, раздосадованный, он написал о своем положении графине Эдлинг.

Она отвечала 25 сентября: «Пользуюсь отходом парохода, чтобы ответить на Ваше первое письмо из Константинополя... Боюсь, чтобы Вы там не выказали свой дурной нрав, что ни к чему хорошему не поведет... Я разделяю мнение Вашего друга Р. [Розберга?], что дипломатия вовсе не Ваш удел, но нужно было с чего-нибудь начать».

Оказывалось — начинать не с чего! В письме в Петербург, секретарю князя Голицына Гавриилу Степановичу Попову, Тепляков объяснял, почему в посольстве не понимают цели его прибытия: «Записка [от Родофиникина]? Все, что в ней заключается, возложено на саму миссию. Разыскания? Делайте что хотите. Дипломатические занятия? Здесь больше дельцов, нежели дела. — Вследствие таковых умствований мне не дано квартиры в доме посольства, а квартиры в здешних местах дороже всего на свете». Что же ему остается делать — «при незнании туземных языков и при бесконечной трудности сообщения по милости свирепствующей безраздельно заразы» — здесь, на берегу Босфора?

В другом письме к Попову Тепляков сообщал: «В Петербурге гневались на меня за просьбы прояснить положение; здесь несравненно пуще гневаются за то, что ничего положительного на мой счет не предписано, и, объясняя мое назначение только необходимостью удовлетворить ходатайству моих покровителей, отказывают мне в самом необходимом участии. Не говоря уже о моем совершенном отчуждении от общего хода дел, даже самый архив посольства, известный каждому переписчику, скрыт от меня, как от *недипломатического* чиновника... При вечном титулярном советничестве — скажите сами, ужель не лучше всего этого, по примеру онегинского дядюшки,

В какой-нибудь глуши забиться,
Зевать и с ключницей браниться,
Смотреть в окно и мух давить?»

И если он определенно не нужен константинопольской миссии, нельзя ли попросить, чтобы его перечислили в другое посольство, где для него найдется дело, — куда-нибудь в Европу?

В такой близкий Константинополь (от Буюк-Дере три часа на лодке по Босфору) нельзя было носу показать — из-за чумы. Европейцы тут с нетерпением ждали холодов, которые должны были остановить распространение заразы. Мер против эпидемии в городе не принималось почти никаких. Умирало по нескольку тысяч человек в неделю. Мусульманское население Стамбула надеялось лишь на то, что «Аллах керим» — бог милостив, а если суждено умереть, то никакие меры предосторожности не спасут. Многие жители выписывали на своих дверях подходящий стих из Корана и на этот стих уповали.

Прусский офицер Мольтке, приглашенный в Турцию для обучения солдат султана, записал в дневнике, что батальонный бимбаши (командир) «ввел было всевозможные меры предосторожности, но солдаты подчинялись им крайне неохотно, и вскоре пришлось ограни-

читься лишь стихом из Корана, прибитым к стене казармы». Мольтке записывал далее: «Носильщики относят на своей спине больных в госпитали и мертвых на кладбища, где хоронят даже без гроба... Случается иногда, что собаки выкапывают труп». Бродячих собак здесь было множество, их не кормили, но никогда не трогали. Когда же слухи о том, что собаки грызут трупы чумных, дошли до обитавших в Константинополе европейцев, они стали пристреливать собак, и это вызвало бурю возмущения среди мусульман...

В декабре Тепляков писал князю Голицыну из Буюк-Дере: «Все сообщения прерваны по случаю распространения заразы, сила которой, после чумы 1812 г., положительно беспримерна, и я должен был, как и все [в посольстве], подчиниться предохранительным мерам, строгость которых приводит все мысли в состояние, среднее между жизнью и смертью».

Наконец, благодаря наступившим долгожданным холодам, эпидемия стала ослабевать.

Но в домах у берегов Босфора, как и повсюду в этих краях, не было настоящих печей, и Тепляков начал попросту замерзать в своей квартирке. Он рассказывал в письме к Одоевскому: «Когда черноморский [то есть северный] ветер вздул и начал добрасывать до самых окон разгулявшиеся волны Босфора, моя бедная хата завыла истинно Эоловой арфою, и целые легионы крыс запрыгали над головой [на чердаке] под ее погребальную музыку. Призванный на помощь железный камин начал попеременно переселять меня от экватора к полюсу и, даря ежедневно то угаром, то насморком, принудил оставить себя в покое».

К февралю нового, 1837 года Тепляков решился переселиться в Перу, что сделал бы раньше, если бы не чума.

Из России дошло до него известие о смерти больного отца, затем — совершенно неожиданное известие о смерти Пушкина — после дуэли...

«Так, нет уже на земле нашего Пушкина! — горестно восклицал он в письме к Жуковскому в Петербург. — Душа кипит негодованием, и кровью обливается сердце при мысли, каким образом и кем похищена подобная жизнь у гордившегося ею отечества!» И еще — в письме к Одоевскому: «А Пушкин-то, наш несравненный Пушкин! Sic transit gloria mundi! [Так проходит слава мира!]»

Жуковскому он написал еще, конечно, о чуме, об изматывающей необходимости постоянных предосторожностей. «Присоединив к этому неизобразимые лишения всякого рода вместе с непроницаемыми потемками моего здешнего назначения — истинной мистификацией для других и для меня самого, могу ли я не сознаться, что жажда ученых исследований начинает мало-помалу сменяться в душе моей *тоской по отчизне*... Нет, конечно, сомнения, что здешний край, средоточие всех современных вопросов, представляет уму, и в особенности уму русскому, равно богатую жатву, но ключ от совокупности причин и событий бесследно скрыт от *непосвященных*» — то есть таких, как он, Тепляков, чувствующий себя в посольской колеснице пятым колесом.

Уже ясно видел он — и писал о том Плетневу: «Восток в поэмах лорда Байрона и Восток нагой существенности, Восток в глазах мимолет-

ного странника — и тот же самый Восток для прикованного к нему *чинодея* разнятся друг от друга».

Он уже испытал первый приступ разочарования. Романтическая дымка рассеивалась в его глазах, открывалась «нагая существенность», проза.

«Нет ничего более жалкого, чем высшее общество этой страны, — утверждал он в письме к графине Эдлинг. — Главная забота их жизни в том, чтобы никогда не *быть,* а всегда *казаться,* и это — в манере столь же безвкусной, как и банальной. Хитрые и нелюбезные, как правило — торгующиеся, встающие на ходули перед атомами так же, как и перед теми, кто таковыми не является...»

«Высшее общество этой страны» он мог видеть на приемах в посольстве. А может быть — и в других местах.

В посольстве его положение оставалось фальшивым и тягостным: «Существуешь как будто не существуя... Прощай и поэзия, и тот внутренний мир, в который не смею более заглядывать из боязни не овладеть им снова, потому что никогда моя душа не была поражена более полной ничтожностью. Но довольно обо всех этих неудачах. Поговорим о другом. О фатум! Почему я, самое бесполезное изо всех созданий, не погиб лучше на месте Пушкина, славы и чести своей родины. Следует заметить, что дипломаты сговорились обвинять самого несчастного в его смерти».

Ну, еще бы! Не отличался Пушкин сдержанностью и терпением, не вел себя по правилам дипломатии, потому-то Бутенев и ему подобные считали, что поэт сам виноват.

Бутенев выписывал — и посольство в Буюк-Дере получало — петербургские журналы, так что Тепляков, конечно, уже прочел в «Современнике» отзыв покойного Пушкина о его книге стихов. Радовался похвале и не мог обижаться на критические замечания, столь они были справедливы.

Не знал он, что на рукописном листе с отзывом о его книге Пушкин по памяти нарисовал пером его портрет — легкий и выразительный контур — упрямый лоб и нос картошкой.

Теплякову, наверно, уже переслали одну книгу английского автора, в переводе на французский, с драгоценной надписью: «Поэту Теплякову от поэта Пушкина. В 1836 25 сентября С.П.Б. [Санкт-Петербург]».

Книга эта была романом Томаса Хоупа «Анастазиус, или Мемуары грека, жившего в конце восемнадцатого столетия». Роман имел безусловно познавательную ценность: автор много путешествовал и включил в книгу подробное описание Константинополя и других городов Востока. Так что она стала не просто подарком, но проявлением товарищеской заботы: Пушкин предполагал, что эта книга Теплякову весьма пригодится... И, наконец, слова́ «поэту от поэта» — как это Пушкин по-братски написал!

Но вот получены были посольством в Буюк-Дере две новые книжки, декабрьская и январская, журнала «Библиотека для чтения». Издатель его и постоянный критик Сенковский отзывался о стихотворениях Теплякова иначе, нежели Пушкин. В декабрьской книжке, в крохотной

статейке «О белых страницах» Сенковский с откровенной насмешкой писал:

«По причине необычайной важности творения мы принуждены разделить критический труд наш на две части. Самое содержание книги предоставляет нам средство сделать это очень естественным образом. Половина пьес этого тома состоит из страниц белых, а другая половина из страниц не-белых, печатных. Первая — главная; вторая служит ей только прибавлением. О страницах не-белых, как менее важных, мы поговорим во второй статье...

Белые, чистые страницы... страницы чистые, белые... то есть страницы, отличающиеся своей белизною... Одним словом, страницы, которых чистота... Вот несчастье! Ведь нечего сказать о белых страницах! Таково неизъяснимое свойство чистоты, книжной и нравственной, что она ускользает от критики!»

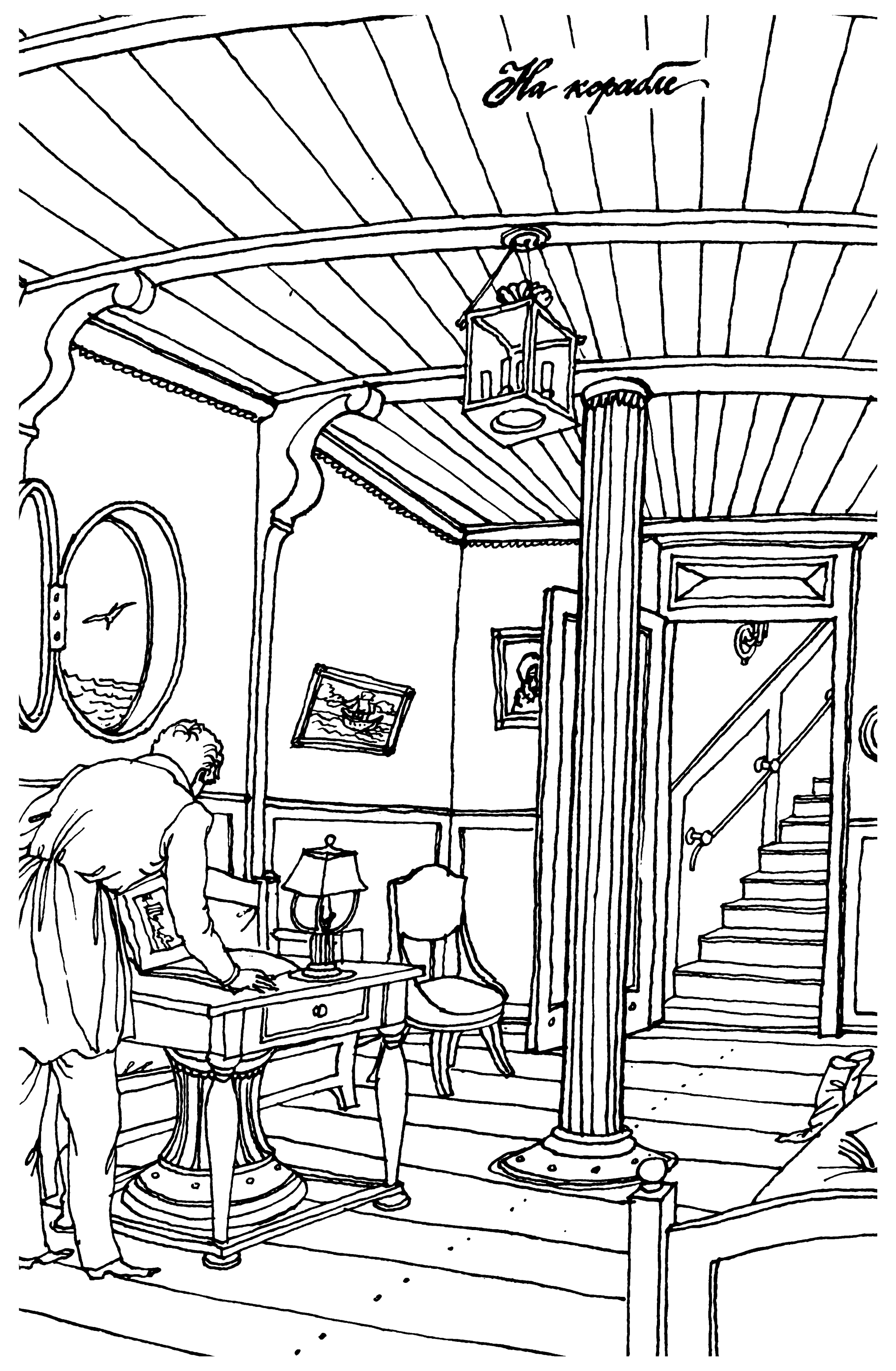
Столь же крохотная статья вторая — «О не-белых страницах» — появилась в январской книжке. И тут Сенковский язвил: «...нет сомнения, что г. Тепляков пишет хорошо стихи и еще лучше избирает эпиграфы, чего нельзя сказать о предисловии, приклеенном к его книге». Сенковский предположил, что, написав предисловие в третьем лице, Тепляков тем самым хотел внушить читателю, будто предисловие написано кем-то другим, но сходство стиля стихов и предисловия «так непостижимо, что можно было бы подумать, что приятель писал за поэта стихи или сам поэт писал предисловие за приятеля». Сенковский едко замечал: «Поэзия г. Теплякова вообще удивительно блестяща и богата, это почти поэзия Голконды или ювелирной лавки — такая в ней бездна алмазов, яхонтов, рубинов, опалов, сапфиров, перл, бирюз и всяких разных каменьев, не считая свинцу и золота и льду, как вещей слишком обыкновенных». В этом Сенковский, увы, был прав. Не прав он был в том, что не хотел замечать достоинств!

В конце статьи ядовитый критик коснулся самого названия «Фракийских элегий» — «то есть элегий, писанных во фраке, в котором автор обыкновенно был одет, а не во Фракии, где он не был, посетив только Мизию, попросту Булгарию». Тут можно было бы возразить, что древняя Фракия имела иные пределы, но стоило ли препираться... И ведь не во фраке автор скакал на коне под Варной, не во фраке искал убежища от чумы под Сизополем, но что до этого было критику, готовому всем пренебречь ради красного словца...

Графиня Эдлинг написала Теплякову из Одессы: «Говорят, Вас остро раскритиковали в журналах, но, я надеюсь, Вы не удостоите на это ответить. Вы должны довольствоваться похвалою тех, кто действительно любит поэзию». Конечно, она была права, но поэта слишком задело за живое. Он написал против Сенковского (не называя критика по имени) злой мадригал и послал в Петербург Одоевскому с просьбой напечатать.

Но Одоевский также был убежден, что переругиваться не стоит. Мадригал остался ненапечатанным.

«Небо и море начали проясняться весною... — писал Тепляков Одоевскому 22 марта по новому стилю. — Готовый забыть и чуму, и холод


На корабле

атмосферический, и людской холод, я намеревался приступить, наконец, к подавленным ими занятиям и слиться всеми чувствами с этой дивной страной, которая стала почти приближаться к моему мечтательному Востоку. Взамен этого вдруг увидел я себя вчерашний день импровизированным курьером, и завтра, 23 марта, австрийский пароход *Мария-Доротея* уже полетит со мною в Грецию. Сами можете разрешить, к лучшему, к худшему ли должен я оставить, при таких обстоятельствах, Византию для нового свидания с бедной, давно мне знакомой Элладою...»

Когда пароход поднял якорь, был уже вечер. Пронзительно кричали чайки, в голубой воде Босфора, по одну сторону, зыбко отражались купола и минареты мечетей Стамбула, по другую — темно-зеленые кладбищенские кипарисы на азиатском берегу.

Около трех месяцев — апрель, май и более половины июня — снова провел он в Афинах.

В мае послал письмо Родофиникину: «Может быть, Вашему высокопревосходительству известно, что константинопольской нашей миссии угодно было отправить меня в конце прошлого марта курьером в Грецию... Я должен признаться, что не без сожаления простился с надеждою извлечь, наконец, какую-нибудь пользу из своего пребывания в Константинополе».

В Афинах он жил в гостинице и постоянно посещал дом русского посланника в Греции Катакази. Дом этот представлял собой, по словам Теплякова, «едва ли не единственное сборное место афинского общества». Наверно, немалую роль сыграло то обстоятельство, что Катакази был греком, хотя и посланником иностранной державы. А, например, греческий министр иностранных дел был немцем, так же как и греческий король.

Близко познакомился Тепляков с австрийским посланником Прокеш-Остеном, знатоком всего клубка дипломатических отношений европейских стран и турецкой империи. Вникая в дела греческого королевства, сообщил свои выводы Бутеневу — письмо из Афин: «Организация государственной машины, по-видимому, не соответствует потребностям страны; расходы и приходы государства сходятся менее, чем когда-нибудь».

В июне Тепляков заболел, лихорадка трепала его нещадно. Больной, он поторопился в обратный путь. На греческом острове Сира (Сирос) в Эгейском море вынужден был пройти пятидневный карантин, прежде чем смог отплыть далее, в Константинополь. В сирском карантине пришлось поместиться в бараке, похожем на звериные клетки, у самого берега моря. Здесь он лежал, сотрясаясь от озноба, хотя было по-летнему тепло...

Еще в марте он писал графине Эдлинг: «Мысль о том, что Вы меня забыли, была, конечно, одной из самых мучительных...» Перед отплытием из Константинополя в Грецию он получил от нее письмо, а когда вернулся в июле, надеялся, что здесь его дожидается еще одно — но письма не оказалось. Он снова решился напомнить ей о себе, сетовал, что она ему не пишет.

Она ответила из Одессы 27 сентября: «Мое отношение к Вам не изменилось, и я питаю к Вам все те же дружеские чувства. Если же я не писала, то лишь потому, что не так свободно располагаю временем, как Вы, и потом я не люблю писать для начальников почт и перлюстраторов писем... Пишите нам, но не забывайте, что все Ваши письма будут читать и перечитывать, что лишает переписку всякого удовольствия».

Да, конечно... Однако для него переписка была не просто удовольствием, но постоянным источником утешений и надежд.

Она советовала: «Если Ваше положение становится слишком невыносимым, уйдите осторожно, без шума».

По-другому писал ему из Петербурга Плетнев. После смерти Пушкина Плетнев стал издателем «Современника» и хотел видеть в Викторе Теплякове одного из непременных авторов журнала:

«Занимательна и поучительна жизнь Ваша, почтеннейший Виктор Григорьевич! Много соберете Вы запаса на остальные дни, даже слишком много, если правда, что обрекаете себя в будущем на пустынничество [каким образом этот слух возник и докатился до Плетнева, нам неизвестно]. Но не то готовит Вам судьба. Она слепо не расточает своих сокровищ. Вы должны уплатить ей не воспоминаниями затворничества, но огненными страницами глашатая на лучшем поприще... Слава богу, что Вам удалось столько увидеть, столько прочувствовать и кинуть все это в свои восточные портфели. Это не должно погибнуть, следственно и не погибнет. По крайней мере я такой веры».

Виктор Тепляков, несомненно, тоже верил, что его записки не пропадут.

Осенью 1837 года он, должно быть — вместе с другими служащими русского посольства, получил от турецких властей разрешение осмотреть в Стамбуле, над берегом Босфора, прежний дворец султана Сарай-Бурну.

Здесь, возле дворца, Тепляков увидел множество солдат, они показались ему «карикатурою регулярного войска». Записал потом: «Чума и недостаток военной администрации почти истощили рассадник нового поколения на эти гимнастические полки, которых безбородые ратники потрясают сердце отнюдь не картиною бранной силы, но чувством глубокой жалости...»

Также посетивший этот дворец Титов записал, что «в старом султанском Сарае, вам укажут место, куда, к душевной отраде правоверных, несколько лет тому назад кидали сотнями соленые греческие уши, обрезанные носы и кожи, содранные с черепов, — ворота, где визирям объявляли немилость и ее неизбежное последствие, шелковый снурок, — решетки, за которыми черные евнухи стерегли затворниц гарема... Над морем и кипарисными садами обитает теперь, смирно и молчаливо, турецкий казнохранитель, которому поручен старый Сарай с того времени, как двор навсегда его покинул». На стенах некоторых комнат дворца висели в красивых рамках глубокомысленные надписи, выбранные из Корана, среди них Титову особенно понравился арабский стих: «Бери что веселит, кинь, что огорчает».

В жизни, к сожалению, не так-то легко «кинуть, что огорчает». И в Стамбуле, кроме утешительных надписей, бросались в глаза картины,

глубоко ранившие душу. Во дворе мечети Сулеймания Тепляков видел железные клетки, в которых сидели прикованные цепями сумасшедшие. Тяжкое было зрелище.

В сентябре Бутенев уехал в Россию, в длительный отпуск, и задержался в Петербурге на всю зиму.

Тепляков напоминал о себе в письме к Попову: «А. П. Бутенев, находящийся теперь в Петербурге, не откажет, вероятно, подтвердить, может ли мое пребывание в Константинополе принести какую-нибудь пользу, при средствах, которыми я наделен, при положении, в которое я поставлен относительно миссии. При отъезде посланника я обо всем этом говорил с ним, а после, по его приказанию, изложил письменно сущность нашей беседы». Он просил Бутенева отправить его, хотя бы курьером, в Египет и Палестину...

О том же написал Родофиникину. Замечал: «...осмеливаюсь предполагать, что в глазах начальства по меньшей мере равно, здесь ли будет напрасно влачиться мое существование или посвятится оно, без новых со стороны министерства пожертвований, путешествиям, которые не могут, во всяком случае, остаться бесполезными».

«Когда покинете Константинополь, Вы, быть может, на возвратном пути завернете сюда...— писала ему из Одессы графиня Эдлинг.— Не изменяйте поэзии, она была Вашей верной подругой в счастье и в несчастье, и Вы не должны оставаться неблагодарны. Прощайте, мои добрые пожелания будут сопровождать Вас повсюду».

Что он мог ответить ей? Как было объяснить, почему нет у него новых стихов? Он ли изменил поэзии? Или это она покидает его здесь, в бесконечной маете ожидания?

Он записывал в дневнике (в марте 1838 года):

«Теперь я и сам едва узнаю в себе прежнего себя самого... Не то чтобы с годами и опытностью я сделался совершенным отступником Байрона... Я писал как жил, а жил совсем иначе, нежели какой-нибудь светский любезник или канцелярский дипломат... И не чистое ли сумасбродство все эти порывы к высокому и прекрасному, и не благоразумнее ли было бы примкнуть без дальних хлопот к той несметной фаланге нулей, которые множат значение какой-нибудь единицы...»

А ведь если разобраться, единственной безусловной единицей в государственной иерархии оказывался император Николай. При этой единице все министерство иностранных дел было фалангой нулей: Нессельроде, Родофиникин, Бутенев, Титов и так далее.

«Полутораґодовое прозябание в Цареграде посреди атомов, гнущихся и изгибающихся, бесцветных и пронырливых, холодных ко всему и гордых своим единым ничтожеством, заморозило вдосталь те мысли и ощущения, которые рвались некогда столь упорно наружу,— записывал в дневнике Тепляков.— ...Что притом за страсть марать бумагу... Мы ничего не творим, мы только вспоминаем, говорит корифей древнего любомудрия.

Воспоминание есть, следовательно, единственный гений человека; может быть, потому-то и существует в нем страсть мыкаться пчелой по обширному божьему миру за медовой добычей под старость!»

Эта страсть жила в нем, не угасая,—он еще так много хотел бы увидеть и узнать! Чтобы впоследствии было что вспомнить—в книгах, которые напишет...

Но кто же этот корифей древнего любомудрия, чьи слова он привел в дневнике?

На память приходят «Диалоги» Платона, который считал, что истину мы только *вспоминаем:* она так же вечна, как душа, и уже открывалась душе прежде, в иной жизни,—он верил в переселение душ. В диалоге «Федр» отыскиваем приведенные Платоном слова Сократа: «...ведь когда он пишет, он накапливает запас воспоминаний для себя самого на то время, когда наступит старость—возраст забвения, да и для всякого, кто пойдет по его следам...»

В русском переводе «Диалоги» Платона тогда еще не издавались, и в древнегреческом тексте отдельные фразы Тепляков мог перевести и запомнить очень неточно. Так что, может быть, четкое определение («Мы ничего не творим, мы только вспоминаем») принадлежало уже ему самому.

Глава седьмая

Камень, который катится, мхом не обрастает,—говорит старая пословица, и она тысячекратно справедлива!

Из письма Виктора Теплякова графине Эдлинг 5 мая 1839 года

В те времена Египет, Сирия, Ливан и Палестина считались частью Оттоманской империи. Но только считались! На самом деле независимым их властителем был наместник султана в Египте Мехмед-Али. Этого человека называли в Европе вице-королем Египта. Он намерен был добиваться признания своей суверенности—и от султана Махмуда, и от европейских держав.

Неспокойно было в Сирии. Оказались достоверными слухи о восстании друзов—многочисленной мусульманской секты. На подавление восстания выступило войско Ибрагима-паши, сына Мехмеда-Али. Ожидалось неминуемое столкновение Ибрагима-паши с войском султана Махмуда на границе Сирии и Турции.

Оказывать поддержку султану считал нужным император Николай. Он чтил монархические принципы и видел в Мехмеде-Али, человеке неясного происхождения, самозванца, посягнувшего на права законного монарха. Николай полагал, что самозванца надо обуздать. Султан же пусть чувствует свою зависимость от поддержки со стороны Российской империи.

Граф Нессельроде сознавал, сколь недостаточны сведения, кои поступают в его министерство через посольство в Константинополе и генеральное консульство в Александрии. События на Ближнем Востоке его все более беспокоили. Какой оборот может принять ожидаемая война? Чью сторону примут сирийские и ливанские шейхи? Выступят ли друзы на стороне султана? Что можно ожидать от арабов-христиан—

маронитов? И не будут ли потревожены святые места в Палестине, привлекающие паломников-христиан?

Скудность поступающих сведений объяснялась еще и тем, что на Ближнем Востоке снова появилась чума и порт в Яффе был закрыт.

Нужен был человек, который теперь поехад бы в Ливан и в Сирию. Поехал бы, несмотря на угрозу чумы и войны. Ведь, если ныне разразится война, посланец из России может стать жертвой воинствующих фанатиков — так же, как девять лет назад посланник Грибоедов в Тегеране...

И оказалось — подходящий человек есть. Он сам рвется на Ближний Восток, сам говорил об этом Бутеневу и писал Родофиникину. Пусть едет.

Из почты, полученной посольством в Буюк-Дере, Тепляков узнал новость: министерство решило удовлетворить его желание повидать Египет и Палестину и теперь посылает его курьером в Египет. Собственно, он будет не просто курьером, на него возлагается важная миссия, которая даст ему возможность совершить путешествие по Ливану и Сирии — к святым местам. Потом он сможет свободно располагать своим временем и не спешить с возвращением в Буюк-Дере (где ему, как известно, делать нечего). Он сможет еще совершить, по своему желанию, путешествие по Египту, от Каира вверх по Нилу, до развалин древних Фив или даже дальше.

Если б о таком решении министерства Тепляков узнал три месяца назад, он был бы счастлив, а сейчас он был только смущен. Конечно, отказываться не стал: немыслимо было отказываться, когда сам же просил послать его на Ближний Восток. Но в тот же день, 23 марта по старому стилю, на страницах дневника своего признавался себе, что уже и не жаждет этого трудного путешествия. О желании своем он говорил непроницаемому Бутеневу еще в декабре — «и что ж? — в то самое время, когда я почти отчаялся насчет его исполнения, — записывал он в дневнике, — последняя почта привезла приказание отправить меня курьером в Египет. Время года крайне неблагополучное для подобного странствия; усталость духа и плоти подбивают меня променять Восток на Север...»

Но он взял себя в руки.

Один день был потрачен на дорожные сборы, и уже 25 марта Тепляков поднялся на борт французского парохода «Рамзес». «Оставляю Константинополь без сожаления», — отметил он в дневнике.

Пароход шел сначала в Смирну, затем до острова Сира. Там предстояло пройти уже не пятидневный, а двенадцатидневный карантин, прежде чем разрешено будет перейти на борт другого парохода — до Александрии.

Вот уже «Рамзес» бросил якорь перед Сирой, пассажиров на шлюпках переправили на берег. «Здесь свирепствовали сильные ветры, поднимавшие громадные волны, от которых страдали жалкие прибрежные бараки, обычное прибежище несчастных путешественников», — вспоминал потом Тепляков. Однако на сей раз ему отвели хорошую комнату в доме карантинного начальства. И «двенадцать дней заключения на острове Сира прошли в размышлениях над бесцельностью в этой местности карантина вследствие ежедневных сообщений с соседними островами».

Он послал меланхолическое письмо Титову в Буюк-Дере. Писал, что, возможно, ограничит свою поездку выполнением порученного и не поедет к святым местам, в Иерусалим, поскольку никакие неотложные дела его туда не призывают.

Другое письмо, сразу же по прибытии на Сиру, он отправил в Афины, австрийскому посланнику Прокеш-Остену. И уже перед самым отплытием в Александрию пришел ответ:

«С большим удовольствием получил я письмо, в котором Вы извещаете меня о Вашем намерении, уже готовом исполниться, посетить Египет. Вы прибудете туда в минуту, к несчастью даже слишком интересную; если наши предположения верны — мы накануне нового разрыва [между Мехмедом-Али и султаном]. При подобном возбуждении страстей и таком ходе дела, рано или поздно, кризис неизбежен». Австрийский дипломат писал об уверенности Мехмеда-Али в разладе между европейскими державами и в том, что ему нечего бояться совместных действий держав против него. «Чрезвычайно буду рад получить известие о том, что узнаете достоверно по этому вопросу, — писал Теплякову Прокеш-Остен. — Думаю, также, что увещания русского консула в Александрии очень повлияют на решение вице-короля; он не особенно опасается того вреда, который могут ему нанести морские державы, но должен бояться столкновения с русской армией в Малой Азии или на берегах Босфора».

Ответить на это письмо Тепляков не успел: французский пароход «Леонид» уже стоял на рейде, готовый к отплытию в Александрию.

На другой день записывал в дневнике: «Средиземное море: новый путь, новая страница в книге моего существования».

Еще через день — яркое солнце грело уже по-африкански. Во время обеда послышались крики с палубы: «Земля! Земля!» — и Тепляков выскочил из кают-компании. На горизонте, над синевой моря, белой полосой тянулись дома Александрии на песчаном берегу.

Когда пароход подошел ближе, солнце уже закатывалось, дома на берегу приняли золотистый оттенок, уже различимы были минареты и пальмы. Ночь пароход стоял на рейде среди множества других судов.

Утром 13 апреля (Тепляков и дальше отмечал даты по старому стилю) на арабской лодочке переправился он с парохода на берег.

«Смуглые арабские, турецкие и армянские лица одушевляли набережную такой пестротой и движением, каких я до сих пор не видал на Востоке», — записал он в дневнике. Далее рассказывал: «Нам подвели двух ослов, на которых [вдвоем с проводником, знающим дорогу] и поплелись мы трях-трях, сопровождаемые пешеходными хозяевами этих животных... Лошадей почти нет в Александрии, и ослы служат единым, дешевым и крайне покойным средством сберегать собственные ходули... Мы ехали по узким, нечистым, кривым и немощеным улицам среди выбеленных, с плоскими кровлями землянок, сталкиваясь на каждом шагу с вьючными и водоносными верблюдами и не встречая голодных собак, главной роскоши стамбульских улиц... Вскоре выехали мы на широкую улицу или, лучше сказать, на длинную площадь, которой огромные дома построены почти под одну кровлю и стоили бы по своей красоте местечка даже в нашей невской столице. Большая часть

этих палат воздвигнута Ибрагимом-пашой и отдается внаем консулам европейских держав. В одной из них нашел я нашего [консула] *графа Медема,* который не хотел и слышать о моем помещении в одной из городских гостиниц. С необыкновенной обязательностью послал он своего янычара за моими вещами... Таким образом поселился я в доме консульства и посвятил остаток дня наслаждениям *кейфа».*

Наутро явился драгоман (переводчик) консульства — сопровождать гостя при обозрении города. Когда вместе вышли из ворот, их окружили владельцы ослов, предлагая смирных этих животных, так сказать, напрокат. Тепляков и драгоман сели верхом на ослов и двинулись неспешно через город по направлению к гавани.

В гавани спустились они к самому берегу, сели в лодку и поплыли к египетскому адмиральскому кораблю. На борту корабля был обозначен № 6 (оказалось, что большинство египетских военных кораблей известно под номерами). Адмиральский корабль поразил блеском и великолепием. «Повсюду шелк и зеркала, полированная медь и красное дерево, резьба и позолота!» — записал Тепляков.

Потом ему разрешили (и весьма охотно разрешили) осмотреть александрийский арсенал. Здесь ему заявили, что в мастерских арсенала вырабатывается все необходимое для египетского флота, и Тепляков выразил свое восхищение размахом работ. Но восхищение сразу в нем погасло, когда он узнал, что из пяти тысяч человек, занятых в мастерских, половина — приговоренные к каторге, причем каторжников используют на самых тяжелых работах.

Самого Мехмеда-Али в эти дни в Александрии не было. Он прибыл 19 апреля, и 21-го Тепляков явился к нему с визитом.

Перейдя мост через широкий ров, прилегающий к каменным стенам с башнями и батареями, он вошел в ворота и увидел обширный двор перед дворцом властителя Египта. Гостю объяснили, что правая сторона дворца занята гаремом, в левой находится приемный зал.

Тепляков поднялся по мраморным ступеням.

В приемном зале окна по правой стороне были обращены во двор, из окон слева открывался вид на море. Вдоль стен стояли стулья красного дерева, обитые голубым штофом. Под голубым куполообразным потолком висела хрустальная люстра. На паркете был разостлан роскошный ковер. На красной софе, среди шитых золотом подушек, сидел седой, слегка сгорбленный старик — сам Мехмед-Али.

Он сказал Теплякову:

— Будьте моим дорогим гостем!

И жестом пригласил сесть рядом на софе.

«Он начал говорить о том, что вполне разделяет мое мнение об александрийском арсенале, — рассказывал потом Тепляков, — и я, конечно, не сомневался, что оно было передано теми, кто давал мне объяснения во время осмотра арсенала».

— Что видели вы еще? — спросил Мехмед-Али.

— Один из ваших военных кораблей.

— Который?

— Номер шестой.

— Как? Ведь вы же не военный!..

Тут принесли кофе. Мехмед-Али возобновил разговор, поинтересовался, какие новости в Константинополе. Тепляков никаких особенных новостей поведать не мог. В разговоре он затронул уже не новый, но еще не разрешенный вопрос о постройке канала через Суэцкий перешеек.

— Все вы за этот канал... — сказал, нахмурясь, Мехмед-Али. — Но я лучше, чем вы, знаю Египет и предпочту прорезать этот перешеек железной дорогой.

Аудиенция была окончена. Прощаясь, Тепляков сказал властителю Египта, что надеется на его высокое покровительство в своей предстоящей поездке по стране.

— Поезжайте с миром, — ответил Мехмед-Али.

Министр общественных работ Мухтар-бей отправлялся из Александрии в Ливан, и Мехмед-Али прислал Теплякову *буюрлды* (пропуск), предлагая отправиться на военном корабле вместе с Мухтар-беем.

Все складывалось как нельзя лучше. 25 апреля корабль отплыл в Бейрут.

Тепляков рассказывал потом, что Мухтар-бей, «земляк Мехмеда-Али» (вице-король был родом албанец из Македонии) и «один из тех молодых людей, которых вице-король своими заботами воспитал в Европе», во время пятидневного пути часто беседовал с ним, Тепляковым, о современном положении Египта и старался убедить его в могуществе Мехмеда-Али. Однажды спросил:

— Как вы думаете, в Константинополе сильно боятся?

— Чего?

— Конечно, войны. В нынешнем году она вряд ли возможна, но в будущем, по-моему, неминуема.

— Бог знает... — ответил Тепляков.

— Скажите, — продолжал Мухтар-бей, — отчего державы не желают признавать то право, которое существует?.. Известно ли вам, что в нашей армии теперь до двухсот тысяч солдат, включая в это число новообразованные сирийские полки? Да и где найти великого человека, который мог бы сравниться с Мехмедом-Али?

Не знаем, что отвечал Тепляков. Возможно, он и не нашел того дипломатического ответа, который следовало произнести в подобной ситуации.

По прибытии в Бейрут оказалось, что чума из Яффы уже проникла сюда. Пришлось опять застревать в карантине, устроенном возле моря, на мысу, в двух верстах от города.

Тепляков рассказывал потом, что и здесь, в Бейруте, «санитарные меры, казалось, были заимствованы с убеждением в их полной бесполезности. Так, например, лазарет был переполнен чумными из Яффы, что не мешало, однако, карантинной страже сноситься с зачумленными». Он написал Медему в Александрию о нелепых порядках в бейрутском карантине: «Здесь мог бы я умереть со смеху, если б не было ежеминутного риска сгинуть по совершенно иным причинам». Отправил он также письма графине Эдлинг в Одессу и Титову в Буюк-Дере.

Еще не выходя из карантина, он пытался узнать что-либо о действиях

армии Ибрагима-паши против мятежных друзов. Узнал немногое: «Со времени отъезда из Алеппо [города на севере Сирии] Ибрагима-паши, который отправился с отрядом войска для соединения с Сулейманом-пашою, чтобы разработать вместе с ним план общего нападения на мятежников гауранских, не получено никаких официальных известий о действиях египетской армии. Ибрагим-паша пытался засыпать все близкие к Гаурану колодцы, доставляющие горцам пресную воду, но друзы почти тотчас их отрыли, отбивши без особенного затруднения несколько вооруженных отрядов».

К Сулейману-паше Тепляков имел при себе, на всякий случай, рекомендательное письмо. Русское консульство в Александрии рекомендовало его как атташе константинопольской миссии, который намерен путешествовать по Сирии и Палестине.

Администрация Мехмеда-Али повсюду состояла почти сплошь из турок, вражда его к султану не имела национальной окраски, и независимости он добивался не для арабов, а для себя и своих сыновей...

Так что турецкий язык оставался языком администрации на всем Ближнем Востоке. Тепляков по-турецки говорил с трудом и сознавал к тому же, что одним турецким языком в его путешествии не обойтись. Когда окончился положенный срок карантина, первым делом он нанял слугу, который мог быть для него переводчиком — с турецкого на арабский. Здесь не было возможности найти слугу, владеющего одним из европейских языков.

Наконец утром 19 мая все было готово к отъезду, нанятые лошади оседланы, мулы навьючены. Тепляков подошел к своему коню, поставил ногу в веревочное стремя, вскочил в седло, взял в руки заменявшую поводья веревку. Ну, с богом!

Проехали через Бейрут, по улицам, зажатым меж высоких каменных оград. За оградами скрывались сады и дворики домов с плоскими кровлями.

Из Бейрута двинулись на север, вдоль гористого берега моря. Природа кругом была упоительной: море сверкало на солнце, тихо шумели под ветром сады, шелковичные рощи.

Утром 22 мая въехали в приморский город Триполи. Тепляков отыскал там французского вице-консула, и тот рассказал, что мятежников в горах не более семи тысяч, что население недовольно рекрутским набором, который весьма круто проводится Ибрагимом-пашой, и что в Алеппо (уже вблизи турецкой границы) двадцать пять человек были обезглавлены за распространение ложных слухов о смерти Мехмеда-Али.

У Теплякова было при себе рекомендательное письмо от Медема, написанное по-итальянски, на случай возможного проезда через Алеппо, и адресованное одному итальянцу, который исполнял обязанности русского консульского агента в этом городе. Но Тепляков решил, что в Алеппо ему делать нечего, и повернул из Триполи в горы, к Дамаску, на юго-восток.

Пришлось подниматься по тропам все выше и выше, среди камней и ревущих потоков. Облака уже клубились ниже по склонам, а вдали белели снежные вершины Ливанского хребта. После шести часов труд-


В Баальбеке

ного пути прибыли в селение Эгадин. Теплякова провели к местному маронитскому шейху. Оказалось, что старший сын шейха отлично владеет итальянским языком, а так как Тепляков говорил по-итальянски свободнее, нежели по-турецки, объясниться удалось без труда.

Ему рассказывали, что Ибрагим-паша заставил маронитов разоружиться и разрешил их эмиру Беширу иметь только четыреста человек гвардии. «Уверяют, впрочем, — записал Тепляков в дневнике, — что горцы прячут большую часть своего лучшего оружия и в случае надобности могут вооружиться как прежде... В случае кризиса марониты не захотят больше ни паши [Мехмеда-Али], ни султана». Как выяснялось, эмир Бешир сам повелел маронитским шейхам спрятать оружие.

Дальше в путь! «Мы добрались, — рассказывает Тепляков, — до вечноснежных вершин Джебель-Саннина, который возвышается над всем Ливанским хребтом. Достигнув такой высоты, нам оставалось одно, как и в человеческой жизни, — спускаться вниз».

Спустились в Баальбекскую долину, где Тепляков задержался на два дня — осматривал грандиозные развалины древнего города Баальбека рядом с бедным селением того же названия, окруженным зарослями орешника.

Ближе к Дамаску, сирийской столице, открывался истинный рай земной — утопающая в садах долина. «Везде калитки в сады, как в России. Звонки стад, ропот ручьев...»

И вот окруженный стеной Дамаск. Въехали в ворота, по узким улицам и переулкам добрались до францисканского монастыря. Здесь русскому путешественнику отвели комнату, предоставили постель.

На другой день он бродил по базарам, обедал у английского консула, ужинал у французского, узнавал дамасские новости. Сирийский генерал-губернатор оказался в отъезде. «Власть сирийского генерал-губернатора, — записал Тепляков, — ограничивается лишь гражданскими делами; военное управление страной сосредоточено в руках Ибрагима-паши».

Задерживаться в Дамаске не имело смысла. Пора было расстаться с нанятым в Бейруте слугой, отпустить его вместе с лошадьми... Так что слугу и лошадей надо было нанимать заново. Слуга, он же драгоман, то есть переводчик, нашелся, лошадей для выезда из Дамаска нанять не удалось. Тепляков нанял трех мулов.

И снова в путь — через горы на запад, в маронитскую столицу Деир-эль-Камар. «Все вверх и вверх по карнизу гор над Баальбекской равниной, опять утесы и с них водопады... Холодный и порывистый ветер...»

Деир-эль-Камар. Высоко на горе — выстроенный в мавританском стиле дворец эмира Бешира. Рядом, на склоне другой горы, — многочисленные хижины, шелковичные и оливковые деревья. «Все это дико и прекрасно», — отмечал Тепляков.

Вместе с драгоманом своим и одним местным жителем (вызвался быть проводником) он поднялся на гору, к сводчатым воротам дворца. Его просьбу об аудиенции передали эмиру, и тот дал свое соизволение.

Втроем прошли несколько внутренних дворов, где увидели дворцовую стражу. «Спешившись, стояли эти стражники рядом со своими лошадьми, верблюдами, мулами и ослами, — рассказывает Тепляков. —

Затем я проходил дворы с артезианскими колодцами и аллеями апельсиновых и лимонных деревьев. Далее — длинные галереи с арками и мавританскими колоннами. Наконец, я вошел в зал».

На полу, на подушках, сидел седобородый и голубоглазый эмир Бешир. Всем предложено было сесть, принесли трубки и кофе.

Эмир интересовался целью путешествия Теплякова. Восхвалял красоту Ливана и целебность горного воздуха. Никакой откровенности в разговоре эмир себе не позволил, «речь его отличалась тоном серьезной осторожности», как отметил Тепляков. Отметил он и патриархальные нравы при дворе: «...во время моей аудиенции у эмира простые друзы и марониты без церемоний входили в приемный зал. Одетые в длинные хитоны и сандалии, они спокойно подходили к своему властителю и почтительно целовали бахрому подушки, на которой сидел Бешир. Затем рассаживались и пили кофе, который им тотчас разносила дворцовая прислуга».

В разговоре эмир, между прочим, упомянул о странном образе жизни старой английской аристократки леди Стэнхоуп, уже много лет одиноко живущей неподалеку отсюда и совсем близко к морю, в Джуне, — она не принимает у себя приезжих и путешественников.

Переночевав в Деир-эль-Камаре, Тепляков направился в Джун.

Дорога в Джун ведет среди скал, где, по словам Теплякова, «испуганный мул со страхом двигается по гигантским глыбам». Вечером 6 июня подъехали к джунским холмам. На одном из них раскинулось бедное друзское селение, на другом жила в доме, похожем на замок, леди Эстер Стэнхоуп. Ее жизнь в уединении, как психологическая загадка, весьма заинтересовала Теплякова.

На листке бумаги он написал леди Стэнхоуп, что хотел бы ее видеть «единственно по влечению сердца и без всякого права на внимание». Вручил записку мальчику-друзу и попросил передать.

Посланец вернулся с приглашением. В вечернем сумраке Тепляков и его драгоман поднялись к дому. «Около дома леди, — рассказывал потом Тепляков в письме к брату, — мы были встречены лаем собак и толпою слуг чалмоносных. Комната для меня была отведена особая [во флигеле]... Тотчас были поданы кофе, лимонад и трубки. Утомленный от пути, я несколько вздремнул и был разбужен посланным от леди Стэнгоп [Стэнхоуп] с приглашением явиться к ней». Встал и прошел по аллеям сада, вдыхая дивный запах цветов и лимонных деревьев. Справа, за темными высотами, открывалось море...

В доме он миновал, следом за своим проводником, две тускло освещенные комнаты. Затем проводник постучал и, услышав разрешение войти, отворил дверь. Тепляков увидел в глубине комнаты, на диване, живой скелет в белом, едва освещенный двумя желтыми восковыми свечами — они были поставлены на окно и загорожены ширмами. «Этот скелет, эта беззубая и безумная старуха и была знаменитая Стэнгоп, — рассказывал Тепляков в письме к брату. — Разговор начала она, спросив меня, нравится ли мне Сирия? Далее она жаловалась на глупость и безнравственность арабов, а потом перешла к России, которую сравнивала с юным ребенком, чувствующим потребность обратить на что бы то ни

было избыток сил. Говорила разные нелепости об императоре Николае Павловиче, об его одежде, о влиянии на него какой-то графини Зубовой, о гениальности великого князя Михаила Павловича и о многом другом. Разговор наш перешел затем на политику и литературу, причем леди сказала, что лично она презирает и политику и книги, которые уже не читает 30 лет, несмотря на то, что у нее в библиотеке до 6000 томов, что она ненавидит Веллингтона и обожает Наполеона, Байрона и поэзию. Рассказывала о блестящем положении Сирии во времена турецкого правления, об уважении, которое она питает к султану Махмуду, и о презрении своем к Мехмеду-Али». Оказалось, леди верит в астрологию: вдруг она заявила гостю, что его звезда — «рядом со звездами тех, которые заставляют ее содрогаться от ужаса...»

Он пожалел о погубленном вечере, распрощался и с облегчением вернулся во флигель, в отведенную ему комнату.

«Едва я лег на свою постель, на коей надеялся провести спокойно ночь, — рассказывает он, — как был атакован не арабами, про которых мне леди Стэнгоп наговорила всякие страсти, а старыми моими знакомыми постоялых дворов России [то есть блохами], благодаря коим я провел бессонную ночь, но зато любовался рогами луны и ясными звездами над Ливаном».

Конечно, он ясно чувствовал: нет, не стоит приезжать в Ливан ради того, чтобы здесь бесполезно доживать свой век, не занимаясь ничем, в изоляции, взаперти, как эта самоуверенная старуха. Чтобы что-то здесь понимать, постигать, нельзя замыкаться в четырех стенах, надо смотреть во все глаза...

Из Джуна отправился в близлежащий порт Сайду, где отпустил драгомана с мулами; далее — по морю, на арабском суденышке, до Акра — города, совершенно разрушенного пушками Ибрагима-паши. Здесь Тепляков записал: «Прислушиваясь к молве народной, нельзя не убояться, что египетским правительством довольны в Сирии только его нахлебники. Налоги упятерены. Вольный сирийский народ превращается всеми силами в египетских автоматов. Насилия при военных проскрипциях довершают неудовольствие жителей».

В Акре с трудом достал мулов и нанял слугу-драгомана, как выяснилось очень скоро — пьяницу. И переводчиком он оказался никудышным, но лучшего не удалось найти...

Двинулись на юг, вдоль моря, к Хайфе и дальше, по долине, вдоль желтеющих нив и пустынных гор, в глубокой тишине, нарушаемой лишь изредка звяканьем колокольцев бредущего навстречу каравана верблюдов. «Иногда живописная фигура конного бедуина в полосатом плаще, иногда стадо, скрывавшееся от непрерывного зноя в тень сросшихся друг с другом смоковниц, иногда бедная деревенька у подошвы горы».

Уже Палестина! Тут, по дороге, все время приходили ему на память страницы из Евангелия и Библии, потому что светлый городок (амфитеатр белых домиков и зеленых садов) назывался *Назарет*, а тихое селение с коровами у придорожного колодца — *Кана Галилейская*...

За Эмайскими высотами открылось синее Тивериадское озеро в

оправе желто-красных гор. Тепляков и его драгоман подъехали к воротам городка Тивериады. Спящий у ворот стражник проснулся только для того, чтобы поздороваться, и снова задремал.

Городок был разрушен землетрясением, жители ютились в жалких каменных норах, и Тепляков предпочел расположиться биваком поодаль — на берегу озера. Здесь он купался и безмятежно отдыхал. Вечером уснул под пологом. Ночью проснулся — полог сорвало ветром, и над головой было только звездное небо...

Яркое солнце заставило его открыть глаза уже в половине шестого утра. Куда направиться сегодня?.. Он знал, что Тивериадское озеро лежит на пути реки Иордан: она впадает в озеро с севера и вытекает с южной стороны. Сел на своего длинноухого мула и поехал на северную сторону. Часа через полтора увидел впадающий в озеро темно-бирюзовый поток: «Вокруг все мертво, желто и сожжено солнцем, только иорданский поток опушен свежей зеленью». И, конечно, Тепляков искупался в быстрых водах иорданских.

Он вернулся в Тивериаду и отсюда двинулся к югу, до Иерусалима оставалось три дня пути. Ночевал уже везде под открытым небом. Вечером 18 июня по старому стилю увидел впереди, за оливковой рощей, зубчатые каменные стены — Иерусалим!

Потом наскоро записал в дневнике: «Запертые ворота. Долгие переговоры о въезде. Театральное появление офицера в голой саблей и стража с ружьями. Въезд в Иерусалим. Узкие каменные улицы».

Остановился он в греческом православном монастыре, где обычно принимали русских паломников к святым местам.

Рядом с монастырем высился храм Гроба Господня, воздвигнутый, по преданию, на том самом месте, где был распят на кресте Иисус Христос, — на горе Голгофе. Собственно, горы никакой не было — лишь бугор в две сажени высотой, и трудно сказать, всегда ли он был столь же невысок или был частично срыт при сооружении храма.

Так или иначе, верующего человека, каким был Виктор Тепляков, слово *Голгофа* хватало за душу. 20 июня он рассказывал в письме к брату: «Вчера упал я в прах перед гробом Христовым, ничего не прося у Вседержителя, но умоляя оживотворить мою душу, пораженную странною скорбию. Здесь располагаю пробыть дней двенадцать, потом думаю нанять дромадеров в Геброне... Оттуда через бедуинскую пустыню всего семь или восемь дней до Каира — путь не совсем благонадежный, но иного невозможно избрать. Чума, холера и война разгуливают теперь на просторе по Сирии и Египту».

Патриарший наместник в Иерусалиме, греческий архиепископ Кирилл, передал Теплякову полученные на его имя письма из Александрии. В их числе оказался пересланный консульством ответ Титова на письмо из Сиры, в котором Тепляков сообщал, что, возможно, в Иерусалим не поедет. По этому поводу Титов высказывал соображения, ныне уже запоздалые: «...позвольте заметить с привычною нам откровенностью, что быть в соседстве Сирии и не видеть Иерусалима — то же, что быть в Риме и не видеть папы, и если воротитесь без титла хаджи Тепляков или хаджи Виктор, то просто же будет позор и поношение [по-турецки

«хаджи» — почетное прозвище тех, кто совершил паломничество к святым местам]... Копия с официального письма Вашего отправлена при перпендикулярном послании к Ельчи-бею [то есть Бутеневу: по-турецки «элчи» означает «посланник»]. Самого же Ельчи мы ожидаем сюда около июля».

Сейчас Тепляков отправил новое письмо Титову в Буюк-Дере: «Вообще путешествие совершено по плану, который я сообщил Вам из Бейрута. Само собой разумеется, что на этот раз я не могу входить ни в какие подробности».

Архиепископ Кирилл дал ему проводника — серба, говорившего по-русски и по-гречески, предоставил монастырских лошадей. Вместе с проводником Тепляков объехал вокруг городских стен.

Вот они, иерусалимские святыни. Представить только: эти восемь оливковых деревьев, обложенных камнями, — то, что осталось от Гефсиманского сада, того самого, где Иуда в ночь своего предательства облобызал Христа. Позади этого сада — огражденное камнями место, где Христос, обливаясь кровавым потом, произнес: «Отче, да минет меня чаша сия!» Вот здесь, как утверждают, отпечатался на мраморе след босой ноги Христа, над ним воздвигнута часовня.

Оказалось, что из-за этой часовни существует давняя тяжба между греческой и армянской церквами. По этому поводу архиепископ Кирилл составил особое послание Медему. Попросил Теплякова взять это послание с собой и Медему передать.

Вместе с архиепископом съездил Тепляков в близкий Вифлеем — к церкви над пещерой, где, по преданию, родился Иисус. Тепляков записал в дневнике, что в пещере этой «лампы проливают таинственный свет посреди ее торжественного сумрака».

В церкви святого Георгия бросился ему в глаза портрет черного монаха с раскрытой книгой в руках. На страницах книги написано было:

Употреби труд,
Храни мерность:
Богат будешь.

Воздержно пий,
Мало яждь:
Здрав будешь.

Твори благо,
Бегай злаго:
Спасен будешь.

Эти слова Тепляков переписал в свой дневник.

Величайшая любознательность руководила им здесь, как и везде, — не только религиозное чувство. Поэтому он посетил мусселима, правителя города, и получил желанное дозволение осмотреть главную иерусалимскую мечеть Эль-Акса́ Джами́.

Записал в дневнике 28 июня: «Из Иерусалима в 8 ч. утра уехал к Мертвому морю. Монастырь навязал мне 3 проводников, да мусселим прислал 4 бедуинов и 2 кавалерийских солдат с их начальником».

В знойном воздухе над Мертвым морем висела дымка. «Я разделся, — рассказывает Тепляков, — и вошел в воду, которая как будто согретая

и отвратительна пуще не знаю чего. Я повторил опыт, точно ли человеческое тело может носиться на поверхности, и, растянувшись на спине, лежал будто в колыбели». Отсюда он и его спутники поехали на северо-восток, к Иордану, где искупались уже в свежей и пресной воде. На обратном пути заночевали в Иерихоне — в палатках под деревьями, при свете луны и костров.

В Иерихоне оказалось всего три десятка хижин. Половина жителей разбежалась, чтобы спастись от рекрутского набора, проводимого Ибрагимом-пашой.

«1 июля в 5 часов утра, — рассказывал Виктор Тепляков в письме к брату, — разбудили меня к обедне. Ее совершал наместник архиепископ Кирилл на самой Голгофе». Тепляков подал записку с именами тех, кого он просил помянуть в молитве за упокой души. В литургии (как рассказывал он в другом письме) «были поручены небесной благости все милые моему сердцу. Потом молились за усопших, за тех, которые никогда не умрут в его памяти, в их числе находилось имя Пушкина...»

Молитву за упокой греческий дьякон возгласил на чистом русском языке.

Пришлось ему отказаться от плана отправиться в Каир на верблюде через Синайскую пустыню. Со дня прибытия в Иерусалим Тепляков чувствовал себя скверно (похоже на то, что у него была язва желудка) и побоялся он плохой питьевой воды из колодцев на пути в Каир.

Решил он возвращаться в Египет через Яффу.

Яффский порт был закрыт для иностранных судов. Разрешалось бросать якорь на рейде лишь тем кораблям, на которых прибывали и отбывали паломники, совершающие путешествие к святым местам. Специально для паломников греческий монастырь в Яффе вынужден был построить карантин.

В то же время местные жители, не проходя никакого карантина, спокойно плавали на маленьких парусниках по мелководью вдоль берегов и брали пассажиров до Дамиэтты — в устье одного из рукавов Нила.

Этот способ добраться до Египта стал известен Теплякову и показался ему самым удобным.

От Иерусалима до Яффы — верхом на муле — двенадцать часов пути. 4 июля он прибыл в Яффу: «По бесконечным переулкам и закоулкам добрел я до греческого монастыря, белеющего над беспредельною равниною моря, которое я увидел как доброго друга».

На другой день записал: «Ссоры монахов с карантинным чиновником. Монахи уверяют, что этот карантин стоит им до 1 500 000 пиастров». С другой стороны, Мехмед-Али, как рассказывали, где-то заявил, что «чума до тех пор не перестанет существовать в Яффе, пока карантин будет в руках монахов», угрожал закрыть карантин вообще и превратить его в казармы.

«Говорят, что ничто не может быть искуснее средств, которыми иерусалимские монахи выманивают деньги у наших поклонников [то есть паломников], — записал Тепляков. — Очистив их до последней

копейки, они возвращают поклонников в Яффу без куска хлеба и приводят тем и наше яффское консульство и самих поклонников в крайнее затруднение насчет возврата их в отечество. В Иерусалиме, напротив, наместник жаловался мне на безденежье, на пьянство, на буйство и неподчиненность поклонников. Как бы то ни было, все это требует со стороны нашего правительства дельных и строгих решений и устройства».

Но что можно поделать, если грязные корыстолюбцы не становятся чище у подножья Голгофы, возле христианских святынь.

«Есть надежда отплыть сегодня на Дамиэтту», — отмечал он в дневнике 8 июля. Арабская джерма — парусное суденышко с грузом мыла, лимонов и апельсинов — могла взять еще одного пассажира на борт. Встречный ветер задержал отплытие на двое суток.

Вот оно, это суденышко. «Кроме груза, на нем 25 пассажиров и 8 человек экипажа, — записал Тепляков, — так что можно только лежать на раскинутом у руля матрасе, ходить нет ни вершка места». Снялись, наконец, с якоря и при слабом ветре медленно поплыли. Песчаный берег все время оставался в виду.

Только через день миновали Газу, еще через день достигли Эль-Ариша, затем подул встречный ветер...

«Противный ветер продолжается, — записывал Тепляков 13 июля, — мы поворачиваем направо и налево, чертим бесполезные галсы и не можем отбиться от соседства с Эль-Аришем.

Не есть ли это верное подобие моей жизни, осужденной с самого начала бежать изо всей мочи, бежать до кровавого пота и между тем оставаться все на одном и том же месте. Тьфу, пропасть! Притом же мне крайне, крайне неможется; грудь и желудок подавлены каким-то мучительным бременем. Деятельные дальние странствия — болезнь! Неподвижная, сидячая, созерцательная жизнь — тоже болезнь!..

Когда бы бури! Но их нет для меня ни на море, ни в жизни! В одном случае — противный ветер или усыпительное безветрие; в другом — мертвая однообразность, одноцветная ничтожность. Неужели... Но подождем еще немного только и потерпим; авось ли не проглянет солнце, авось ли не подует попутный ветер, или по крайней мере ударит гром, который все раздробит, все окончит!»

Глава восьмая

Для быстрых душ недвижность — ад, и в этом
Твоя погибель.

Дж. Г. Байрон.
«Паломничество Чайльд Гарольда»

Джерма вошла под парусом в устье восточного рукава Нила, и прозрачная морская вода за бортом сменилась мутной, илистой нильской водой.

Карантин перед Дамиэттой оказался для Теплякова простой формальностью. Правда, полдня он промаялся под палящим солнцем,

но затем начальник карантина, молодой грек из Смирны, проводил его в город, в греческое консульство.

На другое утро к дому консульства привели двух белых арабских коней — прислал их начальник таможни. Вдвоем с начальником карантина Тепляков осматривал окрестности Дамиэтты, видел бедные хижины крестьян-феллахов, видел волов на рисовых полях. В городе он явился с визитом к дамиэттскому губернатору — тот оказался родственником Мехмеда-Али. Губернатор предложил гостю заглянуть в местную военную школу, где обучалось четыреста будущих офицеров пехоты: на две трети — арабы, на треть — турки. Ясно было, для чего показывают военную школу: смотри, иноземец, как мы сильны... Но он уже многое видел на подвластных Мехмеду-Али территориях и не склонен был восторгаться.

В Дамиэтте нанял он 20 июля парусную канжу и отплыл на ней вверх по течению реки — в Каир. При попутном ветре суденышко плыло под парусом, при встречном ветре или безветрии матросы шли по берегу и тянули канжу на канате.

Рано утром 22-го Тепляков проснулся — канжа стояла у берега, возле селения напротив городка Мансуры. Он решил искупаться и вошел с берега в теплую воду, ступая по вязкому дну. После купанья прогуливался по набережной и вдруг услышал из открытого окна приглашение зайти, высказанное по-французски. Зашел. Его встретил молодой араб, который, как выяснилось, учился во Франции, ныне же был учителем в земледельческой школе. В разговоре за чашкой кофе арабский учитель «подтвердил истину всего, что путешественники толкуют о тиранстве и грабежах правительства. Он говорит, — записал Тепляков, — что внутри страны жители принуждены часто питаться травою...». Впрочем, и здесь, у берегов Нила, бедность жителей была сразу видна.

Вернувшись на канжу, Тепляков переправился на ней на другой берег, в Мансуру. Здесь он встретил француза Бокти, служившего русским вице-консулом в Каире, а сейчас прибывшего зачем-то сюда. Бокти сообщил, что в Каире, кстати, есть где остановиться: пустует дом, который занимал зимою граф Медем.

Прекрасно! Не стоит задерживаться тут, плывем в Каир.

Канжа, увы, плыла медленно.

В деревне Тахле матросы вышли на берег купить еды. «Вдруг рейс [капитан] возвратился сказать мне, — рассказывает в дневнике Тепляков,— что один из матросов взят насильно на принадлежащую Ибрагиму-паше барку. Отправясь лично на эту барку, я показал этому рейсу *буюрлды* паши и требовал возвращения матроса... Рейс отговаривался тем, что матрос должен ему 10 пиастров и что он не выпустит его до тех пор, пока не будет удовлетворен. Тщетно возражал я, что никто не должен быть судьей в собственном деле, что он может искать позднée удовлетворение... Рейс упорствовал не возвращать матроса, а этот последний, превратясь из человека в вещь, следовал машинально желаниям своего *хищника*. Я желал отнестись в этом деле к деревенскому старшине, но мне сказали, что он в отсутствии... Оставалось, следовательно, оказать самому себе справедливость».

И без промедлений! Тепляков достал пистолеты, намеренный действовать решительно. И тогда рейс его канжи, увидев, что дело приняло опасный оборот, заявил, что попытается все уладить сам. Отправился на барку и после довольно длительных переговоров вернулся все-таки не один, привел незадачливого матроса обратно.

Тепляков написал брату письмо. Рассказывал о плавании по Нилу, «о невыразимой красоте его берегов, осененных повсюду пальмовыми лесами, усеянных рисовыми полями и непрерывным рядом деревень и городов, где бедствует один только человек, известный под именем феллаха».

Европейские путешественники писали, как правило, не о бедности феллахов, а о красоте и величии египетских пирамид. Впрочем, это зрелище было в самом деле поразительным, и Тепляков, когда в первый раз увидел вдали пирамиды на фоне голубого неба, невольно захлопал в ладоши...

В ночь на 26-е прибыли в предместье и гавань Каира — Булак. Утром вещи Теплякова были навьючены на верблюда, сам он и его слуга, нанятый в Дамиэтте, сели на ослов и направились к дому русского вице-консула.

«Его поверенный, мальчик лет 20-ти, вручил мне, — рассказывает Тепляков, — два пакета писем, которые много обрадовали меня вестями от милых сердцу. Вместе с письмами явилось также несколько грамоток с умствованиями о независимости Мехмеда-Али».

Еще в мае (Тепляков, запертый в бейрутском карантине, этого не знал) Мехмед-Али провозгласил свою независимость от султана, но этой независимости не признала ни одна иностранная держава.

В июне Медем доносил Нессельроде, что решение Мехмеда-Али твердо, так что остается очень мало надежд на мир. Депешу Медема прочел царь и написал на полях: «Это чрезвычайно неутешительно, будущее представляется мне очень неопределенным, но мы готовы».

Однако постепенно становилось ясным: в этом году войны еще не будет. Нессельроде занял привычную выжидательную позицию, решил ничего не предпринимать.

Графиня Эдлинг писала Теплякову, что она ждет его в Одессе: «В самом деле, Вы, может быть, хорошо бы сделали, поселившись тут, чтобы предаться единственному истинному наслаждению жизни — науке и независимости, не говорю — о поэзии, потому что она исчезает, как любовь». Эта фраза, начатая так бодро, заканчивалась внезапной печальной нотой — прозвучало ли тут сожаление, что вот он более не пишет стихов? Или сожаление стареющей женщины, что исчезает любовь?

Еще написала она о смерти Родофиникина. О том же сообщал Титов: «Дедушка Константин Константинович раскланялся навеки не токмо департаменту, но и дольнему миру 30 мая». Сообщение звучало почти юмористически («раскланялся навеки»), так что, видать, не больно Титов о «дедушке» сожалел...

Тепляков отвечал графине Эдлинг из Каира: «Право, не знаю, стоит

ли мне жалеть о папе Родофиникине: этот человек знал о глупом положении, которое ожидало меня в Константинополе, и, тем не менее, с легким сердцем отправил меня туда. Но пусть бог примет его душу, теперь я не знаю вовсе, к кому мне обращаться, чтобы выбраться из лабиринта, в который я попал». То есть выбраться на какую-то определенную дорогу из лабиринта своих отношений с Азиатским департаментом в Петербурге и посольством в Константинополе...

Возможно, тогда же он послал краткий отчет об исполнении порученного, о своем путешествии — министерству иностранных дел.

Еще он написал из Каира в Афины Прокеш-Остену — с большим запозданием выражал признательность за письмо, которое получил и прочел в сирском карантине. Теперь сообщал, что за время путешествия пришел к выводу: «Несомненно, последняя война была возбуждена злоупотреблениями эгоистической и жадной администрации, и очень вероятно, что она не перестанет вспыхивать вновь, пока не займутся добросовестно устройством благосостояния населения».

В обстоятельной записке, которую готовил, чтобы представить Бутеневу, Тепляков со всей определенностью утверждал, что Мехмед-Али установил в Сирии притеснительную администрацию, обременил население непосильными налогами, угнетает друзов рекрутским набором. Вот почему восстания друзов следовало ожидать...

В Каире консульство наняло для Теплякова комнату в гостинице. Тут он встретил трех французов, по его словам — «решительных маркизов Карабасов с тем самым невежеством, которое погубило французское дворянство».

В компании с этими французами он бродил по каирским базарам. «Мы посетили также базар невольников, этот четырехугольный двор, устланный толпами рабов различного пола и возраста, — рассказывает Тепляков. — ...Французы, мои спутники, останавливались перед каждой лавкой и торговали все, что только им попадалось на глаза, с твердым намерением ничего не покупать. Один из продавцов невольников заманил нас к себе в дом. Прошед несколько темных и грязных закоулков, мы взошли по столь же грязной лестнице вверх. Там, в тесной, грязной конурке, весь пол был устлан почти голыми нубианками». Разумеется, ни французы, ни тем паче Тепляков не собирались их покупать.

Вечером трое французов собрались ехать к пирамидам, чтобы там встретить рассвет (в книгах всех путешественников утверждалось, что пирамиды особенно красивы на рассвете). Но Тепляков больше не хотел в этой компании отправляться ни к пирамидам, ни куда бы то ни было.

Он перебрался из гостиницы в дом, где минувшей зимой жил Медем, занял верхний этаж. «Моя квартира настоящий храм природы, — не без иронии отметил он в дневнике, — днем чрез открытые окна посещают меня горлицы, вечером — летучие мыши. Ящерицы безбоязненно вылезают из оконных щелей».

Посетил он в Каире английского и испанского вице-консулов, расспросил о событиях минувших двух месяцев — за то время, пока он путешествовал по Ливану, Сирии и Палестине. Ему рассказали, что когда Мехмед-

Али провозгласил свою независимость, французская и английская эскадры пригрозили сжечь его флот, если он начнет действовать против Порты. Мехмед-Али вынужден был смириться и согласился остаться данником султана. «Нет сомнения, — записывал Тепляков, — что Мехмед-Али должен был заранее предчувствовать отказ держав на его независимость, монархические государства не могут отвечать иначе...» Правительства Англии и Франции сознавали, что война Мехмеда-Али против Турции неминуемо вызовет вмешательство России, а этого вмешательства в Лондоне и в Париже опасались пуще всего. «Султан Махмуд глуп и нелеп, без сомнения, но *географические* отношения (не говоря уже о других) Турции и России все тверже, — записывал Тепляков. — ...Но что же посреди всего этого остается делать Мехмеду-Али? Разоряя в продолжение 30 лет Египет, создав несоразмерные с жизненными средствами этой страны сухопутные и морские силы, неужели он безусловно покорится требованию иностранцев? Не думаю!»

Позднее Тепляков отметил в дневнике такую характерную черту политики Мехмеда-Али: «Паша остается обыкновенно в долгу у своих солдат, чиновников и даже европейских негоциантов всегда за 10 месяцев. Это приписывают отнюдь не его бездействию, но политической системе самосохранения, основанной на том, чтобы заинтересовать всех и каждого насчет существования его правительства, с утратой которого должники распростились бы со своими капиталами».

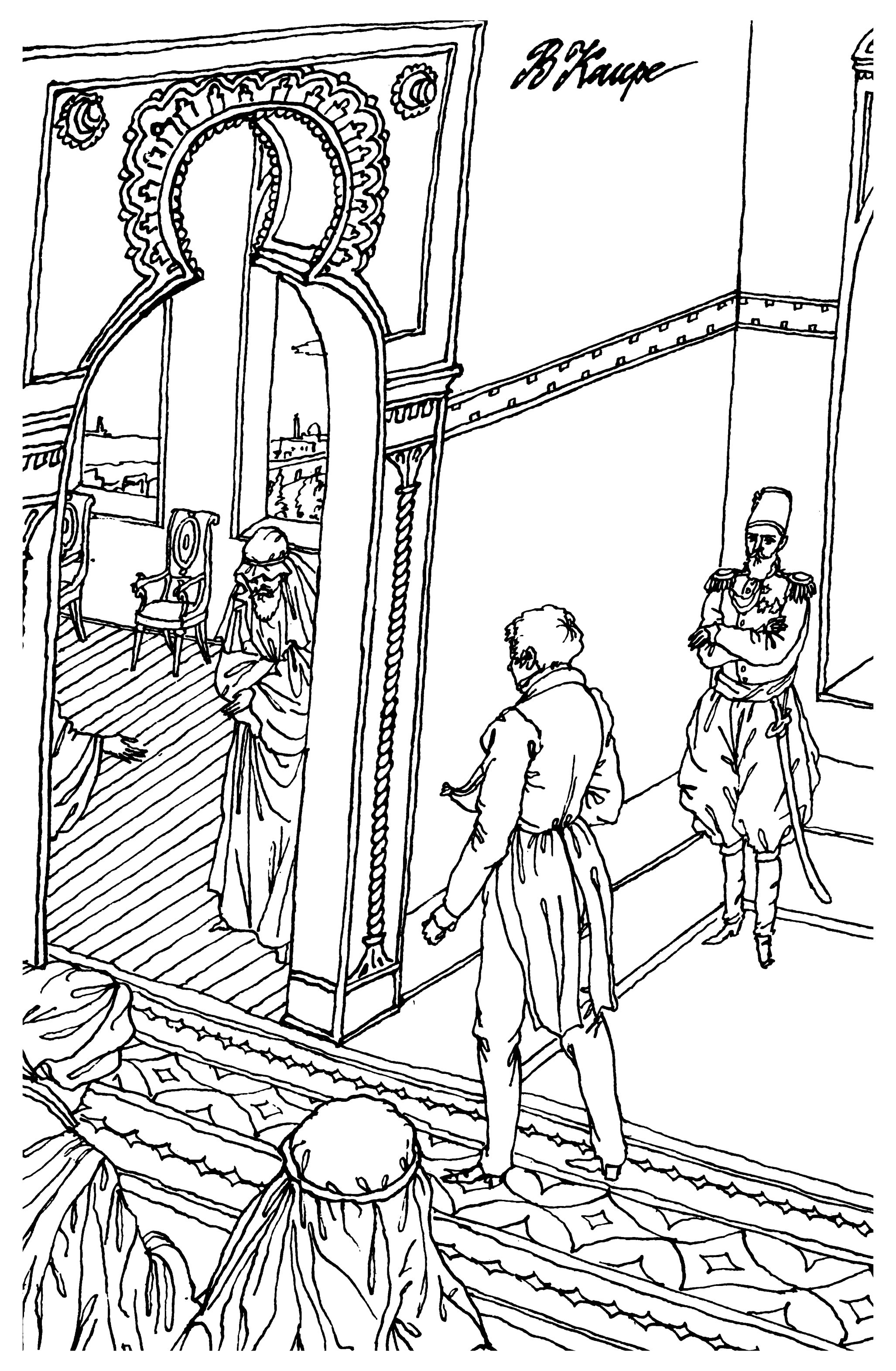
Внук Мехмеда-Али, он же министр внутренних дел Египта и губернатор Каира, Аббас-паша прислал Теплякову двух оседланных арабских лошадей и проводника для прогулок по городу и окрестностям. Затем явился к нему с визитом драгоман Аббаса-паши Якуб. Просидел весь день с утра до вечера и, как видно, пытался что-нибудь выпытать у этого русского дипломата, который, конечно, не просто так ездил по Ближнему Востоку.

Затем Теплякова известили, что Аббас-паша намерен принять его. Днем явился Якуб, через час они вдвоем отправились во дворец.

«При вступлении нашем в комнату паша встал и опустился на диван только тогда, когда усадил нас, — рассказывает Тепляков. — Аббасу-паше не более 26 лет. Это маленький, черноватенький, кругленький и толстенький мужичок без дальних мыслей на лице и великий шаркун, как и все вельможи Турции. После пошлых и обоюдных приветствий мы начали сравнивать Каир с Константинополем... На мое замечание, что мы не видели еще у себя [в России] никого из Египта, Аббас выразил надежду, что обе страны, конечно, не замедлят ознакомиться друг с другом посредством взаимных сношений... Если мысли эти заимствованы у Мехмеда-Али, то они, конечно, заслуживают некоторого внимания». В конце разговора Тепляков поблагодарил за присылаемых лошадей.

По предложению Аббаса-паши Тепляков посетил ружейный завод, где в месяц вырабатывалось до тысячи двухсот ружей, столько же штыков и пистолетов — все по французским образцам. И, оказалось, не один такой завод в Каире, а целых пять.

Видимо, все родственники Мехмеда-Али, занявшие высокие посты, следовали его указаниям демонстрировать иностранцам военную силу...


В Каире

Тепляков попросил в русском консульстве, чтобы ему достали мусульманский костюм. Потому что в европейском костюме невозможно проникнуть в мечети.

Ему достали «напрокат за 10 пиастров щегольской наряд офицера низамов [по-турецки «низам» — солдат]: зеленую куртку, шальвары, красный фес, кашемировый кушак и кривую саблю. Облачась во все это, я не узнал сам себя, — рассказывает Тепляков... — ...Наряженный таким образом, сел я на своего белого коня и очень забавлялся приветом встречных арабов *салам-алейкум*». За лето Тепляков так загорел, что цветом кожи нисколько не отличался от араба. Вместе с проводником он посетил в Каире четыре мечети, в том числе самую замечательную — Эль-Агсар. Видел мусульман на молитве, слышал однозвучное *аллах акбер*, повторяемое с земными поклонами, и, конечно, сам — в арабском костюме — должен был вести себя в мечети как мусульманин.

Собрался он, разумеется, съездить к пирамидам: нельзя же путешественнику побывать в Египте и не увидеть пирамиды вблизи...

Вместе с проводником выехали под вечер верхом на ослах. Тепляков любовался закатом солнца над пирамидами, над пальмовыми рощами, над гладью Нила. По дороге наткнулись на канал — вопреки утверждению проводника, что никаких каналов на дороге нет. До полуночи скитались в поисках брода. Ближе к пирамидам начался зыбучий песок.

Перед рассветом Тепляков залез на пирамиду и с нетерпением ждал первого луча солнца. Спускаться же с пирамиды оказалось гораздо труднее, чем взбираться наверх. Потом он созерцал знаменитого сфинкса с отбитым носом. Порывы ветра швыряли песок в лицо.

Наконец в шумной гавани Булака Тепляков нанял канжу с экипажем в семь человек — для путешествия вверх по Нилу. Нанял драгомана. Вице-консул Бокти снабдил путешественника русским флагом, флаг должен был защитить канжу от произвола местных властей.

«Выезжаю в понедельник, черный день, но он очень белый, ибо избавляет меня от Каира, — записал Тепляков в дневнике 5 сентября. — Шесть ослов перевезли около 11 часов мои вещи, людей и меня самого в Булак. Мы немедленно сели в канжу».

Поплыли вверх по течению. Ему казалось, что канжа плывет слишком медленно. Через пять дней он с мрачным юмором записал в дневнике: «Французская канжа и другая, арабская, обогнали нас около полудня — первая, по словам моего драгомана, потому что она больше нашей, последняя — потому что меньше».

Началось безветрие — «хоть плачь, да и только!». Матросы тянули канжу на канате.

На восьмой день путешествия Тепляков записал в дневнике: «До рассвета тут был я пробужден громкими возгласами и увидел на берегу перед нашей канжою толпу феллахов, вооруженных ружьями, пиками, иных голых, иных едва прикрытых лохмотьями». Им бросили несколько пиастров, толпа рассеялась.

«В страхе быть ограбленным, мой рейс отказался плыть далее до дуновения попутного ветра», — рассказывает Тепляков. Ибо рейс полагал безопасным путешествие только под парусом, а никак не

тогда, когда матросы тянули канжу на канате, ступая по берегу. «Около десяти часов, — рассказывает далее Тепляков, — я заставил однако рейса тронуться с места. Но его опасения едва не сбылись при приближении к Тахте. Там новая толпа вооруженных феллахов бросилась на нашу барку в намерении овладеть ею и переправиться на противоположную сторону, но, может быть, наш флаг спас канжу». Потом выяснилось, что феллахи караулили на берегу Нила какого-то чиновника (может быть, сборщика податей), чтобы с ним расправиться.

Канжа доплыла до города Кенэ. Отсюда Тепляков отправил, через местного агента французского консульства, письмо Медему — сообщил о неожиданных опасностях, встреченных на пути.

Оставил Кенэ и поплыл дальше. На другой день он увидел долину Фивскую: развалины Мединет-Абу справа, Луксор и Карнак слева. Канжа причалила у Луксора, сразу появился местный проводник, и вместе с ним и своим драгоманом Тепляков отправился обозревать памятники древнего Египта.

Пять дней он осматривал аллею сфинксов в Карнаке, развалины Мединет-Абу и древних Фив. Увиденное подробно описывал в дневнике.

Вечером 23 сентября отправились в обратный путь. Из-за безветрия шли на веслах, и вся команда пела арабские песни: рейс запевал, а матросы подхватывали хором и в такт песни взмахивали веслами.

Снова остановка в Кенэ.

Он нанес визит местному губернатору. В доме встретил его старик турок, слуги принесли трубки и кофе. Тепляков подал старику свой *буюрлды*. Старик начал читать бумагу вверх ногами, затем передал своему соседу, молодому турку. Оказалось, что молодой турок и есть губернатор, а старик — сборщик податей.

Губернатор пригласил гостя в свою комнату, сюда тоже подали кофе и трубки. В разговоре Тепляков, между прочим, пожаловался не леность своих матросов, из-за которой добирался он от Каира до Луксора целых тринадцать дней. Немедленно губернатор послал солдата к канже, тот привел с собой рейса. Рейс бросился к ногам губернатора, униженно поцеловал бахрому дивана. Тепляков сжалился и попросил губернатора не наказывать этого человека, ограничиться словесными наставлениями. Рейс поклялся за себя и своих матросов, что лениться не будет, и опять поцеловал диванную бахрому.

Когда снова тронулись в путь, матросы рьяно взялись за весла, но их рвение кончилось, как только канжа отплыла на некоторое расстояние от Кенэ.

Вскоре Тепляков, первый раз за время путешествия, увидел на грязной береговой отмели небольшого спящего крокодила: « Он подпустил нас к себе так близко, что я вздумал застрелить его из своего карманного пистолета, но крокодил не дождался, пополз к воде и скрылся».

На другое утро матросы указали Теплякову на двух огромных крокодилов: они бросились с берега в реку в тот самый момент,

когда он после купанья выходил из воды. «Аллах керим» — бог милостив...

Запись в дневнике 28 сентября: «До солнечного восхода был я разбужен моим драгоманом с известием, что мы находимся перед деревней Маабде. Проводник ожидает уже меня для посещения знаменитой пещеры Самунской». Видимо, об этом посещении Тепляков договаривался заранее, еще на пути вверх по реке.

Втроем подошли к пещере у подошвы горы. Сначала надо было спуститься вниз, потом пробираться по горизонтальным ходам и переходам. «Всего более мучили нас летучие мыши, которые миллионами налетали на наши свечи, — рассказывает Тепляков. — Изредка своды возвышались, но большей частью мы пробирались вперед ползком... Из описаний гг. путешественников я ожидал увидеть сцену, подобную заколдованному кладбищу в «Роберте Дьяволе» — ничуть не бывало. Пройдя еще несколько переходов, я увидел себя посреди разметанных повсюду мумий, из которых только две-три сохранили образ человеческий... Тут проводник объявил, что больше нечего видеть. Взбешенный ничтожеством зрелища, купленного столькими опасностями и трудами, я объявил, что непременно выпрошу ему сто палочных ударов, если он не покажет все, что надобно, в пещере». «Аллах, аллах! — воскликнул взбешенный в свою очередь проводник, седобородый араб. — Вот уже пятьдесят лет, как я один показываю франкам эту пещеру, и до сих пор никто не видел ничего больше».

После этого проводник объявил, что не выведет недовольного путешественника из пещеры, не получив предварительно бакшиш. Драгоман пытался усовестить старика — напрасно. Тогда Тепляков выхватил пистолет и заявил проводнику, что превратит в мумию его самого, если он немедленно не поможет выбраться на свет божий.

Проводник испугался и, уже выйдя из пещеры, кланялся и просил прощения. Тепляков пожалел его, конечно, и вместо обещанных палок проводник получил, что хотел, — бакшиш.

Обратное путешествие вниз по Нилу тянулось десять дней — лишь на три дня быстрее, нежели вверх по течению: как назло, часто дул встречный ветер. Но только один Тепляков изводился и маялся на канже: кроме него, тут никто никуда не спешил.

Возвращению в Каир 3 октября он обрадовался не меньше, чем своему отплытию отсюда почти месяц назад. Первым делом поспешил в канцелярию вице-консула. Самого Бокти не застал, встретил его поверенного.

«Я ожидал найти тут охапку писем — не тут-то было, — рассказывает в дневнике Тепляков. — ...Письмо мое к Медему не застало паши [Мехмеда-Али] в Александрии, потому генеральный консул предписал ослу Бокти испросить мне новый *буюрлды* с тем, чтобы губернаторы мест, где предвидится опасность, проводили меня. Бокти вступил по этому предмету в переговоры с Артык-беем, драгоманом паши, а этот последний отозвался, что [ни] опасности, ни инсуррекции [то есть восстания] нет никакой, что это только небольшая сумятица,

но что паша сам отправляется в Верхний Египет и что в случае нужды я сам могу лично прибегнуть к его покровительству... Бокти нанял на мой счет за 120 пиастров феллаха и отправил его пешком в Кенэ (15 дней ходьбы: славный курьер! с чем же, спрашивается? — с отказом паши: большая мне до этого надобность!). Ко всему этому он приложил присланные мне в Каир письма, которые я просил именно оставить до моего возвращения и ради которых я мучился как можно скорее посетить Каир...

Вдруг заходит Бокти и, не веря при виде меня собственным глазам, изъявил явное неудовольствие, что я явился с головой на ее обыкновенном месте, а не под мышкой и не с расстрелянной феллахскими пулями. По его мнению, мне, невзирая ни на что, должно было ожидать его пешего мужика с депешами в Кенэ... Я пожал плечами, и мы расстались.

Оставив свои вещи в таможне, я поместился в одной комнатке итальянской гостиницы, ибо подлец же Бокти уверил меня, что Медем сегодня или завтра должен быть в Каире».

Прошел еще день, два, три... 8 октября: «Медема нет как нет! Нельзя же мне уехать, не увидав генерального консула!» 10-го: «Медема нет до сих пор. Я уверен, что, приехав в Каир, он отпустит меня ни с чем».

Наконец 11-го Тепляков узнал, что генеральный консул прибыл и остановился в нанятом для него доме в саду Ибрагима-паши.

«Этот дом самое романтическое убежище, он весь укрыт тенью пальм и сикомор, светлые ручейки журчат повсюду. Позади дома канал: старый Каир под боком. Мы не застали Медема дома, — рассказывает Тепляков, — нас повели к берегу канала, где и нашли мы его с мужиками, присутствующими при выгрузке его вещей. Этот графчик очень мил и любезен...

Мое предчувствие сбылось в полной мере: Медем объявил мне, что ему вовсе нечего писать в Константинополь, и пенял мне за 8-дневное ожидание его в Каире».

В разговоре Медем жаловался на своих агентов в Сирии и Египте: «По его словам, все известия из Сирии получаются от иностранцев». Один-единственный русский посетил Сирию в этом году — Тепляков, и только его информацию, в сущности, получил Азиатский департамент из первых рук... «На мое замечание, — рассказывает Тепляков, — о необходимости консула в Дамаске он [Медем] отозвался, что вполне согласен с ним, но что для этого нужен особый назначенный из Петербурга чиновник».

Вечером того же дня, уже после захода солнца, Тепляков занял каюту на арабском паруснике и отплыл вниз по Нилу: «С Каиром я расстался как с добрым приятелем и не без крайнего сердечного сожаления».

«Как неизобразимо пленительна осень Египта! — замечал он в дневнике. И еще: «Нил прекрасен как и повсюду. Завтра скажу я прости этому чуду и красе творения».

«Мы приблизились к Александрии только на рассвете. Издали послышался в полном безмолвии шум Средиземного моря... Наконец,

вот сады и загородные дачи франков. Светает». Тепляков высадился на берег, ему подвели осла — садись! И осел засеменил по знакомым улицам к дому русского консульства.

Сутки в Александрии, затем — на борт французского парохода, идущего в Сиру. «Отплытие. Мое грустное прости Египту, которого я, вероятно, уже никогда вновь не увижу».

На острове Сира задержка всего на три дня: карантин снят. Другой пароход — уже прямо в Константинополь. Дождь, сырость, осенний холод — не то что в Египте.

И вот опять Буюк-Дере. Бутенев — на старом месте, Титова нет: уехал в Петербург. Вечером долгий — до двух ночи — разговор с посланником, Тепляков мог рассказывать бесконечно.

Затем он пожелал доброй ночи, ушел в отведенную ему комнату. «Поутру ни завтрака, ни даже воды для умыванья: как в этом изображается весь Бутенев!» — раздраженно записал в дневнике Тепляков. Потому что дать ему завтрак и воду для умыванья не просто забыли: таким мелочным способом посланник давал понять, что он, Тепляков, здесь не нужен.

Он и задержался только на месяц. И покинул Константинополь навсегда.

Глава девятая

Лишь обществ шумных убегаю,
Педантских споров, модных ссор,
Где в людях гордость я встречаю,
В словах один лишь слышу вздор;
И где, как и везде бывало,
С тех пор, как видим белый свет,
Ученых много, умных — мало,
Знакомых тьма... а друга нет!

Борис Федоров (1816)

Когда он прибыл в Одессу и с неизбежностью застрял в карантине, графиня Эдлинг прислала ему записку. Написала, что пришла бы сама навестить его, но плохо себя чувствует.

Он послал ей письмо, просил совета, что ему делать дальше. В ответной записке она советовала ехать в Петербург, обещала дать рекомендательные письма: «Что Вам сказать еще? Ничего кроме того, что я жду Вас, сидя у камина, что я буду рада увидеть Вас опять...»

Кончился карантин — и он пришел к ней, рассказал о своем путешествии. Рассказал, конечно, и о последних встречах с Медемом в Каире и с Бутеневым в Буюк-Дере, когда ему ясно дали понять, что больше в нем не нуждаются. Что ж ему делать теперь?

Графиня подготовила письмо, должно быть весьма откровенное, на имя старого князя Голицына. В записке Теплякову отмечала: «Будьте уверены, что прежде чем что-нибудь сделать для Вас, соберут все сведения о Вашем прошлом, и гораздо лучше будет, если узнают от Вас самих, а не из полицейского архива. Вот почему я в письме моем князю Голи-

цыну касаюсь того вопроса, пусть спросят у Вас самих подробности этой истории».

История эта тянулась за ним, как тень, уже более двенадцати лет... Впрочем, разве у царских властей не было основания все эти годы не доверять ему по-настоящему? Разве он переменился? Он, правда, уже давно не лез на рожон, не пытался пробивать стену лбом, но в глубине души по-прежнему не мирился с царской бюрократией, со всей системой, где отношение к человеку определялось не его истинными достоинствами, но его положением в чиновной иерархии. Эту систему он не мог одолеть. Теперь он стремился только достичь наибольшей в существующих условиях самостоятельности, обрести возможность как-то действовать самому, не просто быть пешкой в руках вышестоящего начальства.

«Умоляю Вас быть осторожным и не спешить в Ваших решениях,— писала ему графиня Эдлинг.—Терпение это сильный архимедов рычаг, особенно когда опирается на твердую, спокойную и разумную волю».

С письмом ее к Голицыну он ознакомился в черновике. Конечно, выразил графине свою признательность и, захватив это письмо с собой, отправился в Петербург.

Минувшим летом в Буюк-Дере Владимир Титов сочинил на досуге нечто вроде трактата —«О счастии и жизни».

«В жизни,—утверждал он,—есть такие роды дел и занятий, где, независимо от навыка, познаний и способностей, необходимо быть счастливым на руку. Положим, занемогла у вас дорогая особа, ищете врачей—вам называют доктора А, который очень знающ, и доктора Б, который очень счастлив. Ради бога, держитесь доктора Б: пять против одного, что исцелит скорее. На врача походят в данном случае дипломат, воин и едва ли не всякий, чьи занятия, кроме положительного расчета, требуют искусства угадывать и употреблять в пользу случайности. Это искусство зовут сметливостью, *догадкою*».

«Теперь призовите вступающего в свет юношу даровитого, образованного...—писал далее Титов, имея, вероятно, перед глазами собственный пример.—Нравственные убеждения его шатки, а сила примера и предания слабо действует: ибо мать и отец твердили ему одно, профессоры другое, философские книги третье, романы четвертое. Юноша рассудительно предвидит, как трудно во цвете лет попасть в главнокомандующие или первые министры, по примеру Наполеона и Питта. Однако, полагаясь на звезду и ранние похвалы своим дарованиям, надеется, что судьба готовит и ему что-нибудь изрядное. Вместе с тем его подмывает иногда охота странствовать, иногда стихи писать, восхищаясь Байроном или Пушкиным.

Спросите такого юношу: чего хочешь от жизни?—У него в голове десятка два теорий счастья, и каждую он сам признает неудовлетворительною. Ему неизбежно или запутаться в ответ, или сказать, как чиновник, у которого спрашивали: чего лучше желаете к празднику—чина, креста или денежной награды? Он отвечал: *«Всего,* и тот клеветник, кто смеет уверять, что не желаю».

Этот откровенный—на грани цинизма—трактат автор послал в Петербург Одоевскому. Однако напечатана рукопись так и не была.

Несомненно, Одоевский, писатель с более высокими понятиями о счастье, отнесся к откровениям Титова отрицательно и посоветовал автору эту рукопись не публиковать.

Зато годом раньше Плетнев поместил на страницах журнала «Современник» другое сочинение Титова в том же духе, озаглавленное «Светский человек, дипломат, литератор, воин».

В этом сочинении Титов (укрывшись под своим постоянным псевдонимом *Тит Космократов*) иронически замечал, между прочим, что дипломат «до того привык порхать от дела к безделью, путать то и другое, что уже и сам сбился между ними в расчете. Вы полагаете, он влюблен в красавицу, у которой сидит всякий вечер в ложе? Ничуть: она родственница дипломата другой державы, находящейся именно теперь в тесной связи с его двором; надевая шаль на плеча красавицы, он оказывает важнейшую государственную услугу; а влюбиться? Упаси боже! Это могло бы нарушить политическое равновесие».

Автор, сам дипломат, первый секретарь посольства, женился лишь теперь, когда ему было уже за тридцать, — в апреле 1839 года. Влюбился ли он? Упаси боже. Это была не просто женитьба, но *догадка,* стратегический ход. Видя, каким путем упрочил Бутенев свою карьеру, Владимир Титов посватался к младшей сестре его жены, молодой графине Хрептович, чей родной брат был зятем вице-канцлера Нессельроде. Единым махом *счастливый на руку* дипломат породнился с Нессельроде и с Бутеневым. Как ранее замечал в дневнике Виктор Тепляков, «Титов ни в чем не промажет!».

Он и не промазал. Дальнейшая карьера его была обеспечена. Нессельроде сразу дал ему повышение — назначил генеральным консулом в Бухарест.

Но как-то так получилось, что, став родственником вице-канцлера, Титов кончился как писатель. И в жизни своей не сочинил более ничего. «Жена называла его просто Титов и, кажется, не находила в нем никакой поэзии...» (так свидетельствует человек, повидавший этого благополучного дипломата десять лет спустя).

В том же апреле 1839 года Тепляков обратился к вице-канцлеру с письмом: «Два места секретаря свободны в эту минуту в Константинополе; я совершенно готов снова ехать туда, если Вашему сиятельству угодно будет назначить меня на одно из них».

Но его сиятельству это было не угодно.

Еще в январе Тепляков отправил в Буюк-Дере, Бутеневу, обширные записки свои о положении в Ливане и Сирии. В марте один из чиновников посольства сообщил: «Бутенев послал Ваш превосходный мемуар министру». Но эти записки не расположили Нессельроде пойти навстречу просьбе Теплякова и дать ему должность секретаря посольства в Турции.

Потому что вице-канцлеру нужны были угодливые чиновники и вовсе не нужен такой беспокойный и рвущийся к самостоятельной деятельности человек, каким был Виктор Григорьевич Тепляков.

«Странное дело! — вспоминал потом его брат Алексей. — Какая-то ядовитая тоска, скука едва выносимая преследовала странника и в Одессе, и в Византии, и у подошв пирамид, и у святого гроба, — я не говорю уже о Петербурге, городе, гибельном для его здоровья по своему климату; эта скука, как червь, не умолкая, грызла сердце бедного скитальца, тщетно убегавшего от самого себя...»

В Петербурге он снова готов был ехать куда угодно. Повседневность угнетала его своим однообразием.

В мае, отвечая на письмо одной одесской дамы, он извинялся за долгое молчание: «Что мужчина вечно виноват перед женщиной — в этом нет ничего нового с тех пор, как бедный Иов покорился тому, чтобы всегда быть виноватым перед своей супругою... Что касается Вашего покорного слуги, то он довольно часто вращается в свете, проводя время в толках о политике — с одними, о метафизике — с другими, о предметах интимных — ни с кем, зевая со всеми: глупая и грустная жизнь старого холостяка!»

Скрашивали существование редкие приятные встречи. Так, летом вернулся в Петербург из путешествия по Европе Жуковский, благодушный, как всегда. При встрече с ним Тепляков пообещал прислать ему на дом отличного табаку, привезенного из Константинополя. Об этом обещании Жуковский напомнил письмецом в стихах:

«Любезный Тепляков, цветущий наш поэт,
Хотя и много вы поездили по свету,
Но все не вправе вы забыть про тот обет,
Который дали мне, отцветшему поэту:
Прислать арабского запасец табаку.
Пришлите, иль для вас и день не будет светел,
И будет совести неугомонный петел
Скучать всечасно вам своим кукареку!

Для сего посылается ящичек особого фасона, на дно следует положить угрызения совести, хорошенько их засыпать арабским табаком, потом прижать табак свинцовою крышкою, так они и угомонятся».

А накануне своего отъезда в Москву, 16 августа, Жуковский прислал записку:

«Любезнейший Виктор Григорьевич. Прошу вас нынче отобедать у меня. Будете с Вяземским, Тургеневым [Александром Ивановичем] и Одоевским. Жду вас в половине пятого часа. А я уезжаю завтра. Вы так разлакомили меня своим сирийским табаком, что без всякого стыда прошу еще оного, ибо все ваше даяние пошло дымом; да уж нельзя ли и коротенький чубук при табаке? Каков я? Не откажитесь от обеда.

Жуковский».

Да кто ж от такого общества откажется! Не так уж часто представлялась возможность обедать в таком кругу...

А в день отъезда Жуковского Тепляков провел вечер у Одоевского вместе с Плетневым и Тургеневым.

Александр Иванович Тургенев оказался одним из немногих людей, с которыми Тепляков теперь часто виделся.

Очень живой, обаятельный и, по словам Вяземского, «от природы человек мягкий, довольно легкомысленный и готовый уживаться с людьми и обстоятельствами», Тургенев состоял на службе в археографической комиссии министерства народного просвещения. Занят же был тем, что в Париже, во французских архивах и библиотеках, разыскивал материалы по русской истории, все достойное внимания давал переписчику и все переписанное отправлял в Россию. Так что жил он бóльшую часть времени в Париже, но почти каждый год приезжал в Петербург и в Москву.

Бывший секретарь его, стихотворец Борис Федоров, дал весьма лестный портрет Тургенева в длиннейшем стихотворении, оно так и называлось — «Портрет». В нем есть такие строки:

Где был, иль где он не бывал?
И к дальним — сердцем ближе.
В Париже о Москве вздыхал,
В Москве же о Париже.

Но при всем этом он был занят действительно интересным и нужным делом, и Тепляков, должно быть, в душе ему завидовал. Он уже думал: вот бы его, как Тургенева в Париж, послали бы, например, в Рим — и он стал бы разыскивать материалы по истории России и по истории отношений Запада с Востоком — в архивах Ватикана, в библиотеках Рима, Венеции и других городов Италии. И вообще он считал, что без близкого знакомства с Европой круг его познаний остается слишком неполным...

Когда он (не знаем, при каких обстоятельствах) высказал желание перейти из министерства иностранных дел, где не видел уже для себя никаких перспектив, в министерство народного просвещения, Нессельроде поспешил от него избавиться, как от ненужного балласта. А в министерстве народного просвещения — видимо, снисходя к ходатайству влиятельного человека, старого князя Голицына, — согласились принять Теплякова, зачислить — и приняли, но... без должности и без жалованья.

Нет, хватит!

Сколько можно просить, обивать пороги, умолять, кланяться, чтобы дали, наконец, в руки дело! Он уже не мальчик — ему тридцать пять лет!.. Он подал в отставку.

Есть в Тверской губернии имение — дает скромные средства к существованию, так что можно, в конце концов, и не служить. Можно попытаться осуществить свои планы самому. Познакомиться с Европой, во-первых.

С осени жила в Париже и не торопилась возвращаться в Одессу графиня Эдлинг. В начале весны 1840 года уехал за границу Жуковский.

Наконец, 9 мая того же года Виктор Григорьевич Тепляков подал прошение о заграничном паспорте — сослался на состояние здоровья и советы врачей. И в том же месяце покинул Петербург.

Глава десятая

О! долго ль горечью земною
Жить сердцу — и с самим собою
В борьбе жестокой изнывать?
Искать веселья в царстве скуки,
Таить свой гнев, любовь и муки
И мраком свет переграждать?
Иль их всемирное боренье
Завет Адамова паденья?..
Увы! каким бы мы путем
Ни шли к Блаженству — Скорбь земная
Стоит пред радужным дворцом,
Все входы сердцу возбраняя,
Как страж потерянного Рая,
Архангел с огненным мечом!..

Виктор Тепляков.
«Пятая фракийская элегия»

Он прибыл по морю в Амстердам.

Как полагается, обошел, осмотрел музеи Амстердама и Гааги.

Поехал в германский город Ахен, по совету врачей пил местные минеральные воды. Воды ему не помогли, желудок болел по-прежнему.

В августе он прибыл в Париж, остановился на улице Рише.

Первый визит в Париже он должен был нанести пожилой даме Софье Петровне Свечиной. Муж ее, отставной генерал Свечин, был родственником матери Виктора Теплякова. И что, может, было еще существенней — минувшую зиму гостила у Свечиной графиня Эдлинг. Эти женщины были подругами юности...

Тепляков графиню Эдлинг в Париже не застал: к лету она уехала в Германию, на курорт Эмс.

Софья Петровна была женщиной по-своему примечательной.

В юности ее выдали замуж за генерала Свечина, который был на двадцать три года ее старше. В 1816 году Софья Петровна выехала во Францию, муж ее, человек безвольный и совершенно бесцветный, потащился за ней следом. Страдавшая оттого, что у нее нет детей, Свечина впала в глубокий мистицизм, перешла в католичество, и ее парижская квартира стала своего рода салоном, где собирались апологеты католицизма.

Софья Петровна придумывала афоризмы, собирала их в особую тетрадь. Афоризмы, разумеется, сочинялись по-французски, русским был только общий их заголовок, и тот Свечина написала французскими буквами — «Klukva podsnejnaia». В этой «Клюкве подснежной» будущему читателю преподносилось мнимое глубокомыслие. Например, такой афоризм: «Русская литература немного похожа на ту греческую монету, что делалась из железа и имела хождение только в пределах своей страны». Представить себе, что недалеко время, когда русскую литературу оценит весь мир, Свечина оказывалась неспособна. А вот другой ее афоризм: «Есть души, которые, подобно

ветхозаветным жрецам, живут только жертвами, ими приносимыми» (в этой высокопарной фразе, конечно, Свечина подразумевала себя: ей казалось, что она приносит себя в жертву окружающим, — она упивалась этой ролью).

Встретясь в Париже с Софьей Петровной, графиня Эдлинг написала брату, что эта женщина, когда-то ей столь близкая, теперь «находится постоянно в одном и том же круге идей, которые, по-моему, больше возбуждают ее, нежели согревают».

Графиня Эдлинг воспринимала реальность очень трезво и не разделяла религиозной экзальтации Свечиной. Покидая Париж, она, должно быть, с грустью сознавала, как развели ее с давней подругой прожитые годы, как отдалили друг от друга.

Первые знакомства Виктора Григорьевича Теплякова в Париже возникли, по всей видимости, в салоне Свечиной, но постоянным гостем он тут не стал. Не увлекался он мистическими прорицаниями, не мог восхищаться афоризмами из тетради «Клюква подснежная». Да и сам он в этом салоне, как видно, никого не заинтересовал.

Он чувствовал себя в Париже еще более одиноким, чем в Петербурге. Но вот приехал Александр Иванович Тургенев — 5 октября по новому стилю. Тургенев, добрая душа, не дал скучать — принялся знакомить его направо и налево, водил за собой. Так что Тепляков стал вхож не только к Свечиной, но и в другие парижские салоны. Тургенев же был легок на подъем, хотя и толст, — везде поспевал. Всюду он чувствовал себя своим человеком, за вечер, случалось, появлялся с визитами в двух-трех местах, а так как он был гурманом и любил поесть, ему ничего не стоило поужинать дважды и трижды.

В домах, где приглашали Теплякова, его непременно расспрашивали о путешествиях по Востоку, о русской политике по отношению к Турции. Но он видел, что интерес к его рассказам не становится интересом к нему самому, это его больно задевало.

Однажды он пошел с Тургеневым в Коллеж де Франс: в этот день, 22 декабря 1840 года, первый раз аудитория была там предоставлена приехавшему в Париж польскому поэту Адаму Мицкевичу. Поэт вышел на кафедру в своем повседневном пальто, со шляпой в руке, растрепанный, грустный. Он взялся читать (разумеется, по-французски) лекции по истории славянских литератур. Кому это было интересно в Париже? На первой лекции аудитория оказалась полна, но почти все, кто пришел, были соотечественниками поэта. Места заполнили поляки — около четырехсот человек. Пришло несколько французов (в том числе историки Мишле и Монталамбер) и двое русских: Тургенев и Тепляков.

Вдвоем они еще дважды ходили на эти лекции. В одной из них Мицкевич, между прочим, говорил (как записал Тургенев) «о России и о Польше как заступнице за Европу от татар и турок». Тема отношений России и Турции — уже не в историческом аспекте, а в самом современном — была так знакома Теплякову, и он столько мог бы рассказать... Но никто не приглашал его рассказывать о чем бы то ни было широкой аудитории.

Ему бы теперь сесть за работу над книгой обо всем увиденном и пережитом, но возможность издать такую книгу была столь зыбкой и призрачной, что у него опускались руки. Он еще мог думать, что у него много времени впереди, все успеется. Вполне естественно было думать так в его тридцать шесть лет. Почему он должен был в этом сомневаться?.. Но сколько книг остались ненаписанными потому, что авторы откладывали работу над книгой до лучших времен, когда ничто не помешает поведать миру все, как есть. Эти лучшие времена для них так и не наступили, а жизнь пролетела быстрей, чем они предполагали. Никто ведь не рассчитывает умереть преждевременно, каждый надеется прожить свои семьдесят или восемьдесят лет сполна...

У Александра Тургенева была одна заметная слабость — льнул к знаменитостям. Их отраженный свет возвышал его в собственных глазах. Так, он гордился тем, что запросто вхож в самый знаменитый из парижских салонов — салон мадам Рекамье.

Когда она устраивала благотворительный вечер в пользу пострадавших от наводнения в ее родном городе Лионе, Тургенев охотно взялся распределить среди приезжих русских билеты на этот вечер — по цене от двадцати франков до пятидесяти.

Тепляков приобрел билет и в назначенное время, вечером 5 февраля, приехал вместе с Тургеневым к мадам Рекамье. Тургенев его представил и затем принялся представлять хозяйке остальных гостей — они только начали собираться. Гости заполняли первый зал (или, можно сказать, первый салон), во втором — укрывался от любопытных писатель Шатобриан, старый друг мадам Рекамье и на парижском небосклоне звезда первой величины. Тургенев потом рассказывал в одном обстоятельном письме: «Дамы сидели равносторонним треугольником; немногим недостало места в первом салоне, они стеснились в дверях; для русских дам мы сберегли первый ряд кресел». Выглянул было в первый зал маленький седенький старичок — сам Шатобриан. «Я указал первоклассную знаменитость нашим дамам, — рассказывает Тургенев, — и все глаза на нее обратились! Скоро он опять скрылся в тесноте второго салона». В первом, на сцене, начался концерт: у рояля пели молодые, но уже известные Виардо и Рубини. К одиннадцати вечера прибыла знаменитая драматическая актриса Рашель, высокая, худая, в белом платье с золотым галунчиком. Тургенев рванулся навстречу, подал ей руку, помог взойти на сцену. Когда она закончила какой-то монолог, Тургенев «осыпал ее комплиментами, сводя с помоста. Я вышел за нею, — рассказывает он далее, — в другую комнату и там присоединился к громким панегиристам ее превосходного таланта, осмелился подать ей руку». Мадам Рекамье полулежала на кушетке — в позе, увековеченной художником Давидом. В полночь гости разъехались.

«Сегодня отвезу Рекамье 1140 франков (а, может быть, и более) за 38 билетов», — записывал Тургенев на другой день.

Вероятно, кто-то из гостей мадам Рекамье пересказал Теплякову едкие слова писателя Альфонса Карра о Шатобриане: «C'est fait le

saule plereur de sa propre tombe». «Этот вздор, — рассказывал Тепляков в письме к брату, — перевелся сам собою в моей голове: «И собственной своей могилы плакучей ивою он стал». Тургенев до того обрадовался этой находке, что разослал и подлинник и перевод во все концы Европы».

Свои парижские письма Тургенев собирался предложить журналу «Современник». «...лучше теперь их печатать, — написал он одной московской знакомой, — но *имен* не оглашать и вообще поступать благоразумно. Так как я ласкаю себя надеждою, что письма мои будут полезны журналу, то поручаю Вам, если это можно и справедливо, назначить за них цену и деньги отдавать сестрице — для раздачи *по воскресеньям,* или хотя и в иные дни, *посылаемым* с Воробьевых гор *в Сибирь* и особенно арестантам-*солдатам* пересыльным. Это бы очень утешило меня и поощрило бы к большей деятельности».

Даже среди его друзей мало кто знал, что этот легкий человек, этот завсегдатай парижских салонов, это любитель погреться в лучах чужой славы, приезжая в Москву, непременно посещал пересыльную тюрьму на Воробьевых горах.

Начальник пересыльной тюрьмы позднее вспоминал о Тургеневе: «Когда он жил у нас в Москве, ни одно воскресенье не пропустил он без того, чтобы в 9 часов утра не явиться на Воробьевых горах в замке пересыльных арестантов; там он видел до шестисот человек всякий раз, со всеми почти разговаривал и с запальчивостью юноши устремлялся ходатайствовать за тех, о спасении которых имел хотя бы малейшую надежду; перед кем бы то ни было он готов был ходатайствовать, писать к министрам, ехать ко всем сенаторам. Не было препятствий для человеколюбивого его сердца. Я почти был свидетелем, как один управляющий (подьячий) выгнал Александра Ивановича из своей комнаты, и, несмотря на это, он был у него после этого более десяти раз и своим упорством спас крестьянку, ссылавшуюся по воле управляющего в Сибирь. Я имел от него поручение откупить несколько подобных, внося помещикам деньги, данные мне Александром Ивановичем, и освобождать от ссылки уже почти сосланных их владельцами... Всякое воскресенье он напутствовал выезжающих арестантов до ста пятидесяти человек и давал каждому по четвертаку; для детей привозил он конфекты, яблоки, пирожки и теплые фуфайки; целую неделю потом он хлопотал об отыскании родственников вновь прибывших арестантов и имевших пробыть неделю и убеждал их проститься со своими ссыльными родными... Я два с половиною года заведывал замком, и, когда Тургенев бывал здесь, я был свидетелем и исполнителем его пламенных порывов к утешению, успокоению и часто спасению погибавших».

Но как раз этого Тургенев не афишировал, этим он не козырял, как своими парижскими знакомствами. О том, что он «сделался в Москве ходатаем, заступником, попечителем несчастных, пересылаемых в Сибирь», писал впоследствии Вяземский, но даже этот столь близкий Тургеневу человек вспоминал о нем так: «...он хотел выдавать себя, и таким ложно себя признавал, за человека, способного сильно

чувствовать и предаваться увлечениям могучей страсти. Ничего этого не было». Ну, «могучей страсти», возможно, и не было. Но сильно чувствовать он действительно был способен.

Сильные чувства не выставляются напоказ.

Запись в дневнике Александра Тургенева 24 февраля 1841 года: «У меня Тепляков, брат уехал в Шанрозе». Брат — это бывший участник «Союза благоденствия» Николай Иванович Тургенев. Тот самый, чей портрет в кругу декабристов набросал Пушкин в десятой (сожженной) главе «Онегина»:

Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Непосредственного участия в восстании он не принимал, в конце 1825 года оказался за границей, тем не менее был объявлен государственным преступником и с тех пор не мог вернуться в Россию. Брат Александр усердно хлопотал за него в Петербурге перед влиятельными людьми. Но безуспешно.

Познакомился ли Виктор Тепляков с Николаем Тургеневым в Париже? Наверняка. Хотя сведений об этом не найдено.

И о многом другом, что могло бы оказаться столь интересным, сведений нет никаких. Сплошь и рядом сохраняется на бумаге множество сведений о несущественном; даже о пустяках, но об интересном и важном, происходившем в то же самое время, ничего не удается узнать. И не только потому, что бумаги не сохранились. В жизни человека бывают события, которые никак, ну, ни единым словом на бумаге не отражаются...

Очень жаль, что дневник Александра Тургенева писался бегло, пунктирно. Только для памяти, для себя.

Вот запись 26 февраля 1841 года: «У Теплякова — читал его сочинения — и домой». Какие сочинения? Неизвестно.

Запись 5 марта того же года: «У меня Тепляков, а я читал прозу и стихи его. Последние очень заверчены, прочие не так...» Какую прозу? Какие стихи? Если б не это упоминание в дневнике Тургенева, можно было бы прийти к определенному выводу, что после 1836 года Тепляков ничего не писал, кроме писем, отрывочных записей в дневнике и пространных докладных записок (по-французски) в министерство иностранных дел.

Можем предположить, что лишь теперь, в Париже, он попытался вернуться к творчеству — после перерыва почти в пять лет...

Вот его письмо к брату Алексею 8 апреля 1841 года: «Ваши иллюзии были бы в значительной мере сокрушены, если бы Вы соблаговолили поискать в столице молодой Франции тот аромат учтивости и грации, наши симпатии к которому были вскормлены традицией доброго старого времени... Если никто здесь Вас и не ненавидит, то никто и не любит, и Вы можете прожить всю жизнь в центре этой столицы радостей искусственных и похожих на бред,


У Теплякова

без луча чьего-либо сочувственного взгляда, согревающего сердце».

К тому же он болел. Доктора теперь советовали ему сделать операцию (какую именно — не знаем, но болел у него желудок). 25 апреля Александр Иванович Тургенев рассказывал в письме к Вяземскому: «Бедному Теплякову делали операцию, и он просил меня быть при том и при консультации трех докторов и оператора. Они обещали, что тотчас все пройдет, операция была не мучительна, но вот уже он пять дней ужасно страдает; вчера началась инфламация [воспаление]; при мне пустили кровь, и доктора уверили, что опасности нет; я отправился на вечеринку... Сегодня в 7-м часу был я у Теплякова, но он спал; я прочем над ним весь журнал, он не просыпался, а только поворачивался; garde-malade [сиделка] ушла к оператору с донесением, и я не знаю, как он провел ночь. Больно видеть не знакомого почти ни с кем — на чужбине... Авось Тепляков не погибнет! Если увижу опасность, сегодня поутру соберу других докторов».

Постепенно больному полегчало, все же около трех недель он провел в постели.

Началось лето, и он уехал из Парижа в городок Энгиен. Оттуда написал брату 9 июня: «Вот уже десять дней, как медики отправили меня сюда для укрепления сил с помощью сельского воздуха, миротворной красоты пейзажа и минеральных вод энгиенских. Все это в полутора часах от Парижа... Энгиен тянется по берегу озера, которого холмистые, одетые зеленью берега почти напоминают в миниатюре клочок Босфора. Вдали, на этих берегах, возвышаются развалины Катинотова замка... Если моя келья несколько тесна, то принадлежащий заведению сад тенист и обширен... Посещения моих парижских знакомых, мои собственные поездки в Париж весьма приятны после сельской тишины и уединения... Если бы не обет посетить берега Рейна, Швейцарию и Италию, то, кажется, право, никуда не потащился бы далее. Но, решившись обозреть все и вся, я располагаю дней через десять пуститься на берега Рейна».

Выехать он смог не через десять дней, а только через сорок. Под проливным дождем сел в дилижанс на набережной Вольтера в Париже — дилижанс отправлялся в сторону германской границы, в Мец.

«В Меце пробыл я с утра до вечера, ожидая другого дилижанса, — рассказывал он в письме к Тургеневу, — и рано на другой день вздохнул от души по Франции — в саарбрюкской таможне, где и язык, и лица, и все, все немецкое, как будто переселили меня на чужбину».

Прибыл он 25 июля во Франкфурт-на-Майне, два дня провел в этом городе. Здесь его видел один приезжий из Петербурга, видел мельком: Тепляков «стоял у ворот гостиницы Ландсберг и задумчиво смотрел в землю».

Из Франкфурта он направился в Эмс. Графини Эдлинг в Эмсе не застал, отсюда она уехала. Жила еще где-то в Германии, но он не знал точно — где.

В Кобленце, на берегу Рейна, сел он на пароход и поплыл вниз

по реке. В письме к брату воздержался от подробных описаний: «Скучно и утомительно было бы для Вас следовать за каждым поворотом моего колеса; скажу только, что существенность осталась для меня и здесь, точно так, как повсюду, далеко позади *идеальности*... В истинном восторге от рейнских берегов были, впрочем, все находившиеся с нами голландцы, англичане и [тому] подобные амфибии, не видавшие во всю свою жизнь ни единого холмика. Я же, после Босфора и Нила, остался холоден».

Доплыл до Кельна, где осмотрел знаменитый готический собор, затем вернулся во Франкфурт. Здесь он проскучал в гостинице три дождливых дня и, наслушавшись похвал красотам die Bergstrasse — дороги вдоль гор между Дармштадтом и Гейдельбергом, решил направиться туда. «В следующее утро, 6 августа, — рассказывал он в письме к брату, — сел я в нанятую коляску, которая и загремела со мною по Bergstrasse в Гейдельберг. Эта Bergstrasse не стоит внимания даже тех из наших соотчичей, которые прогулялись хоть раз по южному берегу Крыма». Дальше!

Из Гейдельберга, через Мангейм, вверх по Рейну — в курортный городок Баден-Баден. Здесь он собирался пить местные минеральные воды — по совету парижских врачей. Но какой-то здешний врач порекомендовал ему пить травяной сок и козью сыворотку. Эту дрянь пил он здесь целый месяц, и легче ему не стало. Стоило ли в Баден-Бадене застревать? Тем более что здесь он встретил (и сообщил о том Тургеневу) «в куче знакомых и незнакомых бывшего своего командира Бутенева с фалангою всевозможных Хрептовичей». Дальше!

Из Баден-Бадена — снова к берегу близкого Рейна. «Там сел на пароход и при западавшем солнце ступил вновь на французскую землю в Страсбурге. На другой день, 9-го [сентября], лазил на тамошнюю колокольню, дивный памятник готического зодчества...» Из Страсбурга в Базель — уже Швейцария! — далее в Шаффгаузен, в верховья Рейна, к знаменитому водопаду, оттуда в Цюрих. «Дорога от Шаффгаузена до этого последнего города необыкновенно пленительна; оберландские Альпы синеют, чернеют и белеют на горизонте». Из Цюриха в Альтдорф. Тут сел в почтовую коляску и под сильным дождем покатил по направлению к Сен-Готарду. «Невдалеке от Чертова моста любовался низвергающимся в бездну водопадом, — рассказывал в письме к брату. — ...17-го взял я проводника с верховой лошадью и при усилившемся дожде, при пронзительном ветре и сырости стал подниматься на Фурну, последний отрог Сен-Готарда. Свежий снег встретил меня на ее покрытой вечными снегами вершине; мой вымоченный плащ оледенел, как накрахмаленный. Таким образом достиг я ледника и истоков Роны, возле которой принужден был оттаивать целую ночь в прегнусной харчевне свои окостенелые члены. 18-го проглянуло солнце». Он увидел снежную вершину Юнгфрау и отметил в письме: «Все это, без сомнения, ничто по сравнению с Эльбрусом». Дальше!

«Альпийский рог в горах, чудесное эхо. Вскоре потом пустился я пешком по крутым скалам в романтический Лаутербрун». Далее

в Берн, из Берна в Лозанну, из Лозанны — на пароходе по Женевскому озеру — в Женеву. Тут остановился.

«Боже мой, уже октябрь на дворе...» — написал он брату. Сообщил, что намерен ехать в Италию, куда его толкают «и хворь, и соседство зимы». Погода все более портилась.

В середине октября покинул Женеву. За Симплонским перевалом небо прояснилось, засияло солнце — Италия!

Десять дней провел он в Милане, затем направился в Венецию. Дилижанс довез путников до морского берега, уже вечером они пересели в гондолу и поплыли. «При лунном свете начали мало-помалу вставать перед нами из глубины вод здания этого единственного, похожего, как выражается Байрон, на сновидение, города».

Три недели в Венеции. Отсюда пароходом по Адриатическому морю — в Триест. Из Триеста — другим пароходом — в Анкону.

Здесь нанял ветурина (то есть извозчика — vetturino), который взялся отвезти его в Рим. На пути была граница Папской области, с пограничной стражей и таможней. Тепляков рассказывает в письме: «26-го [ноября], откупясь единожды от полиции и дважды от таможни, въехали мы в дикую, бесплодную страну между обнаженных гор Апеннинских». И опять Тепляков торопился — на сей раз торопился достигнуть Рима. С раздражением писал: «27-го разбойник ветурин поднял меня на ноги в три часа утра для того, чтобы сделать в продолжение всего дня 30 миль!»

Только 1 декабря на горизонте показался купол собора святого Петра — наконец-то Рим!

В письмах к брату из Рима он поначалу тоже ворчал: «Ватиканская площадь — ничто по сравнению с парижской Place de la Concorde [площадью Согласия]». Но это презрительное замечание осталось в его римских письмах единственным: великий Рим пришелся ему по душе. С восторгом он осматривал развалины Колизея, десятки раз любовался картинами великих мастеров в галереях Ватикана.

В Риме не мог он не наткнуться на приезжих из России — аристократов и просто богатых людей. Жили в Риме и некоторые русские художники, но о встречах с ними он в письмах к брату не упоминает. Пишет же о богатых бездельниках: «Соотчичей наших, тмутараканцев, здесь многое множество; балы, музыкальные вечера и тому подобные забавы идут своей чередой». В этих вечерах он принимал участие «лишь в той степени, насколько это необходимо, чтобы фарисеи не побили меня камнями». Последние слова — уже из письма его к неизвестной даме, должно быть, в Одессу.

В этом письме он с чувством написал, что не может забыть тех, кто дарил его своим вниманием: «Это ускользнуло от проницательности Вашего друга, графини Эдлинг, которой таким «большим поклонником» Вам угодно меня считать... После Парижа, где мадам Свечина иногда сообщала мне новости, я не знаю о мадам Эдлинг решительно ничего, кроме того, что ее муж лежит больной где-то на берегах Рейна». Тепляков умолчал в письме о том, что уже пропутешествовал вдоль Рейна — от

Кельна, в нижнем течении, до Шаффгаузена, в верховьях, и нигде ему встретить графиню Эдлинг не удалось.

Как видно, у знакомой одесской дамы были основания считать его «большим поклонником» (grand admirateur) Роксандры Скарлатовны Эдлинг. Разница в возрасте — она на восемнадцать лет старше — кажется, не дает нам права предположить, что он был в нее влюблен, однако с 1834 года он всегда помнил о ней, писал ей отовсюду, и в их переписке можно уловить признания, выходящие за рамки эпистолярной галантности. В ее письмах к нему: «Будьте уверены в преданности, которую питаю именно к Вам...» И в его письмах к ней: «Мысль о том, что Вы меня забыли, была, конечно, одной из самых мучительных...» Правда, ее не считали красивой. Один из мемуаристов заметил только, что у нее был необычайно музыкальный голос. Судя по сохранившемуся портрету, она была внешне типичная гречанка, а Тепляков однажды отметил в дневнике, что гречанки, по его мнению, несравнимо красивее всех остальных женщин...

Но оставим догадки, может быть напрасные. Странно только, что ни одного другого женского имени, занимавшего его мысли и сердце, мы не можем найти. Была какая-то бедная «отверженица» в Константинополе, были — подобные — в Каире и, может, еще где-нибудь, были какие-то недолгие увлечения в Одессе и в Петербурге («тайный сердечный трепет»), но неужели не было ничего всерьез? Трудно представить...

В Риме он познакомился с женщиной, которая была любовью Байрона, — Терезой Гвиччиоли, «ныне красивой развалиной». И говорил с ней Тепляков, конечно, о великом английском поэте.

Он провел в Риме четыре с половиной месяца. По-итальянски говорил уже свободно. В первый день пасхи он стоял в толпе на площади святого Петра перед Ватиканом — в толпе, ожидавшей, как всегда в этот день, папского благословения urbi et orbi (городу и миру) — с высоты главного балкона дворца.

Из Рима он поехал в Неаполь. Увидел Везувий, «курящийся в обыкновенное время подобно зажженной куче хвороста». Рассказывал в письме к брату: «25-го [апреля] путешествовал я, за свои грехи, на вершину Везувия по огромным кускам лавы, застывшей подобно железной губке. Все это происходило ночью, при свете зажженных факелов. В двух или трех местах на вершине вулкана видел я посреди клубящихся облаков дыма огромное огнище, слышал подземный шум, чувствовал жар под ногами и — ничего больше. Всем этим можно было бы полюбоваться в какой-нибудь кузнице».

В этом письме его — раздраженность, разочарование, боль души. И, наконец, такое признание: «Мысль о непробудном сне начинает нравиться воображению; страждущая голова советует нередко последнее, самое верное средство к исцелению...»

Он уже устал метаться!

Что же еще? Куда теперь?

Из Неаполя пароходом к острову Сицилия, в Палермо — и обратно, затем на север, вдоль итальянских берегов, до Ливорно. В Ливорно, это было вечером, сел в экипаж и покатил во Флоренцию — ночью.

«Лишенный способности спать в экипаже, я встретил восход солнца посреди зеленых холмов Тосканы», — рассказывал он в письме. Утром 5 июня прибыл во Флоренцию. Опять прогулка по картинным галереям...

В Италии становилось жарко, невмоготу. Обратный путь во Францию... Он прибыл в дилижансе в очередной рекомендованный врачами курорт — Виши.

Здесь он тоже пил, авось поможет, воду из минеральных источников. Весь июль и весь август. Наверно, так же как и все приезжие, пытался развлечься прогулками по окрестностям. Кавалькады на ослах направлялись обычно к зеленым холмам, откуда можно было увидеть вдали голубые вершины гор Пюи-де-Дом.

Он написал брату: «Виши уступит Бадену в блеске и затейливости, но мне это место кажется гораздо *задушевнее*».

Одна русская дама, которая как раз этим летом была там, на водах, рассказывала потом, что Виши «все смотрит прекрасною овернскою деревнею, где при блеске яркой зелени, пестрых лугов и светлого неба как-то забывается невольно и городской шум, и городской блеск, и городская пошлость. Может быть, потому Виши и казалась «задушевнее» нашему грустному Теплякову».

«Я получил из Виши, — вспоминал годом позже брат его Алексей Григорьевич, — еще несколько писем, касающихся дел домашних, потом последнее письмо из Парижа, в котором, между прочим, он говорит: «Что же мне теперь с собою делать? Я видел все, что только есть любопытного в подлунном мире, и все это мне надоело до невыразимой степени».

В Париже Виктор Григорьевич, по рассказам брата, теперь «скучал более, чем где-нибудь, и с грустью вспоминал о жизни своей на Востоке». Единственный человек, с которым он смог душевно сблизиться в Париже — Александр Иванович Тургенев, — еще в июле 1842 года уехал в Москву, так что на сей раз Тепляков его не застал.

А в октябре секретарь русского посольства в Париже Балабин вынужден был написать Алексею Григорьевичу Теплякову пространное письмо. Сообщал, что Виктор Григорьевич, по возвращении из Виши, «более чем когда-либо жаловался на многочисленные болезни, его удручающие, настроение его было грустное и мрачное, и он, наконец, глубоко возненавидел эту жизнь в Париже... 10 октября он пришел ко мне около пяти часов дня; страдание было написано на расстроенных чертах его; он едва отдышался и почти в изнеможении упал на кресло, которое я поспешил ему подвинуть. Он был печален и уныл; сообщил мне, между прочим, о своем намерении оставить Париж, который более не имел для него прелести, и поехать на зиму в Италию. Скоро, впрочем когда он совершенно пришел в себя, разговор оживился; он повеселел и, наконец, оставил меня в таком настроении, которое, увы, ввело меня в заблуждение насчет его действительного недуга, заставив меня предположить, что это был проходящий припадок мрачной меланхолии».

Но днем позже Балабин узнал, что Виктор Григорьевич при смерти: «Кажется, в тот же вечер, когда он приходил ко мне, его нездоровье

приняло серьезный характер; ночью и на другой день им владело, видимо, страшное волнение, которое перешло потом в такое раздражение, что окружающие с трудом его сдерживали и принуждены были удалить от него все, чем он мог бы себе повредить или себя поранить. Когда больной потерял сознание, прибегли к медицинской помощи, от которой он до сих пор настойчиво отказывался».

Умер он 14 октября 1842 года (по новому стилю). Два врача, приглашенные к больному за два дня до его смерти, определили апоплексический удар. Так ли оно было на самом деле — можно усомниться. Когда больной скончался, эти врачи запросили за лечение (столь неудачное) пятьсот франков, затем выразили готовность согласиться на сумму в триста франков, а когда им дали только сто пятьдесят — ушли, явно довольные гонораром. Черт их знает, что это были за врачи...

Вещи покойного были распроданы, деньги ушли на оплату его квартиры, докторов и на похоронные расходы. Похоронили его тихо и незаметно, в Париже на Монмартрском кладбище.

Отчего же он умер? Ведь ему было всего тридцать восемь лет...

Брат его Алексей Григорьевич написал так: «Душа подобных людей, раздраженная мелочами и предрассудками, алчущая великого в простом, лучшего в истинном, не находит ничего приблизительного к идеалу, живущему в ней самой; душа подобных людей, осмеливаюсь думать, отражая в себе все недуги человечества, сосредоточивает в себе все горести его».

Он готов был трудиться во славу российской словесности, действовать на благо России, но чиновником, *чинодеем* быть не мог.

Каким тоскливым должно было казаться Виктору Теплякову такое существование! Он хотел жить с толком и смыслом — так, чтобы развернуться, раскрыться. И, вот такой, он был неудобен — его либо загоняли в угол, либо отшвыривали прочь.

Помните, что он записал в дневнике, когда плыл по морю от Яффы к устью Нила? «Когда бы бури! Но их нет для меня ни на море, ни в жизни!» И далее: «Но подождем еще немного только и потерпим; авось ли не проглянет солнце, авось ли не подует попутный ветер, или по крайней мере ударит гром, который все раздробит, все окончит!» И солнце не успело проглянуть, и попутный ветер не подул, и гром не грянул: быстро пролетела и кончилась жизнь.

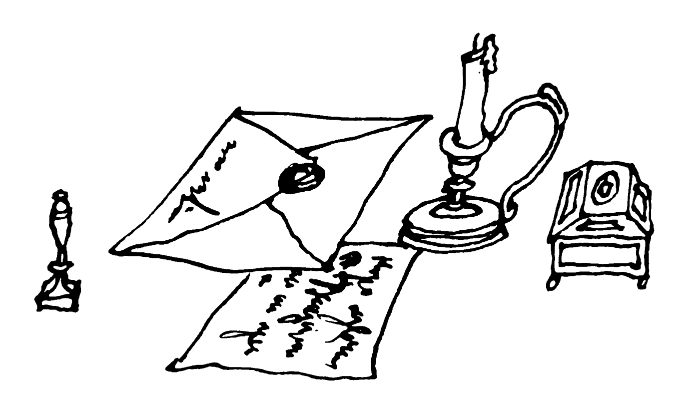
Было время, он думал, что

...меньше всех лишь тот страдает,
Кто рад, как я, товарищ мой,
По свету пестрому скитаться
Затем, чтоб сердце приучить
Во всей Вселенной дома быть...

Оказалось, не так. И не смог приучить он сердце «во всей Вселенной дома быть». И страдал он никак не «меньше всех».

Слишком немногие услышали его поэтический голос — правда, в числе их был великий Пушкин. Может, именно оттого и замолк Виктор Тепляков, что после смерти Пушкина не слышал отзвука слову своему... А ведь по-настоящему слово начинает звучать лишь тогда, когда обретает эхо.

ИСКАТЕЛЬ ИСТИНЫ



Глава первая

Под белую хоругвь, под парус корабля,
Вербуя всякий ветр, попутный — непопутный,
Вручу фантазии крутой рычаг руля
И ринусь на валы, на штурм ежеминутный...

Александр Баласогло

Пусть в его биографии, горькой и необычайной, многое остается неизвестным, выдумывать я ничего не хочу и не буду. Непридуманность рассказа имеет, по-моему, свой особый, терпкий вкус.

Дорогой читатель, ты, наверно, ничего или почти ничего не знаешь об Александре Баласогло. Он был литератором, но из того, что он написал, напечатано менее половины, остальное либо существует в рукописном виде, в архивах, либо вообще утрачено.

Историкам известно его пространное письменное показание, вовсе не предназначавшееся для печати. Он писал его в камере Петропавловской крепости (оно было найдено в архиве и опубликовано много лет спустя). Это почти исповедь, в ней есть бесстрашно откровенные страницы о себе и своей жизни. Он рассказывал о пережитых мытарствах и не мог знать, что еще большие мытарства ждут его впереди.

О, если бы мне удалось со всей отчетливостью показать этого замечательного человека! Показать, каким он был...

Правда, с точностью неизвестно даже, как он выглядел. Не сохранилось ни единого портрета. Известно, что отец его был грек, а мать — русская. Иногда его принимали за турка или за армянина, так что он, очевидно, был черноволос и черноглаз. Кроме того, он всегда был худ, даже тощ. Дорисовать его облик может воображение.

Он родился в Херсоне. Отец его, морской офицер, служил на кораблях Черноморского флота, одно время командовал Дунайской флотилией. Поэтому в детстве Саше Баласогло привелось жить в разных портовых городах: Таганроге, Измаиле, Килии, Николаеве, Севастополе.

«Учился я весьма прилежно, — вспоминает он, — с 4 лет выучившись читать, уже бросил все игрушки...» Отец был строг и запрещал «читать книги собственно литературного содержания... Мать, напротив, не только не запрещала, но даже сама сообщала мне тайком романы и стихотворения, до которых я был жаден, и защищала меня всячески, если попадался отцу не с математикой в руках. Я не забуду по гроб благодарить ее в душе за то, что она первая ввела меня в мир поэзии... Впрочем, ни отец, ни мать и никто в доме меня не баловали. Я был старший, вечно с книгами, никогда не вертевшийся на глазах, с вопросами, на которые редко мне могли дать удовлетворительный ответ, и с боязнью проговориться — следственно, скрытный...» И, между прочим, «самою первою книгою, какая мне попалась в руки, была география, в которой довольно подробно описывалась жизнь, занятия, наряды, нравы и обычаи разных народов, особенно Востока, Восточного океана

и Америки». Юный Саша Баласогло так был пленен этой книгой, что решил во что бы то ни стало поступить во флот, добраться до Петербурга и оттуда на первом кругосветном корабле отправиться в дальние вояжи. «Два года, — рассказывает он, — я не переставал надоедать отцу, и матери, и всем домашним и знакомым, чтобы меня поскорее записывали в гардемарины. Наконец отец сдался, и я на 13 году от роду, в 1826 году, поступил на службу во флоте гардемарином. На флоте, я разумею Черноморский, я застал в тогдашнем гардемаринстве и молодом офицерстве нравы если не буйные, по крайней мере еще полудикие... встретил с неописанным изумлением и горестию это непостижимое для меня буйство, невежество и праздношатание. Впрочем, на службе они были, что называется, молодцы, и потому начальство вовсе не обращало на них внимания: лишь бы были исправны и послушны, а там хоть что хочешь!»

Тогда на флоте процветал мордобой, офицеры били матросов за любую провинность, а подростки-гардемарины должны были терпеливо сносить взбучки от тех, кто постарше чином и возрастом. Саша Баласогло не умел скрыть отвращения своего к таким порядкам, и оттого ему в первый год попадало особенно...

К счастью, последующие два года служить ему довелось на флагманском корабле «Париж» — на этом корабле плавал командующий флотом адмирал Грейг. Присутствие Грейга «невольно налагало на всех отпечаток его кротости и строгости в исполнении обязанностей. Я имел честь, — рассказывает Баласогло, — через каждые два дня, по заведенной очереди, в числе всех офицеров корабля, бывать у него за столом, наслышаться его суждений и насмотреться его обращения с подчиненными и деятельности в служебных и научных занятиях...»

И тут пришло грозное известие: началась война. Война с Турцией.

Саша Баласогло знал, что многим его родственникам, греческим дворянам, пришлось бежать в Россию — они спасались от постоянных гонений на греков в Турецкой империи. Он знал, что его отец восьмилетним мальчиком вывезен был из Константинополя и, став затем русским морским офицером, участвовал в сражениях на море против турок. Так что новую войну Саша сразу воспринял как справедливую.

Перед отплытием флота к турецким берегам суровый отец благословил Сашу и, указав на свой Георгиевский солдатский крест, произнес: «Добудь себе такой же знак!» Этот орден получил он за храбрость в памятном сражении при острове Тенедос, когда сам еще был гардемарином.

Саша горел желанием доказать, что и он достоин называться истинным воином и моряком...

Флагманский «Париж» поднял паруса и вместе со всем Черноморским флотом отплыл на юго-запад, к турецкой крепости Варна, уже осажденной русскими сухопутными войсками.

На расстоянии двух пушечных выстрелов от Варны остановились и выстроились в море русские корабли. С борта «Парижа» гардемарин Александр Баласогло мог ясно видеть минареты мечетей и амбразуры в крепостных стенах...

Потом он мог слышать в ночной тьме решительный бой, когда турецкая флотилия была разбита и с тонущих кораблей турки бросались

в неспокойное темное море, чтобы вплавь достичь берега. Флагманский «Париж» непосредственного участия в этом бою не принимал.

День за днем русские корабли, приближаясь к берегу, из пушек обстреливали крепость, ядра пробивали стены и крыши, над городом вздымались тучи пыли...

Из Одессы к Варне на фрегате «Флора» направился тогда император Николай. К ночи налетел шторм, ветер понес «Флору» обратно к Одессе. На высоком берегу мерцали огоньки в окнах домов, но маяка не было видно (потом выяснилось, что он «по непростительной небрежности» не был зажжен), так что император высадился на берег в полной темноте. Переживания этой ночи оказались для него столь неприятны, что он предпочел отправиться в путь посуху.

Его вместе с большой свитой довезли по степным дорогам до Каварны, болгарского городка на черноморском берегу. Там император сел на борт подошедшей «Флоры», а затем перебрался на «Париж», к адмиралу Грейгу.

Прикомандированный к адмиралу чиновник министерства иностранных дел впоследствии рассказывал в воспоминаниях, что командиром «Парижа» был тогда капитан I ранга Бальзам, «человек тучного сложения, страдавший по временам сильною одышкою и потому не могший похвалиться расторопностью». Император нерасторопных подчиненных не терпел, поэтому Грейг заменил капитана Бальзама капитаном Критским. Моряками Критский «был нелюбим за раздражительность своего характера и за грубое обращение с подчиненными», зато любое высочайшее распоряжение он исполнял в единый миг.

«Государь император поселился у нас на корабле со всею свитою,— рассказывает Александр Баласогло,— и потому все офицеры уступили свои каюты лицам первых классов», в соответствии с табелью о рангах. Гардемаринам (а их было всего двое) оставалось ночевать на голой палубе, укрываясь шинелью и кладя под голову фуражку. Но и эта возможность оказывалась не частой, потому что, как вспоминает Баласогло, «по сходе почти всех офицеров на берег в траншеи, мы, два 15-летних мальчика, исправляли должность офицеров и почти не сходили с катеров и барказов, где и высыпались, и обедали, и ужинали, грызя в буквальном смысле слова одни матросские сухари...» Они возили провизию для стола его величества и всей его свиты, возили пресную воду, «по целым дням пеклись на солнце», переправляли бесчисленные конверты с повелениями и донесениями «по всем военным судам, бывшим на рейде, и весьма часто на дежурные корабли и бомбардирские суда, под градом прыгавших около шлюпки ядер, издававших, подобно китам, фонтаны...» Гардемарин Баласогло не раз переправлял пакеты с корабля на берег, где садился верхом на казацкую лошадь и скакал по незнакомой гористой местности в военный лагерь. Он был еще мал ростом и садился верхом без седельной подушки, чтобы доставать ногами до стремян.

В один из таких разъездов он попался навстречу императору, который ехал из лагеря сухопутных войск обратно на корабль. Баласогло вез донесение о перестрелке на южной стороне и только что с трудом управился с лошадью, когда она, чувствуя на себе неумелого седока,

пошла его носить по виноградникам. Император, думая, что гардемарин смешался и робеет, сам подъехал ближе и взял из рук донесение. «Я же робел вовсе не его присутствия,— вспоминает Баласогло,— а того, чтоб лошадь не вздумала понести опять куда-нибудь в сторону...»

«Я два раза тонул,— рассказывает он далее,— раз чуть было не был раздавлен барказом у борта корабля, на сильном волнении», раз послан был командиром «Парижа» Критским «с барказом и 18 бочками на южную сторону сыскать фонтан, находившийся как раз насупротив крепости, под ее выстрелами, и во что бы то ни стало доставить из него воды для стола его величества, так как Критский полагал, что эта вода лучше обыкновенной, с угрозой, что, если не привезу воду или вызову на себя хоть один выстрел с крепости, он заморит меня на салинге. Я отправился под вечер и, достигнув крайних пределов занятой нашими командами местности, стал разведывать у начальников, как бы пробраться к фонтану. Все изумлялись и советовали... не подвергаться, по их мнению, неминуемой опасности...» Но гардемарин Баласогло велел матросам «обернуть весла их же онучами или чем они хотят, чтобы не было слышно ни малейшего стука от гребли, и в самые глубокие сумерки подгреб сколько было можно ближе к берегу насупротив крепости, против самых ее стен. Барказ весьма далеко стал на мель». Они «едва-едва успели за ночь налить все бочки, так как фонтан едва цедил воду, а катать было довольно далеко, и все надо было делать с величайшей осторожностью...» Перед самым рассветом они отплыли от берега, и когда пристали к борту корабля — уже рассвело. Критский и не подумал похвалить гардемарина, только сказал: «Если б хоть одну бочку не налил, просидел бы у меня целый день на салинге, а к вечеру отправился бы ее наливать!»

В другой раз, когда не было никакой возможности из-за сильного ветра пристать к берегу, гардемарин Баласогло с несколькими матросами был послан на берег с пакетом к генералу Дибичу. Шлюпка быстро достигла пристани, но тут, вспоминает Баласогло, «налетевший вал поднял нас по крайней мере вдвое выше пристани и потом, спадая, так хватил оземь и отчасти об угол пристани, что мы в один инстинкт закричали: «Прочь, прочь, оттягивайся!» — и весьма счастливо оттянулись до благородного расстояния от сокрушения вдребезги». Балосогло разделся и бросился в воду, в одну минуту был на прибрежном песке, но тот же вал, что донес его на берег, потащил его назад, и Баласогло бился «по крайней мере четверть, если не добрые полчаса, то налетая на берег, то уносясь от него в море. Наконец последним и отчаянным усилием,— рассказывает он,— я запустил руки как можно дальше от мокрого песка», потом матросам удалось кинуть ему на берег тюк — его собственную одежду, причем пакет был вложен в середину тюка. «Платье долетело до меня и развалилось...— рассказывает Баласогло,— все было мокрешенько, но конверт цел и едва-едва тронут с одной стороны водою. Я оделся, выбежал, весь дрожа, на гору, изумил своим появлением штаб-офицера, у которого были в распоряжении казацкие лошади...» Баласогло верхом поскакал к лагерю, уже в сумерках добрался туда, соскочил с коня и повел его на поводу. Встретил незнакомого адъютанта, спросил: «Где мне найти Дибича? Я к нему с пакетом,

с «Парижа!» — «Как! Да ведь ни одна шлюпка не может пристать! Государь император не может попасть на корабль и, вероятно, заночует на берегу; как вы попали сюда?» — «Я переплыл...»

Уже впотьмах он доставил пакет Дибичу. Возвратился к пристани и забрался было в палатку лечь спать, но в мокрой одежде было так холодно, что он выскочил из палатки и пошел бродить, чтобы согреться: «Так грелся я до утра и потом, видя, что нет никакой надежды попасть до вечера на корабль, проблуждал целый день в опустошенных виноградниках... К вечеру ветер стих, наехали шлюпки, и я очутился на корабле».

На палубе «Парижа» художник Воробьев, прибывший в свите императора, зарисовывал виды Варны, глядя на берег в подзорную трубу.

В сентябре под стены крепости удалось заложить мину. Раздался мощный взрыв, черное облако поднялось к небу и сразу осыпалось градом камней и земли.

Осажденные держались еще несколько дней и наконец вынуждены были сдаться русским войскам.

Император Николай в сопровождении своих генералов въехал в ворота крепости. «Нас обдало, — вспоминает генерал Бенкендорф, — таким невыносимым смрадом от бесчисленного множества падали всякого рода и человеческих тел, так дурно похороненных, что у иных торчали ноги...» Многие дома превратились в развалины.

В кварталах, где жили греки, армяне и болгары, жители радостно встречали русских солдат.

Император собирался возвратиться в Одессу по суше, но Грейг и Бенкендорф уговорили его сесть на корабль «Императрица Мария». На полпути к Одессе все-таки разыгрался шторм, которого он опасался. «Все особы свиты легли по койкам», — вспоминает Бенкендорф. Император, по его словам, стойко держался на ногах, однако «упрекнул» (а вероятнее, обругал) Бенкендорфа за совет «плыть морем».

По взятии Варны офицеры флота получили награды, чины, ордена, а двум юным гардемаринам с «Парижа» не было дано ровным счетом ничего. Александр Баласогло не мог отнестись к этому безразлично, он помнил: отец ожидает его возвращения с «георгием» на груди... «Все командиры кораблей, кроме нашего, представили к солдатским Георгиям и к офицерским чинам всех своих гардемарин, — рассказывает Баласогло, — и когда, не дождавшись результата, стали напоминать Грейгу, адмирал дал вполне определенный ответ: «Я единственно потому не исполнил вашего желания, что оба моих гардемарина, которых службу и усердие я видел весь поход лично, до сих пор не представлены от командира корабля ни к чему. Когда будут представлены и они, тогда я с ними представлю и всех остальных». Но Критский презирал своих гардемарин и ничего для них не сделал. А Грейг строго придерживался установленного порядка представлений к наградам и не хотел его нарушать. Казалось, мог бы попросту приказать командиру корабля представить гардемарин к награде, но и такой шаг адмирал Грейг посчитал неприемлемым нарушением принятых правил.

«Это смутило меня на целый месяц, я бродил как шальной... —

вспоминает Баласогло.— Наконец, передумав и перечувствовав на годы вперед, очнулся от своей меланхолии человеком, совершенно и вполне освободившимся от всякого честолюбия и веры в справедливость раздаваемых отличий и наград».

Художник Воробьев за картину «Вид Варны с окрестностями» был награжден золотой табакеркой, осыпанной драгоценными камнями.

Когда на выставке в петербургской Академии художеств появилась его «Буря на Черном море», император остался доволен картиной и сказал Воробьеву: «Очень верно, прекрасно; но помнишь, я думаю, в натуре было еще страшнее!»

К весне 1829 года черноморские гардемарины — ровесники Александра Баласогло — были проэкзаменованы в Николаеве и ожидали, что вот теперь их произведут в мичманы. Но вдруг пришло известие, что император, «будучи сам свидетелем, как плохо знают черноморские гардемарины фронтовую [то есть строевую] службу, высочайше повелеть соизволил отправить всех представленных в Петербург и не производить их в офицеры, пока не узнают фронтовой службы».

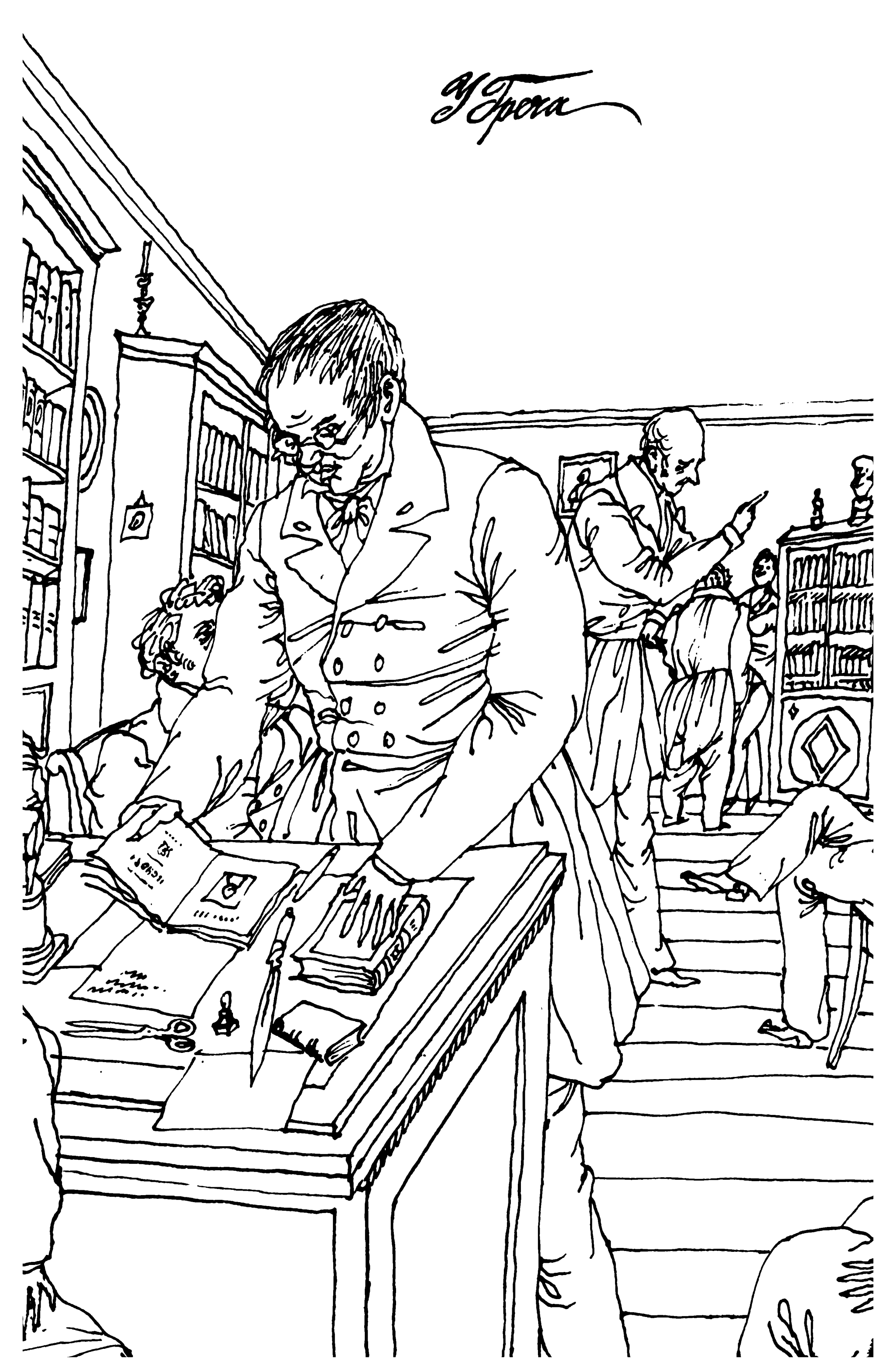
Все были подавлены — кроме Александра Баласогло, для которого «это известие было лучом живейшей радости». Он думал: «В Петербург — значит, хоть матросом, хоть на палубе, завернувшись в шинель, да фуражку под голову, да в дальний вояж, в кругосветное путешествие!..» Ведь из черноморских портов тогда ни в какие дальние вояжи русские корабли не отплывали. Только с Балтики. «И я торопился как сумасшедший, — вспоминает он, — обманул родителей, что я выздоровел, хотя был совершенно болен», — и, проболев всю дорогу, приехал в Петербург.

В петербургском Морском корпусе прибывших гардемарин муштровали семь месяцев, потом они еще готовились к вторичному экзамену. Наконец к зиме они были произведены в мичманы и направлены в близкий, но отделенный Маркизовой Лужей от столицы город-остров Кронштадт.

Шесть лет прослужил Александр Баласогло в Балтийском флоте. На корабле «Император Петр I» плавал в Финском заливе и на корвете «Львица» по Балтийскому морю от Кронштадта до Мемеля и Данцига. Но не дальше.

Он вспоминает: «Я.. был во всех тяжких на службе, лез из кожи — надо заметить, нисколько не из честолюбия, а единственно для того, чтоб выйти из рядов дюжины и отправиться в дальнии вояж. Но дальние вояжи совершенно прекратились; наука была подавлена, убита, рассеяна... В офицерстве во всю мою бытность на флоте только и было слухов и толков, что государь император не терпит ни наук, ни ученых, называя последних, после 14 декабря [то есть после восстания декабристов], тунеядцами и мерзавцами, и что князь Меньшиков [начальник Морского штаба] не смеет и думать доложить государю о чем бы то ни было дельном и серьезном вообще, а тем более научном!»

Удрученный «особенно этими слухами о постоянно разъяренном


У Греча

состоянии государя императора», Александр Баласогло «решился оставить море и поискать счастья на суше».

Он поставил себе ближайшей задачей пройти курс изучения восточных языков. Надеялся, что потом, когда он будет знать хоть немногие восточные языки или хотя бы один арабский, его непременно примут на службу в министерство иностранных дел и пошлют с какой-нибудь ученой или дипломатической миссией на Восток.

Сначала он обратился к известному литератору, человеку ученому и влиятельному, Николаю Ивановичу Гречу, автору «Учебной книги российской словесности» и «Практической российской грамматики».

У Греча был собственный дом на набережной Мойки близ Почтамтского мостика, в этом доме хозяин устраивал приемы по четвергам. На приемах появлялись иногда серьезные писатели, но чаще — около-литературная братия, которая вилась вокруг Греча, ибо он издавал, вместе с Булгариным, журнал «Сын Отечества» и газету «Северная пчела». Десятки людей толпились каждый четверг в зале, где вдоль стен высились книжные шкафы, где зажигалось множество свеч в жирандолях и канделябрах и сам Греч вел разговоры о литературе, острил и казался душой общества.

«Он меня чрезвычайно обласкал, — вспоминал впоследствии Баласогло, — все его домашние меня полюбили и, я должен отдать им полную справедливость, кажется, принимали во мне самое неподдельное и внимательное участие, за что я навсегда останусь им благодарен; но сам Греч, от которого все зависело, в три года моей ходьбы в его дом и искренней дружбы с его сыновьями решительно ничего не умел или не хотел мне сделать». А молодой мичман Баласогло хотел, казалось бы, немногого: найти службу в Петербурге «с достаточным досугом для пройдения курса восточных языков, или службу на Востоке, или хоть поблизости, на Кавказе, в Сибири, но все-таки с досугом и книгами. Куда я ни бросался, все было как заговоренное, — вспоминает он. — «Нет вакансии!» или «Странные у вас желания» — вот все, что я слышал от немногих знакомых, каких имел. В министерство иностранных дел нельзя было и думать попасть; надо было или высочайшее повеление, или не письмо, но настояние какой-нибудь сильной особы, необходимой или опасной для графа Нессельроде [который был министром], или подкуп, начиная с его камердинера или швейцара, не помню — по 25 рублей ассигнациями за каждый впуск только в переднюю, а там выше и выше, как водится».

В конце 1834 года мичман Баласогло начал посещать Петербургский университет, что было довольно сложно при его службе в Кронштадте. Университет тогда еще размещался не на Васильевском острове, а в старом доме на Звенигородской (тогда еще улица эта называлась 7-й линией Семеновского полка). Лекции начинались в восемь утра, в зимнее время — еще затемно, при свете сальных свеч, расставленных на пюпитрах.

Баласогло посещал не только восточный факультет. Он таил в себе глубокий интерес к словесности, к литературе. Писал стихи, никому не решаясь их показать...

Историю русской словесности читал в университете профессор Плетнев, поэт, критик, друг самого Пушкина. Лекции по теории словес-

ности читал адъюнкт университета Никитенко, одновременно бывший цензором. Как вспоминает один из его студентов, Никитенко на лекциях своих «оживленно жестикулировал, и при слове «изящное» он имел привычку поднимать вверх руку с двумя пальцами, сложенными в кольцо». Лекции по истории средних веков читал тогда молодой адъюнкт, писатель Николай Гоголь...

В университет Баласогло ходил с окраинной Петербургской стороны, где он снимал комнату в деревянном доме на Широкой улице. Дом принадлежал вдове титулярного советника Яновской. Здесь Александр Баласогло прожил целую зиму и влюбился в младшую дочь Яновской Марию — тоненькую, светлоглазую. «Во мне душа не из кремня, и вы алмазны лишь очами», — написал он ей в стихах. Он влюбился в девушку, «воспитанную с сестрами в довольстве, даже в избытке при жизни отца, но после его смерти, по болезненному состоянию матери, ни во что не могшей в доме вмешиваться, зависевшую в полном смысле как крепостная девчонка от прихоти и капризов старших сестер и тех братьев, вдобавок еще не родных, но сводных, которые помогали семейству». К весне, вспоминает он, «обнаружилась наша взаимная склонность друг к другу; но потом меня рядом клевет и самых грубых уничижений заставили оставить дом».

Весною же снова навалилась на него морская служба, его произвели в лейтенанты, становилось почти невозможно отлучаться из Кронштадта в Петербург, и хождение в университет пришлось оставить.

«Куда мне было деваться? Я узнал, — рассказывает он, — что есть вакансия в Ставрополе [на Северном Кавказе] адъютанта при штаб-офицере корпуса жандармов, и опрометью бросился к одному чиновнику, служившему в III Отделении и отчасти мне знакомому...» Этот знакомый чиновник стал за него хлопотать. Перспектива службы в Третьем отделении тогда не смущала Александра Баласогло, еще смутно представлявшего, что сие означает, и он готов был надеть жандармский мундир ради того, чтобы попасть на Кавказ. Тем более что тогда бы он смог вырвать Марию Яновскую из ее семьи, жениться на ней, — появился бы у него прочный заработок и возможность содержать семью...

И вот он узнал, что генерал Дубельт, управляющий Третьим отделением, дал согласие принять его на вакантную должность, как только он, лейтенант Баласогло, получит увольнение от службы на флоте.

Он сразу обратился к своему начальству в Кронштадте, и оказалось, что отставка морского офицера связана с долгой волокитой, нужно набраться терпения и ждать. «Но пока я ожидал этого увольнения, — рассказывает Баласогло, — вдруг открылась вакансия в Институт восточных языков [при министерстве иностранных дел]. Я пришел в восторг, бросился сам к Аделунгу, директору этого института, — отказ», стал просить знакомых Аделунга о содействии — ему обещали. Наконец обещал и сам Аделунг. На радостях Баласогло отказался от вакансии в Ставрополе. Но его увольнение с флота все откладывалось и откладывалось. Аделунг предоставил вакантное место другому, и Баласогло остался ни с чем.

«В таком положении, — далее рассказывает он, — я решился обра-

титься прямо к Сергею Семеновичу Уварову, как к министру народного просвещения, обдумав объяснить ему, что я уже начал посещать лекции, ходил около 5 месяцев», и не будет ли министр так милостив, «не даст ли мне места, где ему угодно, в своем ведомстве, только с тем, чтобы я имел возможность уделять время от службы на посещение лекций. Я ходил три недели сряду, еще будучи в мундире, просиживал по три часа в его передней и только в последний раз дождался, чтобы обо мне доложили... Уваров на меня не хотел даже взглянуть»; все же директор канцелярии согласился дать просителю письмо к князю Ширинскому-Шихматову, одному из самых влиятельных чиновников в министерстве. Ну а Ширинский-Шихматов предложил лейтенанту Баласогло ждать вакансии.

В декабре 1835 года Александр Баласогло получил наконец отставку. Еще месяц дожидался хоть какого-нибудь места по министерству народного просвещения. Тут уже выбора у него не было никакого, и он принужден был согласиться на мизерную должность в хозяйственном столе счетного отделения.

Министерство размещалось в красивом здании на площади у Чернышева моста. Две арки этого здания нависали над проездом с площади в узкий Чернышев переулок. Здесь, в переулке, Баласогло и поселился на казенной квартире, заняв одну темную комнату — окном в коридор.

Глава вторая

Жизнь каждого человека есть диагональ между его характером и внешними обстоятельствами.

В. Ф. Одоевский

Теперь Александр Баласогло появлялся иногда в кругу петербургских художников, «которые все знакомы друг с другом по товариществу и с которыми я всегда, — рассказывает он, — водился с самого своего приезда в Петербург, по моей страсти к искусствам».

Он бывал в мастерской скульптора Николая Пименова, восхищался его смелой, размашистой лепкой. Однако сдружиться по-настоящему не позволяло им различие натур: Пименов был весь нараспашку, любил хмельной разгул, а Баласогло — замкнутый, аскетичный — никакой склонности к разгульной жизни не имел.

Зато встретившись у Пименова с архитектором Петром Норевым, Баласогло сразу почувствовал в этом человеке родственную душу. Норев — светловолосый молодой человек в очках — тоже писал стихи, не обладавшие, правда, своеобразием. Художественные вкусы их во многом совпадали. Оба с одинаковым восторгом восприняли новую картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи», выставленную в Академии художеств. Баласогло посвятил этой картине стихи:

...Я неуч, но в твоей широкой панораме
Ясна твоя мне мысль, о современный ум!
Я вижу этот миг, мне внятен этот шум;
Здесь жизнь, здесь человек, здесь драма в этой раме!

К лету 1836 года Брюллов возвратился в Петербург из долгого заграничного путешествия. Академия художеств приготовила торжест-

венную встречу. Когда Брюллов вошел в распахнутые двери Академии, хор в сопровождении оркестра пропел ему приветствие, сочиненное Норевым:

...Все радостным хором сей день торжествуйте.
Воскликните дружно: «Брюллову — ура!»

Осенью того же года на выставке в Академии все останавливались перед гипсовой скульптурой Николая Пименова «Юноша, играющий в бабки». Выставку посетил Пушкин. Он сказал: «Слава богу! Наконец и скульптура в России явилась народная!» Пожал Пименову руку, назвал его собратом. Вынул записную книжку, написал экспромт «На статую играющего в бабки», вырвал листок и вручил его скульптору.

Император Николай слышал общие похвалы работе Пименова и повелел выдать ему две тысячи рублей. И, кроме того, повелел отлить статую из металла, но только непременно «с драпированием части обнаженного тела полотенцем».

Встречи с художниками скрашивали одиночество Александра Баласогло. Но чаще, вернувшись со службы домой, он весь вечер лежал в своей темной комнате, глядя в потолок или в перегородку, и раздумывал обо всем, что узнал и увидел в окружающей жизни...

Питался он пирожками и сайками близкого Гостиного двора. «А таскаться по чужим обедам — не умел во всю мою жизнь», — с достоинством вспоминал он впоследствии.

Один раз рискнул он выбраться «в свет». Рассказывал об этом позднее, в сочинении, где о себе писал в третьем лице — «душа»: «Раз она попала как-то на бал...

Все разубрано, разукрашено, разодето... Накурено, раздушено... Музыка помолчит-помолчит, да и поиграет... Красавицы прохаживаются в нарядных воздухообразных платьях... Мужчины мнут за ними шляпы... Другие мужчины и другие дамы, посолиднее, деликатно, живописно, благоуханно сидят за столами и играют, не играя, в карты...

...Кого ни попытается [«душа»] о чем-либо спросить, — на нее поглядят так просто, но между тем так в-кратке долго, что она забудет, о чем и спрашивала!.. Ответы как будто и не сухие, но все такие отрицательные в своем внутреннем, *тонном* смысле... Или — совершенное молчание и удаление особы. Или — самое вылощенное, самое глянцевитое, самое палисандровое «да» — и не больше...

Душа помяла-помяла шляпу, поглядела на танцы, на карты, на лица — и, проклянув сама в себе всю эту странную и неприступную и непостижимую толпу, поплелась с половины бала тишком восвояси, чтоб никогда уж больше и не заглядывать на подобные сборища...»

Потрясающая весть разнеслась по зимнему Петербургу — умер смертельно раненный на дуэли Пушкин.

Пушкин! Баласогло чтил его как никого другого. Особенно любил его поэму «Цыганы». Каждую новую главу «Онегина» впитывал как учебник жизни. Признавался: «Что читал, о чем упоминал Онегин или его неоцененный автор не только целой строфой и картиной, но даже и мимоходом, одной строчкой,

одним словом» — все это Александр Баласогло еще на черноморских берегах, будучи совсем юным, считал непреложным долгом «узнать, достать, прочитать, увидеть» самому. Так, целых пять томов «О богатстве народов» он прочел от доски до доски только потому, что в «Онегине» есть стих: «Зато читал Адама Смита...» Усердный юный читатель почти ничего еще не мог понять в этом ученом труде, но одно место — «о том, как освободились из-под ига феодалов общины и около замков повозникали вольные города», — перечитывал «с несказанным счастьем: это был оазис рая в обширных песчаных степях знаменитой книги...»

Несомненно о Пушкине, а не о ком-либо другом, Александр Баласогло написал:

Когда в восторге обожанья
Держу я гения труды —

. . . .

Ни напряженного искусства
И ни труда не вижу в них,
Но будто собственные чувства
Мне выражает каждый стих.
Как будто эти ощущенья
Я испытал в забытом сне,
И дар такого ж вдохновенья
Таился, кажется, во мне

. . . .

И вдруг в творении чужом
Предстал пред очи так нежданно,
Как идеал мой, бывший сном,
В чертах лица моей желанной.

И вот теперь Баласогло пришел с Чернышева переулка на Мойку, к последней квартире великого поэта, где уже толпилось множество людей. В полутемной комнате с завешенными окнами мерцали свечи в огромных шандалах. В горестном молчании смотрели все на неподвижные восковые веки умершего, на его впалые щеки, на курчавые волосы, темневшие на атласной подушке, на завязанный под самым подбородком широкий черный галстух.

Зачем не двинул он хоть бровью,
Не дрогнул жилкою руки,
Когда весь мир с такой любовью
Вкруг задыхался от тоски! —

так, вспоминая о смерти Пушкина три года спустя, писал Баласогло.

Он не имел возможности хотя бы два раза в неделю отлучаться от службы для того, чтобы посещать университет. На это князь Ширинский-Шихматов решительно отказался дать ему позволение. «Я ручался, — рассказывает Баласогло, — что все дела, какие у меня ведутся, будут идти решительно тем же ходом, как и всегда. Нет!»

Позднее он узнал, что князь неоднократно спрашивал о нем у начальника счетного отделения Тетерина. И тот всякий раз «отзывался обо мне, — с возмущением пишет Баласогло, — что я

нерадив к службе — нерадив! Когда я, сверх своих обыкновенных занятий, сдал запущенные ими в 20 лет дела в архив, приведя их в самый строгий порядок...»

Однако понять Тетерина оказалось легко.

Дело в том, что к Чернышеву переулку примыкали строения рынка — Щукина двора. Эти строения принадлежали почему-то ведомству народного просвещения. Рынок был для министерства доходной статьей, причем ведал доходами именно Тетерин. Этот «отвратительный взяточник и тиран подчиненных, державший в ежовых рукавицах весь Щукин двор, ел и грыз меня каждый божий день, — рассказывает Баласогло, — вообразив, что я посажен к нему князем для наблюдения за его поборами с купцов, чего я и во сне не видел...»

Но тут открылась вакансия в канцелярии департамента, и Баласогло наконец-то смог от Тетерина уйти. На новом месте и жалованье было побольше, и начальник, правитель канцелярии Романов, оказался человеком благожелательным. Летом Романов выхлопотал своему новому помощнику единовременно годовой оклад.

Впервые в жизни у него в кармане оказались деньги не только на еду и самую необходимую одежду. Куда истратить неожиданное богатство? Он не раздумывал. Он решил издать сборник стихов! Стихи Норева и его собственные — в одной книжке...

Ради меньших трат на бумагу в типографии выбрал он самый крохотный формат и самый убористый шрифт. Тираж сборника не мог превышать нескольких сот экземпляров. В общем, на типографские расходы денег хватило, осталось еще кое-что на покупку книг.

А тут еще пришло письмо от Пименова. Уже целый год Пименов был далеко от Петербурга, в излюбленном художниками солнечном Риме. В письме он сообщил, что ему нужен целый ряд книг и лубочных картинок, просил прислать. Баласогло выкроил на это девяносто рублей, купил все, что просил Пименов, и послал в Рим.

Итак, типография приняла для печатания книжечку под названием «Стихотворения Веронова». Первая половина стихотворений вымышленного Веронова принадлежала перу Норева, вторая — перу Баласогло. Напечатать свои фамилии они не решились. Правда, фамилия Норев угадывалась — в перевернутом виде — в первых двух слогах придуманной фамилии Веронов.

Александру Баласогло исполнилось двадцать пять лет, но горечи в нем уже было через край:

Теки, река времен! господствуй же, о мрак!
Я червь, а не пророк, когда дано от века
И человечеству осилить человека,
И морю поглотить подмытый им маяк!

Однако читателям бросалось в глаза прежде всего обилие непривычных выражений в стихах этого безвестного поэта. Например: «есть радость быть упреком веселой толчее ошибочных

существ», или — «булат любви стучит в кремень разлуки», или — «бьет искрами сомненье».

И сам автор, казалось, расписывался в собственной слабости, признаваясь:

Я, пленный в теле вихрь, бьюсь глухо сам в себе.
Не трогают сердец мои стихотворенья:
Я математик в них, поэт назло судьбе.

Только два печатных отклика вызвала эта книжка.

Николай Иванович Греч в журнале «Сын Отечества» не счел нужным давать сборнику общую оценку. Вторую половину книжки, написанную Баласогло, Греч просто не мог принять всерьез, поэтическую смелость и самобытность ее не в состоянии был оценить.

В журнале «Библиотека для чтения» редактор его и критик, Осип Иванович Сенковский, человек весьма неглупый, однако начисто глухой к поэзии, насмешливо утверждал: «...Ни в одной еще из печатных книг... не удавалось нам видеть так явственно образованных головы и хвоста — благородной и неблагородной части тела. В голове видно дарование, в хвосте — бездарность, свойственная этому странному члену. Мы почти готовы подумать, что вторая половина, хвост, есть произведение совсем другой головы: только посредством этой смелой гипотезы и можно объяснить себе такую противоположность между первою и второю сотнею страниц стихотворений Веронова».

Сенковскому понравилась только норевская «Любовь» — «очень миленькая поэма... за которою уже начинаются позвонки хвоста».

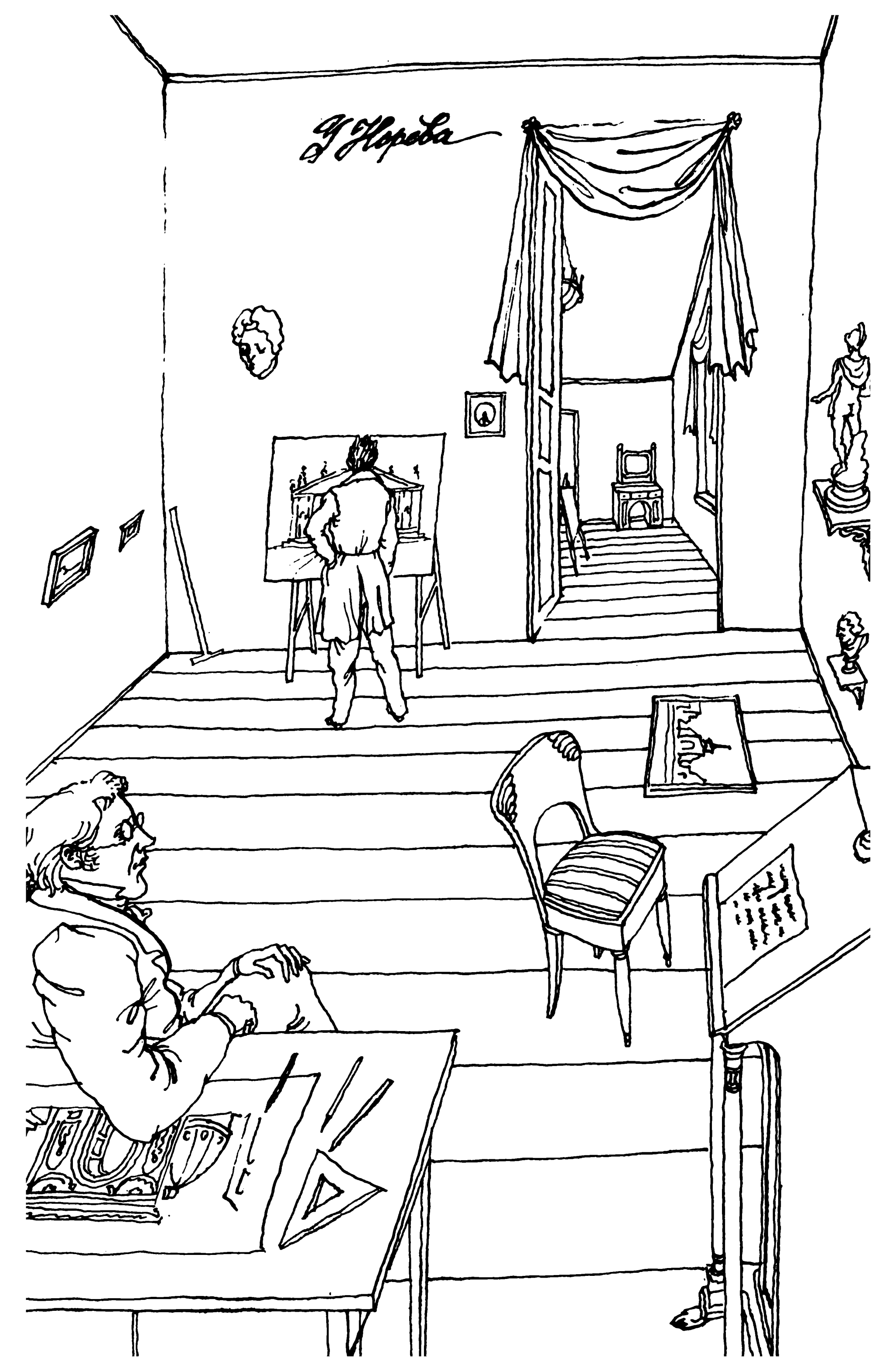
Позвонки хвоста!

Не знаю, существовал ли на свете поэт, которому пришлось бы прочесть о своих стихах более унизительный отзыв.

Петр Норев представил на выставку в Академию художеств архитектурный проект «Всемирный музей». В этом проекте, как рассказывает биограф Норева, «соединены были в одно стройное целое все разнородные стили зодчества от древнейшего египетского до новогреческого включительно. Впоследствии предполагал он представить еще сложнейший проект, а именно «Новый город»; но житейские потребности и содержание себя и особенно матери заставили его поступить в помощники архитектора по министерству народного просвещения...»

Но оттуда он вскоре вынужден был уйти. «И его Тетерин же и братия выжили-таки в отставку, — свидетельствует Баласогло, — за то, что он [Норев], не принимая их подарков, не хотел подписывать на свою голову смет, составляемых этой благородной компанией для разрабатывания Чернышева переулка и Щукина двора».

Норев перешел, опять же на должность помощника архитектора, в Петергофское дворцовое управление. Там для него не открывалось решительно никакого поля деятельности. Норев предпочел оставить и эту службу. Но надо же было как-то кормиться,



и он стал зарабатывать — весьма скромно — корректурой в типографии Фишера.

Наконец в феврале 1839 года, при открывшейся вакансии и ходатайстве Романова, Баласогло получил место секретаря в комитете иностранной цензуры. При его зачислении на должность было отмечено, что он знает французский, немецкий, английский и занимается изучением древних и восточных языков.

Его радовало, что на этой службе он будет иметь доступ к новым иностранным изданиям и достаточный досуг для собственных литературных и научных занятий. И вообще — твердую почву под ногами.

Теперь он смог жениться на Марии Яновской: наконец-то ее родня сочла его приемлемым женихом.

По всей видимости, в начале следующего года в доме барона Вревского он познакомился с двумя сестрами: баронессой Евпраксией Николаевной Вревской, урожденной Вульф, и Анной Николаевной Вульф. Он знал, что с этими милыми, умными женщинами был близко знаком Пушкин.

Баласогло был взволнован и обрадован — и самим знакомством, и тем, что здесь, в этом доме, чутко восприняли его стихи. Оценили!

Он написал большое стихотворное послание к Анне Николаевне Вульф. В нем он размышлял о судьбах русской поэзии, о России и Европе, о будущем и, конечно, о Пушкине...

Кто облегчил ему гоненье,
Кто говорил ему: «Живи!» —
Когда постигло заточенье
Любимца славы и любви,
. . . .
Не ваше ль милое семейство,
Не вы ли сами? Сто раз вы!
. . . .
И что скрывать: я рад глубоко,
Что мне судьба моя сама
Дает гордиться одиноко
Вниманьем вашего ума.

Его служба в комитете иностранной цензуры оказалась совсем не легкой. Председатель комитета, «человек непостижимого малоумия и самой педантской, самой женской злости, начал меня есть, как буравчик твердое дерево, — вспоминает Баласогло. — Не проходило дня, чтобы он не мучил меня своими полуторачасовыми рацеями по случаю самых пустейших, не подозреваемо никакому смыслу ничтожных мелочей. Я терпел и работал вдвое против департаментского... Не тут-то было!.. Он меня грыз и заваливал работой». Баласогло наконец не выдержал и вышел в отставку.

Бросил он службу еще и потому, что занялся большой и серьезной работой — подготовкой нового издания энциклопедического типа, оно должно было называться «Памятник искусств и вспомогатель-

ных знаний». Проект издания составил Норев, печатать же «Памятник искусств» согласился владелец типографии Фишер.

Должно быть, громоздкий план нового издания возник как некий компромисс между Фишером, с одной стороны, Норевым и Баласогло — с другой. Норев и Баласогло ориентировались на почитателей искусства, Фишер же рассчитывал на читателей (точнее — покупателей) из круга деловых людей. Поэтому наряду со статьями, посвященными искусству, предстояло подыскивать материалы по вопросам промышленности и ремесел.

«Мы утопали в работе, — вспоминает Баласогло, — трудясь сначала оба по целому году совершенно даром, а потом получая только по 100 руб. в месяц» от Фишера.

Конечно, они не только сами писали статьи. Хотя в «Памятнике искусств» не появилось ни одной подписи под статьями, можно предположить, что, например, автором очерков о Турции был Михаил Вронченко, переводчик Шекспира и автор книги «Обозрение Малой Азии».

В некоторых статьях на страницах «Памятника искусств» угадываются взгляды Александра Баласогло. Например, в «Кратком обозрении древней и новейшей живописи». В этой статье утверждалось, что с конца минувшего века (то есть со времени Великой французской революции) «искусства получают новую цель, новое направление; служат средством распространения и обобщения идей; звание художника возвышается; для него является потребность быть не только рисовальщиком и маляром в тесном кругу мифологического искусства, но современно образованным человеком». Революция 1830 года во Франции «вызвала стремление искусства к народности», а последующий период реставрации монархии — «безмерное распространение вкуса средних веков». Автор статьи (то есть, видимо, Баласогло) писал: «Искусство есть всегда выражение состояния общества...»

И, в сущности, эта же мысль утверждалась в статье «Дант Алигьери»: «Страсти Данта были страстями целой Италии; его заблуждения — заблуждениями того времени; самое то, что называют в нем безумием, было безумием средних веков».

Жена ждала ребенка, а ежемесячных ста рублей от Фишера никак не могло быть достаточно, чтобы содержать семью. Но столь тошной была теперь для Александра Баласогло перспектива службы опять где-то в департаменте, что не хотел он соглашаться ни на какую канцелярскую должность иначе, как при условии, что будет «хоть полнедели очищаться для себя», для своей литературной работы.

Надежды на литературный заработок гасли, не успев разгореться. «Мои статьи или возвращали, — вспоминал он несколько лет спустя, — или затеривали, только всегда с одной и той же песней, что не соответствуют плану, цели, тону журнала; переводов не давали, отзываясь тем, что переводчиков как собак... Но сверх всего этого иные даже заказывали мне статьи сами, упрашивая и

улелеивая меня всячески, и, когда я приносил, например, переводы, стоившие мне целых месяцев усидчивой работы, у меня брали их с пожиманиями рук, чуть-чуть не с лобызаниями, расхваливая при свидетелях до небес и обещая при тех же свидетелях деньги — когда? — завтра! Это завтра не наступило еще и поныне...»

И вот в то время, когда он так искал заработка, его добрый товарищ (они знали друг друга еще на Черном море), морской офицер Василий Завойко, взялся хлопотать за него через родственников и знакомых. Благодаря этим хлопотам Баласогло был приглашен на прием к Сенявину, директору Азиатского департамента министерства иностранных дел. «Я... бросился к нему, как к спасителю, — рассказывает Баласогло. — Но он, поговоря со мною час, выразил самым прискорбным для меня образом, в каких-то язвительных блистаниях глаз и своих белых зубов и злорадных шуточках, достойных души О. И. Сенковского, что-де вам у нас нечего будет делать: «Для вашего ума нет у нас поприща; а ступайте-ка вы в министерство народного просвещения, вот, например, хоть в Казанский университет, да кончите там курс, да тогда оно вас и пошлет путешествовать; или — если не то — я попрошу Василия Алексеевича Перовского, может быть, он возьмет вас к себе в Оренбургскую пограничную комиссию?» Ясно было, что он не хочет понять, что я, беспокоя его, просил его или дать мне место в Азиатском департаменте с тем, чтобы я мог доучиться восточным языкам, пользуясь только досугом и книгами Института восточных языков, потому что в профессорах этого похвального странноприимного дома мне не было решительно никакой надобности, или прямо, если будет возможность и его великодушие, отправить меня в любую миссию на *самый* Восток, а не в глушь, в Оренбург, где меня, как *чиновника,* могут затереть в порошинку... Я отказался и от Казани, и от Оренбурга, а великодушный херувим — директор — наотрез отказал мне и от своего департамента и от своих дверей...»

В январе 1841 года Александр Баласогло вынужден был ухватиться за самую маленькую должность в архиве министерства иностранных дел.

Летом у него родился сын, его назвали Владимиром.

«Памятник искусств и вспомогательных знаний» выпускался отдельными тетрадями. Откликов не пришлось долго ждать.

Первой отозвалась «Художественная газета» — она выражала отношение к «Памятнику искусств» в кругах петербургских художников. Отзыв был хвалебный: «издание красивое», «утонченного вкуса»...

По-другому отозвался в журнале «Отечественные записки» самый выдающийся критик — Белинский: «Дивное явление! Что ты такое? — Книга, тетрадь, табакерка, салфетка, шкап, сундук?... Ничего не понимаем... Почему ж это «Памятник искусств»?... Картинки, очерки и политипажи все прекрасны, печать чудесная, бумага славная, все хорошо; недостает изданию — толка и смысла».

Просветительских задач «Памятника искусств» Белинский не угадал. Этому не приходится удивляться: общая цель издания терялась в пестроте и разнохарактерности публикуемых материалов. Когда вышли из печати очередные тетради, критик утвердился в своем мнении: «„Памятник искусств“ тоже по-прежнему продолжает быть, назло здравому смыслу, сфинксовой загадкой, для разрешения которой нужен Эдип».

С другой стороны, на страницах журнала «Современник» его редактор Плетнев назвал «Памятник искусств» «полезнейшим предприятием». Он же позднее отмечал: «В Памятнике нас изумили характеристики некоторых художников. Они показывают такое знание дела, содержат такие верные и тонкие замечания, что ни литераторами, ни художниками не должны быть пропущены равнодушно».

В 1842 году тетради «Памятника искусств» выходили уже с большими перебоями. В конце года на них снова обратил внимание Белинский в «Отечественных записках»: «„Памятник искусств“! Так он еще здравствует, а мы думали, что он давно уже скоропостижно умер! Бедный, ему суждено умирать медленною, постепенною смертью, чахнуть понемногу... Странна судьба этого издания: родилось оно без головы, рук и ног, самое туловище его навсегда осталось тайною для библиографических зоологов, — и ко всему этому оно родилось еще со злою чахоткою в груди... Боже мой, да это хаос, вавилонское столпотворение!»

Через год Белинский высказался в журнале еще резче: «Итак, это дикое издание еще живо, еще продолжается!... Составитель «Памятника искусств» напоминает собою ноздревского повара (в «Мертвых душах»), который руководствовался больше вдохновением и клал первое, что попадалось под руку...»

Можно себе представить, с каким огорчением читал эти отзывы Баласогло, который был усердным читателем «Отечественных записок» и восторгался многим, что печаталось в этом журнале: «Письмами из-за границы» Анненкова, повестями Одоевского, статьями самого Белинского о Гоголе...

Конечно, и Норев, и Баласогло относились к составлению «Памятника искусств» куда серьезнее, чем ноздревский повар, который, как известно, считал: «было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет». Но у них получалось даже не горячо, потому что социальные, острые проблемы вообще не ставились в «Памятнике искусств»...

Издание не давало прибыли Фишеру, и он, понятно, решил его прекратить. Баласогло вспоминает: «Фишер был круглый невежда в науках и теории искусств, но в практике тонкий и мелочный знаток. В последнем точка соприкосновения была прочная, ненарушимая; но в первом — никакой; и мы должны были его оставить, убив — я почти два, а Норев около трех лет...»

Теперь Александр Пантелеевич Баласогло ходил на службу в министерство иностранных дел, на Дворцовую площадь. Министер-

ство занимало половину здания Главного штаба — ту половину, что боковым фасадом обращена к набережной Мойки.

«Скрепив сердце, — вспоминает он, — я рассудил, что если примусь... за архивные дела министерства иностранных дел не как чиновник, которого вся утопия состоит в том, чтобы только скорее ударило 3 часа, а вся деятельность в чтении «Пчелы» или «С.-Петербургских ведомостей» и поглядывании, через час по ложке, то на директора, то на часы; но как человек любознательный и логический, — авось, может быть, что-нибудь и удастся сделать такого, за что уже нельзя будет не послать на Восток! А рассудив, и принялся за работу. Видя мое усердие и усидчивость, смело могу сказать, небывалые в этом архиве, начальство мало-помалу сделалось ко мне, хотя и не слишком жарко, однако же не в пример другим доверчиво».

После первого года работы он представил начальству план разбора дел в архиве. Управляющий архивом Лашкарев этот план весьма одобрил и поручил архивариусу Баласогло разбор всех азиатских дел.

«...Я спал и бредил разбором азиатских дел... — рассказывает Баласогло, — приходил почти каждое воскресенье на целое утро, особенно пользуясь годовыми праздниками, и на просторе, один-одинешенек рылся и зачитывался, а потом часто целые ночи напролет соображал, в бессонницах, куда следует то, куда другое... словом, я не разбирал, а воссоздавал дела, как художник какую-нибудь древнюю статую или здание, разбросанное в мельчайших обломках. И сказать правду, как художник, я высоко награжден за свой нерукотворный труд; я восстановлял целые ряды событий... Я странствовал по всему Востоку со всеми посольствами и агентами, со всеми кораблями и караванами, со всеми армиями, отрядами и учеными экспедициями». Ах, если б не только в воображении, но и наяву!..

Первые несколько лет после женитьбы Александр Пантелеевич жил на Петербургской стороне. Наконец он решил снять квартиру ближе к центру города, на Знаменской улице.

У него уже было трое детей: в 1843 году родился второй сын, Борис, в 1844-м — дочь Ольга.

Об этом времени Александр Пантелеевич вспоминал: «Моя жена... терпя со мною и детьми такую нужду, что мы часто питались с ней по целым неделям или одними макаронами, сваренными ею же дни на два, или одним куском окорока, или яйцами всмятку и более ничем... решилась меня не слушать и перезаложила все и свои и мои вещи без моего ведома, так как я ей решительно этого не дозволял, зная, что заложено, то уже и просрочено, а следовательно, и пропало. Оставались одни заветные: гранаты рублей на 100 — подарок моей матери, перстень с бриллиантом — рублей в 350 ассигнациями...» Так вот эти гранаты и перстень Мария Кирилловна втайне от мужа отнесла к ростовщику. Когда наконец появилась возможность выкупить драгоцен-



ности, заклад уже был просрочен, и гранаты и перстень ростовщик отказался возвратить. «Не зная, что делать, и боясь мне открыться, — вспоминал потом Александр Пантелеевич, — она обратилась к моему сослуживцу, тогда титулярному советнику. Войцеховскому, который, будучи ко мне расположен, часто ей и мне говаривал, что везде имеет связи и всегда готов на услуги друзьям, что он весьма часто и оправдывал на деле. Войцеховский, уверяя, что это дело пустое, стоит только обратиться к его приятелю, полковнику корпуса жандармов Станкевичу, и тот так благороден и так ревностен к истреблению всяких подобных мерзостей, что сию же минуту сделает суд и расправу, увлек ее к полковнику Станкевичу, к нему на квартиру. Полковник рассыпался в любезностях, обещаниях, но ничего не делал. Войцеховский отговорился недосугом и снарядил жену одну к полковнику Станкевичу по известной ей уже дороге. Тот по-прежнему рассыпался в любезностях и извинениях и наконец в шутку начал рассказывать, что эти вещи вздор, стоит об них хлопотать! „Вы, сударыня, так молоды, так прекрасны, вам ли заниматься такими прозаическими вещами, вы можете иметь независимое содержание...“». В общем, он предложил ей стать его любовницей.

Предложение жандармского полковника не было чем-то из ряда вон выходящим, пример своим подчиненным подавал сам управляющий Третьим отделением Дубельт (в свои пятьдесят с лишним лет он ездил на интимные свидания с воспитанницами театральной школы, и тогда же, как рассказывает в воспоминаниях артистка Шуберт, директор императорских театров рекомендовал ей пойти на содержание к Дубельту).

Потом, оправдываясь перед мужем, Мария Кирилловна утверждала, что притязания полковника Станкевича она отвергла. Однако этот ее тайный визит к нему не оказался последним, она пошла одна к Станкевичу в третий и в четвертый раз...

Как бы то ни было, жандармский полковник не помог ей вернуть драгоценности от ростовщика, и она вынуждена была со слезами признаться мужу, что гранаты и перстень утрачены безвозвратно.

Возмущенный до глубины души, Александр Пантелеевич почувствовал себя унизительно обманутым. Он уже раньше с горестью замечал склонность молодой жены своей ко лжи и притворству. И теперь не был уверен, что она осталась ему верна — черт ее носил к Станкевичу! «Я требовал от Войцеховского, — вспоминал потом Александр Пантелеевич, — чтоб он доказал мне, что он мне приятель, сослуживец, честный человек и прочее, и спросил Станкевича, чего он от меня хочет: чтоб я дал ему публично пощечину или чтоб проколол ему брюхо ножом? Но Войцеховский сказал мне на всю мою белую горячку: «Что ж делать, mon frére, я сам уже заметил, что он подлец! Полно горячиться! Ведь мы не в Италии, и не в Испании, и не на Востоке!..» Вещи, разумеется, пропали; Станкевич, к счастью, нигде мне не попадался, хотя я и хотел учинить над ним славный шкандал

посреди самого дворянского собрания; но так как таскаться по собраниям довольно накладно, а в церкви было бы уже слишком неистово, я мало-помалу остыл и потом совершенно пренебрег и человеком, и его поступком...

Кому ж тут жаловаться?..»

Глава третья

Корабли всего света, снимайтесь с якоря! — я сейчас буду к вам. Пароходы — разводите, пускайте пары! — я еду, еду!.. Паровозы, дилижансы, омнибусы — стойте, стойте, не отправляйтесь так рано, я тороплюсь, я бегу... Эй, извозчик!.. Вези меня — в мир!.. Вези куда-нибудь, куда хочешь, куда глаза глядят, только вон отсюда, вон из этого гроба моей недорезанной юности!..

Александр Баласогло
«Об изложении наук»

Давно уже задумывался он обо всем, что творилось вокруг, и теперь его мучила мысль, что в России близится какая-то катастрофа. Видел, говоря его словами, «бессилие власти к одолению бесчисленных беспорядков и злоупотреблений». Видел недовольство и ожесточение народа. «Я миллион раз... — писал впоследствии Баласогло, — всюду и всегда слыхивал от всех сословий одно выражение, в более или менее разнообразных вариациях: «А как его-то, нашего батюшку [то есть царя], министры-то обманывают, и бога они не боятся! Ну уж когда же нибудь они дождутся, что их господь покарает! Отольются волку да овечьи слезки!..» Я этих откровений не вызывал, не искал, не выпытывал: они сами пролетали мимо моих ушей... как стон и вой вдали нещадно колотимой собаки».

Он ждал бури, убежден был в ее неизбежности, но его страшило, что вот появятся на Руси новые Разины и Пугачевы. Воображению рисовались картины, когда «ораторы будут призывать народ к резне» и когда «будут свирепствовать одни демагоги, которых в свою очередь каждый день будут стаскивать с бочек и расшибать о камень; о писателях тут уже не будет и помину, потому что все они гуртом будут перерезаны в виде бар и чиновников... Чем же помочь этой страшной беде... Кричать о ней? — посадят в крепость; писать? — цензура, гауптвахта и опять же крепость...» Но писатель — «гражданин, как и все; он на своем поприще должен быть тот же воин и идти напролом, на приступ, в рукопашную схватку!»

Ныне писатель, думал он, должен действовать во имя просвещения, всеобщего и подлинного. Только оно может помочь народу без пролития крови вырваться из тьмы крепостного рабства...

Баласогло решил искать «путей и средств к основанию издания,

в котором бы никакая ценсура не могла бы ни к чему привязаться, а между тем всякая живая душа нашла себе отрадную мысль». В дальнейшем он мечтал «пустить в общество целый круг всемирных идей, дать ему в руки целый свод учебников...»

Первым делом он составил проект учреждения книжного склада с магазином, общедоступной библиотекой для чтения и, главное, с типографией.

«Мир стоит у дверей ученого и ждет, голодный, холодный и оборванный, конца его занятий... — писал Баласогло. — Следовательно, ученый обязан, если не хочет быть тунеядцем, положить свое созерцание на бумагу для общего сведения.

Но вот он это и сделал... Остается только обнародовать то, что он написал... И что же? Это-то в своей сущности простое дело в обществе обращается в самое трудное». Литераторам и ученым нужно поэтому самим открыть, — «так сказать, издавальню книг» и расположить читающую публику «к приобретению всех достойных литературных произведений, какие при существующем порядке или, лучше сказать, беспорядке вещей не могут до нее доходить». Если новому сообществу «удастся совершить свой подвиг хотя вполовину» и «если оно спасет от загноя в застое хоть одно гениальное дарование, если оно издаст хоть одно сочинение по спросу века и возрасту России, — оно будет уже вознаграждено за все свои потери, за все думы, за все бессонницы, за все жертвы и траты!..»

И сколь прискорбно видеть, что в то время, как «народ погибает, выдираясь в люди, в тяжких работах, среднее сословие, ученые, чиновники, почетные граждане, купцы, офицерство бьется с утра до вечера, с вечера до утра в карты, гордится тем, что огуряется от службы и собственного дела, или лежит по своим берлогам, не веруя ни в просвещение, ни в Россию, ни в человечество и ровно ничего не смысля во всем том, что происходит в мире, вне его берлоги».

Если говорить кратко и напрямик, «пора учить Россию, учась...».

Но к кому обращаться с таким проектом?

Едва ли не единственным известным литератором, которого Баласогло некогда посещал, пока совершенно в нем не разочаровался, был Николай Иванович Греч, — не идти же снова к этому цинику: Греч охотнее утопит ближнего, нежели подаст ему руку...

Баласогло стал искать новых знакомств. Он встретился с молодыми поэтами Сергеем Дуровым и Александром Пальмом, первый служил в канцелярии Морского министерства, второй был прапорщиком лейб-гвардии Егерского полка. Оба уже печатались изредка, Александр Пантелеевич проникся к ним симпатией; уже случалось — в общей квартирке Дурова и Пальма — проводил с ними ночи напролет в разговорах о поэзии, о российской словесности.

Теперь Баласогло бывал также в доме художника Николая Аполлоновича Майкова, в старших сыновьях которого уже виделся незаурядный литературный талант: Аполлон был автором всеми

замеченного сборника стихотворений, Валериан — умным и тонким критиком. В семье Майковых частыми гостями были литераторы: молчаливый и застенчивый Иван Александрович Гончаров, известный поэт Бенедиктов, молодой критик Дудышкин.

У Майковых Баласогло познакомился с Михаилом Васильевичем Буташевичем-Петрашевским. Этого на редкость живого, общительного и деятельного человека он мог видеть и раньше, так как оба они ходили на службу в министерство иностранных дел. По пятницам у Петрашевского, в его доме на Покровской площади в окраинной Коломне, собирались друзья, почти все такие же молодые, как он сам, и в их числе Валериан Майков, заинтересовавшийся тогда планами и замыслами Баласогло. В одну из пятниц у Петрашевского Александр Пантелеевич прочел вслух свой проект.

Но чтобы осуществить проект, недостаточно было сочувственного отношения единомышленников и друзей. Требовались немалые деньги. А где их было взять? Уговорили одного богатого купца, уверив его в прибыльности предприятия. Обсуждали практическую сторону дела, и уже казалось — вот-вот оно осуществится...

Но не осуществилось — «единственно по раздумью, — писал впоследствии Баласогло, — какое нагнали неизвестные мне отсоветчики главному члену предполагавшейся компании, вильманстрандскому 1-й гильдии купцу Татаринову...». Ясно, что «отсоветчиками» были люди коммерческие, знавшие неприбыльность литературного дела и его сложность в условиях все тяжелеющей цензурной стесненности печати.

Цензор Никитенко писал тогда в своем дневнике: «Министр Уваров страшно притесняет журналы. На днях «Литературной газете» не позволено... переставлять статьи с одного места на другое, например печатать повести под чертой, в виде фельетона... Конечно, всему этому можно привести важные государственные причины. У нас чрезвычайно богаты на государственные причины. Если б вам запретили согнать муху с носа, это по государственным причинам».

Вынужденный оставить и спрятать в стол проект «издавальни книг», Баласогло счел своим святым долгом собственными силами делать что только возможно во имя просвещения народа.

Он написал книжку — руководство по грамматике, объясняющее, в каких словах надо ставить букву ять. Эта буква была особой сложностью русской грамоты, постоянным затруднением для людей малограмотных и лишенных доступа к серьезному образованию.

Рассказывали, что император Николай, как-то встретив на улице Греча, спросил этого признанного знатока грамматики:

— Скажи, пожалуйста, Греч, чему служит в русской азбуке буква ять?

— Она служит, ваше величество, — ответил Греч, — как знак отличия грамотных от неграмотных.

Ответ Греча стал широко известен и казался примером остроумия и находчивости...

И вот Баласогло постарался написать о злополучной букве ять общедоступную книжку. Рассказал о происхождении этой буквы, о ее произношении в былые времена. Составил словарь корней и перечень слов с буквой ять. Оговаривался, что перечень этот неполный, так как словообразование — процесс бесконечный: «Всякий живой писатель может завтра же пустить в ход целый ряд слов, до него совершенно неизвестных...» В предисловии Баласогло писал: «Любознательный допытчик увидит тут, что правильно говорить и писать можно только тогда, когда ознакомишься со всем естествозданием языка, развивающегося в бесконечность, как лес сосен, дубов и кедров — из немногих первобытных корней или, лучше сказать, семян, которым суждено было развернуться при таких или таких условиях и посторонних влияниях, в роскошную, многоветвистую, многолиственную жизнь...»

Он начал также новое сочинение — «Об изложении наук», где писал о себе в третьем лице — «душа». Этой душе «надо было сначала *видеть* мир, чтобы избрать в нем себе дорогу, — сперва *изучить* его во всех видах и явлениях, — обозреть его одним взором с высоты воззрений современного человечества и уж потом прокладывать в нем несозданный путь...

— Но кто ее просит лезть куда не приказано?

Призвание!...»

Баласогло сознавал: круг читателей, на которых он может рассчитывать, — узок. Среди людей грамотных, в большинстве своем чиновников, — засилье «лавроносцев невежества»; жизнь им представляется окончательно устроенной в соответствии с табелью о рангах. Ты чувствуешь себя «лабиринтожилом и лабиринтоведом», а они в бытие своем никакого лабиринта и не замечают — так зачем же им искать выхода? Ты берешься размышлять над учеными книгами, но ведь твоих комментариев никто не ждет!

Александр Пантелеевич писал саркастически: «...куда уж нашему брату пускаться на рассказы, да еще и на ученые!.. Взял книгу — взглянул — соврал что... Смеются? Ну и довольно! Бери другую или убирайся домой, в свое логовище... А не то и писателя, и критика, и ученого усадят в преферанс с каким-нибудь откупщиком во французском фраке, который на нем, как седло на корове, или с заштатным превосходительством, которое на одно ухо недослышит и на оба недомыслит...»

Баласогло писал о том, что, когда человек вступает в мир, ему надо действовать по своему призванию. Человек, жаждущий знаний, начинает познавать мир через учебные книги и всякого рода энциклопедические издания, но они дают ему лишь груду информации без осмысления теоретических основ. Баласогло писал о том, что в науках насущна именно основа, корень, общий глубокий смысл. Рукопись разбухала, автор увязал в частностях, в разбо-

рах отдельных ученых увесистых книг, и не видно было, когда же сей труд удастся закончить...

Друг его, Норев, долго ждал себе, как архитектору, настоящей работы, и вот в начале 1846 года ему наконец-то повезло. В Академии художеств было решено поручить Нореву составить проект восстановления полуразрушенного древнего христианского храма на черноморском берегу — в Пицунде, в Абхазии. И он уехал на овеянный романтическими легендами Кавказ.

А Баласогло никуда не уехал, в министерстве иностранных дел его не собирались куда бы то ни было посылать. Но в марте этого года он вступил в недавно образованное Русское географическое общество. Рекомендацию подписал Михаил Павлович Вронченко и ученый-естествоиспытатель Карл Бэр.

Годовой членский взнос в обществе составлял десять рублей серебром, что вовсе не было пустяковой суммой для Александра Пантелеевича при его вечной нужде. Но он таил в себе надежду, что Географическое общество поможет осуществить его мечту о дальних странствиях...

Он стал посещать собрания общества, внимательно слушал речи почтенных ученых деятелей и высокопоставленных лиц, но сам выступить все не решался, да и удобного повода что-то не появлялось. Так он целый год промолчал.

Но вот на одном собрании некоторые члены общества заявили, что надо первым делом определить общие научные задачи, а затем уже приступить к действиям. Другие же — и таких оказалось большинство — отвечали, что начинать надо прямо с действия, с практической работы. Внезапно выявилось резкое различие мнений, и оно было, по словам Баласогло, «внутреннею пружиною столь жарких прений того вечера.., когда собрание, раздвинув стулья, рассыпалось по комнатам и стало сходиться в нетерпеливые, переменчивые, волнующиеся кружки».

Александр Пантелеевич убежденно встал на сторону меньшинства и решил к следующему собранию подготовить речь, обосновать свои взгляды. Он исписал более двух десятков страниц.

«Прежде всякого действия нам нужно искать мето́ды для действия... — утверждал Баласогло. — Я, по германскому выражению, которое мне так нравится, готов «стоять и падать» за это положение... Мы непременно должны сперва говорить, а потом уже действовать... Иначе явно, что наши действия будут и несогласны друг с другом и весьма горько неудачны...

...Мысль мысли рознь: есть мысли удобоосуществимые сразу, в один задум и в один плотный присест... Эти мысли не нуждаются в сотрудничестве или содействии обществ... Но есть мысли трудные, рогатые, огромные... так сказать, совсем непозволительные мысли, которые никак нельзя исполнить одному... Что делать с такими мыслями?.. Скрывать их? Но ведь они не заключают в себе никакого преступления! Напротив, дышат всеобщим благом...

...Куда же тут будет годиться та метода, которая предполагает все известным, где-то когда-то обсужденным и решенным?

...Мы знаем, что в России все может быть или огромно, торжественно, величаво, или жалко, хило и бесплодно... Мы в 1½ года своего существования еще ровно ничего не сделали...

...Потому-то я так и требую слова, что хочу *дела...*»

Цензору Никитенко была представлена рукопись новой книжки «Буква Ѣ». Псевдоним автора — А. Белосоколов — звучал как перекройка фамилии Баласогло на русский лад.

Никитенко прочел рукопись и совершил, как он сам выражался, «православный обряд ценсурования», то есть внес название книги в свой журнал, написал «печатать позволяется», подписался и приложил печать.

Александр Пантелеевич жаждал дела и теперь с великим старанием составил проект экспедиции к восточным пределам России. Себя он готовил в путешествие как этнографа.

Он горячо надеялся, что Географическое общество одобрит его новый проект и разрешит ему самому приискать остальных участников экспедиции. «И потому я обращался, — рассказывал впоследствии Баласогло, — ко всем своим знакомым, за какими только знавал географические стремления, в соединении с полным разумением своего дела. Едва ли не первый был Невельской, которого я знал еще из Морского корпуса за человека, вполне и во всех отношениях готового на подобные вояжи: он весьма был рад, одобрил весь проект и стал со мной вместе хлопотать».

К тому времени лейтенант флота Геннадий Иванович Невельской уже был назначен капитаном строившегося транспорта «Байкал». Этот корабль должен был доставить грузы из Кронштадта на берега Охотского моря и на Камчатку.

Александру Пантелеевичу представлялось нужным в число участников экспедиции включить офицера Генерального штаба. «Когда Невельской, прочитав мой проект, — рассказывает Баласогло, — согласился быть моим товарищем по экспедиции, он тут же вызвался мне представить офицера Генерального штаба, какого я бы не нашел лучше во всех отношениях. Будучи с Невельским лет 15 в дружбе и зная его как самого себя, я вполне положился на его выбор». Невельской познакомил Баласогло с офицером Генерального штаба Павлом Кузьминым, и тот с восторгом согласился участвовать в экспедиции.

У Невельского была своя мечта — обследовать устье малоизведанной реки Амур. Всего год назад один русский бриг пытался пробиться из Охотского моря к устью Амура и не смог, наткнулся на песчаные мели. После этого граф Нессельроде докладывал царю, что «устье реки Амура оказалось несудоходным для мореходных судов» и что «Сахалин — полуостров; почему река Амур не имеет для России никакого значения». На этом докладе император Николай написал: «Весьма сожалею. Вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, оставить; лиц, посылавшихся к Амуру, наградить». После такой высочайшей резолюции казалось невозможным заново ставить этот вопрос, и все же лейтенант Невельской, внешне такой


У цензора

невзрачный — низкорослый, с рябым от оспы лицом, страдавший заиканием, — повсюду кричал (как вспоминает один из его друзей): «Может ли такая река, как Амур, зарыться в пески бесследно?» Он повторял это, «стуча кулаками по столам, разбивая посуду».

А тут стало известно, что в Петербург приехал генерал-майор Муравьев, назначенный военным губернатором Восточной Сибири. Невельской должен был ему представиться, как будущий капитан транспорта «Байкал». «Николай Николаевич принял меня весьма благосклонно, — вспоминает о Муравьеве Невельской, — в разговоре с ним о снабжении наших сибирских портов я имел случай обратить его внимание на важное значение, какое может иметь для вверенного ему края река Амур...»

Баласогло тоже явился на прием к Муравьеву.

Новый военный губернатор Восточной Сибири заинтересовался ими обоими, однако сразу определил для себя существенное различие между Баласогло и Невельским. Он не видел явственной необходимости посылать на берега Восточного океана этнографа. Но энергичный морской офицер, готовый к любым опасным и трудным плаваниям, не обремененный семьей, необычайно подвижный и непоседливый, — Невельской был отмечен Муравьевым как человек подходящий и нужный.

«Господствующими страстями Н. Н. Муравьева были честолюбие и самолюбие. Для их удовлетворения он был не всегда разборчив на средства... — таким его рисует в воспоминаниях один из сослуживцев. — Улыбка и глаза у него были фальшивые... В беседе, особливо за бутылкой вина, он высказывал довольно резко либеральные убеждения, но на деле легко от них отступался. Он умел узнавать и выбирать людей...»

«Пока был в Петербурге Муравьев, — вспоминал потом Баласогло, — мы провели с Кузьминым и Невельским время в мечтах и толках о своем путешествии по востоку России...»

«Муравьев, который было привел меня в восторг, пока я был ему нужен, как переслушал от меня, что я ни знал о Сибири, Китае, Японии, Восточном океане, Америке и пр., и пр., и взял две статьи, над одной из которых я бился, как в опьянении, целые две недели, не вставая с места, чтоб успеть ее кончить, так и уехал... — с обидой писал Баласогло. — По крайней мере, мне приятно вспоминать в своей душе то, что Муравьев от первой статьи пришел в такую радость, что даже хотел прочесть ее самому государю императору, если бы его величество удостоил пожелать выслушать; но не нашел удобной минуты; а после всего остального, что я ему наговорил и написал, отозвался моим знакомым так, что ему теперь уже не нужны никакие сведения; того, что он узнал от Баласогло, никакие разбывалые там люди ему не доставят!»

В Географическом обществе проект экспедиции поддержки не встретил. Общество сочло проект мечтой молодых фантазеров. Один из видных деятелей общества, полковник Генерального штаба Милютин, захотел прочесть проект и собирался лично переговорить с автором, «как и что найдет в этом проекте сообразного с делом

или удобоисполнимого». «Конец же был тот,— пишет Баласогло,— что мой проект был у Милютина и, кажется, довольно долго; потом я получил его просто в конверте, без всякой записки или приглашения; а потому и не решился беспокоить Милютина своим посещением».

Впрочем, еще до отъезда Муравьева в Сибирь Баласогло понял, что его шансы попасть в экспедицию на Восток призрачны. И, узнав, что открылась вакансия библиотекаря в Академии художеств, он принялся, уже не надеясь на журавля в небе — дальнюю экспедицию, хлопотать о малой должности в храме искусства. Он вспоминает: «...я бегал как угорелый четыре месяца сряду» и «нашел необыкновенную готовность мне помочь в целом ряде до того вовсе незнакомых мне людей...» За него ходатайствовал Муравьев, ходатайствовал адмирал Рикорд. Его принял президент Академии художеств герцог Лейхтенбергский, и Баласогло преподнес герцогу вышедшую из печати книжку свою о букве Ѣ. Герцог выслушал его просьбы, ознакомился с его статьями, напечатанными в «Памятнике искусств»... Однако место библиотекаря в Академии получил кто-то другой.

Невельской дожидался спуска на воду транспорта «Байкал», чтобы наконец отплыть в дальний вояж. Начальник Морского штаба князь Меньшиков приказал ему составить проект инструкции самому себе. Невельской упрямо вписал в проект: «...осмотреть и описать юго-восточный берег Охотского моря до лимана р. Амур; исследовать лиман этой реки и ее устье...» Меньшиков, конечно, все это вычеркнул. И взамен вписал в инструкцию: «...осмотреть юго-восточный берег Охотского моря между теми местами, которые были определены или усмотрены прежними мореплавателями». Никакого упоминания об Амуре быть не могло.

В августе 1848 года «Байкал» поднял паруса и отплыл из Кронштадта в долгий путь через Атлантический океан, вокруг мыса Горн и далее через Тихий океан к Охотскому морю...

А Баласогло остался в Петербурге, где летом эпидемия холеры держала его дома, в четырех стенах. Наверно, тогда и вписал он в свою рукопись «Об изложении наук» такие безысходные строки: «Оглянись: ведь тебе никуда не уехать. Твой круг очерчен сразу и навеки. Тебе вращаться в нем до гроба и не выскочить, и не выпорхнуть, и не выскользнуть. Скорее каждое из тех нелепых существ, которые теперь пьянствуют в трактирах, будет, не зная ни бельмеса ни в чем, и в Англии, и во Франции, и в Италии, и в Египте; и даже в Индии, даже по всей России — даже и на луне, и в собственной спальне китайского богдыхана,— чем ты — положим, хоть на Пулковской обсерватории!..»

«...И когда я,— вспоминает Александр Пантелеевич,— не дождавшись обещанного представления к канцлеру целых шесть-семь лет, потерял всякую надежду, да почти и охоту быть на Востоке, а потому в заботах о своем пропитании перестал себя мучить и начал служить, как другие, т. е. приходить попозже, уходить пораньше и т. д.,—

на меня набросились, как на ленивую и упорную лошадь...» И это в архиве министерства иностранных дел, где в последние годы именно он, Баласогло, вводил по мере возможности разумный порядок, а другие исполняли службу спустя рукава...

Управляющий архивом тайный советник Лашкарев торопил подчиненных с разбором старых дел, требуя разделять дела на политические и неполитические. Торопил, дабы поскорее отрапортовать об успешном завершении трудов — и получить двадцать тысяч серебром, положенные тайному советнику за полвека «беспорочной службы». «В год-полтора он отрапортовал сам себе и канцлеру, что все поверено и разобрано как следует... — рассказывает Баласогло, — ему решительно не оставалось ничего более делать, и он... стал меня есть и грызть всякий день, как я смел не следовать общему плану... Я бы должен был его спросить, как бы, например, разделить *политические* дела от *неполитических* там, где все одна и та же дипломатическая переписка... но это бы значило то же, что взорвать на себя весь архив и все министерство, т. е. целую половину здания Главного штаба!»

Александр Пантелеевич промолчал и начальству на сей раз не стал перечить. Потому что на его жалованье жила семья и пренебречь службой в архиве он не мог.

Глава четвертая

Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

А. С. Пушкин

В Париже революция! Во Франции провозглашена республика! Эти известия взбудоражили весной 1848 года весь Петербург.

Император Николай решил, что надо стеной оградить Россию от проникновения революционных идей. Он повелел учредить негласный комитет высшего надзора за духом и направлением всего, что печатается в России. Комитет должен был с пристрастием рассматривать то, что уже вышло из печати, контролировать таким путем цензуру и о всех наблюдениях доводить «до высочайшего сведения». Во главе «комитета 2 апреля», как его называли, был поставлен действительный тайный советник Бутурлин, человек деспотичный и желчный.

Бутурлин рьяно принялся исполнять указания царя. Любая книга бралась им под подозрение.

Даже в напечатанном церковном акафисте покрову божьей матери Бутурлин усмотрел революционные фразы, кои следует вырезать из текста. Он сказал об этом министру юстиции графу Блудову. Блудов ответил, что видеть в тексте акафиста что-то предосудительное — значит осуждать святого Дмитрия Ростовского, который сочинил сей акафист.

— Кто бы ни сочинил, тут есть опасные выражения,— настаивал Бутурлин.— «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и своенравных...»

Блудов сказал:

— Вы и в Евангелии встретите выражения, осуждающие злых правителей.

— Так что ж?— возразил Бутурлин и уже как бы в шутку добавил:— Если б Евангелие не была такая известная книга, конечно, надобно б было цензуре исправить ее.

В докладах Бутурлина, барона Корфа и других членов «комитета 2 апреля» особо неблагоприятный отзыв давался о журнале «Отечественные записки».

Редактора журнала Краевского вызвал к себе Дубельт — для объяснений. О своем визите в Третье отделение Краевский затем рассказал Никитенко, и тот не решился занести услышанное в дневник. Лишь по его позднейшим воспоминаниям мы знаем, что́ в тот день Дубельт сказал Краевскому.

— Ну что, милейший мой,— начал Дубельт.— Что вы, господа литераторы, все нападаете да нападаете на всех русских, на Россию...

«Краевский стал объяснять,— рассказывает Никитенко,— что никаких нападок литература себе не позволяет, что указания, какие в ней делаются на недостатки русского общества, исходят из чувства любви к родине...»

— Э-эх, милейший!— сквозь зубы произнес Дубельт.— Если вам станут говорить о любимой женщине, что у нее на руке нарыв, на спине другой, на щеке бородавка и тому подобное, разве вы станете от этого больше ее любить? Нет-с, полноте! Наши писатели так и норовят нас задушить! Только я вам скажу, голубчик, пока еще вы будете собираться, я вас всех перевешаю!

Через несколько дней, на страстной неделе, Краевский снова был вызван в Третье отделение, на сей раз вдвоем с Никитенко, который с прошлого года официально числился редактором «Современника» вместо Плетнева.

Ждал их граф Орлов, шеф жандармов. Можно себе представить, как они, пригнув голову и холодея, вошли к нему в кабинет.

«Громадная фигура Орлова поднялась перед нами...»— вспоминает Никитенко. Сжав кулак, Орлов потребовал от обоих редакторов подписку о том, что они ничего не будут печатать против правительства. Разумеется, Краевский и Никитенко тут же дали эту подписку.

Орлов сел и продолжал:

— Ведь вот вы пойдете и будете говорить, что Орлов человек необразованный, грубый... Но я вам скажу: я до могилы буду защищать моего государя! Если у меня голову отрубят, то мое туловище встанет на защиту престола моего государя!

Краевский и Никитенко стояли, не смея проронить слово.

— Вот у вас Белинский!— продолжал Орлов.— Чего только он не пишет! Чего только не трогает! Он...

— Ваше сиятельство, — робко прервал его Никитенко, — Белинский уже так болен, что смерть его неизбежна...

— Ну и царство ему небесное! — воскликнул Орлов, перекрестясь. — Для него же лучше, что помрет...

Когда оба редактора вышли — дай бог ноги — из Третьего отделения на набережную Фонтанки, Никитенко спросил Краевского:

— Скажите, Андрей Александрович, что вы подумали, когда Орлов подошел к вам с поднятым кулаком?

— Я подумал, что он начнет нас колотить!

— Представьте, то же подумал и я, — сказал Никитенко.

После этого дня к «Отечественным запискам» был приставлен новый цензор, который принял возложенную на него обязанность, как тяжкое бремя. Рад был бы от нее отказаться, но не посмел... В совершенно подавленном состоянии пришел к Краевскому и сказал:

— Ну, Андрей Александрович, и вы, как редактор, и я, как цензор, оба мы предназначены в Сибирь, так поведем уж дело так, чтоб отдалить эту поездку на возможно дальний срок. Начнем так и действовать.

В мае царь при встрече с бароном Корфом спросил:

— Ну, а что теперь Краевский после сделанной ему головомойки?

— Я в эту минуту именно, — сказал Корф, — читаю майскую книжку и нахожу в ней совершенную перемену, совсем другое направление... Повешенный над журналистами дамоклов меч, видимо, приносит свои плоды.

А в конце мая умер от чахотки Белинский, которому этот журнал был обязан огромной своей популярностью. Белинский умер как раз тогда, когда «комитет 2 апреля», вкупе с Третьим отделением решили зажать ему рот.

Редактору «Литературной газеты» Зотову Сергей Дуров предложил тогда фельетон под заголовком «Опыт перевода с русского языка». В этом фельетоне Дуров едко замечал, что ныне в русском языке слова употребляются в противоречии с их подлинным смыслом. «*Да* употребляется там, где следует *нет*, а *нет* употребляется вместо *да*». Бывают случаи, «когда вас спрашивают, довольны ли вы настоящим порядком вещей» (редактор Зотов зачеркнул «настоящим порядком вещей» и вписал «вашею судьбою, вашим положением»), «вы говорите *да*, а между тем *нет* так и рвется из сердца». И вот уже слова требуют истолкования, перевода. «Добрый начальник — значит злейший враг общества... Поэт — сумасшедший. Помещик — грабитель. Судья — долженствующий быть подсудимым. Крестьянин — ничто». Зотов собственноручно внес исправления, вместо «добрый начальник» поставил «добрая душа», вместо «судья» — «делец», вместо «крестьянин» — «бедняк», про помещика вообще вычеркнул.

Затем уже цензор сократил фельетон вполовину. Он вычеркнул и то, что было исправлено редактором. От перечня по-новому понимаемых слов осталась в напечатанной газете одна исправленная фраза: «Поэт — часто значит сумасшедший».

«Когда по случаю западных происшествий,—рассказывает Баласогло,—цензура всею своею массой обрушилась на русскую литературу и, так сказать, весь литературно-либеральный город прекратил по домам положенные [приемные] дни, один Петрашевский нимало не поколебался принимать у себя своих друзей и коротких знакомых—это обстоятельство, признаюсь, привязало меня к человеку навеки. Он, как и все его гости, очень хорошо знал, что правительство, внимая чьим бы то ни было ябедам... во всякую минуту могло схватить, так сказать, весь его вечер», но не смутился духом, ибо «веровал в то, что исповедовал».

А вот что свидетельствует сам Петрашевский: «Не раз говорил я моим знакомым—это едва ли не всем было хорошо известно,—что тайная полиция давно уже на меня пристально смотрит, что—правый или виноватый—я должен ждать первый ее захвата и что их тоже может постигнуть та же участь. Но потребность разумной беседы была так сильна, что заставляла пренебрегать этим...»

Один из самых заметных участников собраний у Петрашевского, Николай Спешнев, говорил о том, «что с тех пор, как стоит наша бедная Россия, в ней всегда и возможен был только один способ словесного распространения—изустный, что для письменного слова всегда была какая-нибудь невозможность. Оттого-то, господа, так как нам осталось одно изустное слово, то я и намерен пользоваться им...»

На собраниях у Петрашевского председательствующий обычно звонил в колокольчик, когда кто-либо собирался начать речь. Слухи об этом расползлись по городу, причем колокольчик толковался как явный признак организованного опасного общества. Баласогло рассказывает: «...я не раз просил Петрашевского удалить со стола, во избежание всяких толков в городе, колокольчик в другую комнату; но он мне отвечал: «Собака лает—ветер носит! Если уж толкуют, значит, будут толковать и о том, что у Петрашевского уже нет на столе колокольчика, а поэтому и не видно, кто председатель!» И он был совершенно прав».

Баласогло сознавал все трудности и препоны на своем пути, но стремление к издательской деятельности продолжало жить в нем, не угасая.

Павел Кузьмин, весной получив наследство, хотел купить себе в Петербурге небольшой дом, и Александр Пантелеевич мог надеяться, что Кузьмин, став домовладельцем, предоставит за умеренную плату помещение для типографии, для граверов и рисовальщиков и лично для него, Баласогло.

В июне Кузьмин ехал по командировке Генерального штаба в Тамбовскую губернию. В его отсутствие Александр Пантелеевич сам искал ему в Петербурге дом. «Мне, собственно, желательно было, чтобы дом отыскался на Васильевском острове, так как там Академия художеств и все художники по большей части живут около нее; а для моих целей это было весьма важно». В августе Кузьмин в письме из Тамбова благодарил его за содействие, замечал: «Что же касается убежища, то это не подлежит и сомнению,


В архиве

именно — зажили бы мы на славу». В конце письма сделал приписку: «Не лучше ли дом Шишкина в Коломне, возле М. В.?» Это значило — возле Михаила Васильевича Петрашевского. С ним Баласогло познакомил Кузьмина еще весной...

К сожалению, подходящий дом, удобный и дешевый — по средствам Кузьмина, — найти не удавалось.

В семье Баласогло родилось еще два сына: в 1846-м — Ростислав и в 1848-м — Всеволод. Мария Кирилловна не умела быть экономной и рачительной хозяйкой, дети питались чем придется и болели «английской болезнью» (то есть рахитом). У дочки от этого появилось заметное искривление позвоночника, бедняжка росла кривобокой.

Денег в семье постоянно не хватало, хотя Александр Пантелеевич уже имел чин надворного советника и получал две с половиной тысячи в год. Себе лично он позволял лишь один ощутимый расход — покупал книги. У него уже составилась большая, любовно подобранная библиотека.

Мария Кирилловна с детства немного музицировала и теперь — за небольшую плату — давала уроки музыки в частных домах, хотя ее собственная игра на фортепьяно была далека от совершенства. Минувшей зимой, по совету мужа, она сама брала уроки у молодого пианиста Николая Кашевского, друга Пальма и Дурова.

На квартире Баласогло в Кирпичном переулке этот учитель музыки познакомился с Петрашевским. И оказался тоже человеком свободомыслящим. И приглашен был посещать по пятницам собрания друзей.

Не случайно, думается, так получалось, что новые знакомцы Александра Пантелеевича становились знакомыми Петрашевского. Вероятно, оба стремились расширить круг участников собраний... Правда, не все новые знакомцы умели Петрашевского оценить. Преподаватель истории в кадетском корпусе Кропотов по настоятельному совету Баласогло стал посещать собрания, но счел Петрашевского чудаком и оценил только его хлебосольство. А еще ранее заглядывал в этот необычный дом Войцеховский, всего раза два или три. Баласогло рассказывает, что этот его сослуживец, человек сугубо практический, «не нашед себе в обществе Петрашевского никакой солидной пищи, тотчас же отстал от его пятниц, как увидел, что тут собираются все философы и фантазеры».

Петрашевский и его друзья увлечены были новейшими социальными теориями Фурье. Петрашевский любил повторять формулу Фурье: «Les tendances sont proportionelles aux destinées» (стремления соответствуют предназначению) — эта формула укрепляла в нем веру в свое призвание, в правильность избранного пути. Фурье утверждал, что страсти человека должны будут слиться, подобно цветам радуги, в одну страсть единения с миром, и тогда будет создано гармоническое общество — без эксплуатации человека человеком, где будет царить свободный труд в соответствии с влечениями каждого, так что исчезнет необходимость принуждения к труду...

Собрания у Петрашевского были для Баласогло радостной воз-

можностью встречать людей, близких ему по духу; вместе с ними, в откровенных разговорах, он пытался заглянуть в будущее...

Дома он себе такой отдушины не находил. Жена была глубоко безразлична к его литературным интересам, к его замыслам. Разговоры с ней никак не могли выйти из круга будничных забот. И кто знает — может быть, с самого начала не было у Марии Кирилловны истинной любви к мужу и он заблуждался, поверив ее рассказам, что она выбрала его среди многих, а в действительности она пошла за него замуж только ради того, чтобы уйти из семьи, где ей нелегко жилось...

Александр Пантелеевич уже признавался друзьям, что женитьбу свою считает тяжелой ошибкой. Он «описывал, сколь умел ярче, все ужасы человека в семействе без верного куска хлеба», уверял, что «для обыкновенного гражданина это еще, пожалуй, хоть сносно, но для ученого или художника — просто смерть». С ним охотно соглашался только Дуров. В свои тридцать с лишним лет Дуров оставался холостяком, считал, что родственные связи опутывают человека, но втайне страдал от ощущения тоскливой незаполненности в сердце и писал такие стихи:

Озябло горячее сердце мое
О стужи дыханья людского...
А с желчным рассудком плохое житье:
Рассудок учитель суровый!..
Холодным намеком, насмешкою злой
Он душу гнетет и тревожит:
Смеется над каждою светлой мечтой,
А тайны открыть нам не может.

Осенью Александр Пантелеевич перебрался на новую квартиру — на Галерной, в доме, который дворовым флигелем примыкал к Румянцевскому музеуму. А музеум выходил фасадом к Неве.

В том же доме жил знакомый ему художник Евстафий Бернардский с женой и двумя детьми. Александр Пантелеевич теперь постоянно захаживал к Бернардскому. Тут собирались друзья, молодые художники — все южане: Константин Трутовский из Харьковской губернии, Лев Лагорио из Феодосии, по происхождению итальянец, и Александр Бейдеман, чья настоящая фамилия звучала немножко иначе — Бейдемани (его отец был греком, как и отец Александра Пантелеевича). Приходил к Бернардскому и Павел Андреевич Федотов, художник необычайного таланта и святой правдивости. Он появлялся реже, так как жил далеко, на 21-й линии Васильевского острова, и неохотно отрывался от своей работы — красками или карандашом...

Вечерами в кругу художников Баласогло с жаром излагал свои планы. Он хотел теперь издавать «Листки искусств». Предполагал, что это будет «род выставки собственно учено-художественных — не беллетристических, не полемических, не фельетонных произведений», при широком участии друзей-художников. Собственно, всякая полемичность была по нынешним временам просто невозможна.

А еще Павел Андреевич Федотов задумал издавать художественно-литературный «листок» с невинным названием «Вечером вместо преферанса» либо «Северный пустозвон». Федотов передал Бернардскому

для гравирования много своих рисунков. Но не было средств для издания, не было опыта и, главное, не было разрешения что-либо издавать...

Баласогло мечтал об издании «Листков искусств» — с иной, не юмористической, серьезной программой, о листках по самой дешевой цене и доступных самым широким кругам читателей. В надежде найти мецената, который согласился бы дать деньги на новое издание, Александр Пантелеевич составил, по своему обычаю, обстоятельный проект.

Он писал, что, хотя ни «Художественная газета», ни «Памятник искусств» не удержались «на сцене», по-прежнему жива потребность в журнале, «который бы обозревал весь горизонт искусств», тем более что «большинство русских художников все-таки остается вне возможности совершать свое призвание по собственной мысли и жертвует собою и своими чудными способностями в угоду тех грубых заказывальщиков и поощрителей таланта, которых блаженно почивающие мысли едва тронуты о сю пору «духом века», этим аквилоном общественной жизни мира, который, доходя до наших гиперборейских пущ, становится едва-едва похожим на самый тиховейный зефир!..»

«Мы хотим издавать, — писал Баласогло, — *Листки...* по всем главным отраслям искусства:

а. Рисованию и живописи.

б. Ваянию.

в. Зодчеству и убранству жилищ.

г. Музыке.

д. Словесности и театру.

е. Применению искусств ко всем наукам.

...Мы, прежде всего, берем на себя роль посредников, проводников... Кажется, это и будет настоящее служение искусству!

...Мы только думаем, что как вообще в образованном мире долг общежития требует снисходительности и часто внимания к тому, что не совсем согласно с нашим образом мыслей и даже иногда диаметрально ему противоположно, так и в деле суждения об искусстве полезно, если не в высшей степени необходимо, выслушивать все, сколько ни есть, мнения, взвешивая доводы каждого...

...Если б нашлись просвещенные люди, не зараженные всеобщим разочарованием, со средствами двинуть это дело, которое не может осуществиться в течение шестилетних исков, издатель будет рад хотя бы тем 2000 рублей серебром, без которых оно не может быть начато».

Деньги требовались в первую очередь на покупку двух печатных станков. А собственные станки нужны были для того, чтобы не зависеть от владельцев типографий — таких, как Фишер...

На первых двух «Листках» Баласогло предполагал дать стихотворения Лермонтова «Сон» и Пушкина «Русалка» с гравюрами Бернардского по рисункам Бейдемана.

Он рассчитывал, что в дальнейшем в «Листках» примут участие знакомые литераторы: Пальм, Дуров и, может быть, Аполлон Майков.

Вдохновленный своими планами, Баласогло писал: «Это будут Летучие Листки Искусства...»

Но что-то не находилось богатого человека, который бы выразил готовность рискнуть во имя Искусства двумя тысячами рублей.

Наступил 1849 год, не обещавший перемен к лучшему.

Александр Пантелеевич по-прежнему ходил по пятницам к Петрашевскому, вступал в споры, горячился, далеко не всегда был осторожен в словах.

Когда преподаватель статистики Ястржембский в пылу спора заявил напрямик, что в России нет народной любви к царю, Баласогло не скрыл собственной нелюбви к самодержцу.

Когда Дуров заявлял, что «всякому должно показывать зло в самом его начале, то есть в законе и государе, и вооружать подчиненных не противу начальников, которые в свою очередь точно так же подчинены и, следовательно, только невольные проводники зла, но против самого корня, начала зла», — Баласогло вместе с архивистом Кайдановым и студентом Филипповым возражал, говоря, что, «напротив, *должно* вооружать подчиненных противу ближайшей власти или начальства и, вооружив их против нее, тогда уже показать, что самое-то зло происходит не от этой ближайшей власти, но от высшей...»

В страстную пятницу, 1 апреля, вернулся в Петербург из Тамбова Павел Кузьмин. В первый же вечер, желая повидать друзей, он направился на Покровскую площадь, к Петрашевскому.

Тут он встретил Баласогло, пришедшего вместе с Бернардским. Александр Пантелеевич чувствовал себя больным, но все же пересилил недомогание и вот выбрался к Михаилу Васильевичу. И почти весь вечер вынужден был пролежать на диване — не в той комнате, где собралось общество, а в другой, меньшей.

В эту пятницу у Петрашевского собралось человек двадцать, штатских и военных. Совсем молодой Василий Головинский решительно заявлял: «Крестьяне не могут долее сносить своего положения, они готовы восстать... Крестьянам надобно диктатора, который повел бы их!» «Как, — тихо, но твердо прервал его Петрашевский, — диктатора! который бы самоуправно распоряжался! Я ни в ком не терплю самоуправства, и если бы мой лучший друг объявил себя диктатором, я почел бы своею обязанностью тотчас убить его». А Баласогло сказал Головинскому: «Что ж, не на площадь же выходить...» Он, наверно, подумал: ведь вот декабристы выходили на площадь — и ничего этим не добились...

Поручик Момбелли заявил, что если рано думать об освобождении крестьян, то уже теперь священной обязанностью каждого помещика должна была бы стать забота об их образовании, заведение сельских школ. С этим никто не спорил, но поручик Григорьев заметил, что правительство запрещает учреждение школ по деревням, и, например, его брат хотел в своем селе открыть школу, но ему запретили.

Среди участников собрания заметен был мало кому знакомый «блондин небольшого роста» — этот господин, «судя по участию, какое принимал он в разговорах, был не без образования, либерален во мнениях, но участие его было по преимуществу вызывающее других к высказыванию. Особенное внимание его ко мне, — вспоминает Кузьмин, — потчевание заграничными сигарами и вообще нечто вроде ухаживания заставило меня спросить в конце вечера Александра Пантелеевича Баласогло об этом господине; он отвечает, что это итальянчик Антонелли, способный только носить на голове гипсовые фигурки [точнее — лоток с гипсовыми фигурками, — с таких лотков торговали разносчики-итальянцы]. «Для чего он здесь бывает?» — спросил я. „Да вы знаете, что Михаил Васильевич расположен принять и обласкать каждого встречного на улице“».

Бернардский потом признавался: «...у меня было какое-то невольное предчувствие, когда я у Петрашевского был, какой-то безотчетный страх!»

Александр Пантелеевич болел и выходил из дому только для краткой прогулки днем, по солнцу. Так что следующее собрание у Петрашевского он пропустил и явился к нему лишь через две недели, в очередную пятницу.

Уже он пообещал назавтра, в субботу, быть вечером у Павла Кузьмина, который его очень звал, ручаясь Марии Кирилловне, что доставит мужа к ней здрава и невредима.

Сегодня Кузьмин тоже приехал к Петрашевскому. «Вскоре по приезде, — вспоминает он, — Петрашевский уводит меня в другую комнату и показывает записку, которую передал ему Антонелли от Толя [учитель словесности Феликс Толь был добрым знакомым Петрашевского и Баласогло]. В записке Толь извиняется, что он по причине головной боли не может быть в этот день на вечере; далее, что он переехал в дом Штрауха, где квартирует вместе с Антонелли, и приглашает на другой день... к себе на новоселье, просит пригласить меня и еще некоторых, уверяя, что *кроме наших* никого не будет». Принимать это приглашение Петрашевскому совсем не хотелось. А тут Кузьмин в свою очередь пригласил его на завтра к себе. Петрашевский охотно дал согласие. Они вместе вышли в общую комнату, и Кузьмин объяснил Антонелли, что не может прийти на новоселье, так как сам завтра ждет гостей, в том числе Михаила Васильевича.

— Так милости просим с гостями вашими, — сказал Антонелли.

«Мне так странен показался этот способ составлять у себя вечера, — вспоминает Кузьмин, — что я взглянул на Антонелли и, не встретив его взора, отвечал: „Я не думаю, что я мог предложить моим гостям подобное переселение“».

Антонелли спросил, не может ли он все же отложить вечер до воскресенья. Кузьмин объяснил, что вскоре снова уезжает из Петербурга и хочет перед отъездом встретиться с приятелями, а живет он на Васильевском острове, и есть опасение, что по Неве пойдет лед и разведут мосты.

— Теперь лед плох на Неве...

Но Антонелли не отставал. Он сказал Кузьмину, что, вероятно, бо́льшая часть его гостей сегодня здесь, так что их можно предупредить...

— Из тех, которые здесь, я просил только господина Петрашевского и господина Баласогло, — ответил Кузьмин и счел долгом вежливости добавить: — Сделайте моему вечеру честь вашим посещением и прошу вас передать мое приглашение господину Толю...

— Кто же еще будет у вас, кого вы не можете привести к нам?

— Будет брат мой, будут гости моих товарищей по квартире, потому что я живу не один.

— Кто же будет? — допытывался Антонелли.

Кузьмин перечислил приглашенных.

Разговор этот произошел в самом начале вечера. Когда все уже были в сборе, известный писатель Федор Михайлович Достоевский прочел вслух ненапечатанное письмо покойного Белинского к Гоголю.

Это письмо привело в восторг всех участников собрания, и особенно Александра Пантелеевича Баласогло.

В письме Белинского он услышал многое, что оказалось необычайно созвучно его собственным мыслям. Белинский писал Гоголю: «Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не вызвал сочувствия...» Далее: «...вы утверждаете за великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но и положительно вредна. Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, вы ведали, что творили...» И еще: «Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед».

Назавтра Александр Пантелеевич чувствовал себя так же скверно, но решился выехать из дому, вспомнив, что Павел Кузьмин обещал его познакомить со своим старшим братом Алексеем. Рассказы Павла о старшем брате позволяли Александру Пантелеевичу надеяться, что Алексей Кузьмин окажется тем благодетелем, который рискнет дать деньги на издание «Листков искусств». И, можно сказать, через силу потащился Александр Пантелеевич через Исаакиевский мост на Васильевский остров. Весь вечер он провел в разговорах с Алексеем Кузьминым, но тот, естественно, не считал возможным вот так, сразу дать определенный ответ...

В воскресенье Александр Пантелеевич был на новоселье у Толя и Антонелли.

Не мог он знать, что Антонелли — секретный агент министерства внутренних дел и что уже в одном из первых донесений началь-


У Белинского

нику, в январе, сообщал о Петрашевском: «Из лиц ему знакомых он говорил только о Баласогло, как о своем приятеле, с которым он часто видится...»

Без приглашения придя впервые на собрание к Петрашевскому, агент услышал первой речь Толя о происхождении религии. Решив, что в этом обществе Толь — одна из главных фигур, агент сразу обратил на него особое внимание. Учитель словесности оказался очень доверчив, его легко было вызвать на откровенный разговор.

Антонелли выспрашивал у Толя, что за цель у их общества. И Толь, поверив, что говорит с единомышленником, объяснил: цель их — «приготовлять способных людей на случай какой-нибудь революции. Чтобы при избрании нового рода правления не было недоразумений и различия мнений, но чтобы бо́льшая часть уже были согласными в общих началах. И, наконец, приготовлять массы к восприятию всяких перемен».

Антонелли стал с ним чрезвычайно предупредителен, обещал устроить ему приватные уроки, как учителю словесности. И вот уговорил Толя вместе снять меблированные комнаты и поселиться вдвоем.

В пятницу, 22 апреля, Баласогло встретил у Петрашевского знакомые лица: Дурова, Момбелли, Михаила Достоевского (брат его Федор не пришел), Толя, Антонелли и других. Был один новый посетитель — профессор химии в Технологическом институте Витт. Как написал Антонелли в секретном донесении, «про этого последнего Баласогло и Момбелли говорили, что это человек совершенно ортодоксальный, что он враг всех социальных вопросов и совершенно идет противу господствующих в Европе идей; они даже упрекали Петрашевского за то, что он приглашает подобных людей к себе на собрания».

Возможно, присутствие Витта заставило всех быть более осторожными в разговоре, чем обычно. Петрашевский с досадой говорил о том, что русским литераторам недостает образования, а журналистам — стремления к истине и что на цензоров можно воздействовать убеждением. Дуров спорил с ним, говорил, что на цензоров нужно действовать не убеждением, а обманом, учитывая, что они «преследуют более фразы и слова, нежели самые идеи...».

«Наконец, после ужина, — доносил Антонелли, — Баласогло попросил позволения, в кругу 5 или 6 еще оставшихся человек, излить свою желчь, и действительно тогда досталось бедным, несчастным литераторам! Он говорил, что это люди тривиальные, без всякого образования, убивающие время в безделье и между тем гордящиеся своими доблестями больше какого-нибудь петуха. Что хоть, например, Достоевские и Дуров, посещающие собрания Петрашевского уже три года, могли бы, кажется, пользоваться от него книгами и хоть наслышкой образовываться... Момбелли заступился тогда и сказал, что не надо бранить тех литераторов, которые принадлежат к их обществу, что их и то уже большая заслуга в наше время, что они разделяют общие с нами идеи. В таком духе разговор продолжался

еще часа полтора, и наконец часа в 3 все разошлись по домам».

...А на рассвете в дом на Галерной, где жили Баласогло и Бернардский, явились жандармы и арестовали обоих.

Глава пятая

Я и товарищи моего заключения — те, кто мне знаком, — мы не фанатики, не изуверы, не еретики... мы философы, нам дороже всего истина.

М. В. Буташевич-Петрашевский (Из показания на следствии в Петропавловской крепости. Май 1849 г.)

Потерпела поражение революция во Франции, но пожар ее не заглох и перекинулся ближе к границам России: восстание венгров сотрясало Австрийскую империю. Австрийское правительство обратилось к императору Николаю с просьбой о помощи.

В конце апреля 1849 года царь издал манифест: «Мы повелели разным армиям нашим двинуться на потушение мятежа и уничтожение дерзких злоумышленников, покушающихся потрясти спокойствие и Наших областей». А несколькими днями ранее, в письме командующему войсками Паскевичу, царь, имея в виду восставших, предписал: «Не щади каналий».

В другом письме Паскевичу он сообщил: «Здесь мы шайку наших арестовали, следствие идет и объяснит нам многое».

Император дал указание следственной комиссии: «Желательно потому скоро кончить, что, как слышу, общее мнение [тех, кого он слышал] сильно восстало на этих мерзавцев и ждет нетерпеливо знать, что было, и наказания виновных. Если дело протянется вдаль, то чувство это ослабится и заменится состраданием к заключенным. Нельзя без ужаса читать, что открывается, и оно вселяет тяжелое чувство, что мнимое просвещение — не впрок, а прямо на гибель...»

В течение трех месяцев войска Паскевича помогали австрийской монархии давить венгерскую революцию. Николая Первого еще не называли жандармом Европы, но это клеймо он уже успел заслужить.

«Вот и у нас заговор! Слава богу, что вовремя открыли, — записал в дневнике своем верный страж императора Леонтий Васильевич Дубельт. — Надивиться нельзя, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся заграничные беспорядки!.. Всего бы лучше и проще выслать их за границу... А то крепость и Сибирь... никого не исправляют; только станут на этих людей смотреть как на жертвы, а от сожаления до подражания недалеко».

На рассвете 23 апреля Дубельт принял личное участие в аресте Петрашевского. В доме провели обыск. Когда обнаружили, между прочим, кучку пепла в печи, Дубельт с угрозой заметил Петрашевскому: «Ведь у вас много бумаг сожжено». Слова эти прозвучали предупреждением, что отвечать придется не только за бумаги, най-

денные при обыске, но и за сожженные. «Слыша эти слова, я невольно вздрогнул...— признавался Петрашевский уже на следствии.— Тогда же невольно поверил рассказам, что многие, особенно в отдалении от столицы, услыша имя Леонтия Васильевича Дубельта неожиданно произнесенным... крестятся и говорят: „Да сохранит нас сила небесная...“».

Арестованные были заключены в Петропавловскую крепость, в одиночные камеры с мощными каменными стенами и низким сводчатым потолком. Баласогло попал в самый мрачный застенок — Алексеевский равелин. В равелине оказались также Петрашевский, Дуров, Толь, Федор Достоевский...

Первые восемнадцать дней арестанта Баласогло никуда не вызывали, и он сидел в холодной камере, не ведая, какие обвинения ему предъявят.

Наконец он предстал перед следственной комиссией. И услышал, что ему вменяется в вину соучастие в тайном обществе, целью которого было ниспровержение существующего строя и «пагубные намерения относительно самой особы нашего всемилостивейшего государя императора».

Ему предложили изложить свои показания на бумаге, и Александр Пантелеевич скрипел пером четверо суток, по его словам — «почти без сна и не вставая со стула». Подробно, на двадцати двух листах, он рассказал о злоключениях жизни своей, начиная с детских лет. О собраниях у Петрашевского написал: «...все лица, с которыми я тут имел дело, были решительно души молодые, благородные, серьезные...» На этих собраниях все, «что было действительно резкого, так это перечет и аттестация всех лиц, [во зло] употребляющих торжественно, на всю Россию, и свою власть, и неограниченное к ним доверие государя императора. В этом более и яростнее всех отличался, конечно, я первый... Я дерзал осуждать и беспредельное добродушие самого государя императора, изумляясь, как он не видит, что под ним и вокруг него делается, и почему он никогда не удостоил спросить лично управляемых, каково им жить и существовать под своими управляющими...»

«Мнений своих не стыжусь, никогда от них не отрекался...— продолжал Баласогло.— Прежде всего — я действительно христианин, в обширнейшем значении этого слова, не формалист, не гордец, не ханжа и не изувер...

Во-вторых, на точном смысле и полном разуме того же православия, выражаемом вполне божественным изречением Спасителя: «люби ближнего, как самого себя», я самый радикальный утопист, т. е. я верю в то, что человечество некогда будет одним семейством на всем объеме земного шара...

В-третьих... я — коммунист, т. е. думаю, что некогда, может быть через сотни и более лет, всякое образованное государство, не исключая и России, будет жить... общинами, где все будет общее, как обща всем и каждому разумная цель их соединения, как общ им всем всесвязующий их разум.

В-четвертых... я — фурьерист, т. е. думаю, что система общежития, придуманная Фурье, в которой допускается и собственность, и деньги, и брак на каких угодно основаниях, и все религии, каждая со своими обрядами, и сначала всевозможные образы правления, — всего скорее, всего естественнее, всего, так сказать, роковее может и должна рано или поздно примениться к делу...

В-пятых, не считая ни во что конституций в их чисто юридической, скелетной и бездушной форме, я однако ж признаю необходимость... в известных... ручательствах и обеспечениях между правительством и обществом. Эти ручательства, по моему крайнему разумению, должны бы были состоять в праве каждому в государстве лицу возвышать свой голос... в открытом на весь мир судопроизводстве и в участии в делах правления выборных людей от народа...»

Далее Баласогло выразил уверенность, что «Россия без монарха не может просуществовать и ныне и весьма-весьма надолго вперед [он не написал «вечно»] ни единого часа. Это ключ свода; вырвать его — значит обрушить все здание...» Думается, он был искренен. Он ожидал, что крушение всего здания монархии в неграмотной, непросвещенной России повлечет за собою реки крови. Но при всем том члены следственной комиссии, если они вдумчиво читали это показание, не могли не заметить, что незыблемость монархического строя арестант Баласогло отрицал!

В конце своего пространного показания он просил судей быть великодушными, если в действиях и мнениях его, Баласогло, что-либо найдут «хотя сколько-нибудь преступным».

Дубельт сообщал графу Орлову: «Читаю письменное показание Болосооглу, которое само собою уже оказывается преступным. В оном он все порочит и, называя Россию государством страждущих, явно выказывает желание народного правления».

Вот уже за что его следовало осудить!

На допросах он решительно уклонился от показаний, которые могли бы усугубить трудное положение его товарищей.

«Я доносчиком никогда не бывал, боясь более смерти попасть даже невольно в тяжкий грех осуждения своего ближнего, — заявил Баласогло. — ...На вечерах у Петрашевского, как и везде, где я мог сходиться что называется вдвоем-втроем, в кругу тесных друзей... более всех жаловался и горячился я сам. Что касается до меня, я охотно повторю слова своего показания... относительно лиц, кого именно я упрекал и осуждал в беседах... Здесь я могу прибавить только то, что, как я убежден сам и как могу, может быть и горько ошибаясь, быть в этом случае отголоском мнения целого флота, — кн. Меньшиков уничтожил всю нравственную силу флота, повыживав из него таких людей, каков был покойный адмирал Грейг, адмирал Рикорд и целые сотни других лучших в свое время офицеров, забросив совершенно столь драгоценный для России Восточный океан, не делая описей даже и в Балтийском море, кроме как одним суденышком в год, да и то со всеми прижимками; гр. Уваров не

издал ни одного учебника, сколько-нибудь удовлетворяющего современным требованиям науки, и, будучи сам филологом и ориенталистом, эти-то именно отрасли и убил до последней степени; гр. Нессельроде целые 35 лет своего управления министерством не хотел видеть целого Востока и столь тесно соприкосновенной с ним огромнейшей половины России...»

Вот так, вместо самооправдания, Баласогло составил целый обвинительный акт против трех министров. Он прекрасно понимал, что лишь при деспотическом режиме императора Николая эти бездарности могли многие годы удерживаться на высоких постах. Он мог вспомнить слова Гельвеция о том, что в государствах деспотических «вознаграждают посредственность, ей поручают почти всегда дело государственного управления, от которого устраняют людей умных...» Он мог бы вспомнить собственные строки: «Блажен, кто видит без волненья... в амфитеатре возвышенья последовательность холопств...»

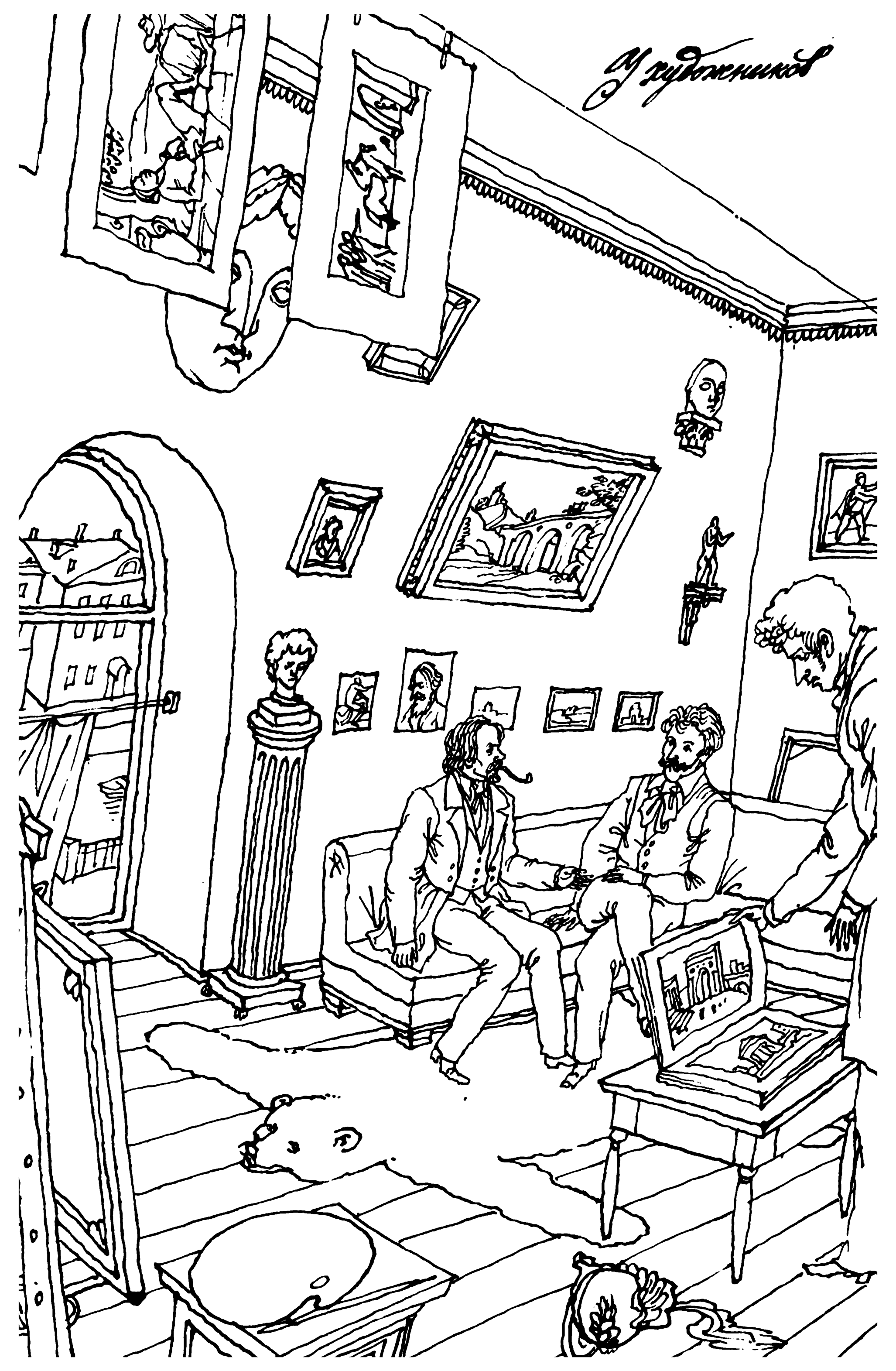
Но в следственной комиссии ожидали от Баласогло высказываний не о министрах, а об арестованных его друзьях.

Баласогло же друзей не осуждал. О Петрашевском он еще в первом показании написал, что «убедился в его уме, благородстве правил и высокости души», и теперь продолжал за него заступаться: «Петрашевский, с которым я не раз имел случай беседовать один на один, остался доселе в моих понятиях человеком мирных стремлений, совершенно подобных моим... Те же самые смешанно-социальные и вполне мирные стремления я находил при всех возможных случаях, где невольно открывается внутренний человек, и в Пальме, и в Дурове, и в Кузьмине, и в Кропотове, и в Кайданове, и в Спешневе — людях, которыми я всего более интересовался по их обширным знаниям и деятельности в избранных отраслях науки, — и в Толе, и в Филиппове, и, словом, во всех, на кого я мог рассчитывать как на надежного сотрудника в своем известном предприятии... О Спешневе могу прибавить еще то, что с необыкновенной радостью нашел в нем при ближайших беседах ум вполне философский и самые разнообразные познания, что весьма редко встречал в жизни; а о Дурове — что он, будучи такого же горячего темперамента, как я, иногда в жару спора, чтоб поставить на своем, вдавался в крайности и противоречие самому себе; но зато я в нем нашел ту прекрасную черту, что он тотчас же по отходе сердца до того искренне раскаивался в своих резких выражениях, что просил извинения в невольной обиде лица, которое с ним спорило, и сознавался в своей ошибке».

Следственная комиссия поставила вопрос: «Вы объяснили, что при резких суждениях о правительственных лицах более и яростнее всех отличались вы. Из этого следует, что были и другие лица, которые принимали в том участие, хотя и в меньшей степени. Поименуйте их».

Баласогло ответил: «Наименовать я никого не могу, чтоб не впасть в грех и ошибку...»

Еще вопрос: «Вы сказали, что дерзали осуждать и беспредельное добродушие самого государя императора, изумляясь, как он не видит, что под ним и вокруг него делается. Объясните, что такое, по


У художников

вашему мнению, ускользало от внимания его величества и могло побудить вас к дерзновенному суждению о священной особе его величества».

Тут Александр Пантелеевич понял, какой неосторожностью было оброненное им на бумагу слово «осуждать». Оно могло обойтись ему слишком дорого!.. «Раскаиваясь как и в самом моем показании и, как всегда после невольных увлечений чувствами, в том, что я дерзал не осуждать, а делать замечания о беспредельной благости и доверии его величества к людям, которые употребляли то и другое во зло,— написал Баласогло,— я изумлялся тому, как его величество, столь чадолюбивый отец своих подданных, не слышит тех ужасных, раздирающих душу стонов, которыми преисполнен весь город, и в особенности в сословии бедных, притесняемых отовсюду чиновников, к которым я сам принадлежу по воле моей жестокой участи и нисколько не по призванию».

Никто из его арестованных товарищей не сказал о нем ничего такого, что могло бы послужить обвинением против него.

Только Николай Кайданов сказал на допросе, что когда Ястржембский касался суждений о государе и многие возражали, утверждая, что русский народ боготворит его, то Баласогло говорил против государя. Конечно, Кайданов вовсе не хотел утопить обвиняемого Баласогло — нет, он просто проговорился. Возможно, думал, что следствию все и так уже известно. Но, должно быть, сразу осознал, каким убийственным может оказаться подобное свидетельство, и решил не писать этого в своем показании.

Ястржембский припомнил на первом допросе: однажды, в очередную пятницу у Петрашевского, «Александр Пантелеич, кажется армянин и чиновник министерства иностранных дел, но фамилия которого вышла теперь у меня из памяти, читал тоже наизусть о семейном и домашнем счастье, мысли его в этом чтении были тоже фурьеровские». Только и всего.

Вызванный в крепость на допрос Дмитрий Иванович Минаев (литератор, известный своим стихотворным переводом «Слова о полку Игореве») показал: «С Балас-Оглу познакомил меня статский советник Меркушев для займа у меня одной тысячи рублей денег. Г. Балас-Оглу намеревался издавать журнал под названием «Листок искусств», но как впоследствии оказалось, что г. Балас-Оглу почитатель школы под шуточным названием «натуральной», а я ее враг, то мы с Балас-Оглу разошлись».

Павел Кузьмин на следствии показал, что в Петрашевском и Баласогло он видел людей умных, образованных и хорошо к нему, Кузьмину, расположенных, так что он не видел причин избегать их общества.

Феликс Толь на допросных листах написал о Баласогло, что «с первого раза полюбил его как за ясный, отчетливый взгляд на вещи, так и за сердечность (cordialité)...».

Увлекавшийся учением Фурье молодой чиновник Беклемишев показал, что был только на одном собрании у Петрашевского и ни с кем его тогда Михаил Васильевич не познакомил: «По имени

он назвал мне только одного, особенно поразившего меня, некоего Босангло, турецкого происхождения».

Петрашевский в одном из письменных показаний подчеркивал, что Баласогло, как человек семейный и сознающий бедственное положение своего семейства, должен испытывать в каземате особое нравственное страдание...

Да, именно так и было! Сознание, что он ничем не может помочь семье, доводило Александра Пантелеевича до состояния почти истерического. «Одно, что меня поддерживало, — писал он потом, — и что, наконец, не дало мне умереть в заключении от истерики и простуды — это моя спокойная совесть...»

Когда его арестовали, жена была на седьмом месяце беременности. В мае она отослала детей с нянькой на дачу в Стрельну — поселок на двадцать первой версте от города, а сама оставила квартиру на Галерной и перебралась в соседство к сестрам, в один из деревянных домов на Широкой улице.

В начале июня Мария Кирилловна явилась в Третье отделение и подала прошение Дубельту. Она просила о сохранении жалованья мужа в архиве министерства иностранных дел. И еще просила уничтожить контракт, по которому ее муж обязывался платить за квартиру на Галерной до января будущего года.

О первой ее просьбе Дубельт сообщил в министерство иностранных дел, и там согласились выплачивать жалованье архивариуса Баласогло его жене — до окончания следствия по его делу.

О второй просьбе Марии Баласогло Дубельт сообщил директору Румянцевского музеума, известному писателю князю Одоевскому, так как дом на Галерной принадлежал музеуму. Одоевский сразу же согласился уничтожить контракт.

У Марии Кирилловны 5 июля родилась дочь. При крещении в церкви ее нарекли Надеждой. Мать отвезла ребенка в Стрельну, отдала кормилице.

За квартиру на Галерной она оставалась должна, и тут неожиданно проявил милосердие Дубельт — он распорядился покрыть ее долг из средств Третьего отделения. Необходимая сумма была передана в Общество посещения бедных, которое также возглавлял Одоевский. Дубельт попросил Одоевского, чтобы в отчетах Общества не упоминалось, от кого получена эта сумма, и было бы отмечено кратко: «*от неизвестного*, в пособие бедному семейству».

Отвечая Дубельту, Одоевский сообщил, что он «распорядился определить, какое вспомоществование будет наиболее полезным для г-жи Баласогло», и что пособие Общества отнюдь не ограничится суммою, присланной из Третьего отделения.

Жандармский полковник Станкевич получил от Дубельта секретное предписание: отправиться на квартиру арестованного Николая Спешнева (Кирочная улица, собственный дом) и отыскать там домашнюю типографию.

Обыск не дал ничего. Станкевич рапортовал Дубельту, что провел самый строгий осмотр, но типографии не обнаружил.

Он искал типографский станок, который в действительности находился на квартире другого арестованного, Николая Мордвинова. При аресте Мордвинова на станок внимания не обратили, «ибо он стоял в физическом его кабинете, где были разные машины, реторты и прочее. Комнату просто запечатали, и родные сумели, не ломая печати, снять дверь и вынести злополучный станок». Об этом рассказывал много лет спустя Аполлон Майков.

Майкова тоже привлекали к допросу по делу петрашевцев. Расследование близилось к концу, и уже опрашивались люди, которые ничего или почти ничего не могли добавить к тому, что было известно следствию.

Когда Майкова привезли в белый дом во дворе Петропавловской крепости, он переволновался, хотя не чувствовал за собой никакой вины. Но он знал от Федора Достоевского о планах создания тайной типографии... Однако на допросе Майкова о типографии не спросили. Дубельт был с ним очень любезен, предложил сесть. Майков написал на листе бумаги: «В течение последних трех лет посещал его [Петрашевского] единственно по разу в год, из вежливости». О типографии, разумеется, не сказал ни слова. И все благополучно обошлось! Ему объявили, что он свободен и может идти домой...

С актером Бурдиным Дубельт на допросе уже не был любезен, говорил ему «ты». Хотя никаких мало-мальски серьезных улик против Бурдина не было. Когда он поклялся, что ни о каком заговоре ничего не знал, Дубельт сказал ему:

— Что же нам делать с тобой? В Сибирь, в крепость или на одиннадцатую версту?

На одиннадцатой версте от Петербурга находился сумасшедший дом — больница Всех Скорбящих... Бурдин замер.

— Что побледнел?.. Ну, ступай с богом, — Дубельт махнул рукой.

— Куда, ваше превосходительство? — растерянно спросил Бурдин.

— Разумеется, на все четыре стороны: не держать же тебя на хлебах. Набрался страху, будет с тебя...

В августе Мария Кирилловна, по просьбе мужа, передала ему в камеру «Логику» Аристотеля, а также грамматики и словари санскрита, немецкие и латинские.

Здесь, в одиночном заключении, он перечитывал Аристотеля и начал изучать санскрит — это помогало сохранять душевное равновесие, отвлекало от мрачных раздумий...

Допросы его проводились в присутствии Дубельта. Как запомнилось Александру Пантелеевичу, Дубельт «оставался постоянно или холоден и безмолвен, или угрюм и даже мстителен во взорах, которыми как будто хотел меня съесть». Под этим волчьим взглядом арестант Баласогло холодел и думал: «Зачем я говорю правду, как дурак?..»

Зато необыкновенное участие Дубельт проявлял к Марии Кирилловне Баласогло. В воспоминаниях Анненкова читаем: «Леонтий Васильевич Дубельт, во время его [Баласогло] сидения в крепости, сам взбирался на чердак в жилье его жены, чтобы оставить ей какое-либо пособие от себя».

Это поразительно. Дубельту не было ни малейшей нужды самому отвозить ей пособие, он мог поручить это любому из своих подчиненных. Но нет, он, оказывается, сам ездил к этой женщине на окраину Петербургской стороны. И, между прочим, все ее дети были тогда в Стрельне, она оставалась дома одна. И уж, во всяком случае, не из симпатии к ее арестованному мужу генерал Дубельт «взбирался к ней на чердак»!

В октябре Александру Пантелеевичу в камеру было передано через Дубельта и коменданта крепости генерала Набокова письмо от жены: «Все это время я ждала твоего возвращения и теряюсь в догадках, что может его замедлять! — Я писала тебе, что получаю помощь, но ты ошибаешься, если думаешь, что знакомые наши дают мне средства к существованию. Правительство так милосердно, что избавило твою жену от необходимости прибегать к помощи наших знакомых. Я жена-христианинка, несмотря на прожитые нами бедствия супружеской жизни, убившие нашу молодость, я со своей стороны говорю тебе: считаю самою священною обязанностью до последней минуты своей отравленной жизни стремиться к тому, чтобы изыскивать все средства для спасения мужа, отца своих детей! Успокой меня, напиши, в каком положении находится твое здоровье. Твоя М. Баласогло».

В этом письме явственно читался тяжкий укор. Александр Пантелеевич должен был почувствовать себя виновным в ее «отравленной жизни»...

Петрашевский в одном из показаний определил весь процесс как «procès de tendances, не за совершенное дело — но против предполагаемой возможности его совершить». В следственной комиссии говорили о «заговоре идей». И действительно: хотя несколько человек во главе с Петрашевским намеревались создать тайное общество, но организовано оно еще не было. Хотя несколько человек во главе со Спешневым решили создать тайную типографию и уже приобрели печатный станок, но ничего еще не напечатали. Хотя многие петрашевцы считали необходимым вести широкую пропаганду революционных идей, но претворить эти планы в действие они не успели.

Баласогло, по всей видимости, ничего не знал ни о планах создания тайного общества, ни о планах создания тайной типографии. Но он был одним из самых активных участников собраний, и, если уж говорить о заговоре идей, Баласогло был одним из его вдохновителей.

Прямота и смелость его показаний произвели сильное впечатление на военно-судную комиссию. Председатель комиссии, брат министра внутренних дел Василий Алексеевич Перовский, проникся уважением

к этому арестанту и не хотел отягощать его участь. Наконец генерал Дубельт по просьбе Марии Кирилловны Баласогло согласился замолвить слово за ее безрассудного мужа.

В начале ноября военно-судная комиссия записала в очередной протокол: «...Баласогло, угнетаемый бедностью и неудачами по службе и относя все это к послаблению власти высших правительственных лиц [таким объяснением явно смягчалась суть сказанного им на следствии], несправедливо порицал их действия и даже доверие к ним государя императора. Все это Баласогло показал не вследствие улик, но добровольно при первом допросе и изложил, так сказать, в виде исповеди все подробности его мыслей и действий, стараясь объяснить свое, как он выражается, безысходное страдание...» Далее в протоколе говорилось, в оправдание подсудимого, что его поступки «не имели преступной политической цели и произошли не вследствие злоумышления, а по заблуждению...» Комиссия определила: повергнуть участь подсудимого Баласогло на всемилостивейшее благоусмотрение государя императора и ходатайствовать об освобождении Баласогло из-под ареста с отдачей под секретный надзор. «При сем принимая в соображение... что гласное порицание главного начальства подчиненным лицом не может быть допущено ни в каком случае», — комиссия полагала, что шесть с половиной месяцев заключения в крепости должны быть сочтены для Баласогло заслуженным наказанием.

О решении военно-судной комиссии было доложено царю. Всемилостивейший Николай нашел это решение излишне снисходительным. Согласился с освобождением Баласогло из-под ареста, но, кроме того, повелел: «По освобождении из крепости определить его на службу в Олонецкую губернию, как за дерзость против своих начальников он, во всяком случае, подлежит ответственности и здесь оставаться не может».

«1849 года ноября 9 дня, я, нижеподписавшийся, при освобождении меня от ареста в С.-Петербургской крепости дал сию подписку в том, что все расспросы, сделанные мне в высочайше учрежденных: секретной следственной и военно-судной комиссиях, — буду содержать в строжайшей тайне и обязуюсь впредь ни к какому тайному обществу не принадлежать; в противном же случае подвергаю себя ответственности по всей строгости законов».

Александр Пантелеевич прочел этот текст, подписался и после этого был отпущен из крепости домой. Он пошел на Широкую улицу к жене и дорогим детям. Только младшая четырехмесячная дочка оставалась в Стрельне, у кормилицы.

Радость освобождения омрачалась перспективой близкого отъезда в олонецкий губернский город Петрозаводск...

Дома жена смутила его рассказом о необычайной доброте Леонтия Васильевича Дубельта, который оказывал ей «все возможные благодеяния, ласки и утешения».

Узнал Александр Пантелеевич о своих друзьях, о том, что многие арестованные были освобождены уже раньше: Бернардский, Кайданов —

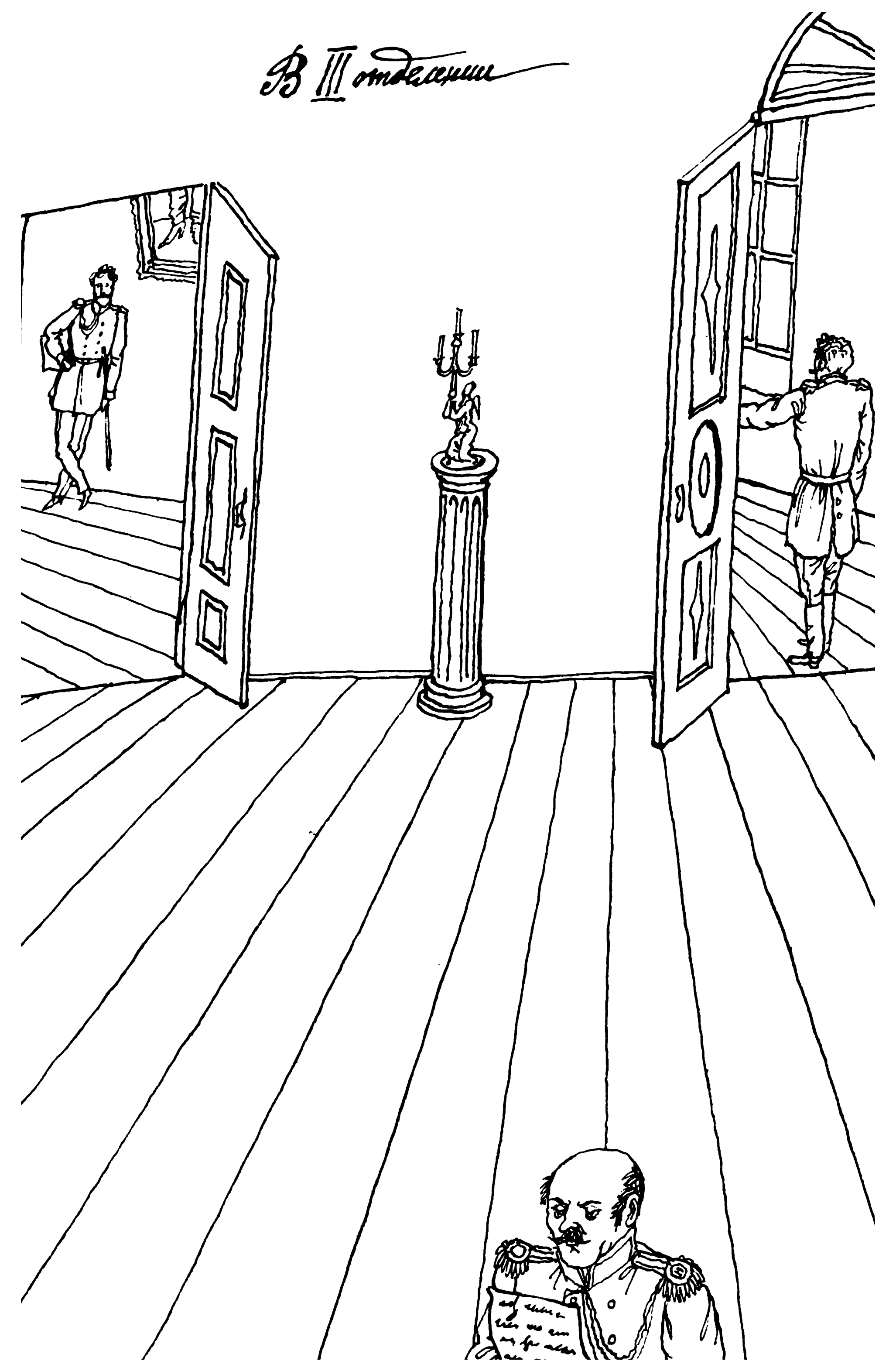
в июле, Павел Кузьмин — в сентябре. Узнал и о том, что еще человек двадцать, если не больше, остаются в крепости...

Александр Пантелеевич решил, что он должен поблагодарить генерала Дубельта за материальную помощь семье. Явился в Третье отделение. Странную встречу свою с Дубельтом он позднее описал сам: «Леонтий Васильевич... зорко и скрытно испытывал меня глазами, чего, как я надеюсь, известно всякому, не бывает и не может быть в минуту искренности. Первые его слова были: «А! Мой любезнейший господин Баласогло!.. (И он тут встал со стула.) Насилу-то я вас вижу не в крепости!.. Поверьте, что я в своем душевном страдании за вас уступлю разве только вашей супруге и то только потому, что она женщина». Видя, что я несколько смутился и гляжу на него недоверчиво... генерал жал мне обе руки... я, всегда склонный видеть лучшее, почти совершенно успокоился... Приглашая меня садиться и садясь против меня, у окна, сам вдруг прервал нить моих умственных восхищений восклицанием: «Ну-с, господин Баласогло! — вам отправляться в Вологду...» (А я был назначен в Петрозаводск!) — и взор генерала был в эту минуту до того пытлив, что предал мне заднюю мысль: «А! — подумал я сам в себе, — так это все еще длится крепость, только в новых видах!.. Так ценить человека, так за него страдать и будто уж не обратить внимание на то, *где* и как ему приходится снова мытарствовать — нет! Это уже не любовь и дружба, а чистое коварство! Если так — мой девиз: à un trompeur — trompeur et demi!.. На обманщика — полтора обманщика! Только вы и видели мою душу, ваше превосходительство!» После этого что потом ни говорил и ни делал генерал Дубельт в присутствии моей жены и меня, приехавших вместе его благодарить за все его милости, для меня было не чем иным, как чистой светской комедией, в которой я сам, как прилично всякому благовоспитанному человеку в порядочном обществе, в известных случаях почтительно раскланивался... а сам все глядел на него да говорил сам в себе: «Вот откуда все эти нежности! Он не знает, в Вологду я назначен или в Петрозаводск!.. Уж, верно же, хорош этот последний городок, когда в него неловко и назначить порядочного человека даже в ссылку!»

Должно быть, с некоторым замешательством Александр Пантелеевич узнал, что в Третьем отделении может он получить пособие на переезд в Олонецкую губернию — 270 рублей. Отказываться от этих денег в его положении было немыслимо.

Под вечер 15 ноября, получив деньги, он из Третьего отделения направился к Неве, подошел к лодочному перевозу. Мосты были разведены, ожидалось, что вот-вот начнется ледостав. Назавтра Александру Пантелеевичу нужно было быть в городе, и, опасаясь, что утром перевоза не будет, он не стал переправляться на Петербургскую сторону. Остался на ночь у знакомых — Минаевых.

Хотя Дмитрий Иванович Минаев на допросе в крепости заявил: «Мы с Балас-Оглу разошлись», — на самом деле отношения между ними оставались дружескими. В душе Минаев был таким же врагом самодержавия (забегая вперед, добавим, что осенью следующего года он


В III отделении

говорил в кругу друзей, как было бы хорошо, если б нашелся смельчак, который решился бы царя «прекратить»).

А сегодня в квартире Минаева остался ночевать выпущенный из крепости Баласогло. Не знал он, что днем его уже разыскивал петербургский обер-полицмейстер — дабы отправить под конвоем в Петрозаводск.

На другой день Александр Пантелеевич пришел домой около часу и узнал от жены, что его разыскивает полиция. Вслед за тем явился в дом квартальный надзиратель. И потащил Александра Пантелеевича в канцелярию обер-полицмейстера.

Тут ему было объявлено, что он должен сейчас же отправляться в Петрозаводск. Он обратился к обер-полицмейстеру Галахову с просьбой дать ему возможность подготовиться к отъезду. Галахов выслушал его объяснения, сжалился и дал три дня отсрочки...

Должно быть по настоянию жены, Александр Пантелеевич написал Дубельту: «...я оставляю жену и шестерых детей... решительно без всякого приюта и пропитания. Вы спасли мне жену и меня семейству; не оставьте нас и в эту горестную минуту...»

Что ответил Дубельт — неизвестно. Но отъезд удалось отсрочить до 25 ноября.

В эти дни всячески помогали Баласогло, снаряжали его в путь Михаил Языков и Николай Тютчев — близкие друзья покойного Белинского. У них была своя комиссионерская контора на углу Невского и набережной Фонтанки. Они брались, между прочим, распродать — в пользу автора — оставшиеся нераспроданными экземпляры его книжки о букве Ѣ.

Накануне отъезда Александр Пантелеевич счел долгом приличия прийти к Дубельту попрощаться. «После взаимных приветствий, объяснений и даже шуток со стороны генерала, — рассказывает Баласогло, — я, истощив разговор, стал раскланиваться. Леонтий Васильевич, встав из-за стола, отвел меня к окну и сказал, пожимая плечами: «Ну, господин Баласогло! Если бы это зависело от меня, вы бы никак не могли быть ни в Петрозаводске, ни вообще в ссылке; но так угодно Николаю Павловичу!.. Вы меня понимаете?..»

На другой день Баласогло выехал в сопровождении жандарма в Петрозаводск. В один из взятых им чемоданов он сунул свои рукописи, возвращенные ему Третьим отделением.

Глава шестая

Молчание гробовое царствовало над всем этим миром преступлений, и, разумеется, на высших ступенях силились укрепить это молчание на веки вечные.

Из воспоминаний П. В. Анненкова

Уже в Петрозаводске Баласогло узнал, что по делу Петрашевского двадцать один человек приговорен был к расстрелу, выведен на Семеновский плац. И лишь в последний момент им объявили

о помиловании. Смертную казнь заменили каторгой либо отправкой в арестантские роты и линейные батальоны. Попали на каторгу Петрашевский, Спешнев, Дуров, Толь, Федор Достоевский...

Сообщая о приговоре по делу Петрашевского, газета «Северная пчела» печатала официальный комментарий: «Пагубные учения, породившие смуты и мятежи во всей западной Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем отечестве. Но в России, где святая вера, любовь к монарху и преданность престолу основаны на природных свойствах народа и доселе непоколебимо хранятся в сердце каждого, только горсть людей, совершенно ничтожных [«Например, Федор Достоевский», — мог бы добавить тот, кто поверил этой официальной басне]... мечтала о возможности попрать священнейшие права религии, закона и собственности. Действия злоумышленников могли бы только тогда получить опасное развитие, если бы бдительность правительства не открыла зла в самом начале».

Разумеется, первостепенное зло император видел в «мнимом просвещении», то есть в литературе и науках социальных.

«Комитет 2 апреля» нашел, что министр просвещения Уваров недостаточно зорко следил за направлением журнальной литературы. Когда Уваров узнал об этом, его хватил нервический удар. Правда, он быстро оправился, но уже не мог владеть правой рукой. Вынужденный подать в отставку, он сослался на состояние здоровья.

«...Теперь государь приказал ректорам университетов наблюдать только за лекциями других профессоров, а самим перестать профессорствовать. Вот я от 9 до 3 ч. и слоняюсь по аудиториям», — удрученно сообщал в письме к другу ректор Петербургского университета Плетнев. А в другом письме он добавлял, что ректор теперь обязан «наблюдать за направлением и духом лекций...»

Новому министру просвещения князю Ширинскому-Шихматову «комитет 2 апреля» предложил обратить внимание на то, что в речи Плетнева на торжественном акте в университете «нет, *может быть*, ничего прямо предосудительного, но есть, с одной стороны, такие *недомолвки*, а с другой — такие *не довольно отчетливо высказанные мысли*, которые легко объяснить в смысле предосудительном... Умолчано о чувствах *верноподданнических и о любви к престолу...»*

Как петербургский осенний туман, сгущалась в воздухе тяжелая подозрительность оруженосцев императора Николая.

Когда Баласогло прибыл в северный, захолустный, деревянный Петрозаводск, там уже наступила зима.

К темным избам, разбросанным на высоком бугре, с одной стороны подступал хвойный лес, а в другой стороне широко открывалось затянутое льдом Онежское озеро — белая равнина до самого горизонта.

Здесь Александру Пантелеевичу предстояло как-то жить, существо-

вать, и сколь долго — неизвестно, ибо срок его ссылки в Олонецкую губернию определен не был.

Первым делом надо было найти себе жилье. Быстро выяснилось, что в домах купцов и других состоятельных людей удобные комнаты ему не по карману. Оставалось подыскивать пристанище в избах людей мастеровых. Выстроенные без расчета на посторонних жильцов, избы эти не имели комнат с отдельным входом. Но выбора не было, пришлось ему снять комнату в избе, где ни о каких удобствах думать не приходилось и где надо было разделять с хозяевами весь их убогий быт.

В Петрозаводске его товарищами по несчастью оказались украинцы Василий Белозерский и Георгий Андрузский и поляк из Киевской губернии Виктор Липпоман. Белозерский и Андрузский попали сюда как участники Кирилло-Мефодиевского тайного общества (они судились по одному делу с поэтом и художником Тарасом Шевченко). Липпоман же был осужден за то, что послал киевскому генерал-губернатору Бибикову стихотворение Адама Мицкевича «К матери-польке». Виктора Липпомана арестовали, и, хотя выяснили, что автор стихов — не он, приговор был суров: за «стихи возмутительного содержания» выслать Липпомана в Олонецкую губернию на шесть лет.

А Белозерский и Андрузский были так же, как и Баласогло, просто отправлены на службу в Петрозаводск без определения срока.

Особенно тяжко пришлось Липпоману и бывшему студенту Киевского университета Андрузскому: Липпоман был калекой и ковылял на костылях, у Андрузского правый глаз был закрыт бельмом, а левый близорук в сильнейшей степени. Олонецкий губернатор Писарев сообщал Дубельту об Андрузском:

«...он ничего не делает в губернском правлении, где состоит на службе. Я призвал его к себе, и он объяснил мне, что не может работать по слепоте. Я велел его освидетельствовать и подлинное свидетельство долгом почитаю представить вашему превосходительству, всепокорнейше прося наставить меня вашим наставлением, как я должен поступить в настоящем случае».

Дубельт в Петербурге прочел медицинское свидетельство, в котором было ясно сказано: «Для того, чтобы сохранить последний глаз свой, г. Андрузский не должен напрягать свое зрение, не должен ни читать, ни писать». Прочел — и ответил Писареву так: «Андрузский, несмотря на болезненное состояние свое, должен оставаться на службе в Петрозаводске и заниматься исполнением своих обязанностей по мере возможности».

И пришлось Андрузскому все-таки исполнять в канцелярии обязанности писца.

Олонецкий губернатор Николай Эварестович Писарев пребывал в Петрозаводске только второй год. Ранее он делал себе карьеру в Киеве, при генерал-губернаторе Бибикове. Один близко знавший его человек так обрисовал Писарева в своих записках: «В его

маленькой фигуре, в его светло-голубых, стеклянных глазах, светившихся умом и фальшью, было что-то отталкивающее...»

Ради карьеры он был готов на все.

Приезжавший в Киев инженер Дельвиг вспоминает: «Бибиков, сидя за обедом, при дежурном чиновнике из его канцелярии, спросил меня, познакомился ли я с Писаревым, управляющим его канцелярией, и сказал мне, что он держит Писарева как человека весьма умного и полезного для края, а все уверяют, что он будто держит Писарева потому, что находится в связи (это было выражено самым циническим образом) с женою последнего». Красивая, статная, ростом выше своего мужа, эта женщина обращала на себя общее внимание. Один киевский житель рассказывает в записках своих, что, несмотря на почтенный возраст генерал-губернатора, жена Писарева «сама являлась к нему по ночам по его востребованию... Муж ее зато пользовался безграничным доверием Бибикова и безграничною властью».

Седой, с торчащими черными бровями, с начерненными усами и бакенбардами, «с ноздрями, раздувающимися при каждом впечатлении» (как запомнилось одному из мемуаристов), «с головой Вельзевула» (как пишет другой мемуарист), Бибиков не имел левой руки — потерял ее некогда на войне. Теперь он говаривал: «У меня одна рука, но — железная!»

Киевские знакомые говорили инженеру Дельвигу, что «Писарев и другие подчиненные Бибикову лица выдумывали заговоры и раздували их важность с целью выслуживаться и получать награды, а между тем оговоренные подвергались ссылке в Сибирь и другим тяжким наказаниям». Помещики Киевской губернии, «чтобы не подвергаться арестам, платили Писареву большие суммы». В воспоминаниях священника Добшевича рассказано, что Писарев (цитирую в переводе с польского) «прежде всего думал, как бы скорее сколотить себе состояние. Драл поэтому за все и со всех без жалости и так бессовестно, что в течение десяти лет он, не имевший перед тем порядочного сюртука и обуви, стал миллионером».

Взятки были, разумеется, в порядке вещей. И когда председатель киевского суда просил генерал-губернатора оказать содействие в борьбе с этим злом, Бибиков отвечал, что никакие меры не помогут: «Брали и будут брать». Тут он своей железной рукой ничего не мог исправить.

Однако на Писарева жаловались в Петербург. Бибикову приходилось делать своему помощнику замечания. Тот каждый раз отвечал, что это сплетни и кляузы его врагов, направленные столько же против него, Писарева, сколько и против генерал-губернатора, — верить кляузам не следует. Разве не клевещут, будто его высокопревосходительство состоит в интимных отношениях с его женой? Но он, Писарев, как здравомыслящий человек, не верит злонамеренным сплетням... Бибикову оставалось только прикусить язык.

Во времена правления этих двух деятелей в Киеве был арестован Тарас Шевченко. Писарева Шевченко видел, должно быть, не раз и слышал о нем достаточно, так что даже через десять лет ему привиделись во сне Писарев и его жена. Шевченко отметил этот

случай в своем дневнике и приписал ниже: «Что теперь с этим гениальным взяточником и его целомудренной помощницей?»

Что было с Писаревым через десять лет, куда его к тому времени занесло — нам неизвестно. А в Петрозаводск он попал отнюдь не по собственному желанию. Министр внутренних дел Перовский написал графу Орлову, что «при теперешнем положении дел Писарева оставить при Бибикове нельзя», ибо это «человек подкупной». Царь подписал назначение Писарева на должность олонецкого губернатора. Формально это было повышением по службе. Но по сути дела «человеку подкупному» дали по рукам, чтобы не зарывался, и спровадили подальше от Киева.

Жена его также прибыла вместе с двумя дочками в Петрозаводск. Но не захотела жить с детьми в столь непривычном холодном климате и скоро уехала. Так что в Петрозаводске Писарев стал жить один. И конечно, он пребывал в самом мрачном расположении духа. Тут немало приходилось от него терпеть ссыльным и поднадзорным, тем более что с них ему нечего было взять.

В этом городе Андрузский жил вдвоем с Липпоманом, а Белозерский вдвоем с Николаем Макаровым, молодым чиновником, не ссыльным и не поднадзорным, но тоже уроженцем Украины. Более года назад, в Киеве, Макаров был представлен Писареву, и тот, получив назначение на должность олонецкого губернатора, уговорил Макарова ехать на службу в Петрозаводск...

Все четверо — Белозерский, Андрузский, Липпоман и Макаров — были молодыми и холостыми. Меньше других ссыльных бедствовал Белозерский — получал материальную помощь от родни, состоятельных помещиков Черниговской губернии. Но и он этой зимой в письме к сестре с отчаянием написал: «Боже, унеси меня отсюда!»

Мысль о том, что придется закопать себя на канцелярской службе в Петрозаводске, Александру Пантелеевичу была тягостна до предела, но губернатор Писарев не только не гнал его на службу, но словно бы и не хотел давать ему никакой должности. Тем более что Баласогло был как-никак надворный советник и должность ему следовала соответствующая чину.

Должно быть, Писарева насторожили слухи об особом покровительстве, которое сам Дубельт оказывает жене Баласогло в Петербурге. Как писал потом Александр Пантелеевич, «губернатор начал тем, что провозгласил меня шпионом Дубельта и, как такового, окружил меня целым городом собственных шпионов и предателей...».

Мария Кирилловна в письмах своих убеждала его проситься в отпуск в Петербург «для устройства участи детей». Эта мотивировка не могла быть убедительной, так как Мария Кирилловна уже подавала прошение царю о принятии ее сыновей в кадетские корпуса (по достижении соответствующего возраста) — и царь дал на это свое разрешение. Что можно было устроить еще?

Александр Пантелеевич понимал, что по меньшей мере странно проситься в отпуск, не прослужив еще в Петрозаводске ни одного

дня. Но в конце января он все же написал прошение Дубельту, признаваясь, что решается обратиться к нему лишь по настоянию жены, из писем которой видит, что и Леонтий Васильевич, и граф Орлов продолжают уделять время «на новые и новые утешения и милости» в пользу его несчастного семейства.

Дубельт ответил холодно и жестко, сославшись на мнение графа Орлова, что «испрошение такового дозволения может быть уместным только тогда, когда вы, милостивый государь, своею отличною службою приобретете некоторое право на ходатайство о вас перед его императорским величеством».

Прочитав письмо, Александр Пантелеевич, наверное, клял себя за то, что написал Дубельту,—напросился на ушат холодной воды...

А в феврале в Петрозаводск внезапно приехала Мария Кирилловна—приехала потому, что не решилась в письме сообщить мужу о смерти их трехлетнего сына Ростислава.

Вернувшись в Петербург, Мария Кирилловна написала Дубельту: «Во время моего пребывания у мужа в Петрозаводске я нашла его здоровье совершенно расстроенным. Он жалуется на беспрестанные головные боли, сильное расслабление нерв и как бы притупление умственных способностей в такой степени, что он более получаса не может заниматься даже чтением. Единственное средство к восстановлению сил его было бы путешествие по некоторым губерниям южной России, тем более что он родился в Херсонской губернии».

Ответ Дубельта на это письмо неизвестен.

Губернатор Писарев уехал в Петербург в начале января. Вернулся 1 марта, когда в Петрозаводске еще лежал глубокий снег и мела метель.

В столице он проникся атмосферой высочайше предписанной подозрительности и решил теперь обратить еще более пристальное внимание на петрозаводских ссыльных и поднадзорных.

«Возвратясь в Петрозаводск,—поспешил он сообщить в Третье отделение, графу Орлову,—я узнал, что во время моего отсутствия некоторые чиновники вели себя неприлично и что известный вашему сиятельству Андрузский имеет какие-то подозрительные бумаги». Должно быть, кто-то из соглядатаев подсмотрел, что этот ссыльный дома сидит и пишет, а сам Андрузский, по своей подслеповатости, не замечал, когда посторонний человек заглядывал в окно.

При внезапном обыске в избе, где квартировали Андрузский и Липпоман, полиция конфисковала четырнадцать тетрадей Андрузского и написанные рукой Липпомана стихи на польском языке. Сами они сразу же были взяты под строжайший домашний арест.

В первой тетради Андрузского оказалась составленная им конституция республики (именно республики!), которая, как воображал автор, должна была сложиться из Украины, Польши, Литвы, Остзеи, Молдавии и Валахии, Сербии, Черногории, Болгарии и Дона. «Наше будущее темно, мрачно, нужен великий ум, великая сила, чтобы


В Петрозаводске

изменить настоящую власть»,—забыв об осторожности, писал Андрузский.

Отправляя отобранные при обыске тетради в Третье отделение, Писарев отмечал в письме графу Орлову: «Из отобранных бумаг... изволите усмотреть, что Андрузский, как упорный малоросс, остался при тех же нелепых и преступных мыслях».

Стихи, найденные у Липпомана, перевели на русский язык. Среди них обратили на себя внимание «Дума о соотечественниках» и «Ода к юности». В докладах Третьего отделения царю сообщалось, что в этих стихах «призываются юноши к уничтожению тяготеющего на них насилия».

Пока судьба Андрузского и Липпомана решалась в Петербурге, они сидели под арестом в занесенной снегом избе и готовились к худшему, сознавая, что ничего хорошего их не ждет.

В эти дни губернатор вызвал к себе Белозерского и ледяным тоном заявил: «Вас могут постигнуть неприятности». Белозерский понял: дружеские отношения с Андрузским могут быть ему поставлены в вину...

Он решился написать письмо Дубельту. Письмо получилось двойственное: в душе Белозерского боролись противоречивые чувства, он стремился напрочь отмежеваться от Андрузского и одновременно вызвать в Дубельте сострадание к этому человеку, уже и так несчастному, полуслепому. «Мне очень жалко Андрузского. Я не мог предполагать, чтобы в его бумагах заключалось что-либо важное, преступное...—писал Белозерский.—Знакомство мое основывалось единственно на сострадании к его жалкому положению; у меня не было ничего с ним общего, кроме участия, которого он вполне заслуживает...»

Письмо было отправлено, оставалось уповать на милостивый ответ.

Пока же в Петрозаводске ссыльные чувствовали себя весьма скверно. Резко изменилось отношение губернатора и к Николаю Макарову, к которому он прежде благоволил. Этот молодой человек отказался исполнять его неслужебные поручения—счел их унизительными для себя. «Ростом Макаров был мал и не виден, но в умных глазах его блистала удивительная энергия» (таким он запомнился одному из его знакомых). Писарев воспринял отказ молодого чиновника как возмутительную непочтительность и как результат вредного влияния Белозерского и особенно—Баласогло.

Александр Пантелеевич и в самом деле произвел на Макарова сильное впечатление и запомнился ему «человеком замечательно умным и ученым и даже писавшим изрядные стихи».

Писарев сообщил в Петербург, в Третье отделение, что Макаров сближается с людьми, сосланными в Петрозаводск по политическим причинам. А ему самому пригрозил, что отправит его служить из губернского города в еще большую глушь, в один из дичайших городков Олонецкой губернии. Губернатор имел достаточно власти, чтобы эту угрозу исполнить.

Макаров с ужасом увидел: здесь он совершенно беззащитен и выход один — бежать отсюда! Бежать, пока не поздно...

С конца марта в окрестностях Петрозаводска начал быстро таять снег, дороги раскисли, но Макарова это уже не могло остановить. Апрельской ночью он тайно покинул Петрозаводск, и нанятый ямщик погнал лошадей по дороге к Петербургу. Уехать пришлось налегке, большую часть своих вещей Макаров оставил у Белозерского.

Когда Писарев узнал о побеге, он велел догнать и арестовать беглеца, но Макаров был уже далеко и догнать его не удалось. «По приезде в Петербург, — рассказывает его биограф, — Макаров бросился к своему родственнику, А. В. Кочубею, бывшему тогда членом Государственного совета, и тот, не медля ни минуты, свез его к Л. В. Дубельту», поручился за его благонадежность, и Макарову разрешено было остаться в Петербурге.

Но если обвинить Макарова было, в сущности, не в чем, то вина Андрузского подтверждалась его злополучными тетрадями. Граф Орлов представил доклад царю: «...осмеливаюсь испрашивать, не изволите ли, ваше величество, высочайше повелеть Андрузского, как человека неисправимого, в предотвращение того вреда, который может происходить от него для общества, заключить в Шлиссельбургскую крепость».

Царь наложил резолюцию: «Андрузского отправить в Соловецкий монастырь, впредь до приказания».

Высочайшее решение дошло до Петрозаводска, и Георгия Андрузского отправили под конвоем сначала в Архангельск, там он еще месяц сидел в тюрьме, а затем, когда Белое море очистилось ото льда, — по морю на Соловецкие острова. Его ждала монастырская тюрьма на Соловках...

Друг его, Виктор Липпоман, по воле губернатора продолжал сидеть под стражей. Через два месяца после его ареста заглянул в избу, где он был заперт, петрозаводский жандармский начальник князь Мышецкий. Липпоман заявил Мышецкому о своем полном раскаянии и просил передать губернатору, что он, Липпоман, считал бы справедливым для себя наказанием ссылку в одну из сибирских губерний. Должно быть, втайне надеялся, что там ему будет все же легче жить и второго Писарева на его голову не найдется...

Однако Писарев счел это выражение раскаяния недостаточным. Он сообщал графу Орлову: «Липпоман не сознается в том, что отобранные у него стихи написаны им были с какою-либо неблагонамеренною целию... Показание его о стихах нельзя считать чистосердечным [Липпоман отрицал свое авторство и заявлял, что автор стихов ему неизвестен, губернатор этому не поверил], а как он... нисколько в образе своих мыслей и поведении не исправился, то я полагал бы отправить его в одну из сибирских губерний...» Писарев не стал объяснять Орлову, что такова просьба самого Липпомана и что это единственная просьба, которую он, олонецкий губернатор, охотно бы выполнил...

От графа Орлова пришло письмо: «Государь император... повелеть соизволил усугубить за Липпоманом учрежденное за ним наблюде-

ние». О содержании его под арестом в письме не было ни слова, так что Писареву пришлось Липпомана из-под ареста освободить.

А летом на запрос Третьего отделения дал он такой отзыв о Липпомане: «Ведет себя скромно; по мнению моему, не заслуживает еще никакого облегчения». Почему же все-таки не заслуживает? А просто — «по мнению моему» — и все!

Позднее олонецкий губернатор отвечал на запрос Третьего отделения о надворном советнике Баласогло: «Я хотел доставить ему занятие по собственному выбору — он попросил меня командировать его для собрания статистических сведений, — я исполнил его желание, он был очень доволен, благодарил, обещал исполнить все, что было поручено...» 14 июня Александр Пантелеевич отправился в поездку по Олонецкой губернии.

Лето выдалось дождливым, но теплым. Он путешествовал на лошадях по лесным дорогам, на лодках и карбасах по рекам и озерам. От Петрозаводска к Конч-озеру, затем в южную часть Заонежья, до Сенногубского погоста. Оттуда через Онежское озеро в Мар-Наволок. По восточному берегу озера на юг до Бесова Носа. Далее на восток — в Пудож и Каргополь. И обратно — через Повенец к Петрозаводску.

Какую отраду доставила ему эта, по его словам, «трехмесячная беседа с природой»! Он мог вспомнить собственные давно написанные строки:

И затворился я, естествоиспытатель,
В чертог своей души, — какая тишина!

Он почувствовал себя свободным, он сам полностью располагал своим временем и вдохновенно трудился, вовсе не ограничиваясь предписанным сбором статистических сведений. Он повсюду старательно записывал народные песни (семьдесят девять песен за три месяца!), былины, сказки, пословицы, духовные песнопения. Записывал слова, свойственные русскому олонецкому говору, составлял словарь карельского и чудского (вепсского) языков, разыскивал старинные бумаги и документы. Он собирал сведения о лекарственных растениях, составлял коллекцию минералов (привез с собой куль, чемодан и два ящика камней), писал о пиявках в заливе Чорча и о ловле жемчуга в речке Повенчанке. Он один работал как целая экспедиция Географического общества!

Этим летом Мария Кирилловна жила с детьми на даче, в Стрельне.

В конце июня она написала Леонтию Васильевичу Дубельту: «Все упование возлагаю на Вас, спаситель моей жизни, облегчающий крест, который суждено мне нести!» И просила устроить так, чтобы жалованье, назначенное ее мужу в Петрозаводске, она могла получать в Петербурге.

В июле и в августе Дубельт был к ней особенно щедр: Мария Кирилловна получила в Третьем отделении два раза по триста рублей пособия. Мужу ее никогда не удавалось заработать по триста рублей в месяц...

Пока Баласогло путешествовал по Олонецкой губернии, в Петрозаводске случилось необычайное происшествие.

В царский день, то есть в годовщину коронации царя, назначено было торжественное молебствие в соборе. На молебствие явились в парадной форме все губернские чиновники. Губернатор Писарев, пройдя ближе к алтарю, увидел, что под образами стоит человек в поношенной, оборванной чиновничьей шинели и грязных, стоптанных башмаках. Это был ссыльный Михаил Матвеев, бывший петербургский чиновник, уволенный от службы. Писарев подозвал его к себе и сказал негромко, но раздраженно:

— В будни вы можете стоять здесь, а в праздничный день, во время собрания, приказываю вам удалиться.

Матвеев вспыхнул и ответил, что тут, перед богом, все равны, что он стоит на своем месте и никуда с него не сойдет.

Писарев подозвал полицмейстера и приказал по окончании обедни взять наглеца в полицию.

Архиепископ совершал божественную литургию. Полицмейстер знаками подзывал Матвеева к себе. Но тот упорно оставался на своем месте.

Архиепископ провозгласил многие лета императорской фамилии. Писарев направился к нему, чтобы первым приложиться к кресту. Внезапно Матвеев подошел к губернатору, размахнулся и ударил его по щеке.

Писарев был ошеломлен и взбешен, но не подал виду (Белозерскому показалось, что губернатор «только утерся») и тут же стал принимать от подчиненных поздравления с праздником, как будто ничего не случилось.

Как только Матвеев вышел из собора, его схватили и потащили в полицию. Там у него отняли шинель, заставили надеть арестантскую одежду и отправили в тюрьму.

В тюрьме он заявил, что приказание губернатора выйти из собора было противно церковному уставу. Изгонять человека из церкви потому, что он плохо одет, вообще не по-христиански. Одеться лучше он, Матвеев, не мог по бедности.

Арестованный предстал перед лекарями, и определено было, что он в совершенно здравом рассудке.

Писарев незамедлительно сообщил о происшедшем в Петербург. Причем несколько приукрасил дело в свою пользу — написал, в частности, будто получил удар «по воротнику мундира». Подчеркивал, что руку на него поднял человек, уже семь лет находящийся в ссылке в Олонецкой губернии. Сослан же Матвеев был за нанесение удара полицейскому чиновнику. Ясно, что этот человек неисправим...

Узнав о возмутительном происшествии в Петрозаводске, император повелел судить преступника военным судом и кончить суд в двадцать четыре часа.

«Ныне петрозаводская градская полиция, — доносил в Третье отделение князь Мышецкий, — доставила ко мне описанные Матвеева вещи и бумаги, писанные его рукою. По рассмотрении бумаг, между ними найдены мною на трех полулистах обыкновенного формата

неприличные выражения, относящиеся до священной особы его императорского величества и правительства». Мышецкий прислал в Третье отделение копию этих бумаг. В них можно было прочесть такое: «...монахи — это дьяволы, смущающие неведущих, священники — распутники, судьи — палачи, казначеи — воры... Говорят, что русский царь есть бог, есть всевидящее око, а, право, он, мне кажется, не постигает, что он такое есть и столько, чтобы видеть, какие злодеяния производятся над его подданными... Русский царь — Антихрист, ж... сатаны-дьявола... Сам царь подает пример нарушения законов, не отменяя прежние, вводит новые, противные... А здесь начальник губернии — бездушная тварь, который по случаю достал себе место, ему о чем песчись, он получает жалованье, которое достаточно на годичное прокормление 150 душ... По званию ему всегда все готовое, все лучшее, а труды его — подписать несколько бумаг, подпись из них каждой есть преступление...»

Дать показание об этих записях Матвеев резко отказался. Его перевели в темную подвальную камеру. Там он написал углем на беленой печке: «В России нет царя! А управляет царством Сатана!» Написал это ровными, четкими буквами и лишь слово «Сатана» — косо и криво.

Военный суд приговорил его к каторжным работам в рудниках без срока. В конце сентября приговор был утвержден царем. «Вместе с тем, — сообщал в Петрозаводск военный министр, — высочайше повелено было: во время препровождения Матвеева в рудники, в каторжную работу, иметь строгий за ним присмотр, дабы он ни с кем сообщаться и разговаривать не мог, а в самом руднике, где он находиться будет, держать его отдельно и употреблять на работу так, чтобы он никаких разговоров не мог иметь ни с прочими каторжными, ни с конвоирующими нижними чинами».

Михаила Матвеева заковали в кандалы. И повели по этапу в Сибирь — в дальний путь на нерчинскую каторгу...

Возвратившись в Петрозаводск, Баласогло с величайшей готовностью поехал бы снова куда угодно, лишь бы только подальше от жандармов и полицейских надзирателей, от самодуров и подхалимов, от ежедневных унижений и от ненавистного губернатора.

Но губернатор никуда более не собирался его отправлять.

Александр Пантелеевич решился написать Дубельту — просил и впредь посылать его для сбора статистических и этнографических сведений. Написал письмо в надежде, что всемогущий генерал снизойдет к просьбе и посоветует Писареву послать его в новую командировку.

Но Дубельт не стал вникать в его прошение и просто переправил письмо обратно в Петрозаводск — на усмотрение олонецкого губернатора. А тот в ответе своем доложил Дубельту, что Баласогло не может постоянно заниматься сбором статистических сведений, так как на это в губернии нет штатной должности.

Александр Пантелеевич хотел основательно обработать груду собранных материалов, создать научный труд, который не стыдно

было бы представить на суд ученых людей. Но губернатора интересовали только статистические, точнее — цифровые сведения.

Вторую половину сентября, октябрь и ноябрь Александр Пантелеевич терпел беспрерывные понукания, а в конце ноября получил письменное предписание губернатора немедленно отчитаться в командировке. Ответил он также письменно: «...имею честь донести, что я занимаюсь день и ночь и спешу, сколько мне позволяют мои силы, привести эти сведения в полный порядок...»

Снова расшатались его нервы, и снова головные боли стали его донимать. Он вспоминал потом: «Когда я более не вынес и уже ничего не мог понимать от боли и изнеможения, меня грозили бросить в тюрьму, на хлеб и воду, с приставкой ко мне чиновников, чтобы они вытащили из моей «упрямой башки» все заключенные в ней сведения... Меня ругали, в присутствии множества чиновников, чуть-чуть не площадными словами и наконец отняли все, что я успел записать наскоро и без всякой связи во время самих моих разъездов по Олонецкой губернии».

Сохранилась записка Белозерского от 18 декабря: «Я был у вас, почтеннейший Александр Пант(елеевич); холодна ваша обитель и, к искреннему моему сожалению, не было дома хозяина, чтобы согреть ее своим присутствием. Где же вы обретаетесь?»

Записку эту Александр Пантелеевич прочел, должно быть, возвратясь домой — в свою нетопленую комнату, где поставлены были деревянная узкая кровать, черный простой комод и ясеневый столик.

На следующий день отправлен был на санях в захолустный городок Олонец Виктор Липпоман — по воле раздраженного губернатора.

А на других санях приехала неожиданно в Петрозаводск Мария Кирилловна Баласогло.

21 декабря Александр Пантелеевич написал письмо Дубельту, уже ничего не прося, но желая как видно, чтобы генерал ясно представил себе его положение: «...Я живу в городе, в котором нет ни малейшей возможности существовать человеку в моих обстоятельствах... Люди самых отвратительных правил... грубые и наглые до неимоверности, осадили меня со всех сторон, вызывая меня на разговоры... с целью... исторгнуть у меня какой-либо если не вопль раздражения, так хоть крик отчаяния, который бы можно было возвести... на степень государственного преступления и тем — таковы их пошлые понятия — услужить правительству... Я уже выходил из себя и приготовлялся к смерти, когда приехала ко мне моя бесценная жена, хотя — увы! — опять с такою же горестною вестью, как и в первый приезд, — с вестью о смерти еще одного нашего сына!..»

Умер маленький Всеволод, которому было два с половиной года... Новый удар потряс Александра Пантелеевича, уже и без того тяжко подавленного пережитым...

И он написал это письмо Дубельту, хотя узнал от жены, что она сама слышала, как Леонтий Васильевич отзывался о нем в присутствии чиновников и просителей: «Да! Выпусти медведя из клетки, так он

и пойдет все ломать!» Баласогло писал потом: «Леонтий Васильевич внушил даже моей жене, что я человек опасный правительству, что я медведь, безвредный только в надежной клетке, каков Петрозаводск, которого, так сказать, железность уже слишком мною изведана».

Глава седьмая

Содом неправд не рай уму...
Александр Баласогло

«Жена политического преступника Баласогло рассказывала сестре своей, что, посетив мужа в Петрозаводске, она заметила, что он не изменил прежнего своего образа мыслей, и даже нашла у него опять написанные им бумаги преступного содержания. На упреки жены, что он губит себя и свое семейство, он отвечал, что в Олонецкой губернии народ непросвещенный и что там ему свободнее действовать на умы простолюдинов. Испуганная таким отзывом, она выкрала у него бумаги и возвратилась в Петербург».

Об этом сообщалось в анонимном доносе, переданном в Третье отделение.

До петербургских его знакомых дошел слух, что Баласогло в Петрозаводске обязан бывать «на вечерах у губернатора сего града Писарева; если он на них молчит, то Писарев ругает его при всех (как ругает офицер солдата), если говорит — также худо!»

В январе 1851 года Писарев дважды отвечал графу Орлову на запрос Третьего отделения о Баласогло. В первом ответе заявлял, что в своей командировке сей чиновник порученного не исполнил (на самом деле Баласогло представил две тетради заметок по всем пунктам инструкции Писарева, семь тетрадей статистических ведомостей по городам Пудожу и Каргополю и семнадцать тетрадей сведений по Петрозаводскому и Повенецкому уездам) — «порученного не исполнил, отзываясь болезнию, которая, однако, не препятствует ему ходить в гости и на вечера и танцевать усердно. Поэтому, — писал губернатор, — я не смею доложить вашему сиятельству, чтобы он заслуживал в настоящее время какое-либо смягчение участи».

Во втором ответе графу Орлову Писарев сообщал: «Баласогло ведет себя хорошо, своего образа мыслей старается не обнаруживать, точно так же, как и другие [ссыльные], но по некоторым случаям и общему характеру его знакомств я не могу поручиться перед вашим сиятельством за его благонадежность. Служить и что-либо делать он, по-видимому, не желает...»

О Белозерском еще в ноябре сообщал в Третье отделение князь Мышецкий: «Я не вижу, чтобы... Белозерский старался исправиться в своем поведении и образе мыслей, начальник губернии постоянно недоволен им, и мне это лично известно». А в январе Писареву сообщено было из Петербурга, что граф Орлов, «принимая во внимание донесение князя Мышецкого, изволил приказать исключить Белозерского из списка лиц, которым испрашивается помилование».

28 января прибыл в Петрозаводск еще один ссыльный — высокий, темноволосый, красивый мужчина — польский поэт Эдвард Желиговский. Он сослан был за свою поэму, которая несколько лет назад была издана в Вильне с разрешения цензуры, а теперь считалась вредной и недопустимой. Желиговский писал под псевдонимом Антоний Сова: «Ja Sowa jestem, ja latam w ciemności» («Я Сова, я летаю во тьме»), причем ясно было, что «тьма» — это повседневная действительность николаевской России.

В Петрозаводске Желиговский близко сошелся с Белозерским. И, конечно, должен был познакомиться с Баласогло, хотя об этом ничего с достаточной определенностью неизвестно.

В конце зимы Писарев уехал в Петербург. По слухам, его вызвали в столицу потому, что в глазах правительства он был скомпрометирован унизительной пощечиной, полученной в присутствии множества людей... Ожидалось, что в Петрозаводск он более не вернется.

В Петербурге он, конечно, явился в почитаемое им Третье отделение. Сохранилась записка Дубельта, врученная Писареву в начале марта:

«Граф Орлов примет вас, когда вам угодно, в 10 часов утра, любезный Николай Эварестович.

Искренне, душевно преданный
Л. Дубельт.

Не угодно ли пожаловать во фраке».

Записка не предвещала Писареву ничего худого, но его действительно ожидала отставка с поста олонецкого губернатора.

С его отъездом в Петрозаводске стало вроде бы легче дышать. Заместивший Писарева вице-губернатор Большев сразу же отпустил Белозерского в отпуск в Черниговскую губернию.

Удобную и прилично обставленную комнату свою в Петрозаводске Белозерский предоставил Баласогло.

Александр Пантелеевич к этому времени уже дошел до предельно взвинченного нервного состояния. В нем разрасталась мнительность, он готов был в каждом заподозрить доносчика и шпиона. Он действительно чувствовал себя медведем в железной клетке — под неотступным надзором вездесущего ока Третьего отделения. Его пронзали безумные мысли: «...покровительства злым и притеснения честным суть явно не что иное, как остроумие этих тайных, невидимых общих врагов, пахнущее серой и кровью...» И в первую очередь — генерала Дубельта!

В душе Александра Пантелеевича уже кипела ненависть к Дубельту: «Одни пустынные окрестности Петрозаводска знают, как только я его не проклинал, как я его не честил...»

В мае он получил письмо от жены: она сообщала, что лежит вместе с дочерью больная и не имеет средств к лечению. А он ничем не мог им помочь...

Правда, в феврале Мария Кирилловна получила сто рублей от Дубельта, но эти деньги уже пришли к концу.

Несколько дней спустя — «надо же такое роковое обстоятельство, — вспоминал потом Александр Пантелеевич, — ...влетает в Петрозаводск мой враг... мой безотвязный кошмар, полковник Станкевич!.. „А! — воскликнул я, — вот что значат последние ласки генерала моей жене!..“»

Лет шесть назад возревновал Александр Пантелеевич свою жену к Станкевичу, и ревность его оказалась так болезненна и так сильна, что и теперь он не мог спокойно видеть этого жандармского полковника.

Баласогло подозревал, что генерал Дубельт знал об отношении своего подчиненного, Станкевича, к Марии Кирилловне и даже содействовал высылке ее мужа из Петербурга — чтобы не мешал Станкевичу! Александр Пантелеевич ни в коей мере не ревновал жену к Дубельту: наверное, считал, что генерал для нее слишком стар — ему было уже под шестьдесят...

«Леонтий Васильевич, — в неистовстве думал Баласогло, — не мог избрать для посылки в Петрозаводск никого, кроме Станкевича! Он, именно он и способен на то, чтобы геркулесовски помочь окончательно князю Мышецкому и его пифии, Писареву, очернить и запутать меня наповал, наубой!.. Да! да! я погиб, как негодяй, достойный своей участи, а Леонтий Васильевич торжествует, как герой, отделавшийся наконец одним последним мастерским ударом от опасного ему любителя истины!..»

«Суровое лицо Станкевича в окне дома, мимо которого я проходил, только еще более подняло меня на дыбы», — вспоминал потом Александр Пантелеевич.

Он вернулся домой и в исступлении написал два обвинительных письма против Дубельта: одно на высочайшее имя — царю, другое — министру внутренних дел Перовскому. Письма эти он сразу отнес и лично вручил вице-губернатору Большеву. «Не успел я ему их отдать, — рассказывает Баласогло, — как явились князь Мышецкий и Станкевич. Я... ушел из дому вице-губернатора в полной уверенности, что дело идет обо мне... На другой день, когда Станкевич и все следователи уехали, я было опять успокоился, зашел к Большеву, чтобы уничтожить письма до будущей крайности, и ждать себе лучшего от самого приезда Станкевича, так как в более спокойном состоянии духа я рассудил, что и самый лютый враг не может ничего на меня взвести такого, чего бы я не показал на себя сам...» Большев отдал Александру Пантелеевичу его письма, которые тут же были им сожжены — должно быть, на свечке, — «и я совершенно успокоился... — рассказывает он далее. — Как вдруг входит г-н Лесков [управляющий губернской палатой государственных имуществ] и в разговорах с г-ном Большевым дает мне, может быть, против своей воли, как и воли самого Большева, понять, что мои письма были сообщены последним Станкевичу. Тут я воскликнул в самом себе: «А! так и Лесков, и сам Большев... и все, все вы заодно против меня!.. Все в этом городе в заговоре с Дубельтом и хотят во что бы то ни стало меня поймать и выдать ему с головою!..»

Это было в субботу. В ночь на воскресенье Александр Пантелеевич не спал. Он лихорадочно думал о том, что надо любыми способами выбираться отсюда в Петербург — иначе нет спасения. Удачный побег Николая Макарова был обнадеживающим примером, но попросту бежать, как Макаров, Александр Пантелеевич не мог. Он не мог рассчитывать, что кто-то из влиятельных лиц заступится за него перед Дубельтом. Нет, надо здесь, в Петрозаводске, заявить что-то такое, после чего непременно должны будут отправить его в Петербург. В Петербург, но только не в Третье отделение... Обмануть их всех! На обманщика — полтора обманщика! Но в конце концов заявить истину там, в Петербурге...

В воскресенье — была троица — он пошел в церковь к обедне. По случаю троицына дня проповедь говорил новый архиепископ, только вчера прибывший в Петрозаводск. Александр Пантелеевич слушал проповедь, и казалось ему, что голос архиепископа «уж слишком мягкий и напряженно-выразительный, поддельный: «Неужто и этот старик такой же иезуит, как все?..»

После обедни Александр Пантелеевич вышел на улицу. Встречавшиеся с ним видели его раздраженным. Как потом доносил в Третье отделение князь Мышецкий, Баласогло говорил некоторым, «что он преступник, мало наказан, — это все сделали граф Орлов и генерал Дубельт, они изменники царю, что сослали меня только в Петрозаводск, мне этого мало, прощайте, я уеду к царю объявить ему тайну на графа Орлова и генерала Дубельта. Это он повторял многим, которые сочли его помешавшимся и удалялись...»

Вечером он явился на главную гауптвахту Петрозаводска и заявил караульным, что ему известна важная государственная тайна, которую он считает необходимым открыть лично государю императору. С гауптвахты Александра Пантелеевича препроводили на квартиру командира гарнизона полковника Юрасова. Тот немедленно пригласил к себе Большева, Лескова, двух лекарей и еще нескольких чиновников. В десять вечера они собрались. В их присутствии Баласогло объявил, что он, будучи в полном рассудке и не в болезненном состоянии, намерен открыть его императорскому величеству важную государственную тайну, а именно — верховную измену генерал-лейтенанта Дубельта. Баласогло просил отправить его сию же минуту прямо в Петербург. И не иначе как в сопровождении офицера. Заявил, что не считает свою жизнь в полной безопасности, пока не падет к стопам всемилостивейшего государя. Умолял, чтобы все присутствующие клятвою обязались тут же принять меры, чтобы он был доставлен в Петербург и сдан ни в коем случае не Дубельту...

В одиннадцать вечера Баласогло тут же, на квартире Юрасова, был освидетельствован лекарями. Было записано в протокол: «...телосложения он худощавого, лица бледного, с заметным болезненным выражением, но особенную болезнь не объявлял, а явно только сильная нервная раздражительность. На все вопросы, сделанные ему, он отвечал совершенно соответственно, связно и понятливо, но также видны были внутреннее беспокойство и раздражительность... Явного

расстройства умственных его способностей в настоящее время не заметно».

В другой комнате ошеломленное губернское начальство совещалось — как быть. О происшедших спорах князь Мышецкий (который на этом совещании не был) доносил затем в Третье отделение. Написал графу Орлову, что правитель канцелярии Дьячков «советовал весьма секретно отправить Баласогло в тюрьму под строгий арест, допросить втайне чрез кого следует и... донести сперва вашему сиятельству, а министру внутренних дел послать копию, но Большев, по влиянию на него управляющего палатою государственных имуществ Лескова, не согласился», так как Лесков, «говорят, перекричал всех согласившихся с правителем канцелярии».

В первом часу ночи Баласогло отправлен был на гауптвахту.

Наутро его привезли домой, при нем составили опись остающихся в комнате вещей. Вещи принадлежали в основном Белозерскому.

Баласогло возвратили на гауптвахту, а в четыре часа дня жандармский офицер повез его в Петербург.

Едучи вдвоем с жандармским офицером, Александр Пантелеевич понял, что, несмотря на все его просьбы, в Петербурге он будет первым делом доставлен именно в Третье отделение.

И действительно, когда они прибыли в Петербург, жандармский офицер приказал вознице ехать на Фонтанку, к Цепному мосту.

В чемодане Александра Пантелеевича, захваченном из Петрозаводска, лежали почти все его рукописи, не хватало только немногих, оставленных в свое время в Петербурге. Да еще не хватало выкраденных и уничтоженных его женой. И вот сейчас, привезенный в Третье отделение, он решил: рукописи лучше будет оставить здесь. И почти насильно вручил их чиновнику Кранцу, будучи уверен, что здесь они будут сохраннее, нежели дома.

В тот же день — это было 1 июня — его переправили из Третьего отделения в Петропавловскую крепость, в Алексеевский равелин. Еще никто до него не попадал сюда дважды... Два года назад он сидел в камере № 10, а теперь его заперли в камеру № 7.

Сопровождавший его из Петрозаводска жандармский офицер письменно доложил Дубельту: «Во время препровождения мною надворного советника Баласогло из Петрозаводска в Петербург, он в разговорах со мною останавливался на мысли, выраженной им в акте против вашего превосходительства, объясняя, что написал это в раздражительности, ибо в то время находился в сильном душевном расстройстве... Главнейшей целью его было прибыть в Петербург в надежде своим раскаянием испросить себе помилование... Совершенного расстройства рассудка я не заметил в нем, в разговорах не было последовательности, и он быстро переходил от одной мысли к другой, часто казался скучным, задумчивым и мучим был одною мыслию, что нанес оскорбление вашему превосходительству, впрочем выражал надежду на ваше великодушие».

Все это Александр Пантелеевич говорил, конечно, потому, что сознавал: в заколдованном круге российской действительности все

равно его судьба — и судьба его семейства — будет зависеть от того, что скажет генерал Дубельт. А он, бесправный и задавленный, замахнулся кулаком на каменную стену...

2 июня, уже из крепости, он обратился с письмом к царю: «Простите дерзкого человека, доведенного до отчаяния. Я должен был или умереть в Петрозаводске или ухватиться за единственную нить спасения, какая мне еще оставалась: это было священное имя вашего императорского величества...»

Граф Орлов доложил царю об этом письме. Читать его Николай не стал, на полях записки Орлова черкнул карандашом: «Должен быть вздор, но допроси его сам, *лично* и *наедине*; надо ложь изобличить и поступить с ним по законам, как с клеветником».

Граф Орлов приехал на квартиру коменданта крепости генерала Набокова, туда же привели арестанта Баласогло. Орлов потребовал объяснений. Баласогло говорил сбивчиво, путано, в разговоре то и дело терялся. Вдруг сказал, что вообще не любит жандармов, потому что полковник Станкевич волочился за его женой. Граф Орлов — наверно, сам себе удивляясь, — не почувствовал никакой неприязни к этому странному арестанту и написал в докладе царю: «Человек этот достойный сожаления, не злой, но истинно полусумасшедший...»

Баласогло просил разрешить ему составить письменное объяснение.

Пространное письмо его было передано графу Орлову 6 июня.

Баласогло заявлял в начале письма, что давно стал «подозревать многих государственных особ в тайном заговоре против его величества. Цель этого заговора, — разъяснял он, с трудом подбирая осторожные выражения, — мне казалось, состояла в том, чтоб, рассевая в легковерном и малообразованном народе самые нелепые слухи о малоумии, жестокости и самонравии государя императора, заставлять его величество подтверждать это на деле, в виду всего мира, каждым актом своей государственной и личной воли... Все те лица, с которыми мне удавалось говорить дружески о столь важном предмете, не могли иначе объяснить себе всех тех бедствий, неудач и застоя в государственной жизни, и особенно того странного выбора к должностям, иногда самым важным... Томясь этой догадкой, по невозможности увериться сполна, брежу ли я сам или вижу истину, я даже обрадовался вовсе для меня неожиданному аресту по делу Петрашевского... Допросы подтвердили во мне еще более мои догадки, что от меня хотят истины, но хотят не всей или не всё... Более всех, мне казалось, не хочет, чтоб я говорил всю правду, не обинуясь ничем, генерал Дубельт». Баласогло, конечно, имел в виду правду не о том, о чем хотела знать следственная комиссия, но правду о «застое в государственной жизни», о ничтожестве царских министров, о засилье Третьего отделения...

Подробно и с отчаянной откровенностью рассказал Баласогло о своих мытарствах и об отношениях с Дубельтом. «Поддерживать таких людей, как Писарев, — утверждал он, — ...и особенно держать их губернаторами могут, казалось мне, только одни враги государя,

государства и вообще человечества...» И, наконец, главное о генерале Дубельте: «...кто же, как не он, тайный тиран всех, вместе со мною, честных людей России. Кто, как не он, имеет наибольшую возможность вредить всем и каждому...» Баласогло заявлял: «...не личная злость, или месть, или что бы то ни было другое подобное руководило мною в обвинении такого мужа, как Леонтий Васильевич, а психологическая необходимость» — и он, Баласогло, готов просить у Дубельта прощения (тут Александр Пантелеевич, видимо, снова дрогнул, подумав о последствиях своего письма), но в конце концов нужно «решение целым светом, подлец я или честный человек, сумасшедший — или только измученный до последней степени искатель не приключений, а истины?..»

Император Николай вряд ли внимательно прочел это многостраничное письмо. Вероятно, он его только перелистал, просмотрел. И на первом листе, на полях, написал, адресуясь к Орлову: «Спасибо за терпение, все, как я предвидел, сущий вздор, при свидании условимся, что с ним делать».

После встречи с царем в Зимнем дворце граф Орлов сообщил генералу Набокову: «Государь император... высочайше повелеть изволил освидетельствовать его [Баласогло] в умственных способностях, а если он найден будет отчасти лишенным рассудка, то отправить его в больницу Всех Скорбящих, в противном же случае оставить его в крепости впредь до повеления».

Утром 18 июня арестанта Баласогло освидетельствовали лейб-медик Арендт (тот самый Арендт, который безуспешно пытался спасти умирающего Пушкина), медик Третьего отделения доктор Берс и медик Петропавловской крепости доктор Окель. Затем они составили акт: «...он находится в совершенно здравом рассудке, ибо на сделанные ему нами вопросы о разных предметах он на все отвечал правильно, почему положение здоровья его, г. Баласогло, не требует отправления в больницу Всех Скорбящих». Подписи: Арендт, Берс, Окель. Ниже: «С мнением медиков согласен. Генерал-адъютант Набоков».

Граф Орлов, прочитав рапорт Набокова, доложил об освидетельствовании арестанта Баласогло царю. И предложил, как меру наказания, запереть Баласогло на три месяца в крепость, а затем отправить в Новгород под строгий полицейский надзор.

Император нашел подобную меру слишком мягкой. Определил: «На 6 месяцев в крепость, а потом увидим, ибо он ложный доносчик».

Генерал Дубельт получил 30 июня письмо от Марии Кирилловны Баласогло. Она писала: до нее дошли ужасные слухи о том, что муж ее сошел с ума. Она просила отпустить его к родителям в Николаев.

Граф Орлов сообщал Набокову 3 июля: «Государь император, по всеподданнейшему моему докладу о желании надворной советницы Баласогло видеть мужа ее, содержащегося в С.-Петербургской крепо-

сти, высочайше соизволил разрешить им видеться... не иначе, как в присутствии вашего превосходительства».

На следующий день Мария Кирилловна получила в Третьем отделении пособие — сто рублей.

Дубельт уже знал, что он ни в коей мере не скомпрометирован в глазах царя письмом безумца. Теперь можно было сделать эффектный жест. Пусть же станет известно: надворный советник Баласогло оклеветал его, генерала Дубельта, а он, Дубельт, в ответ благородно распорядился дать жене клеветника пособие. С одной стороны низость, с другой — благородство, — вот разница!

Именно так оценила происшедшее Мария Кирилловна Баласогло.

Она пришла на свидание с мужем в крепость. Можно себе представить, какой град упреков и обвинений она обрушила на своего бедного мужа, какую истерику закатила. Она не могла его ни понять, ни простить. Ей было ясно только одно: муж ее поднял руку на их благодетеля, не подумав, как это отразится на ее судьбе и на судьбе детей!

Это был удар в самое больное место, и, уже когда она ушла, Александр Пантелеевич не выдержал, с ним произошло нечто вроде нервного припадка: он кричал, буйствовал. В камеру влетели стражники, с трудом его связали. Явился генерал Набоков, явился доктор Окель. Вспомнив приказание царя отправить Баласогло в больницу Всех Скорбящих, «если он найден будет отчасти лишенным рассудка», Набоков решил, что теперь он просто обязан отправить этого арестанта в сумасшедший дом.

Это было 9 июля. Александра Пантелеевича под строгим караулом отвезли из крепости на одиннадцатую версту.

Три месяца провел он в сумасшедшем доме.

В начале октября доктор Герцог, старший врач больницы Всех Скорбящих, доложил лейб-медику Арендту, что «Баласогло, обнаруживший состояние душевного раздражения, которое, как наблюдение показало, происходило вследствие припадков продолжительной эпохондрии, ныне, по миновании оных, в течение более уже месяца находится в совершенно спокойном положении, иногда только заметна в нем некоторая скука».

От Арендта узнал о Баласогло почетный опекун больницы, член Государственного совета Аркадий Васильевич Кочубей. Он написал Набокову: «Лейб-медик Арендт, сообщая мне донесение доктора Герцога, присовокупляет, что и по личному его удостоверению настоящее положение надворного советника Баласогло не требует уже дальнейшего пользования и содержания его в больнице Всех Скорбящих».

Баласогло был возвращен 18 октября в Алексеевский равелин. И посажен в камеру № 4.

Еще в сентябре Дубельт получил письмо из Николаева — писал генерал-майор Пантелей Иванович Баласогло. Он просил отпустить его душевнобольного сына в Николаев, к родителям.

Об этой просьбе доложено было в очередном докладе Третьего отделения царю.

Мария Кирилловна Баласогло передала Дубельту жалостную просьбу о вспомоществовании. Выдано ей было уже только двадцать пять рублей.

В конце октября царь разрешил отпустить надворного советника Баласогло к родителям в Николаев. И повелел установить за ним строжайший секретный надзор.

31 октября его перевели из крепости в Третье отделение, затем отпустили на два дня домой.

И уже 3 ноября Баласогло, в сопровождении жандармского офицера, был отправлен в Николаев.

Глава восьмая

Не дай мне бог сойти с ума,
Нет, легче посох и сума...

А. С. Пушкин

Десять дней он провел в пути.

И вот снова, среди осенней изжелта-серой степи, где река Ингул впадает в широкий Бугский лиман, открылся его взгляду город, оставленный им двадцать три года назад. Широкие и прямые, но немощеные и пыльные улицы, беленые домики, облетевшие деревья в садах и вдоль улиц...

Встреча с городом его детства оказалась совсем нерадостной.

Отец, теперь уже генерал-майор, считал, что Александр сам виноват во всем, что с ним произошло. Письма невестки из Петербурга убеждали Пантелея Ивановича в непростительности поведения сына.

Очень немногие в Николаеве встретили Александра Баласогло без отчужденности. Правда, в числе этих немногих оказался сам военный губернатор, престарелый адмирал Берх, шесть лет тому назад радушно принимавший в своем николаевском доме Белинского и вообще добрый и весьма образованный человек.

Александр Пантелеевич не имел тут никакой возможности что-то зарабатывать — при его расстроенном здоровье и репутации политического изгоя и сумасшедшего. Он оставался буквально без гроша.

Нужда заставила его послать 24 декабря два отчаянных письма — Дубельту и Орлову. В письме Дубельту он взывал к справедливости: «...Не имею в своем распоряжении ни полушки даже на табак и вида на жительство здесь или где бы то ни было особо от моих невообразимых во дворянстве родителей. Клянусь вам всем святым в человечестве и вашими драгоценными сединами, что я издохну здесь, как тигр, затравленный муравьями и собачонками...» И в другом письме, Орлову: «...меня считают здесь сумасшедшим и дразнят, как дикого зверя. В доме родителей мне в тысячу раз несноснее, чем было последнее время в крепости и в больнице Всех Скорбящих...»

На полях его письма граф Орлов написал карандашом: «Каков гусь» — и затем направил коменданту города Николаева, генерал-

майору Мердеру, письменное предложение расследовать жалобу Баласогло.

В своем ответе графу Орлову генерал Мердер утверждал, что жалоба не имеет оснований. Просто никто в городе не желает иметь знакомства с этим человеком, «ибо он действительно заговаривается».

У Пантелея Ивановича Баласогло был свой домик в Севастополе, и Александр Пантелеевич надеялся, что ему разрешат уехать из Николаева в Севастополь...

В декабре Мария Кирилловна обращалась с прошениями к Дубельту и к министру внутренних дел Перовскому. Дубельту она написала: «Дети мои заболели...» — и, прождав недели три, получила еще двадцать пять рублей. Перовского она просила о назначении ей с тремя детьми содержания (то есть подобия пенсии). Упоминала уже только о трех детях, так как старший, десятилетний Володя, был отдан в Аракчеевский кадетский корпус в Новгороде. Это прошение подала она совершенно зря, по закону ей никакого содержания от казны не полагалось.

В феврале она решилась ехать к мужу в Николаев. Выпросила у Леонтия Васильевича еще пятьдесят рублей и 23 февраля отправилась в путь с двумя детьми, оставив младшую дочь в Петербурге, у сестры.

Александр Пантелеевич перед отъездом из Петербурга в Николаев спешно упаковал свою библиотеку, которой дорожил необычайно, в шестнадцать больших ящиков и отвез на сохранение Николаю Макарову. Макаров жительствовал в доме на Почтамтской, в квартире Аркадия Васильевича Кочубея.

Не смог, не успел Александр Пантелеевич заполучить обратно свои рукописи, отданные им в Третье отделение чиновнику Кранцу, и просил он жену и Михаила Александровича Языкова эти рукописи оттуда забрать.

И что ж? Мария Кирилловна перед отъездом заходила в Третье отделение получить дарованные пятьдесят рублей, но о рукописях мужа спрашивать не стала — то ли побоялась, то ли не захотела брать, то ли просто забыла.

Взять с собой в дорогу тяжелые ящики с книгами она, конечно, не могла. Она продала мебель. Наконец, избавляясь от ненужных вещей, выбросила остававшиеся дома бумаги мужа — его многочисленные заметки, черновики...

Возможно, она не сознавала даже, что утрата этих бумаг окажется для мужа еще одним ударом. При встрече с ним в Николаеве она заявила, что ей перед отъездом не до того было, чтобы заботиться об этих бумагах и тому подобных ничтожных вещах...

Библиотеку свою Александр Пантелеевич так никогда больше и не увидел, она была утрачена при неизвестных нам обстоятельствах. Вероятнее всего, Мария Кирилловна написала Макарову, что все шестнадцать ящиков с книгами следует продать...

Не удалось Александру Пантелеевичу добиться даже возвращения

чемодана, оставленного в Петрозаводске. Он написал в Петербург Макарову, просил посодействовать. Но тот мог только посочувствовать. В ответном письме выразил уверенность, что петрозаводские власти без разрешения Третьего отделения чемодан не вернут.

Пришлось опять писать Дубельту — скрепя сердце просить о возвращении чемодана и одновременно о возвращении рукописей, отданных чиновнику Кранцу. Александр Пантелеевич просил теперь отдать эти рукописи Николаю Макарову...

Но ни Макарову, ни Языкову получить их в Третьем отделении не удалось. О злосчастном чемодане Александр Пантелеевич писал позднее Белозерскому, которому пришлось к лету вернуться в Петрозаводск. Но Белозерский помочь ему не мог, а генерал Дубельт теперь, по вполне понятным причинам, игнорировал его начисто и не намерен был отвечать на письмо.

Узнал Александр Пантелеевич, что после долгого пребывания за границей вернулся в Россию скульптор Пименов. И решил послать — не Пименову, а их общему давнему другу Николаю Рамазанову, тоже скульптору, — письмо в Москву.

«Я здесь, в Николаеве... — писал он 5 апреля, — в самом стесненном положении... по невыносимому безденежью и безодежью, по вечной тоске, отчаянию от приема, третировки, каких я никогда не мог ожидать от своей родины, и, наконец, по тысяче незримых пилюль, на какие осужден всякий тунеядец... В этой пытке, где я лишен даже будничного времяпрепровождения с немногими истинно образованными и благородными людьми, какие здесь есть, я дохожу до совершенного изнеможения и телом и духом, и не знаю, за что мне ухватиться, чтобы добыть себе хоть грош, да свой!.. а спокойствия нельзя отыскать в этом мире без своих рублей и брюк!.. Вот какую роль выбросила судьба тому, кто целую жизнь боролся с нуждой и самыми дикими обстоятельствами в жизни... Здесь я увидел весьма радикально, что и товарищи — в 23 года разлуки особенно — делаются теми же умывателями рук, что и старые бобры — домостроители сего мира... Например, Николай Пименов мог бы узнать, что я теперь терплю, и хоть теперь прислать мне те *девяносто* рублей асс., на которые я ему отправил в Рим, четырнадцать лет тому назад, книги и коллекцию лубочных картинок... а между тем я даже не смею к нему писать об этом долге, чтоб не потерять последней его дружбы, если она еще теплится в его художническом сердце!.. Утопающий хватается за соломинку и даже за бритву: поверьте, что и мне так же больно, и так же смешно, и так же трудно посетить вас заочно этим письмом, с самою явною, только не заднею, целью — с просьбою *показать* прилагаемые при сем стишонки, писанные в голове, в крепости, совершенно *нерукотворно* и без всяких задних мыслей и уцелевшие опять-таки в голове, потому что все остальное — все мои рукописи доселе валяются в III Отделении, ожидая Языкова и К° или мою жену, которые не хотели их взять оттуда, вероятно по трусости, тогда как все эти рукописи уже были, 3 года назад, в пересмотре и были мне отданы, а я сам привез их туда из Петрозаводска...»

Александр Пантелеевич слышал, что Рамазанов близок к новой редакции журнала «Москвитянин», и теперь писал так: «Если редакция «Москвитянина»... сделает мне честь напечатать эти лоскутки, я буду присылать многое множество подобных пиэс, особенно если добуду сюда, в Николаев или Севастополь, куда я, может быть, уеду через месяц или два, все свои стихотворения... Под стихами, в случае их годности, прошу ставить мой псевдоним А. Белосóколов... Ах, зачем я не издатель Художественного Листка!!.»

Он еще формально числился чиновником олонецкой губернской канцелярии. Теперь подал прошение об отставке и о пенсии — по состоянию здоровья. Адмирал Берх сообщил об этом графу Орлову и поддержал просьбу Баласогло о пенсии.

В июле Александр Пантелеевич получил просимую отставку, но пенсии ему не дали никакой.

О судьбе его стихов, посланных Рамазанову, ничего не известно. На страницах «Москвитянина» они не появились.

Так и пропали бесследно стихи, сочиненные Баласогло в Петропавловской крепости. Отыщутся ли они когда-нибудь?..

Если он еще переписывался с Языковым, он мог узнать, что из Петербурга в кругосветное плаванье отправился тогда их общий знакомый, известный писатель Иван Александрович Гончаров. Языков и его жена, проводившие лето с детьми в деревне, получили от Гончарова пространное письмо.

«А знаете ли, что было я выдумал? Ни за что не угадаете! А все нервы: к чему было они меня повели! — писал Иван Александрович. — Послушайте-ка: один из наших военных кораблей идет вокруг света на два года. Аполлону Майкову предложили, не хочет ли он ехать в качестве секретаря этой экспедиции, причем сказано было, что между прочим нужен такой человек, который бы хорошо писал по-русски, литератор. Он отказался и передал мне... Все удивились, что я мог решиться на такой дальний и опасный путь, — я, такой ленивый, избалованный! Кто меня знает, тот не удивится этой решимости. Внезапные перемены составляют мой характер...»

В октябре 1852 года фрегат «Паллада» снялся с якоря на Кронштадтском рейде. Одну из кают занял секретарь экспедиции, писатель Гончаров, смущенный собственным внезапным решением...

Поздней осенью, уже из Англии, из Портсмута, он послал письмо Николаю Аполлоновичу Майкову и его жене: «...там [в Петербурге] я погибал медленно и скучно: надо было изменить на что-нибудь, худшее или лучшее — это все равно, лишь бы изменить. Но при всем при том я не поехал бы ни за какие сокровища мира... Вы уж тут, я думаю, даже рассердитесь: что же это за бестолочь, скажете, — *не поехал бы*, а сам уехал! Да! *сознайтесь*, что не понимаете, так сейчас скажу, отчего я уехал. Я просто *пошутил*. Ехать в самом деле — да ни за какие миллионы, у меня этого и в голове никогда не было. Вы, объявляя мне об этом месте (секретаря), прибавили со смехом: «Вот вам бы предложить». Мне захотелось показать Вам, что я бы принял предложение... Вы знаете, как все случилось. Когда

я просил Вас написать Аполлону, я думал, что Вы не напишете, что письмо не скоро дойдет, что Аполлон поленится приехать и опоздает, что у адмирала кто-нибудь уже найден, или что, увидевшись с ним, скажу, что не хочу. Но адмирал прежде моего «не хочу» уже доложил письмо, я — к графу [министру финансов], а тот давно подписал бумагу, я хотел спорить в департаменте, а тут друзья (ох эти мне друзья, друзья) выхлопотали мне и командировку и деньги, так что, когда надо было отказаться, возможность пропала».

А молодой друг его Аполлон Майков, служивший до той поры библиотекарем в Румянцевском музеуме, был принят на должность цензора в комитет иностранной цензуры. Эта служба привлекала его больше, нежели кругосветное путешествие.

Бедствовал в Петербурге Павел Андреевич Федотов.

Его картины, восторженно встреченные на выставках в Академии художеств, не принесли ему даже скромного достатка. Теперь он в состоянии был тратить всего по двадцать пять копеек в день на двоих — на себя и своего верного денщика Коршунова. За эти копейки Коршунов покупал еду в казармах Финляндского полка, на солдатской кухне. Благо эти казармы находились в двух шагах — Федотов мог видеть их из своего окна.

Он испытывал нервное переутомление, ночами даже тиканье часов на стене мешало ему уснуть. Надеясь побороть бессонницу, он стал по вечерам останавливать в доме часы.

Летом 1852 года у него замечены были явные признаки душевного заболевания. Его поместили в частную лечебницу на Песках, за Таврическим садом.

В один из первых осенних дней друзья-художники Бейдеман и Жемчужников решили его навестить. Купили по дороге яблок. Уже смеркалось, когда они вошли в грязный двор лечебницы. Накрапывал дождик. Их встретил Коршунов, он был предупрежден об их посещении и ждал у ворот. И уже со двора они услышали безумный крик Федотова...

Коршунов провел друзей больного к чулану под лестницей, где Федотов был заперт. Крики прекратились, и Коршунов открыл дверь ключом, зажег свечу. Павел Андреевич стоял в чулане обритый, босой, в смирительных кожаных рукавах. Припадок кончился.

Он узнал друзей, они горячо с ним расцеловались. Он жадно ел яблоки из рук Бейдемана, жаловался на дурное обращение («Его били в пять кнутов пять человек, чтобы усмирить, — рассказывает в воспоминаниях Жемчужников. — Такая была варварская метода лечения в те трудно забываемые времена»). «Сквозь самое безумие ярко блестел обширный ум его», — вспоминал потом Бейдеман. Но вот начался новый припадок, и, потрясенные всем увиденным, друзья должны были удалиться. Коршунов запер чулан, потушив свечу и оставив безумца в темноте. Федотов рычал и грыз решетку...

Потом его перевели в больницу Всех Скорбящих. В минуты просветления он рисовал. Два листка с его рисунками попали в руки к Жемчужникову, который верно подметил: «...лица, им нарисован-

ные, как например император Николай Павлович, собственный портрет самого Федотова и пр., настолько похожи, что можно сразу узнать их; но все они имеют вид сумасшедших».

Федотов опух, пожелтел, голос его стал хриплым.

В начале ноября Павел Андреевич вдруг пришел в себя, сознание его прояснилось. И вот 13 ноября он обнял Коршунова, не покидавшего его в больнице ни на один день, и со слезами на глазах выговорил: «Видно, придется умереть». Он хотел проститься с друзьями: «Пусть пошлют за ними, пока есть время». Пойти за одиннадцать верст в город согласился больничный сторож, за это надо было дать ему на водку. Сторож взял деньги вперед.

Дойдя пешком до города, посланец первым делом завернул в распивочную, пропил полученные деньги, ввязался в драку, его отвели в часть, и там он провел ночь. Утром его отпустили. Протрезвевший сторож пошел по трем адресам, данным ему вчера.

Узнав, что Федотов при смерти, Бейдеман и Жемчужников сейчас же взяли извозчика и покатили на одиннадцатую версту. Когда они прибыли в больницу Всех Скорбящих, Павел Андреевич Федотов уже лежал мертвый на столе в покойницкой. Он ждал друзей, хотел, должно быть, перед смертью им что-то сказать... И не дождался.

В Николаеве Александр Пантелеевич Баласогло чувствовал себя совсем больным. С ним случались обмороки, он стал хуже видеть, причем иногда перед его глазами возникали и плавали пятна. Он страдал головокружениями и бессонницей.

В октябре 1852 года отправлялся в Одессу на несколько дней генерал Мердер, и Александру Пантелеевичу разрешено было сопровождать генерала в этой поездке. Он надеялся выяснить, нельзя ли подыскать себе в Одессе «частные занятия», то есть посильную службу у частных лиц.

В Одессе о его приезде была предупреждена полиция, за ним учредили строгий надзор. Кто-то объяснил Александру Пантелеевичу, что ему, как поднадзорному, для поступления на частную службу надо получить от властей «свидетельство в поведении».

Вернувшись в Николаев, он написал прошение адмиралу Берху: «...я вынужден для своего пропитания искать частных занятий, возможных при крайнем расстройстве моего здоровья, или приюта у благотворительных людей...» Попросил «свидетельства в поведении».

Берх написал ходатайство о назначении пенсии отставному надворному советнику Баласогло и отослал это ходатайство в министерство внутренних дел.

Ответ пришел почти год спустя. Новый министр внутренних дел Бибиков (тот самый, что ранее был киевским генерал-губернатором) писал: «...имею честь уведомить вас, милостивый государь, что как чиновник сей был под судом и... полного оправдания не получил, то министерство внутренних дел находит невозможным ходатайствовать об удовлетворении означенного прошения о пенсии».

В начале января 1854 года, в надежде подыскать себе занятия и

заработок, Александр Пантелеевич отпросился у адмирала Берха в Одессу. Он был отпущен на три месяца. Но рассчитывал, что, если там удастся подыскать место, трехмесячный срок можно будет продлить, а там, глядишь, и совсем остаться в Одессе.

Он захватил из Николаева свои рукописи — то, что успел написать за последние два года. Возможно, таил надежду что-то напечатать, зная, что в Одессе есть типография, издается «Одесский вестник»...

Три месяца в Одессе он безуспешно пытался определиться на службу.

«Одесский вестник» занят был сообщениями о военных действиях русских войск против Турции на Дунае. И о том, что союзники Турции в новой войне — Англия и Франция — ввели свои корабли через Босфор в Черное море...

Утром 8 апреля с одесского маяка была замечена вдали, в сильном тумане, эскадра английских и французских пароходов и парусных кораблей. Днем они стали на якорь в трех милях от берега. На следующий день выдалась ясная, солнечная погода, на море — полный штиль. Неприятельская эскадра приблизилась к городу, выстроилась в одну линию. За эскадрой наблюдали толпы людей с Приморского бульвара... К вечеру город был объявлен на осадном положении. Готовились к отражению неприятеля артиллерийские батареи. На улицах появились военные патрули, конные и пешие. Как вспоминает очевидец, ночью «чуть ли не ежеминутно слышались бряцание сабель, топот лошадей и мерные шаги пехоты. На площадях везде расставлены войска. Прохожих опрашивали обходы. Мало-мальски подозрительных лиц останавливали и даже арестовывали».

И как раз на минувшей неделе кончился разрешенный Александру Пантелеевичу Баласогло срок его пребывания в Одессе. При объявлении осадного положения его обязали немедленно вернуться в Николаев.

Изгоняемый полицией из Одессы, Александр Пантелеевич в совершенном отчаянии сжег свои рукописи... Он уже просто добивал сам себя.

В течение одного дня англо-французские корабли обстреливали Одессу, а потом ушли в открытое море.

Глава девятая

Жизнь хороша, когда мы в мире
Необходимое звено,
Со всем живущим заодно;
Когда не лишний я на пире...
А. Н. Майков

На рыжем пустынном берегу Каспийского моря выстроено было Новопетровское укрепление. Здесь, по жестокой воле императора Николая, отбывал солдатчину Тарас Григорьевич Шевченко.

В январе 1854 года он послал отсюда письмо в Оренбург другу своему, ссыльному поляку Брониславу Залесскому. Между прочим, писал: «...спасибо трем людям, теперь уже не в Петрозаводске,

которые знали меня лично и не забыли меня, а тому, что остался один из трех, посылаю сердечный поцелуй...»

Много лет спустя Бронислав Залесский так комментировал это письмо: «Желиговский, приехавший [в ссылку в Оренбург] из Петрозаводска на Онеге, рассказывал, что трое старых знакомых Шевченко много ему говорили о нем с большой любовью».

Одним из трех оставался в Петрозаводске в 1854 году Василий Белозерский — никак ему не удавалось оттуда вырваться. Одним из двух остальных, по всей видимости, был Александр Баласогло. Ничто не противоречит такому предположению. Личное знакомство Шевченко и Баласогло можем считать не только возможным, но и вполне вероятным, ведь у них до ареста были общие друзья: Бернардский, Рамазанов. И общий магнит — Академия художеств...

Кто подразумевался в письме третьим — неведомо до сих пор. Во всяком случае, не Андрузский, который был с Шевченко хорошо знаком, но с Желиговским не встречался. Ко времени приезда Желиговского в Петрозаводск Андрузский уже сидел в Соловецкой монастырской тюрьме.

Летом 1854 года несколько английских военных пароходов проникло в Белое море.

Из Архангельска на Соловки было прислано для защиты стен монастыря восемь шестифунтовых пушек, их установили на башнях и в амбразурах стен. Кроме того, монастырь уже имел ранее две трехфунтовые медные пушечки, они заряжались ядрами величиной с яблоко. Эти пушечки были установлены на берегу. В монастырских подвалах нашлось много старых, большей частью негодных ружей, а также бердыши и копья времен царей московских, покрытые вековой ржавчиной.

При монастыре была военная инвалидная команда в пятьдесят человек, призванная охранять тюрьму, где в то время содержалось двадцать пять заключенных.

Настоятель монастыря распорядился вооружить всех, кто мог носить оружие, монахов и работников-мужиков. Всех, за исключением арестантов. Когда же с одной из башен заметили в море два неприятельских парохода, вооруженных многочисленными пушками, настоятель, «дабы умножить способы к защите», сам пошел в тюрьму, «где содержались ссылаемые в монастырь на заключение, и, зная личные свойства каждого из них, предложил тем, на кого мог надеяться, участвовать в защите и тем загладить свою вину» (об этом рассказано в книжке «Подвиги Соловецкой обители», отпечатанной год спустя).

Неприятельские пароходы приблизились к соловецкому берегу.

Ультиматум англичан был отвергнут. Английские пушки начали обстрел монастыря, защитники Соловков отвечали пушечной и ружейной пальбой. Ружейные стрелки — одним из них был арестант Георгий Андрузский — засели в кустарнике на берегу, они должны были не допустить высадки неприятеля. Полуслепой Андрузский, вероятно, палил не целясь...

Два дня английские военные пароходы обстреливали соловецкий берег — и ушли, не решились высадить десант.

После этого настоятель монастыря направил в Петербург ходатайство об освобождении из тюрьмы тех заключенных, кои «с самоотвержением действовали против неприятеля», и Георгия Андрузского в их числе.

Осенью он был освобожден и отправлен в Архангельск под строгий надзор полиции.

Отличились в этой войне многие моряки, с которыми в разное время был в дружеских отношениях Александр Баласогло.

Его давний друг Василий Степанович Завойко, ныне губернатор Камчатки и контр-адмирал, организовал оборону Петропавловска. Когда к камчатскому берегу подошла англо-французская эскадра и попыталась высадить десант, Завойко встретил его артиллерийским огнем. Неприятель вынужден был отступить. Об этом широко сообщалось в газетах.

Но ни подвиги русских военных моряков, ни героизм защитников Севастополя не могли привести эту войну к победному концу.

Уже столько лет император Николай и его министры всячески стремились не допустить, чтобы государство российское двинулось по пути прогресса, и теперь огромный механизм царской империи оказался безнадежно изъеден ржавчиной.

Главнокомандующим в Крыму был поставлен бездарный царедворец, бывший начальник Морского штаба князь Меньшиков. Бездарен был и военный министр князь Долгоруков. Они не умели решительно действовать, они привыкли только тормозить.

Министр внутренних дел Бибиков рьяно преследовал вольнодумцев, но при нем беззаботно жилось ворам-интендантам и ворам-подрядчикам, по вине которых русская армия терпела бесчисленные лишения теперь.

В Николаеве эта война чувствовалась сильнее, чем в других российских городах (за исключением, конечно, осажденного Севастополя): через Николаев проходили в Крым войска, тащились интендантские подводы.

А в столице военное время не замечалось никак, внешне все оставалось по-прежнему.

Приближенные императора Николая замечали, что он резко постарел — запали глаза, обвисли щеки. По предписанию врачей император ежедневно, между восемью и девятью утра, совершал моцион в огороженном саду Зимнего дворца. Для сохранения статности фигуры он теперь носил на талии тугой бандаж, снимал его только на ночь и, расстегнув бандаж, случалось, падал в обморок.

В конце 1854 года Николай пребывал в своем загородном дворце в Гатчине. Вести о тяжелых военных неудачах в Крыму действовали на него угнетающе, он бывал совершенно подавлен.

Для него устроили спиритический сеанс — при вертящемся круглом столе. Император задал вопрос:

— Кто будет царствовать через пятьдесят лет?

— Русская борода, — ответил стол.

Такое предсказание вряд ли могло быть для царя достаточным утешением.

К рождеству он вернулся в Петербург. Месяцем позже серьезно простудился, но, скрывая недомогание, поехал в Михайловский манеж, где провел смотр гвардейским батальонам. На смотру его знобило, и он распек смотрителя манежа за то, что манеж будто бы нетоплен, — на самом деле там было достаточно тепло. Через день император слег. Положение больного быстро стало угрожающим, ночами у его постели дежурил лейб-медик Мандт.

На рассвете 18 февраля император не спал, и доктор приложил к его груди слуховую трубку.

– Sagen Sie mir, Mandt, muß ich denn sterben [скажите мне, Мандт, разве я должен умереть]? — спросил император, и голос у него сорвался, последнее слово — sterben — зазвучало на внезапной высокой ноте. — Что вы нашли вашим инструментом? Каверны?

Доктор, уже понимая, что больной при смерти, ответил:

— Нет, начало паралича.

Минут пять император неподвижно глядел в потолок, затем перевел взгляд на доктора и спросил:

— Как у вас хватило духу, имея такое мнение, высказать его мне так определенно?

По воспоминаниям Мандта, Николай выразился именно так, но, возможно, его слова Мандт записал неточно, сознательно их смягчив. По воспоминаниям доктора Гаррисона, со слов того же Мандта, император выразился несколько иначе:

— Как смогли вы набраться смелости приговорить меня к смерти и сказать мне это в лицо?

Видно, императора Николая особенно поразило, что вот уже доктор не испытывает перед ним должного трепета. Значит, действительно пришел конец.

Весь пафос, на который был способен Аполлон Николаевич Майков, прозвучал в его стихах на смерть царя: «Муж, божьей правды вечно полный», «России самодержец, который честь ее хранил...» И вот —

Он — пал!.. Он пал... язык немеет!
В испуге верить ум не смеет!..
Он пал во цвете сил, красы...

Многим не верилось, что царь умер естественной смертью: слишком она казалась внезапной. О его недомоганиях никогда не сообщалось, о предсмертной болезни сообщено было в последний момент, когда стало ясно: жизнь его не спасти. Распространился слух, что царь отравился, приняв яд из рук лейб-медика Мандта. От этого доктора отшатнулись его высокопоставленные пациенты, и он вынужден был уехать из России навсегда.

Так или иначе, могущественного императора не стало. «Для

России, очевидно, наступает новая эпоха... — размышлял на страницах своего дневника Никитенко. — Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная страница в истории русского царства дописана до конца».

И, значит, открывается новая, светлая страница в русской истории — множество людей, не мирившихся с деспотизмом самодержавия, уверовали в это теперь. По всей России ожидались перемены к лучшему, оживали старые надежды.

Пантелей Иванович Баласогло уже проникся сочувствием к сыну, не считал его сумасшедшим и сознавал, что за Александром нет никакой вины. Теперь он сам подал прошение адмиралу Берху. «Считаю последним священным долгом отца... — писал Пантелей Иванович, — просить принять в Ваше милосердное покровительство моего несчастного сына, исходатайствовать ему у монарших щедрот дарования способов для изыскания себе как возможных ему занятий в жизни, так и вообще средств к существованию и облегчению в его недугах, с дозволением предпринимать необходимые поездки... и освобождения от непосредственного надзора полиции... Я решился на это письмо в полной уверенности, что мой сын еще настолько здрав умом и силен духом, что, не греша перед собственной совестью, могу считать его совершенно способным управлять собою во всех могущих ему случиться новых испытаниях божиих и перенести удары рока, как прилично доброму христианину и честному человеку, каким я его всегда знал с детства...»

Выполняя эту просьбу, адмирал Берх послал свое ходатайство в Третье отделение. Обращаться прямо к царю, минуя Третье отделение, по-прежнему представлялось немыслимым.

Но граф Орлов ответил из Петербурга, что находит неудобным «входить по сему предмету с всеподданнейшим докладом, так как г-ну Баласогло оказана уже большая милость дозволением ему проживать и служить в месте нахождения его родителей».

Все же перемены в России надвигались — медленно и верно.

«Все радуются свержению Бибикова, — записал в дневник Никитенко, узнав об отставке министра внутренних дел. — Это был тоже один из наших великих государственных мужей школы прошедшего десятилетия. Это ум, по силе и образованию своему способный управлять пожарною командою...»

«Отчего, между прочим, у нас так мало способных государственных людей? — размышлял он далее в дневнике. — Оттого, что от каждого из них требовалось одно — не искусство в исполнении дел, а повиновение и так называемые энергические меры, чтобы все прочие повиновались. Такая немудреная система могла ли воспитать и образовать государственных людей?»

Теперь Никитенко решил воспользоваться влиянием своим на министра народного просвещения, чтобы обновить состав цензурного комитета. Вступить на должность цензора согласился Иван Александрович Гончаров. Никитенко с удовлетворением записывал в дневнике: «...сменяют трех цензоров, наиболее нелепых. Гончаров заменит одного из них, конечно с тем, чтобы не быть похожим на него».

Несколько месяцев тому назад Иван Александрович Гончаров вер-

нулся из долгого путешествия. Пропутешествовал он, правда, не вокруг света, как предполагалось вначале, а вокруг Африки и Азии. Когда наконец фрегат «Паллада» приплыл к дальневосточным берегам России, Иван Александрович сошел с корабля, сразу превратился, по его словам, из путешественника в проезжего и через всю Сибирь заторопился обратно, домой.

Теперь петербургские журналы печатали его превосходные очерки о путешествии.

В Петербурге стало известно, что заслуживший самую мрачную репутацию негласный «комитет 2 апреля» упразднен.

В Париж — вести переговоры о заключении мира — поехала делегация во главе с графом Орловым. А затем газеты сообщили: подписан трактат, знаменующий окончание войны.

В трактате был параграф о нейтрализации Черного моря, он произвел удручающее впечатление в Николаеве. Потому что царское правительство обязывалось держать на Черном море не более шести небольших военных кораблей. Это означало, что большинство черноморских моряков должно будет перейти на Балтику и покинуть свои дома в Николаеве; это означало, что прекратится строительство военных кораблей в николаевском адмиралтействе.

Газеты печатали сообщения о новых переменах в правительстве. Ушел в отставку министр иностранных дел Нессельроде, бесславно просидевший в министерском кресле сорок лет. Граф Орлов стал председателем Государственного совета. Шефом жандармов, на место Орлова, назначен был освобожденный от должности военного министра Долгоруков. А Леонтий Васильевич Дубельт никакого повышения не получил. И подал в отставку.

Правда, его отставка не была опалой. Царь Александр II разрешил ему каждую пятницу являться в Зимний дворец. Бывший управляющий Третьим отделением мог без доклада входить к его величеству во время утреннего чая. Как рассказывает биограф Дубельта, «государь всегда оказывал ему самый милостивый прием и удостоивал его продолжительными беседами и совещаниями о различных делах».

Однако волна перемен катилась дальше. Новый царь подписывал указы об амнистии и о возвращении дворянства многим осужденным при покойном царе Николае. Это было время, когда многие из Сибири и других мест ссылки возвращались домой. Многие, но не все. Так, отпущенный с каторги Петрашевский должен был оставаться в Иркутске на поселении...

Только в июле 1857 года смог вернуться из олонецкой ссылки в родную Киевскую губернию Виктор Липпоман.

Назначенный ему шестилетний срок ссылки окончился еще в марте 1855-го. Но это отнюдь не означало, что он может сразу же, никого не спрашивая, ехать домой. О том, что Липпоман просит разрешения вернуться на родину, тогдашний олонецкий губернатор письменно докладывал министру внутренних дел Бибикову. «Липпоман во время нахождения его в Олонецкой губернии, — писал губернатор, — вел себя хорошо.

Что же касается состояния его здоровья, то имею честь присовокупить, что он, Липпоман, изувечен и ходит с помощью костылей».

Когда-то, будучи киевским генерал-губернатором, Бибиков не колебался: отправлять дерзкого молодого человека в ссылку или нет. Теперь же, когда шесть лет жизни Виктора Липпомана были загублены и пришел срок отпустить этого калеку на костылях, Бибиков заколебался: отпускать или нет, — и переправил копию письма олонецкого губернатора графу Орлову.

Орлов ответил так: «Липпоман, находясь уже в Петрозаводске, оказался вновь виновным в списывании и хранении недозволенных стихотворений, вследствие чего высочайше повелено... усугубить за Липпоманом учрежденное за ним наблюдение. Таким образом, это последнее обстоятельство лишило уже Липпомана права возвращения его на родину через 6 лет... и, по настоящему положению политических дел, я полагаю оставить его в Олонце, впредь до приказания».

В итоге Липпоман вернулся домой не через шесть, а через восемь лет. О его возвращении был уведомлен департамент полиции: «...проживает в д. Рыбчинцах у своего родственника, помещика Липпомана; за прибывшим учрежден секретный надзор».

А менее чем через год, в мае 1858-го, киевский вице-губернатор извещал министра внутренних дел: «Сквирский земский исправник в рапорте от 27 минувшего апреля донес мне, что состоявший под секретным надзором, возвратившийся по всемилостивейшему прощению из Олонецкой губернии Виктор Липпоман, отлучась для приискания себе службы в г. Киев и отсюда в г. Житомир, там застрелился».

«С 1857 года в Николаеве построение судов почти прекратилось, — рассказывает один из современников, — одним словом, Николаев лишился той деятельности, которая создала его, чрез что он принял какой-то мертвый вид». Опустел рейд, моряков переводили с Черноморского в Балтийский флот, жители города стали разбредаться. На улицах появилось множество бездомных собак...

Летом этого года полицейский надзор за Александром Пантелеевичем Баласогло наконец был снят. Оставалось в силе только запрещение въезда в столицы.

Теперь он мог что-то зарабатывать: ему разрешили преподавать в штурманской роте. Мария Кирилловна со времени своего приезда в Николаев давала в частных домах уроки музыки и французского языка, теперь у нее возникла идея открыть в городе училище для девиц. Она стала хлопотать о разрешении.

Наконец-то получил разрешение покинуть холодный Архангельск Георгий Андрузский. И уехал домой, в Полтавскую губернию.

Уже могли жить в Петербурге возвратившиеся из ссылки Василий Белозерский и Эдвард Желиговский.

Теперь смог приехать в столицу, после долгих лет вынужденной отлучки, Тарас Григорьевич Шевченко. На другой день по приезде — в марте 1858 года — он навестил Белозерского. Тут его уже, конечно, ждали — вечером собрались друзья. Пришел и Желиговский. «Радостная; веселая встреча», — записал Шевченко в дневнике.

В один из майских дней Желиговский, Шевченко и Белозерский распили втроем бутылку шампанского за успех будущей польской газеты «Слово».

С января 1859 года газета стала выходить. Издавать ее взялась тесная группа петербургских поляков, объединенных давней и неизменной нелюбовью к царскому правительству. «Как создателем, так и душой газеты был Желиговский», — свидетельствует Бронислав Залесский. Но уже в конце февраля издание «Слова» было запрещено. За то, что газета поместила письмо польского историка Лелевеля. Само по себе это письмо не содержало ничего криминального, но старик Лелевель жил в эмиграции, считался государственным преступником уже почти тридцать лет... Издатель «Слова» Иосафат Огрызко был посажен на месяц в Петропавловскую крепость (правда, выпущен раньше срока). «Это первая жестокая мера по отношению к печати в нынешнее царствование», — записал в дневнике Никитенко. И добавил ниже: «Главный недостаток царствования Николая Павловича тот, что все оно было — ошибка. Восставая целых двадцать девять лет против мысли, он не погасил ее, а сделал оппозиционною правительству».

Запрещение «Слова» привело Желиговского к выводу, что в Петербурге ему нечего делать и незачем оставаться. Он уехал в родные края, в город Ковно, оттуда в Варшаву, а затем и за границу, во Францию.

С большим запозданием новый журнал «Архитектурный вестник» сообщил, что 18 ноября 1858 года в Тифлисе умер архитектор Петр Петрович Норев.

Когда-то, едучи на Кавказ, он, конечно, никак не думал, что ему уже никогда больше не возвращаться в Петербург. Он твердо намерен был оправдать доверие Академии художеств и составить проект восстановления древнего храма в Пицунде. Причем составить не кое-как, а с полным сохранением стиля этого сооружения.

Однако местные власти в Пицунде не желали ему помогать. Целый год он убил в бесполезных хлопотах, но не мог даже добиться доставки бревен для подмостьев. А через год ему прекратили выплачивать жалованье.

Он переехал в Тифлис. Там он занялся проектами строительства новых и восстановления старинных зданий. Мечтал издать свои многочисленные зарисовки кавказских архитектурных памятников... Но не успел.

Во время поездок по Грузии он схватил малярию и годами не мог от нее избавиться. Эта перемежающаяся лихорадка подточила его здоровье. Зрение у него ухудшалось, уже и в очках видел плохо, и за несколько дней до смерти он ослеп. В Петербурге о нем уже мало кто помнил.

Оба сына Александра Пантелеевича обучались в кадетском корпусе в Петербурге. Старшего сына, Володю, перевели сюда из Новгорода. Но летом 1858 года он был исключен из корпуса по состоянию здоровья и приехал в Николаев.

Он оказался свидетелем полного разлада в семье.

Совместная жизнь с Марией Кирилловной стала для Александра

Пантелеевича невыносимой. Невыносима была ее лживость, невыносимо ее враждебное отношение к тому единственному, что придавало смысл его жизни, — к его неистребимой страсти к сочинительству. Он ушел от жены и стал жить отдельно.

Сначала снял комнату в доме мещанки Пашковой. Но Мария Кирилловна не оставила его в покое, в ней закипела ревность, а семнадцатилетний Володя даже побил Пашкову — по наущению матери. Александру Пантелеевичу пришлось перейти с этой квартиры на другую. Старик отец, Пантелей Иванович, теперь уже целиком был на его стороне и считал, что Александр совершенно правильно поступил, уйдя от такой жены.

Мария Кирилловна пробовала жаловаться новому военному губернатору Николаева, контр-адмиралу Григорию Ивановичу Бутакову, но не встретила в нем сочувствия.

Смириться с уходом мужа она не желала никак. В марте 1859 года она по старой памяти написала жалобу в Петербург, в родное и близкое ей по духу Третье отделение.

Она, во-первых, просила перевести ее мужа из Николаева в Новгород (поближе к Петербургу) и определить его в Новгороде на службу. Далее писала: «Он оставил меня с детьми в чуждом для меня городе на произвол судьбы, сам живет на особенной квартире, завел оскорбительную для меня связь и поддерживает свое существование частными занятиями. Не перестает проповедовать свои противозаконные идеи... Здешний губернатор молодой человек... Мой муж знал его ребенком, и поэтому, может быть, из деликатности он не делает ему никаких замечаний или потому, что не желает выслушивать его дерзких возражений».

Мария Кирилловна должна была понимать; донося в Третье отделение о том, что муж ее «не перестает проповедовать свои противозаконные идеи», она подставляет его под удар...

Но Леонтий Васильевич Дубельт уже был в отставке и на его благосклонное внимание Мария Кирилловна теперь не могла рассчитывать. Новый шеф жандармов князь Долгоруков послал контр-адмиралу Бутакову письменное предложение проверить донос.

Бутаков в свою очередь поручил проверку доноса полицмейстеру и начальнику николаевской жандармской команды.

В июне оба представили свои рапорты. Полицмейстер сообщал, что Баласогло, «вследствие неоднократных семейных с женою его ссор, точно живет на отдельной квартире; но кто более из них в этом виновен, сказать трудно, даже невозможно положительно узнать, впрочем полагать должно — по несходственности в характерах, ибо жена Баласогло ревнива и имеет неспокойный характер, а он вспыльчив и раздражителен; относительно преступной будто бы связи с подозреваемою ею женщиной, то это есть клевета; самое же подозрение породилось от ревности, по кратковременному его квартированию в доме николаевской мещанки Пашковой, которая поведения хорошего и которую она не только очернила, но и нанесла ей лично обиды, а сын даже побои, о чем в Одесской части производится следствие. О распространении будто бы

Баласогло вредных идей до сих пор еще никаких слухов не доходило, а напротив того — он преподает в Черноморской штурманской роте историю и географию, следовательно если бы замечена была какая-нибудь неуместная или вредная выходка, то ему в то же время было бы отказано в преподавании».

Жандармский начальник в рапорте сообщал, что Баласогло живет теперь «в доме караима, где, по крайней бедности своей, довольствуется одною комнатой и содержанием из дома своего отца... а между тем он, Баласогло, около пяти раз [в неделю] является на квартиру жены своей и преподает там уроки малолетним девицам, которых воспитывает жена его, не получая от нее платы, а единственно чтобы улучшить ее средства к жизни... Донос сделан женою Баласогло, которая желает принудить его жить с нею, а для того вознамерилась отдалить его от отца и чтобы он был сослан на жительство в другой город».

Получил Бутаков еще один рапорт — от управляющего штурманской ротой генерал-майора Манганари. В этом рапорте было сказано, что Баласогло «преподает историю, в которой имеет очень хорошие познания, а географию не преподает. В распространении же вредных идей не замечен».

Прочитав все эти рапорты, Бутаков написал в Третье отделение князю Долгорукову: «Полученное Вашим сиятельством сведение... не заслуживает внимания».

Так что, к огорчению Марии Кирилловны, донос ее никаких последствий не имел.

Она стала снова хлопотать о разрешении ей открыть в Николаеве училище для девиц. Не дождавшись разрешения, решила уехать с сыном и дочерью в Петербург. В тот самый день, в феврале 1860 года, когда она садилась в сани, чтобы отправиться в путь, ей принесли разрешение на право преподавания наук в Николаеве. Но она уже не захотела оставаться.

В Петербурге Мария Кирилловна с детьми остановилась в доме своих сестер на Широкой улице.

Первого марта она послала письмо Михаилу Александровичу Языкову: сообщала о своем приезде и просила оказать ей возможную помощь. Должно быть, она уже слышала, что в Петербурге недавно создано «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым» — Литературный фонд.

Языков решил ее навестить.

Об этом своем визите он рассказал в письме Павлу Васильевичу Анненкову, который тогда был членом комитета Литературного фонда. Сообщил о бедственном положении госпожи Баласогло. О том, что она надеется старшего сына «определить в университет, согласно его желанию. Дома он занимается теперь преимущественно, как он мне сам говорил, языками, т. е. переводами с французского и немецкого, с целью вырабатывать деньги». Дочерей госпожа Баласогло надеется определить «в какое-либо казенное заведение». Старшая дочка, пятнадцатилетняя Оля, кривобока и временами страдает болями в боку. «Сама же мать... хотела бы исходатайствовать себе какую-нибудь небольшую пенсию и

давать уроки в музыке». Она сказала Языкову, что муж ее, слабый здоровьем «и притом поврежденный в уме, остался в Николаеве на попечении своего престарелого отца...».

Она скрыла от Языкова, что Александр Пантелеевич преподает в штурманской роте, ибо тогда Языков усомнился бы в правдивости ее рассказа о муже, «поврежденном в уме»...

В письме к Анненкову Языков припоминал: «Сам г. Баласогло, до приключившегося с ним несчастья, очень ревностно занимался литературой... был одним из самых скромных и честных тружеников, что, конечно, подтвердят знавшие его братья Майковы, А. А. Краевский, С. С. Дудышкин, И. А. Гончаров и прочие...»

Глава десятая

Под средневековóе иго
Уже не клонится никто,
И хоть пред нами та же книга,
Но в ней читаем мы не то,
И новый образ пониманья
Кладем на старые сказанья.

Вл. Бенедиктов
«Борьба» (1859)

С лета 1857 года в Петербурге, да и по всей России, в домах людей образованных тайно читали и передавали друг другу новую газету «Колокол». Ее начал издавать в Лондоне Александр Иванович Герцен.

Герцен получал множество писем из России — самых разных. Ему сообщали новости и сенсационные разоблачения, его приветствовали, с ним спорили, на него обрушивали град обвинений — в письмах было все.

На осуждающее письмо одной русской дамы он отвечал на страницах «Колокола»: «Вы говорите, что я браню все на Западе, царей и народы, браню все в России — без различия *сана и лет*... Что касается сана и лет — это мы отложим в сторону; лета только тогда достойны уважения, когда они служат доказательством не только крепости мышц и пищеварения, но и человечески прожитой жизни... бывали и на Руси старцы, которых все уважали... у нас и теперь есть наши *старцы* Сибири, наши *старцы* каторжной работы, и мы перед ними стоим с непокрытой головой. Но уважать эти седые пиявки, сосущие русскую кровь, этих николаевских писцов, ординарцев... оттого что их смерть не берет и они, пользуясь этим, сделались какими-то мозолями, мешающими ступить России шаг вперед?.. Если взять табель о рангах и прочность желудка за меру уважения, где же поставим границы ему? Эдак мы дойдем лет через пять до уважения Дубельта...»

И ведь, наверно, Дубельт эти строки читал. Еще несколько лет назад он говорил о Герцене с ненавистью: «У меня три тысячи десятин жалованного леса, и я не знаю такого гадкого дерева, на котором бы я его не повесил!» И повесил бы! Да вот руки оказывались коротки.

В июне 1860 года Герцен в «Колоколе» вновь неуважительно и насмешливо помянул Дубельта, задаваясь вопросом: какой бы титул стоило дать Леонтию Васильевичу? А вот какой: «князь Дубельт-*Филантропский!* Он в апреле месяце нынешнего года даже императрицу тронул

своим попекательством о каких-то бедных девушках (зри «Московские ведомости»). Он и прежде был страшный филантроп; и тоже по части бедных девушек, воспитывавшихся в театральной школе Гедеоновым [директором императорских театров] и им».

«Молчание кругом, подобострастное исполнение, подобострастная лесть приучают у нас самых дельных людей к страшной необдуманности, к безграничной самонадеянности и в силу этого вовлекают их в большие ошибки» — так высказался однажды Герцен, имея в виду Муравьева, генерал-губернатора Восточной Сибири.

А ведь Муравьев был действительно незаурядным человеком, умным, энергичным, деятельным. По Восточной Сибири он исколесил не одну тысячу верст, добирался до Камчатки.

Чиновную бюрократию Муравьев презирал. Подчиненных своих делил на две категории: нужных и ненужных. Нужных всячески поддерживал, ненужных изгонял. И при этом не церемонился.

В течение нескольких лет он всемерно содействовал капитану Невельскому, который вопреки петербургской инструкции плавал к устью Амура и поднял там русский флаг и установил, что Сахалин — остров, а не полуостров, как считалось до сих пор. Но независимый характер Невельского не нравился восточно-сибирскому генерал-губернатору. И вот уже Муравьев послал в Петербург великому князю Константину Николаевичу письмо: «Невельской здесь теперь вовсе не нужен, ни на Амуре, ни в Иркутске; я принял на себя смелость представить об отчислении его — он выслужил узаконенные сроки и контр-адмирал». И контр-адмирала Невельского отозвали в Петербург. По одному из позднейших писем Муравьева видно, как он был раздражен «сумасшедшим Невельским»...

Когда освобожденные с каторги по амнистии Петрашевский и Спешнев прибыли в Иркутск на поселение, Муравьев пригласил их побывать в его доме. Он вообще не шарахался от политических ссыльных, видел в них энергичных и полезных людей. Вскоре Муравьев поручил Спешневу редактировать «Иркутские губернские ведомости». Никакой другой генерал-губернатор не решился бы доверить редакцию газеты ссыльному, не имевшему к тому же и самого малого чина...

И Петрашевскому, и Спешневу еще не было сорока лет. Петрашевский уже сильно облысел, обрюзг, у него отросла большая, апостольская борода. Спешнев тоже носил бороду, в ней видна была преждевременная проседь. Теперь он был очень сдержан и молчалив. Один иркутский купец рассказывал: «Спешнев — в некотором смысле философ, решивший, что все делается потому, что так должно делаться — скверно ли, хорошо ли, но ничего иначе быть не может». Поэтому он уже не лез на рожон. Как редактором газеты генерал-губернатор был им весьма доволен.

А Петрашевский очень скоро стал Муравьева раздражать. Потому что не смирялся и не считал своим долгом соглашаться с генерал-губернатором всегда и во всем. Муравьев же, как вспоминает один из его тогдашних подчиненных, «быстро менял милость на гнев, как только кто-либо позволял себе осуждать те или другие принимаемые им меры».

Весной 1859 года Муравьев — теперь уже по царскому указу граф с двойной фамилией Муравьев-Амурский — отправился с дипломатической

миссией в Японию. Правителем путевой канцелярии он взял с собой Спешнева. И вот ссыльнопоселенец Спешнев ехал за границу, в экзотическую страну, — благоволение Муравьева он должен был оценить...

В отсутствие генерал-губернатора в Иркутске произошло мрачное событие: стрелялись два чиновника, причем одного из них стреляться вынудили, он-то и был убит. Петрашевский открыто заявлял: это не дуэль, а убийство. Убийца уверен в своей безнаказанности, потому что пользуется покровительством Муравьева. Такова истина!

Вице-губернатор Корсаков приказал немедленно выслать Петрашевского из Иркутска, чтобы не мутил воду. Куда? В Енисейскую губернию!

Не по решению суда, а по явному произволу властей выслан из Иркутска Петрашевский, об этом сообщалось в тайном письме в «Колокол». И вот уже Герцен в «Колоколе» задавал вопрос: «Неужели прогрессивный генерал-губернатор не понимает, что вообще теснить сосланных гнусно, но теснить политических сосланных времен Николая, т. е. невинных, преступно?»

Муравьев, разумеется, на такие вопросы не отвечал. Высылку Петрашевского из Иркутска он одобрил безоговорочно.

Позднее один из прежних сослуживцев Муравьева написал о нем: «Говорят, его считают красным. Плохо же различаются у нас цвета».

В начале 1861 года Муравьев уехал в Петербург и расстался с Сибирью навсегда. И увез с собой Спешнева, хотя тому еще не было разрешено приезжать в столицу.

Что ж Петрашевский? Он остался в глухом сибирском селе, в избе, где с низкого потолка сыпались тараканы и где он оказывался одинок и заброшен как никогда до сих пор.

В петербургской Академии художеств каждый год проводились выборы новых членов. Осенью 1860 года в числе новоизбранных академиков оказались Тарас Григорьевич Шевченко и Александр Егорович Бейдеман.

Оба они были почитателями Герцена: Бейдеман, будучи за границей, послал Герцену в подарок свой рисунок колокола; Шевченко передал отъезжавшему за границу Николаю Макарову (с ним его познакомил Белозерский) сборник своих стихов «Кобзарь» и попросил: «Передайте его Александру Ивановичу с моим благоговейным поклоном».

Бывшие кирилло-мефодиевцы начали издавать в Петербурге свой журнал.

С молодых лет они чувствовали себя единой группой, но теперь объединяло их, в сущности, только стремление возродить украинскую национальную культуру. Самым ярким среди них был Шевченко. Первоначально предполагалось, что редактором журнала будет Николай Макаров, но в итоге ему предпочли Белозерского. Хотя Белозерский, как и Макаров, литератором не был. Но, будучи состоятельным человеком, он мог сам как-то субсидировать издание.

Журнал назвали «Основой». Программу журнала составили в самых общих выражениях: «просвещение, уразумение общей пользы...».

Третье отделение не питало ни малейшего доверия к редакции «Основы». Особенно после того, как в июле 1862 года был арестован

младший брат Василия Белозерского Олимпий. Арестован потому, что побывал в Лондоне и не упустил возможности познакомиться с Герценом. В следственном «деле о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», Олимпий Белозерский занял самое незначительное место, но одиночной камеры в Алексеевском равелине все же не избежал.

Когда издание «Основы» уже было прекращено, на квартиру Василия Белозерского нагрянула полиция — с обыском. У бывшего редактора оказалось много всяких бумаг. Просмотр этих бумаг отложили на другой день, квартиру опечатали. Белозерский вместе с семьей вынужден был временно перебраться в гостиницу, с тревогой ожидал, что же будет... Нет, не обыска он боялся — он был слишком осторожен, чтобы хранить недозволенное, — но мало ли за что могут привлечь... Может, брат Олимпий сказал на следствии что-то лишнее... Неужели все пережитые мытарства начнутся сначала?.. Из гостиницы Василий Белозерский послал записку Анненкову: «...Ради моей жены и семьи употребите свое доброе участие в мою защиту. Уверяю Вас всем для меня святым, что я ничего не сделал, не написал сколько-нибудь преступного; что я не принадлежал и не принадлежу ни к какому тайному обществу, что я не имел никаких преступных связей... Я опасаюсь, что, вместе с обыском, меня арестуют».

Опасения оказались напрасными — его не арестовали. При обыске ничего компрометирующего, конечно, не нашли. Однако ему было объявлено, что он должен оставить службу — а служил он в канцелярии Государственного совета.

Белозерскому предложили небольшую должность в Варшаве, и пришлось ему покинуть Петербург.

Мария Кирилловна Баласогло получила пособие — двести рублей — от Литературного фонда. Должно быть, при содействии Языкова и Анненкова вышло второе издание книжки «Буква Ѣ», скромный доход от этого издания предназначался в пользу семейства автора.

Мария Кирилловна просила пособия также в Третьем отделении, но прошли времена, когда Леонтий Васильевич давал ей по три сотни. Теперь ей тут выдали на бедность десять рублей, и все. Она подала прошение «на высочайшее имя». Случилось так, что одновременно подала такое же прошение вдова художника Антонелли, мать известного доносителя. Царь соблаговолил выдать им обеим по сто рублей.

О приближенных императора Николая, что оставались у власти после его смерти, поэт Федор Иванович Тютчев однажды сказал, что они напоминают волосы и ногти, продолжающие расти на трупе.

Весной 1861 года умер, дожив до старческого маразма, уже не граф, а царской милостью князь — Алексей Федорович Орлов. Он вышел в отставку незадолго до смерти. Перед самой его отставкой к нему однажды явился управляющий делами комитета министров Валуев и был поражен изменившейся внешностью старика. «Взгляд по временам прежний, в другие минуты блуждающий, нерешительный, как у сумасшедшего или онемелого», — записал в дневнике Валуев. Последние же

месяцы перед своим концом бывший могущественный шеф жандармов, по рассказу Валуева, «находился в состоянии, которое можно назвать животным в полном значении этого слова. Он молчал, ползал на четвереньках по полу и ел из поставленной на полу чашки, как собака».

Годом позже скончался и многолетний его соратник по Третьему отделению Леонтий Васильевич Дубельт. Газета «Русский инвалид» напечатала некролог. «Имя генерала,—говорилось в некрологе,—конечно, известно многим вследствие его обширной и разнообразной деятельности. Мы слышали, что покойный генерал оставил после себя любопытные мемуары. Очень жалеем, что не можем сообщить теперь читателям описание его поучительной и не лишенной интереса жизни».

Плакала ли Мария Кирилловна, узнав о его смерти, не знаем. Она продолжала обивать пороги Третьего отделения. Там этой назойливой просительнице посоветовали искать заработка, она выразила готовность, и ее устроили в семью одного чиновника—няней. В этой семье быстро оценили ее по достоинствам и выставили за дверь. Отец семейства написал возмущенное письмо рекомендателям из Третьего отделения: «...из жалости к бедности г-жи Баласогло, которой муж, попавшийся в деле Петрашевского, сошел с ума, взяв ее в дом в качестве няни при трех наших малютках, мы и не воображали, до какой степени притворства может дойти женщина, испытанная, кажется, всевозможным горем!.. Бестолковость ее в обхождении с детьми, наклонность к дрязгам, ссорам с людьми... Ни единому слову поверить нельзя: все притворство и все ложь!»

А каково было ее мужу, который прожил с ней много лет...

В Николаеве уже не считали его сумасшедшим, а в Петербурге репутация сумасшедшего за ним укрепилась: слухи, первоначально исходившие из Третьего отделения, ныне подтверждала его жена. Для нее это было удобным объяснением, почему она с ним не живет, и, кроме того, усугубляло сочувствие к ее несчастной судьбе, а значит, повышались шансы на получение какого-либо пособия.

Бумаги Александра Пантелеевича за весь период его жизни в Николаеве не сохранились, так что мы не знаем, получал ли он письма от своих давних петербургских друзей. Возможно, и не получал: кто же станет переписываться с сумасшедшим...

После нескольких лет омертвения и запустения город Николаев оживился летом 1862 года, когда в устье Ингула был открыт коммерческий порт. Сюда потянулись по степи вереницы возов с зерном. «Но устройство порта было самое несчастное, самое деревенское,—рассказывает один из николаевских жителей.—Нагрузка хлеба совершалась у одной деревянной пристани... Во время нагрузки хлеба широчайшие николаевские улицы буквально запруживались к околице порта подводами и людьми... Оборванный босяк, не имевший и шапки, с одним лишь кнутом в руке выходил на биржу и зарабатывал в день до 8 рублей. А кто выходил с пароконной подводой, зарабатывал в день до 30 рублей. Население окольных деревень со всеми своими повозками проводило дни на улицах Николаева. Большая половина этих неслыханных заработков тут же пропивалась. Босяк без шапки быстро преображался в франта с часами и цепочкой. С фуляровым платком в одной руке и таким же в

другой, с гармонией, ложился этот франт в фаэтон и, горланя, разъезжал по улицам от трактира до трактира, пока не превращался опять в прежнего босяка без шапки. Буйство, драки, грабеж, убийства, стон, рев стояли в воздухе днем и ночью в течение всей навигации».

В здании закрывшейся Черноморской штурманской роты в Николаеве теперь была открыта мужская гимназия. Преподавателем в эту гимназию Александра Пантелеевича не пригласили. Ему оставалось пробавляться частными уроками, весьма немногими, это давало лишь самые скудные средства к жизни.

Престарелый отец его уже вышел в отставку.

Весной 1863 года Александр Пантелеевич получил письмо от жены с обычными жалобами. Но, кроме того, она писала, что нынешний управляющий Третьим отделением Потапов в ответ на ее просьбы о муже посоветовал: пусть муж подаст прошение местному начальству в Николаеве о своем переводе в Петербург.

Подобный совет никак не вязался с объявленным ему запрещением въезда в столицу. Поколебавшись, Александр Пантелеевич все же написал такое прошение и передал его вице-адмиралу Глазенапу, новому военному губернатору Николаева. Просил Глазенапа написать Потапову, «возможно ли основываться на том, что прописывает мне моя жена», и добавлял, что, если разрешение на приезд в столицу будет получено, он, Баласогло, все равно не сможет выехать: нет денег на дорогу. И неоткуда взяться деньгам, если только военный губернатор не найдет возможным «изыскать средства к дарованию мне, — писал Баласогло, — способов предпринять путь в Петербург, где меня ожидает хворая жена и дети, нуждающиеся в самом необходимом, и где мне будет предстоять столько хлопот, чтобы получить себе хотя ту ничтожную пенсию, которую я должен буду отдать всю своей жене и детям, не имея для себя собственно опять-таки решительно ничего верного на остаток своих дней на земле!»

Глазенап отнесся к нему сочувственно и послал письмо в Петербург, в департамент полиции, с просьбой оказать содействие Баласогло «исходатайствованием ему права на пребывание в Петербурге и на пенсию». Прошло еще полгода, и наконец департамент полиции известил Глазенапа, что его величество соизволил разрешить Баласогло вернуться в Петербург.

Однако воспользоваться долгожданным разрешением Александр Пантелеевич не мог. Безденежье оказывалось невылазной ямой. В пенсии отказали и на этот раз (ранее контр-адмирал Бутаков также ходатайствовал о пенсии Баласогло, и также безуспешно).

Начала издаваться газета «Николаевский вестник», и, можно сказать, в городе как-то пробудилась умственная жизнь. Газета поднимала завесу над неприглядной картиной действительности. Так, «Николаевский вестник» сообщил, что в городе на сорок тысяч жителей число питейных заведений достигло четырехсот. «Сколько трагических сцен происходило по ночам на широких и темных улицах Николаева... едва ли сотая часть этих мрачных событий передавалась к общему сведению посредством

печати. И в настоящее время небезопасно ходить ночью по нашим улицам без какого-нибудь орудия для защиты своей личности от покушений ночных бродяг». Только две главные улицы освещались газовыми фонарями, на остальных не было никакого освещения.

У Александра Пантелеевича украли единственную дорогостоящую вещь, какую он имел, — его шубу. А из дома его старых родителей утащили среди прочего сундучок, в котором мать его хранила письма сына за много лет...

В первый год своего издания — 1864-й — «Николаевский вестник» был живой и, пожалуй, прогрессивной газетой. На его страницах появлялись такие призывы: «Правды! Правды! Правды! Правды в науке, правды в искусстве, правды в мыслях и делах, правды в целой жизни. Вот голос, который раздается в сердцах всех людей, жаждущих выйти из фальшивой колеи, по которой до сих пор брело наше существование...»

Промелькнула в «Николаевском вестнике» и такая заметка: «В наш скептический век установилось мнение... что всякий человек должен мыслить самостоятельно (легко ли!), а не жить чужим умом, как выражаются. Спорить-то против этого никто не станет, а много ли между нами самостоятельных мыслителей?.. Субъекты, которым

Что... книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет,

не редкость...»

Однако только в первый год издания «Николаевский вестник» позволял себе призывы открыто говорить правду и думать собственной головой. Потом газета как-то незаметно завяла и обесцветилась, на страницах ее воскрес давно знакомый казенно-канцелярский стиль.

Глава одиннадцатая

Может быть, кто-нибудь хоть что-нибудь да извлечет из наших исцарапанных клочков бумаги?

Александр Баласогло
«Обломки»

Шел 1866 год...

«Сегодня, 4 апреля, в четвертом часу пополудни, когда государь император после обычной прогулки в Летнем саду садился в коляску, неизвестный человек выстрелил в государя из пистолета. Провидение сохранило особу государя. Преступник схвачен, ведется расследование» — таково было ошеломляющее сообщение «Санкт-Петербургских ведомостей».

«Какой ужас! индо мозг перевернулся, — записывал в дневнике князь Одоевский, находившийся тогда в Москве, — ...рассказывают, что пистолет был отведен проходившим случайно мужиком. А если б он тут не *случился?!* Что же делала полиция? Неужели ее агенты не следят за государем? Когда гулял Николай Павлович — до десятка переодетых полицейских не спускали его с глаз».

Через четыре дня после покушения в петербургском Мариинском театре показывали оперу «Жизнь за царя». Представление неоднократно прерывалось исполнением гимна, весь зал пел «Боже, царя храни». После первого действия на сцену вышел с разрешения дирекции Апол-

лон Николаевич Майков и прочел свое новое стихотворение «4 апреля 1866 года». «Кто ж он, злодей?» — вопрошал поэт. И далее:

Кто ж он? Откуда он? Из шайки ли злодейской,
Что революцией зовется европейской,
Что чтит свободою — одну свободу смут...

Публика проводила Майкова со сцены шумными рукоплесканиями.

В тот же самый вечер царь был в Александринском театре на спектакле, составленном из легких водевилей. Майков из Мариинского театра поспел в Александринский и там также читал со сцены те же стихи — уже в присутствии царя.

И здесь тоже пели «Боже, царя храни».

В сентябре молодой человек, стрелявший в царя, — Дмитрий Каракозов — был повешен.

На листах «Колокола» появилась статья Герцена под заголовком едким и горьким: «Порядок торжествует!» Герцен писал, что все реформы нового царя «были не только неполны, но преднамеренно искажены. Ни в одной из них не было той шири и откровенности, того увлечения в разрушении и созидании, с которым ломали и создавали великие люди и великие революции...

Те, которые надеялись, озлобились на не исполнившего надежд. Первая фанатическая, полная мрачной религии натура схватила пистолет...

Вспомним, что было при Николае... и не при нем ли началась та вулканическая и кротовая работа под землей, которая вышла на свет, когда он сошел с него?

В прошлое пятилетье мы немного избаловались, пораспустились, забывая, что нам были даны *не права, а поблажки*».

• В таежном селе Бельском Енисейской губернии 7 декабря 1866 года скоропостижно скончался ссыльнопоселенец Буташевич-Петрашевский. Хоронить его было некому, труп целый месяц (по другим сведениям — два месяца) лежал в «холоднике», а затем был зарыт вне кладбища, ибо умер Петрашевский без покаяния. Только в январе о его смерти сообщили «Енисейские губернские ведомости» и только в конце февраля — «Санкт-Петербургские ведомости». Предельно кратко, без траурной рамочки — несколько строчек мелким шрифтом.

Уже много лет жил в Николаеве Александр Пантелеевич Баласогло, оторванный от мира, где происходили большие события, где издавали журналы, путешествовали по разным странам, собирались в тайные общества, стреляли...

Что оставалось делать ему, больному, издерганному, нищему, в одиночестве беспросветном?

«Вместо прежних стремлений в дальние назначения, — печально писал Баласогло, — мы осваиваемся с одною, уже неразлучною мыслью: нельзя ли, не попавши целую жизнь никуда, все-таки быть полезным, для своих и чужих, хоть чем-нибудь на свете?.. Правда и то, что и мы таки как-то все было *просбирались*... Да, дело в том, что прохворали, да протосковали, да прождали...»

Он уже не надеялся, что какой-либо журнал заинтересуется его тру-

дами. Остается, думал он, «снаряжать, сколачивать в море свою посудину на свой страх и отвагу...». А что, если собрать сумбурные свои записи — кое-что ведь накопилось за последние годы, — да и попытаться напечатать отдельно «все то, что хоть кажется одним нам самим стоющим этой чести?.. Когда буря рвет паруса, ломает рангоут, мечет обломки на берег — возможно ли тут думать о каком бы то ни было порядке?.. Человек отдается в таком случае на произвол самой природе!.. Неси, что хочешь и куда хочешь!.. Только неси, матушка! да выкидывай на берег!! А там уж — что ни будь, то себе и будь!!

Выдыбай нас, боже!

Поборай за нас, морской бог — Николай Угодник!!!

Наша отдельная жизнь, как бы она ни была потрясена, нейдет тут в расчет ни на волос! Тут, как вы поняли, речь идет только о том, чтобы спасти с разбитого корабля все, что возможно... Так что же прикажете спасать? что вышвыривать?.. Отдельные листы, на выхват, нашарап, из шканечного журнала?..

«Да! да! да!.. Вот это так — так!!. Скоро будет гласный суд — так оно, того, пригодится!.. Подавай что-нибудь еще!!.»

Да ведь это наши частные письма, маранья, проекты, записки, вздор!!.

«Давай, давай сюда!.. Этого-то нам и нужно!..»

И тут матрос — бултых! — в море — целый сундучище с бумагами!.. Без замка!.. Тальпандается!.. Крышка хлопает!.. А ветерок так и уносит: то листок, то клочки, то целые тетради!!.»

В июне 1869 года Аполлон Николаевич Майков получил письмо.

«Постоянное участие, которое вы принимали в нашем семействе, дает мне смелость обратиться к вам», — писал ему Владимир Баласогло. И рассказывал далее, что в свое время поступить в университет ему не удалось, пришлось идти в Константиновское артиллерийское училище. Оставленный в Петербурге по окончании училища, он попал в Охтинское капсюльное заведение. В апреле минувшего года там взлетел на воздух один барак с гремучим составом, причем убило на месте четверых. «Я был свидетелем этого, — писал Владимир Баласогло. — Вы, верно, слышали об этом взрыве?.. Вскоре за тем, а именно 2-го мая, я находился в кладовой с двумя рабочими при пересыпке капсюлей, которых было до 1 пуда; все эти капсюли вспыхнули у нас в руках, и мы едва успели выбежать с основательно спаленными физиономиями, руками и платьем. От этой обжоги я проболел до сентября. Когда раны все зажили (они вообще были неглубоки), я опять отправился в свою мастерскую... У нас произошел опять взрыв, причем убило одного человека и разрушило один барак. В это время я находился в другом здании, но стоял у окна... окно раскрылось или разбилось, не помню, и сотрясение воздуха было так сильно, что мне показалось, что все вокруг меня разрушается... с того достопамятного дня я обратился в самого жалкого труса... на днях мне поручили везти 3500 пудов пороха в Свеаборг... я насилу отделался от этой комиссии. Теперь я вижу ясно, что должен бросить военную службу... Я прошу вас рекомендовать мне какое-либо место по штатским делам или даже частное место... Если вы

помните моего отца, то я должен вам сказать, что унаследовал многие черты его характера, и в усидчивости и любви к труду, пожалуй, не уступлю ему, но главная разница между нами та, что он, говорят, имел сильную волю, а я весьма малодушен: неудачи приводят меня в отчаяние, и в большинстве случаев я раб обстоятельств... я малодушен и слаб духом по сравнению с отцом, который не менял так легкомысленно своих *решений*. В последнее мое свидание с вами (в 1861 году, если не ошибаюсь) я застал вас больным, но я заметил, что вы с удовольствием вспомнили моего отца, из чего я заключил, что, вероятно, в прежние годы вы во многом друг другу симпатизировали, хотя, на мой взгляд, в характере отца было гораздо больше страстности, чем той детской восприимчивости нервной системы, соединенной с недетским пониманием вещей, которая главным образом характеризует настоящих поэтов... Мне, может быть, придется краснеть за это письмо, потому что я пишу его, сам хорошенько не понимая, насколько это прилично... Более всего, конечно, меня может огорчить ваше молчание, но, ради бога, не стесняйтесь и этим и не отвечайте на это длинное и глупое письмо, если найдете к тому причины, — это прибавит не очень много горечи в мою уже прогорклую жизнь».

Ответ Майкова на это письмо неизвестен. Так или иначе, с военной службы Владимир Баласогло не ушел. По призванию он был ученым, с юных лет увлекался энтомологией, вступил в Энтомологическое общество, стал ездить во время своих отпусков в научные экспедиции, некоторые открытые им виды жуков с тех пор носят его имя...

Александр Пантелеевич дождался жалкой пенсии — восемьдесят пять рублей в год. Он едва сводил концы с концами. Уже нигде не преподавал и не мог преподавать: был совсем больным и немощным.

В 1872 году умер, уже глубоким стариком, его отец.

В 1873-м до Николаева была достроена железная дорога. Теперь отсюда можно было поехать в Петербург на поезде — были бы деньги...

И не просто съездить в Петербург хотел бы Александр Пантелеевич, но привезти туда свои неопубликованные и хоть как-то завершенные сочинения. Не приезжать же ему, литератору, в столицу с пустыми руками...

В октябре того же года он решился еще раз обратиться письмом в Третье отделение, снова просить о возврате старых рукописей. Ждал, ждал, — когда же будет ответ?.. Нет, так и не ответили. Может быть, просто потому, что за давностью лет не могли отыскать эти рукописи в своем огромном архиве.

В мае 1874 года Баласогло послал письмо в Петербург Николаю Николаевичу Тютчеву, с которым всякие связи оборвались давным-давно. Ныне Тютчев был одним из членов комитета Литературного фонда.

«Теперь, как и в те дни, когда Вы снаряжали меня в путь, в *Петрозаводск*, — писал Александр Пантелеевич, — выдается столь же особый, как и роковой для моих дел случай в моей жизни... Отсутствие всяких денежных ресурсов отнимает и всякую отдаленную идею о том, чтобы рисковать хотя бы и на самую краткую отбывку из этого града моих

мучений в Ваш — некогда, и столь сердечно, мой — Петербург... Все-таки не отчаиваюсь завести здесь — коли не удалось в *Петербурге* — и не для одного своего пропитания... издательство...»

Далее в письме Александр Пантелеевич восторженно отзывался о новой книге Анненкова «Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху» и спрашивал: «Может быть, еще сохраняете все те дружеские отношения, в каких я Вас знавал... с бесценным по его слогу, остроумию, колориту описаний, какими я некогда был так пленен... когда читал впервые его путешественные письма из *Германии* в тогда не чуждые нам всем *«Отечественные записки»;* а теперь... может быть, даже и единственным писателем, который так всемирно тонко, университетски консеквентно, поэтически неотступно и беспримерно любовно понимает нашего *А. Пушкина...* доставляя время от времени столько неописуемых восторгов хотя бы только одному уму в целой нынешней «природе» — уму литератора, загнанного бурями на самое дно и на привязь глушайшей провинции, т. е. именно Вашему покорнейшему слуге...»

О самом существенном для него Александр Пантелеевич написал только в конце письма: просил Литературный фонд поддержать его просьбу в Третье отделение о возврате рукописей. И, если возможно, ходатайствовать о назначении ему хотя бы не столь нищенской пенсии, какую он получает ныне... С отчаянием вспоминал Александр Пантелеевич о своих рукописях, уничтоженных в Одессе им самим: «Где я их теперь добуду! Когда и после битые два-три года я не мог вспомниться и уравновеситься в самом себе и не только удосужиться, чтобы снова положить на бумагу хотя бы только наиважнейшие из них по памяти... Не хочу самосознательно быть, во второй половине XIX века, автором-самоубийцей или душегубом детей своей мысли!.. Пусть же лучше пролежат они в своем неисправном, неоконченном и отчасти ученическом виде до будущих времен, чем погибнут гуртом и бесследно!.. Невозможность же привести все это в надлежащий публичный и законченный вид для печати — о чем я только и думаю, возясь со всем тем, что намарано мною вновь и вновь, уже после войны, — постоянно меня мучит и бесит...» А между тем в Николаеве, писал Александр Пантелеевич, «меня хозяева квартир гоняют, как собаку, из одного мерзкого угла в другой...»

Николай Николаевич Тютчев написал председателю Литературного фонда Заблоцкому-Десятовскому: «Уезжая за границу, посылаю Вам, многоуважаемый Андрей Парфенович, письмо, только что полученное мною, для передачи в Литературный фонд, от старика Баласоглу, которого я считал давно умершим. Я встречался с ним в сороковых годах. То был честнейший, но бестолковый и полупомешанный идеалист и фантаст. Он издал как-то книжку о букве Ѣ; по поводу истории Петрашевского просидел более полугода в крепости, лишился там последнего равновесия характера, был выпущен с расшатавшимися нервами, признан невинным, выслан из Петербурга — и с тех пор бедствует... Посылаю все это на Ваше усмотрение».

Комитет Литературного фонда рассмотрел письмо Баласогло и решил: «Оставить без последствий, так как удовлетворение подобных ходатайств к обязанностям комитета не относится».

Когда Муравьев-Амурский навсегда уезжал из Иркутска, он оставил там среди прочих бумаг старую рукопись Баласогло «О Восточной Сибири» — она Муравьеву более была не нужна.

И вот в феврале 1875 года эту рукопись опубликовал журнал «Чтения в обществе истории и древностей Российских при Московском университете». Статья появилась без подписи, автор ее оставался неизвестен и тем, кто прислал ее из Иркутска, и редакции журнала...

В октябре того же года «Николаевский вестник» поместил объявление о выходе из печати в Николаеве книги А. Белосóколова «Обломки».

Это была, собственно, не вся книга, а лишь вступление к ней — «первый обломок», как сообщал автор. Он обращался к читателям: «Вы так, может быть, прочитаете и дождетесь *целой* книги...»

Книжечка вышла тиражом в триста экземпляров по цене двадцать пять копеек серебром. Таким образом, если только все экземпляры удалось распродать, за книжку было выручено всего семьдесят пять рублей; это, наверно, едва покрывало типографские расходы, так что автор не заработал решительно ничего. Продавалась ли книжка за пределами Николаева — неизвестно. Никаких отзывов в печати не появилось. Да и странно было бы рецензировать одно лишь вступление к некой обещанной автором *целой* книге. В этом вступлении были и обрывистые рассуждения автора о морской службе, и старая моряцкая байка, и туманные размышления о прочитанном, причем автор явно не договаривал до конца... Этот «первый обломок» сам выглядел грудой обломков, за которой угадывалась разбитая вдребезги жизнь.

Обещанная автором книга так и не вышла в свет...

И хотя прожил он еще семнадцать лет, об этих последних годах его жизни совершенно ничего неизвестно. Удалось только выяснить: умер он там же, в Николаеве, в 1893 году, 18 января по старому стилю. Умер старик на больничной койке — в Морском госпитале. Вот и все.

За годы его жизни в Николаеве должны были накопиться какие-то рукописи... Где они? Должно быть, никто ими не интересовался...

Он был при жизни прочно забыт, умер в совершенной безвестности, и, казалось, время навсегда стерло в памяти людской его имя, как миллионы других безвестных имен.

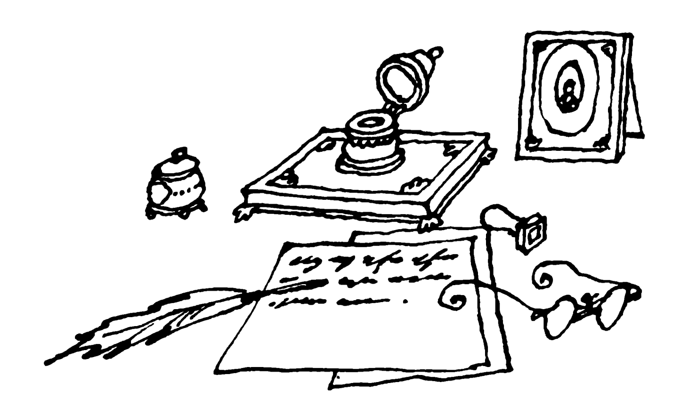
Когда человека давно уже нет на свете и никто о нем не помнит — как определить, прошла его жизнь бесследно или нет?

Если не видно следа, говорят: как вода в песок...

Но если вода уходит в песок, она не исчезла: ведь песок становится влажным. Потом его сушит ветер — ветер времени, скажем традиционно и чуть высокопарно, пусть так, — и воды в песке уже действительно нет, но она не исчезла совсем, она теперь в облаках, в тучах и, наконец, проливается на землю снова, чтобы зеленела трава и не сохли колодцы. И в этом торжество справедливости, которое существует в природе...

1971—1972

ВЫСОКАЯ ЛЕСТНИЦА



Глава первая

Незадолго до смерти своей Иван Сергеевич Тургенев написал поэту Якову Петровичу Полонскому: «*Никогда* ничего неожиданного не случается — ибо даже глупости имеют свою логику».

Не знаем, что ответил Полонский. В сущности, ответом была его собственная жизнь, полная противоречий — неожиданных, если глядеть со стороны. Но если вникнем — увидим, что в жизни поэта все имеет свою логику: взлеты и падения, житейская повседневность и музыка впервые зазвучавшего стиха.

На расстоянии прошедших лет, уже зная, что к чему привело, зная, как все началось и чем завершилось, мы можем ощутить в минувшем драматический сюжет и, главное, логическую закономерность всего, что в жизни поэта было существенно — для него и для нас, — всего, что сложилось не только из личного стремления наполнить жизнь высоким смыслом, но также из неумолимых обстоятельств, обусловленных ходом истории, который, как известно, называли и океанской волной, и жерновом, и ветром, и бог знает как.

Я хочу рассказать о судьбе поэта. Для меня важно, что был он не только талантливым, но, по единодушному свидетельству современников, светлым и добрым человеком. Иначе бы я и не взялся за перо.

Начнем не торопясь, издалека — с лета 1838 года. Представим себе, как на телеге, запряженной парой лошадей, долговязый юноша Яков Полонский добирался от Рязани до Москвы. Добирался почти двое суток.

Ямщик привез его на постоялый двор. В еще незнакомой ему столице юноша разыскал дом своей двоюродной бабушки — обычный одноэтажный дом с мезонином. В мезонине бабушка разрешила ему поселиться, сюда он внес дорожный чемодан и подушку — других вещей у него не было.

Он очень хотел поступить в университет и боялся, что не примут. Был он нетверд в математике и в языках: французском и латыни. В рязанской гимназии учился неважно, дома ему в учении мало чем могли помочь. Отец был мелким провинциальным чиновником, никто в семье образованностью не отличался.

И вот вступительные экзамены в новом здании университета, в большом зале с белыми колоннами.

Яков Полонский блеснуть познаниями здесь не мог. Все же его приняли! Приняли на юридический факультет. Правда, никакого

интереса к юриспруденции он не испытывал и, если бы сносно владел иностранными языками, предпочел бы словесное отделение философского факультета... Но согласен был и на юридический.

С радостью надел он студенческую форму: серую шинель с голубым воротником и треугольную шляпу.

Своих денег у него, разумеется, не было. Просить у отца, обремененного большой семьей, совестился. Но кормился Яков у бабушки, так что можно было жить и без денег. В университет ходил пешком. Зимой на улицах ускорял шаг, чтобы не мерзнуть в своей легкой шинели. «Я считал себя богачом,— вспоминал он много лет спустя,— если у меня в жилетном кармане заводился двугривенный; по обыкновению я тратил эти деньги на кофе в ближайшей кондитерской: в то время не было ни одной кофейной, ни одной кондитерской, где бы не получались лучшие журналы и газеты, которых не было и в помине у моей бабушки»,— и он не упускал возможности открывать для себя все то новое, что появлялось на печатных страницах. В первую очередь — новое в русской поэзии.

Яков Полонский и сам уже сочинял стихи. Он показывал их всем, кого ни встречал, и близко к сердцу принимал любые отзывы: похвальные, критические и насмешливые. Друзья-студенты о его поэтических опытах, конечно, знали. Ему запомнился случай: «В какой-то аудитории я сидел на одной из задних скамеек и уронил книгу. Когда я нагнулся поднять ее, кто-то из числа моих товарищей довольно громко произнес: «Поэт упал с подмостков». Это произвело легкий смех и сильно меня сконфузило...»

Но не каждый раз он забирался на заднюю скамейку и рассеянно, вполуха воспринимал, о чем говорилось на кафедре. С увлечением слушал Полонский лекции профессора Крюкова по древнеримской словесности и лекции профессора Редкина — читал он студентам энциклопедию права. Профессора эти отнюдь не были убелены сединами — обоим было едва за тридцать. «Студенты первого курса сидели ошеломленные,— читаем в воспоминаниях Полонского,— они и не мечтали о том, что есть науки, а не просто учебники... Студентам не только после каждой лекции разрешается возражать — от них желают самостоятельной работы мысли...»

Профессор Редкин говорил им:

— Милостивые государи! Покой есть смерть, беспокойство — жизнь!

Это запоминалось.

В лекциях своих он стремился существование бога доказывать логически, и это уже было ново для студентов, с детства приученных верить в бытие божие, не требуя доказательств. Теперь для них вера становилась темой философских размышлений. И далеко не всякий мог размышлять об этом спокойно, как о чем-то отвлеченном, что не затрагивает сути его собственного существования.

Еще на вступительных экзаменах Полонский познакомился с молодым москвичом, тоже поступавшим на первый курс университета,— Аполлоном Григорьевым. Оказалось, Григорьев тоже пишет стихи.

«В первые дни нашего знакомства,— вспоминал потом Полонский,—

он нередко приходил в отчаяние от стихов своих, записывал свои философские воззрения и давал мне их читать. Это была какая-то смесь метафизики и мистицизма...» От того и другого Полонский был далек. Его еще не терзали противоречия философские и религиозные. «Раз в университете, — пишет он, — встретился со мною Аполлон Григорьев и спросил меня: «Ты сомневаешься?» — «Да», — отвечал я. «И ты страдаешь?» — «Нет». — «Ну, так ты глуп», — промолвил он и отошел в сторону».

С той поры Григорьев относился к нему в лучшем случае снисходительно. Самолюбие Полонского было уязвлено, но он старался не подавать виду. Его привлекали сборища друзей у Григорьева, — тут собирались молодые философы и стихотворцы.

Аполлон Григорьев жил в Замоскворечье, в доме родителей. Он занимал в мезонине одну комнату, в другой поселился товарищ его, тоже студент, Афанасий Фет. Отчим Афанасия, помещик Шеншин, привез пасынка в Москву и договорился с родителями Григорьева, что Афанасий будет жить у них, за соответствующую плату, на полном содержании.

Фету запомнился московский дом Григорьевых — с плакучей березой перед окнами, «с постоянно запертыми воротами и калиткою на задвижке». Григорьевы держали корову, пару лошадей, имели свой экипаж. Мать Аполлона, по выражению Фета — «скелетоподобная старушка», властвовала в доме, подчинив себе слабохарактерного мужа. Фет вспоминает: «Хотя Аполлон наверху со мною жестоко иронизировал над догматизмом патеров, как он выражался, тем не менее по субботам сходил вниз по приглашению: «Аполлон Александрович, пожалуйте к маменьке голову чесать», — и подставлял свою голову под гребень».

Но этот благонравный юноша действительно страдал от своих сомнений и душевных метаний. По воспоминаниям Фета, «Григорьев от самого отчаянного атеизма одним скачком переходил в крайний аскетизм и молился перед образом, налепляя и зажигая на всех пальцах по восковой свечке».

К Полонскому Фет относился иначе, нежели Григорьев. «Что касается меня, — вспоминает Фет, — то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского. Я любил встречать его у нас наверху еще до прихода многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз:

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету...»

Читал Полонский нараспев — почти гудел, читая.

Он еще не окончил первый курс, когда умерла его бабушка и пришлось ему искать в Москве другое пристанище. И, главное, надо было думать, как теперь себя прокормить.

На лето он укатил в Рязань, к отцу (мать умерла, когда Якову было всего десять лет). Осенью, к началу занятий в университете,

он вернулся в Москву и остановился у своего товарища по гимназии Михаила Кублицкого. Кублицкий тоже перебрался из Рязани в Москву, но не стал поступать ни в университет, ни на службу. Он был сыном состоятельных родителей и собирался просто жить в свое удовольствие.

Постоянно проживать в квартире благополучного приятеля оказалось для Полонского неудобным. Наверное, даже тягостным. Надо было искать другое жилье. «И где, где я тогда в Москве не живал! — вспоминал он впоследствии. — Раз, помню, нанял какую-то каморку за чайным магазином на Дмитровке и чуть было не умер от угара... Жил у француза Гуэ, фабриковавшего русское шампанское, на Кузнецком мосту; жил на Тверской в меблированной комнате у какой-то немки... Выручали меня грошовые уроки не дороже 50 копеек за урок».

Но всякие бытовые невзгоды не слишком его беспокоили.

Он писал стихи, они уже заполняли его жизнь. Он мечтал представить их на суд известных, признанных литераторов. Надеялся, что его оценят, благословят на поэтический подвиг.

Познакомить его с литераторами взялся приятель, студент Николай Ровинский. Сначала — с поэтом Иваном Петровичем Клюшниковым. Известность Клюшникова была, правда, невелика. Он печатался в журналах, но редко. Стихи его звучали безрадостно:

Душа угнетена сомненьем и тоской:
Все прошлое нам кажется обманом,
А будущность бесцветной пустотой.

Жил он одиноко. У него было имение в Харьковской губернии, в Москве же он снимал себе комнату во флигеле чужого дома. Давал частные уроки — был домашним учителем, иного занятия не находил.

Полонского он принял радушно. К стихам молодого поэта отнесся внимательно, к нему самому — сочувственно. И, как признавал Полонский, Клюшников первый дал ему понять, «в чем истинная поэзия и чем велик Пушкин».

В журнале «Московский наблюдатель» обращали на себя внимание критические статьи Белинского, — он жил тогда в Москве. Вот с кем еще стоило познакомиться. «Помню, я послал ему стихи и письмо, — рассказывает Полонский. — Помню, как с Ровинским зашел к нему и как Белинский отнесся ко мне как к начинающему и мало подающему надежд мальчику (я и был мальчик). Белинский был сам еще лет 25 или 27 юноша — худой, невзрачный, с серыми глазами навыкате... Комнатка была небольшая, бедная (если не ошибаюсь, он квартировал на Арбате). Я был так огорчен невниманием Белинского, что чуть не плакал — и, кажется, послал ему письмо, где уверял его, что никто на свете не разубедит меня в моем поэтическом таланте...»

Белинский переехал из Москвы в Петербург и стал печатать статьи уже в петербургском журнале «Отечественные записки». Клюшников уехал в Харьковскую губернию — навсегда.

А в сентябре 1840 года Полонский впервые увидел свои стихи

напечатанными в журнале. На страницах «Отечественных записок» появилось его стихотворение:

Священный благовест торжественно звучит —
Во храмах фимиам — во храмах песнопенье —
Молиться я хочу, — но тяжкое сомненье
Святые помыслы души моей мрачит...

Вместе с ним посещал университет студент Николай Орлов, единственный сын Михаила Федоровича Орлова — бывшего декабриста, лишенного права выезда из Москвы (участи других декабристов он избежал благодаря заступничеству брата, одного из приближенных царя). «В доме у Орловых, — рассказывает Полонский, — я стал как бы домашним человеком, т. е. мог приходить во всякое время и даже ночевать у их сына на постланном для меня диване».

Дом был просторный, двухэтажный; гостями здесь бывали самые замечательные люди в тогдашней Москве. Среди них выделялся немолодой человек с печальными светлыми глазами и голым черепом — Чаадаев. Автор запрещенных «Философических писем», Чаадаев уже долгое время лишен был возможности печататься или преподавать. Голос его был слышен лишь в узком кругу московских друзей.

В доме Орловых Полонский видел многих, восхищался блеском и свободой бесед в уютных гостиных. В нем же здесь, должно быть, видели милого юношу, сочиняющего милые стихи, только и всего.

В университете отличиться ему тоже не удавалось. В начале лета 1841 года он, к стыду своему, провалился на экзамене по римскому праву. И остался на третьем курсе на второй год...

Михаил Федорович Орлов посочувствовал молодому неудачнику и порекомендовал его князю Василию Ивановичу Мещерскому, который подыскивал домашнего учителя своим сыновьям. Князь согласился пригласить Полонского. Жалованье — пятьдесят рублей в месяц, для бедного студента просто благодать.

Новый домашний учитель провел лето в подмосковном имении Мещерских. Учил грамматике младших сыновей князя Василия Ивановича.

Один из старших сыновей, Александр Васильевич Мещерский, вспоминал потом о Полонском: «Это был молодой человек, весьма добрый, весьма общительный, но донельзя простодушный... Он писал стихи, посвященные моей сестре...» В сестру, княжну Елену, был безнадежно влюблен Николай Орлов. А что за стихи посвящал ей Полонский — неизвестно.

Полонскому запомнилось другое: «В их усадьбе застал я гувернера и учителя немецкого языка К. Б. Клепфера, еще далеко не старого немца, воспитанного на немецких классиках... Помню, что с помощью ученого Клепфера я переводил лирические стихотворения Шиллера и Гете».

Но не однажды бывал он удручен ощущением, что в поэзии пока не удается ему создать ничего действительно насущного, ничего такого, что в трудную минуту сам себе повторишь как спасительное заклинание:

...в душе опять тревога —
Про черный день нет песни у меня.

«На поэзию косилось наше университетское начальство, — рассказывает Полонский, — и когда я стал в «Москвитянине» помещать стихи мои, я никогда не подписывал своей фамилии. Но шила в мешке не утаишь». Да он и не особенно таился.

Теперь он был вхож в дом профессора Шевырева, — Шевырев вел в «Москвитянине» литературно-критический отдел. В его доме, на именинном вечере хозяина, Полонский смог увидеть самого Гоголя — «застал Гоголя в кабинете лежащим на диване; он весь вечер не проронил ни единого слова. На все и на всех глядел он сквозь пальцы, прикрывая руками лицо свое. Около него ходили и двигались гости, и никто не решался обратиться к нему с каким-нибудь вопросом».

В доме Орловых, в начале 1842 года, Полонский впервые встретил молодого Ивана Сергеевича Тургенева. Обаятельный, остроумный, Тургенев только что приехал из Берлина, где он учился, и теперь обращал на себя общее внимание. Он еще не успел проявить себя как писатель, еще не решил целиком отдаться литературному труду и надеялся занять в университете кафедру философии. В Московском университете существовал философский факультет, но из намерений Тургенева ничего не вышло тогда...

Одним из друзей Якова Полонского был студент Медико-хирургической академии Малич, — «он мне нравился и не раз увлекал меня своими рассказами, — вспоминает Полонский. — Раз он описал мне такими красками девушку Евгению Сатину, что я заочно в нее влюбился и ожидал ее приезда из деревни». Наконец она появилась в Москве. Полонский увидел ее и в самом деле почувствовал себя влюбленным. Но познакомиться с ней не решался.

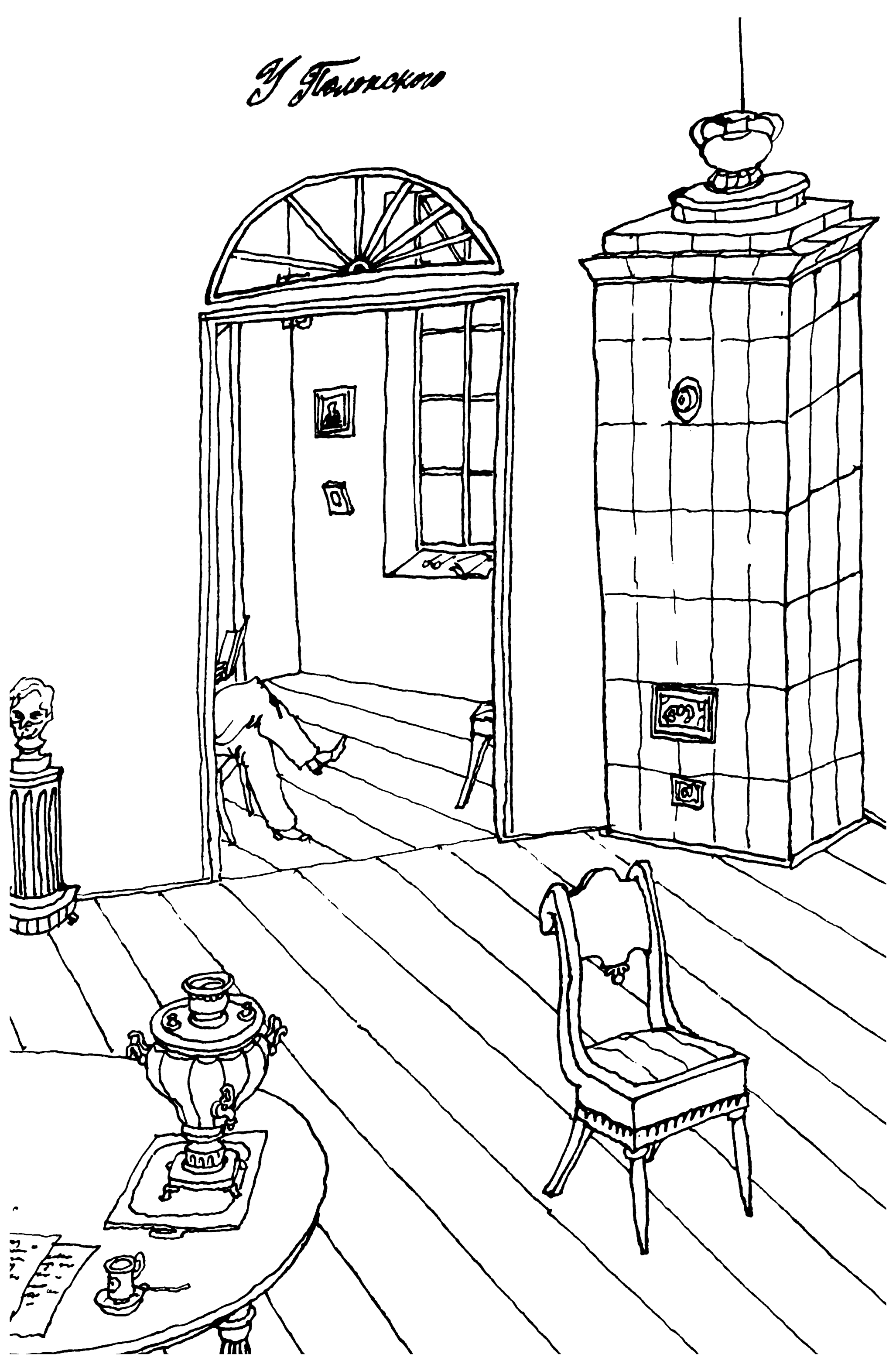
Тогда же он сочинил такие стихи:

Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей!
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей...

Все это, по правде говоря, лишь рисовалось в его воображении. Да и вообще он был тогда, по собственному выражению, «целомудрен, как Иосиф».

В университете он перешел на последний, четвертый курс, а его товарищи Григорьев и Орлов университет уже закончили. Орлов поступил на военную службу и покинул Москву.

«Душа Орлов, где ты в самом деле? — спрашивал Полонский в письме. — Где вы все? Зачем не пишешь, где была последняя сходка ваша, в каких благословенных местах? И в каком расположении духа, в веселом или грустном, запивали вы свое минувшее студенчество... Ты, верно, посылал его к черту. Скучна тебе казалась эта четырехлетняя дорога, по которой мы шли какой-то разрозненной толпой... Как бы то ни было, не знаю, как тебе, а мне грустно, брат!»


У Полонского

«Я живу у Мещерских и теперь откровенно скажу: дорого бы дал, чтобы не жить у них,— признавался он в том же письме.— Во время свадьбы Бориса [Мещерского] я был болен зубами и желчью. Благодарю бога, что именно в это время я был болен,— я бы не мог хладнокровно сносить глупую спесь, этот пошлый этикет, который простирался до того, что К. Б. Клепфер — единственный умный человек в доме, друг княгини покойной, воспитатель всех детей — не был приглашен к обеду...

Теперь я редко бываю внизу [живя в мезонине, под крышей]. Борис женат, мои отношения с ним кончены — я ему говорю *ваше сиятельство* — и он не сердится!!!

Мне здесь душно, как в тюрьме,— меня бы давно не было в этом доме, если бы не Клепфер».

В марте 1843 года Полонский подыскал себе другое жилье и покинул дом Мещерских.

Он долго не видел Евгению Сатину, она уезжала в имение родителей. Но вот на масленице он узнал от Малича, что она воротилась в Москву. Новая встреча с ней так его взволновала, что он принялся вести дневник — изливать в нем душу.

«Прошли унылые недели — я не видел ее, а мог бы видеть в церкви [Рождественского монастыря] каждое воскресное утро... Каждый удар колокола ударял в грудь мою, и во мне совершалась ужасная борьба — идти или не идти?..

И вот наконец чувство заговорило сильнее и повлекло меня за собою... Что-то будет?..

Робко, едва преодолевая страшное волнение, вошел я в монастырь — искал глазами ту, для которой пришел...

Обедня кончилась — народ зашевелился — и о, боже! Она и мать... И вот они прошли мимо. Поравнявшись со мною, Евгения устремила на меня глубокий вопрошающий взгляд. В этом взгляде была вся душа ее — мое лицо, мои глаза отвечали ей тем же...

И вот каждое воскресенье я встречаюсь с ней в храме...»

Перед самой пасхой ему передали письмецо от Малича:

«...Я нынче для тебя сделал все, что только может сделать дружба высокая, чистая, я улучил время, говорил с Евгенией наедине; каким образом? Это после ты узнаешь, я ей сказал все со стороны твоей, я обещался в воскресенье передать ей твое послание...»

Полонский уже приготовил письмо, но теперь решил передать его сам.

«Наступила ночь Светлого воскресенья,— рассказывал он далее в дневнике.— ...С первым звоном на Ивановской колокольне я пошел в Рождественский монастырь. Ночь была ясной, но холодной, ветер прохватывал до костей. Вслед за мной вошла *она* со своим семейством... Записки отдать ей не мог».

И наступило утро — с колокольным перезвоном по всей Москве.

«В воскресенье вошел в церковь,— записывал он в дневнике.— ...Евгения стояла от нас в нескольких шагах у витой чугунной лестницы... Глаза матери следили за каждым взглядом моим. Или

оттого, что мать узнала, что я беден, а если б я был богат, меня бы не встречали таким взглядом... Я не мог вынести, я повернулся и вышел...

Я пришел домой, написал письмо ее матери, где признался ей в любви к ее дочери и просил у нее за это прощения, — и обещал никогда не беспокоить ее своим присутствием».

Но письмо это не отослал. Рука дрогнула.

Май близился к концу, в университете начались экзамены, но до экзаменов ли было ему...

«Гуляя по Тверскому бульвару, она не обращает на меня почти никакого внимания. Однажды я встретился там с Уманцем [тоже студентом университета] и еще с каким-то из его знакомых, я прошел в трех шагах от нее, и она меня не заметила. Оставив моих товарищей, я воротился и пошел за нею следом — я прошел два бульвара, и она ни разу не оглянулась. Переходя Тверскую площадь, она увидела меня и побледнела, самая походка ее изменилась, она стала оборачиваться. На Тверском бульваре она остановилась разговаривать со знакомыми, я должен был пройти мимо... Я положил руку на сердце... оно страшно билось.

Со мной встретился Чаадаев — мы сели на скамейку и стали разговаривать. Из одного дома высунулись из окошка два работника и распевали песни во все горло. «Что это значит? — говорил Чаадаев. — Что за непонятный такой русский народ — для чего он поет, когда никто и не слушает, когда все проходят мимо, не обращая никакого внимания, — и что за равнодушная такая публика, которая и не думает об них». Я сказал, что они поют для того только, что им весело петь, — Чаадаеву не понравилось мое замечание. «Совсем не то», — продолжал он, однако я не помню, что он говорил мне, я даже не в состоянии был его слушать... Долго сидели мы на скамейке. Я ждал... не пройдет ли она... но ее уже не было на бульваре.

Экзамены мои идут дурно, признаться... я столько же о них думаю, сколько о резолюциях китайского императора.

26 мая

Вечером я был на Тверском бульваре — народу было множество... Потом увидел ее на террасе ее дома и бросил ей записку.

Ночевал у Кублицкого. Кублицкий — одно из самых прозаических пустых существ... Он заявляет: «Я поэт в душе», — и вся поэзия души его проявляется только в том, что он носит длинные локоны, которые почти каждый день завивает, и умеет мастерски закидывать на одно плечо свой плащ и принимает на себя трагическую позу. Ему ужасно хочется попасть в необыкновенные люди...

Как я недоволен собою! Я вижу насквозь этих людей — и часто высказываюсь перед ними, зная наперед, что они не могут мне сочувствовать... Я раскаиваюсь в моей откровенности...

Я не назвал Кублицкому ее имени и никогда не назову ее, но зачем я обнаруживаю перед ним мою душу — нужно ли мне его сочувствие...»

Николай Орлов прислал Полонскому письмо. Назвал это письмо

своей исповедью и просил показать его княжне Елене Мещерской. Он не знал, что Полонский уже в доме Мещерских не живет.

Полонский откликнулся не сразу. Наконец написал:

«...Ну, душа Орлов, я так был недоволен твоею исповедью, что не мог писать ответ к тебе равнодушно... Если ты писал ее для того, чтобы напомнить ею о себе друзьям своим, то мы и без того тебя помним. Если ж для того, чтоб я показал ее княжне Е., то пока я называюсь твоим другом или пока еще не сошел с ума, я ни за что этого не сделаю.

...Как ни беден во всех отношениях мой внутренний мир, я ставлю его и в нравственном, и в религиозном, и в философском отношении выше всего на свете.

Вот слова твои.

Извини, это уже не гордость, а просто самолюбие, которое любит свои доморощенные убеждения и, как бы они ни были ложны, не захочет с ними расстаться. Явись сама истина, яркая, как божий день, оно зажмурит глаза и оттолкнет истину...

Если б слова твои вытекли из глубины твоего потрясенного духа, если бы они были выражением твоих убеждений, основанных на опыте жизни, о, тогда б слова твои имели смысл и значение — и ты через несколько строк не написал бы мне, что *радуешься, что я живу у Мещерских, потому что могу набраться мыслей образованного света!* Скажи мне, ради бога, что это за *мысли образованного света!* Хотел было поставить вопросительный знак и ставлю удивительный!

...У тебя всегда на первом плане является желание быть любимым, а уж на втором плане желание отвечать *на любовь любовью*. А не хочешь ли так: я люблю — и довольно с меня. Если меня любят — *спасибо*, если не любят — так и быть, не хочу ни от кого никаких требований, никаких изъявлений. Тебе всегда было досадно, зачем не разделяют с тобой твоих верований, твоих убеждений, — не правда ли? Например, Тургенев Иван и ты. Вот столкнулись и отскочили друг от друга — отчего? Оттого, что ты думаешь так, а он иначе. Ты дружбу понимаешь так легко, что протянул руку да сказал: будем друзьями — вот и друзья, а он дружбу понимает иначе. Вот почему вы не сошлись, как бы должно было ожидать по началу вашего знакомства.

О самолюбие!..

Если все, что написал здесь, ложно и ты со мной не согласен — пиши ко мне, что я вру, я нимало не рассержусь — и я буду благодарен тебе за откровенность.

Прощай, не брани меня».

А в следующем письме Полонский признался, что провалился на выпускном экзамене — опять же по римскому праву. Он только не стал объяснять, отчего запустил университетские науки...

«Тебя не будет интересовать история любви моей... — написал он Орлову. — Я дышу новым воздухом, и печали и радости мои так прекрасны... Я буду презирать себя, если обману эту девушку...»

Евгения Сатина уехала из города на несколько месяцев. Вернулась

только в январе. Сохранилась черновая записка Полонского к ней: «Вы здесь! Я опять могу видеть Вас...»

Сохранилось и черновое письмо его, написанное несколько позже: «Боже, я готов за один поцелуй Ваш отдать половину жизни моей... Вдруг слышу, что другой, не любя Вас, не страдая, даже не думая о Вас... говорят, что даром пользуется тем правом, за которое я готов платить так дорого».

Этим другим оказался его приятель Михаил Кублицкий.

В бумагах Кублицкого уцелело письмо, которое потом попало к Полонскому, — не знаем только, когда именно.

«Хотя целою жизнью не изгладится из души моей воспоминание про вчерашнюю сцену, — писала Кублицкому Евгения Сатина, — хоть тяжело и больно мне, и моя гордость страдает *больше Вашей*, но я хочу доказать, что и *публичной потерянной женщине* доступны иногда чувства благородные. Я не буду злопамятною, приду к Вам, но я буду у Вас, как у человека *любимого*, как у человека, которого я любила, может быть, в первый раз в жизни истинно и который втоптал меня в грязь...»

И была у нее встреча с Полонским — еще одна, он рассказал о ней стихами:

Вчера мы встретились; она остановилась —
Я также — мы в глаза друг другу посмотрели.
О боже, как она с тех пор переменилась:
В глазах потух огонь и щеки побледнели.
И долго на нее глядел я молча строго —
Мне руку протянув, бедняжка улыбнулась;
Я говорить хотел — она же ради бога
Велела мне молчать, и тут же отвернулась,
И брови сдвинула, и выдернула руку,
И молвила: «Прощайте, до свиданья».
А я хотел сказать: «На вечную разлуку
Прощай, погибшее, но милое созданье».

Выражение «погибшее, но милое созданье» он заимствовал из пушкинского «Пира во время чумы».

«Я еще в университете, — невесело писал он Орлову в марте 1844 года. — Хожу по утрам на лекции в чужом короткорукавом сертучишке и в изорванной фуражке, как точно вырвавшийся из кабака. Забулдыгой этаким пробираюсь в университете сквозь толпу незнакомых мне студентов-товарищей. Никому не подаю руки, никому не кланяюсь — забиваюсь на заднюю скамейку, высиживаю положенные часы и отправляюсь домой...

Я скажу тебе, что меня всего ужаснее мучит и беспокоит, и терзает. Приехал я в Москву [летом ездил к дяде в Рязанскую губернию] с 15-ю рублями в кармане, в одной дорожной венгерке, я просто пропадал. Платья никакого, за квартиру платить нечего...

У отца просить совестно — и грустно, — в мои лета я желал бы сам посылать ему. Он же ничего не щадит, чтобы воспитывать сестру мою, — платит фортепьянному учителю. Мне найти уроки и получать за это деньги теперь нет никакой возможности — скоро экзамен — на плечах 7 юридических предметов — все время рассчитано математически.

...Григорьев с прошедшего воскресенья не существует в Москве... Тайно от отца и матери — в сопровождении некоторых друзей своих — вышел из дому, сел в дилижанс и уехал. Он был секретарем университетского Совета, получал жалованье 2200 рублей [в год], но это жалованье у него брали отец и мать — у него не было ни копейки, он взял тайно отпуск, заложил все свои вещи — за 200 рублей, — сжег свой дневник, написал к отцу письмо и велел его отдать на другой день отъезда. Когда он выходил из комнаты, его спросили: — Григорьев! Что ты чувствуешь, выходя из этой комнаты, где протекла вся твоя молодость? — Он отвечал гордо: — *Я ничего не чувствую — я чувствую одно только гордое сознание, что с этой минуты я делаюсь человеком самостоятельным и свою волю не подчиняю ничьей воле».*

И уехал в Петербург.

«Не мне, — пишет Полонский в воспоминаниях, — первому пришло в голову собрать мои стихотворения, а Щепкину, сыну великого актера, блистательно окончившему курс по математическому факультету. Он жил у барона Шепинга в качестве воспитателя и наставника его единственного сына.

— Все это надо собрать и издать, — сказал он мне. — Соберите все, что вы написали, и приносите.

— А на какие деньги буду я это издавать? — возразил я.

— А издадим по подписке.

— Как по подписке?

— Да так: соберем человек сто подписчиков по рублю за экземпляр и издадим.

Долго и нелегко велась эта подписка. Даже в Английском клубе, как я слышал, нелегко расставались с рублем ради каких-то стишков те господа, которым проиграть несколько тысяч в карты ничего не стоило. Но, как бы то ни было, денег собрано было столько, что издать мои «Гаммы» нашлась возможность, и они вышли в свет почти в тот день, когда я кончил мои последние выпускные экзамены».

Под названием «Гаммы» вышел из печати его первый сборник стихов.

Жил в Москве писатель Александр Фомич Вельтман, в то время человек уже немолодой, с проседью в поредевших волосах, «настолько же умный, насколько и добрый» — таким он запомнился Полонскому. Познакомились они в доме Орловых, потом как-то встретились на улице, и Вельтман пригласил Полонского к себе. С тех пор они виделись часто. «Я во всякое время, — вспоминает Полонский, — мог заходить к нему, и, если он был занят за своим письменным столом, я с книгою в руках садился на диван и безмолвствовал».

В сочинениях Вельтмана причудливо смешивались реальность и фантастика, мыслил он оригинально. И в разговорах с Полонским, например, утверждал:

— Нашими постройками, рытьем канав, бурением колодцев, минами мы только причиняем вред нашей земле как планете — она живой организм и так же страдает, как если бы нас кололи и резали. Когда-нибудь земля за это накажет нас.

Это был человек с необычайно живым воображением, оттого-то и тянулся к нему молодой Полонский.

В октябре 1844 года «Отечественные записки» напечатали одобрительный отзыв о книжке «Гаммы». Полонский страшно обрадовался.

— Поздравляю, — добродушно улыбаясь, сказал ему Вельтман. — Но вот что я скажу вам... Верьте мне: как бы вы сами ни были даровиты и талантливы, вас никто в толпе не заметит или заметят очень немногие, если другие не поднимут вас.

Неужели он прав? Значит, надо уповать на то, что критики станут поднимать тебя на щит?.. Слова Вельтмана смутили Полонского и врезались ему в память.

Теперь притягательным для молодого поэта был еще дом знакомого доктора Постникова. В этом доме поселилась родственница доктора Мария Михайловна Полонская (с Яковом Полонским она и муж ее оказались лишь однофамильцами, никак не в родстве). К ней постоянно приходила младшая сестра ее Соня Коризна, красивая белокурая девушка. Ей было семнадцать лет.

«Страстная, недюжинная по уму и насмешливо остроумная, — вспоминает Полонский, — она всю массу своих поклонников раз при мне назвала своим зверинцем. «А если так, — заметил я, — я никогда не буду в их числе, уверяю вас...» Помню летние лунные ночи, когда в саду оставались мы вдвоем; она говорила со мной так загадочно и, не упоминая ни словом о любви, дразнила меня одними намеками. Помню, как однажды ночью в густой тени деревьев я зажег спичку, будто бы для того, чтобы закурить сигару, а на самом деле, чтобы на миг осветить лицо ее, всех и каждого поражающее красотой».

«Влюбленный без памяти, при ней я притворялся холодным», — признавался он потом. «Увлечь девушку было не в моих правилах, а жениться я не мог, так как и она была бедна, и я был беден... Я еще не служил и не желал служить... Да и мог ли я думать о женитьбе, когда, вышедши из университета и нуждаясь в партикулярном платье, я вынужден был продать золотые часы свои, полученные мною в дар в то время, когда я был еще в шестом классе гимназии».

Друг его Игнатий Уманец предостерегал его от женитьбы «или от такого шага, от которого оставался бы один шаг до брака», и советовал уехать в Одессу. В одесской таможне служил старший брат Игнатия, Александр, сейчас он был в Москве, собирался в ближайшие дни возвращаться в Одессу и выражал готовность быть попутчиком Полонскому.

Полонский — в смятении — согласился, решил покинуть Москву.

И вот, когда Соня узнала, что он уезжает, она передала ему письмо, глубоко его поразившее: «Когда бы судьба не разлучала нас в эту минуту, я бы не стала писать к вам... Но теперь — чего бояться? Завтра или послезавтра я вас больше не увижу; взгляд ваш не встретится с моим взглядом, и вы не прочтете в нем более того, что теперь прочтете на этих страницах... Там, далеко, вы,

может быть, забудете меня — мы расстаемся надолго, — я попытаюсь забыть вас, но чувствую, что это будет нелегко и невозможно. Прощайте».

День отъезда в Одессу был уже назначен.

Полонский уехал — он просто бежал от своей любви.

Глава вторая

Не доезжая до Одессы, в Елисаветграде, Полонский расстался с попутчиком своим Александром Уманцем. Здесь Уманец свернул на другую дорогу: ему надо было сначала заехать в Кишинев.

Полонский знал, что в Елисаветградском уезде квартирует полк, в котором служит Николай Орлов, — разыскал его. Встретились, и Орлов предложил наведаться в расположенное неподалеку степное село Болтышку, имение родственников его — Раевских. Там когда-то побывал Пушкин — уже ради этого стоило завернуть туда.

В Болтышке Полонскому показали хату, где жила старушка няня Раевских. Она угостила гостя арбузами, вареньем и чаем и рассказывала о Пушкине («как раз вскочил он с этого самого диванчика и стал декламировать»).

Воротясь в Елисаветград, Полонский сел в нанятую таратайку и устремился дальше на юг — в воспетую Пушкиным Одессу.

Приехал он в этот город ночью, остановился в скверной гостинице.

Первое впечатление от Одессы было почти отталкивающим, он ожидал увидеть ее иной. Но уже кончался ноябрь, было пасмурно, на улицах грязь, деревья стояли голыми, море выглядело серым и тусклым. В гостинице Полонский зябнул, топили тут не дровами, а соломой, печи дымили.

Как же в этом незнакомом городе жить?

У него были с собой рекомендательные письма, и начал он заводить знакомства.

В Одессе жил москвич по рождению и добрейший человек Иван Федорович Золотарев, он служил в канцелярии генерал-губернатора. Золотарев принял Полонского как нельзя более радушно, обещал найти для него уроки — то есть какой-то заработок.

Однажды на улице встретил Полонский Александра Бакунина, бывшего студента Московского университета. Они были знакомы еще в Москве. Теперь Бакунин преподавал в одесском Ришельевском лицее. Жил он один в небольшой квартире и предложил Полонскому поселиться у него. И вот уже Полонский рассказывал в письме к Николаю Орлову: «Я живу здесь вместе с Бакуниным и нашел в нем доброго и умного товарища; главное, не мешаем друг другу».

Познакомили его с младшим братом великого поэта Львом Сергеевичем Пушкиным.

Рыжеватый, с бакенбардами, с выпяченной верхней губой, Лев Сергеевич оказался очень похожим на своего покойного брата. Ему было уже под сорок лет. Служил он в одесской портовой таможне и снимал квартиру на Дерибасовской улице. В прошлом году женился на красивой и молодой — для него, пожалуй, слишком молодой —

блондинке, недавно у них родилась дочка. Полонский обычно встречал его на Приморском бульваре, где любила гулять вся Одесса. Лев Сергеевич часто приглашал молодого поэта к себе. Полонскому запомнилось, что Лев Сергеевич «жил не роскошно, но ел и пил на славу, редко обед его обходился без шампанского». Пил он вообще неумеренно. Захмелев, декламировал стихи покойного брата, знал их наизусть.

И еще одним знакомством порадовала Одесса Полонского. В предместье города, в Ланжероне, в доме на высоком берегу моря, жил австрийский консул Людвиг Гутмансталь. В Одессе его звали Людовиком Леопольдовичем. У него была молодая жена, Мария Егоровна, русская («премилая и вдобавок прехорошенькая»,—писал о ней Александр Бакунин).

Много лет спустя Мария Егоровна написала Полонскому в письме: «...я вспомнила, как мы с вами один раз разговаривали неделю спустя после нашего знакомства,—вы говорили, что любите, чтобы говорили все просто, прямо—чтобы правду говорили не запинаясь всем. Я говорила, что в обществе это очень трудно и даже неприятно было бы... наконец сказала вам: вот, видите ли, например, я с вами недавно познакомилась, и мне очень неловко вам теперь прямо сказать, что у меня голова болит и что мне неприятен запах сигары... Вы на меня добро посмотрели и с несколько смущенным видом сказали:—Вот если б вы мне просто сначала сказали: не курите, мне это неприятно, то мне бы не так совестно было, а теперь мне неловко, и я воображаю, как вы думали все про мою сигарку и что я такой неделикатный...»

Начал он давать в Одессе частные уроки, а так как жить в этом городе было тогда значительно дешевле, нежели в Москве, то он и не особенно нуждался.

Пришло письмо из Рязани от сестры. Неожиданно решилась она быть откровенной, и в конце письма ее брат прочел: «Теперь я буду писать, кто победил мое сердце: *М. Кублицкий»*.

Наверное, признание сестры сильно Полонского задело и он спрашивал себя: почему этот пошлый человек оказывается неотразимым? И надо же было ему именно теперь съездить в Рязань!

Сестра далее писала: «...не думай, чтоб я ему показала, что он мне нравится, нет, я все это старалась скрыть и уверена, что он этого не знает, но по многим его действиям...»

Ах, ловелас бессовестный!

«...По многим его действиям я видела, что я ему нравлюсь, может быть и он будет тебе писать насчет меня...»

Как бы не так!

«...Пожалуйста, напиши мне, что он будет писать, и я поэтому имела надежду, а теперь он уехал в Москву, а оттуда поедет во Францию и в Италию и проездит года полтора, и надежда моя вся кончилась, в будущем письме я опишу тебе мое с ним знакомство и все слова его, что он со мной говорил».

Яков Полонский написал сестре такой ответ, что у нее пропало желание подробнее рассказывать ему о знакомстве с Кублицким...

Зимой писал Полонскому из Москвы Игнатий Уманец:

«M-lle Укоризна, или Коризна, едет в Воронеж и, кажется, уже уехала... Зачем ты не писал ей через меня, мне было бы приятно доставить письмецо, а ей так же приятно было бы получить его от тебя... Сейчас приехал я от Вельтмана, он тебе шлет низкий поклон».

В феврале 1845 года журнал «Москвитянин» напечатал стихотворное послание к Полонскому от поэта Николая Михайловича Языкова.

Когда вышел в свет сборник «Гаммы», Полонский послал ему экземпляр. Стихи Языкова на страницах «Москвитянина» были ответом:

Благодарю тебя за твой подарок милый,
Прими радушный мой привет!
Стихи твои блистают силой
И жаром юношеских лет...

Языков еще в декабре писал Гоголю: «Полонский — малый с талантом, жаль только, что у него направление новомодное, отчаянное; но это, вероятно, пройдет с годами».

Полонский об этом отзыве не знал. Не знал и того, что сам Гоголь переписал для себя стихотворение, которое ему понравилось: «Пришли и стали тени ночи...»

Одессу облетела новость: генерал-губернатор Воронцов назначен наместником на Кавказе и в скором времени переедет в Тифлис.

«Вся Одесса в волнении... — сообщал Полонский в письме к Орлову, — и я вряд ли останусь здесь. Хочется быть на Кавказе...»

А еще ранее писал он одной знакомой московской даме: «Ничего не смею ждать особенно хорошего в моей будущности, часто она пугает меня; но, сознайтесь, неизвестность имеет какую-то особенную прелесть — весь интерес недочитанного романа, который стал увлекать вас своим волшебным вымыслом».

Это не все приятели могли понять. Так, Николай Ровинский спрашивал в письме: «Не вздумаешь ли жениться, чтобы остепениться, а то как угорелая кошка — не успел приехать в Одессу, бежишь на Кавказ».

Нет, не было у Полонского никакого желания остепениться.

Летом 1845 года уехал в Тифлис Иван Федорович Золотарев. Он был назначен помощником директора канцелярии наместника и обещал Полонскому хлопотать за него в Тифлисе — найти ему там подходящую должность.

В августе, уже из Тифлиса, Золотарев писал: «На днях получил я милое и дружеское письмо Ваше, любезнейший Яков Петрович, и спешу Вам отвечать с отъезжающим сегодня в Одессу курьером... Я говорил о Вас со Степаном Васильевичем Сафоновым» — директором канцелярии наместника. Золотарев сообщал, что уже намечены «новые штаты здешней типографии и при ней редакции журнала. Когда все это будет утверждено, вероятно к декабрю, дело наше объяснится, и тогда — милости к нам просим... Вы получите формально вызов, прогоны и подорожную, как у нас водится».

Хлопотами друзей в Одессе издан был новый сборничек стихов Полонского, озаглавленный просто «Стихотворения 1845 года».

Книжку эту послал он — вместе с письмом — Соне Коризне и получил ответ.

«Говорить ли вам о том, как приятно было получить письмо ваше?.. — писала она. — И вы говорите, что не ожидаете моего ответа? Вы сказали это, но не думали — не правда ли? Вы не думали, чтобы я могла не откликнуться на ваше приветствие, вам только хотелось показать мне, что вы не переменились, что вы точно так же холодно-недоверчивы, как были прежде... Благодарю вас за книгу ваших стихотворений, еще раз вижу, что вы не забыли меня».

Конечно, он не забыл.

Еще подарил он свою новую книжку Льву Сергеевичу Пушкину. Попросил послать другой экземпляр ее в Петербург поэту и редактору журнала «Современник» Плетневу.

Плетнев поместил на страницах «Современника» отзыв на эту новую книжку Полонского — отзыв, в общем, одобрительный, но сдержанный. А вот Белинский в «Отечественных записках» отозвался сурово: «Стихотворения 1845 года уже хуже стихотворений, изданных в 1844 году... Это плохой признак». И вывод: «г. Полонскому решительно не о чем писать».

Отзыв Белинского оказался для него чувствительным ударом, но в конце концов, по словам самого Полонского, отрезвил его, заставил относиться к своему сочинительству гораздо строже.

Узнал он, что Золотарев добился для него места помощника редактора газеты «Закавказский вестник».

Получив извещение из Тифлиса, Полонский 6 июня 1846 года тронулся в путь.

Покидая Одессу на пароходе «Дарго», Полонский обещал Гутмансталям подробно рассказывать в письмах о своем путешествии.

Выполнять обещание начал он в первый же день пути.

«Обещал писать — а как писать? — бумага пляшет, и карандаш пляшет. Где сесть — и того не знаю, сел в каюте — нет никакой возможности... сел на юте — тоже нет никакой возможности — наконец я выбрал завидное местечко — на верхней ступеньке той самой лестницы, которая ведет в кают-компанию. Что же писать — налево стенка, внизу ковер и чьи-то ноги в сапогах — направо борт — и море — и вот вам и все впечатления! Мимо меня человек на блюдце проносит лимон и ножик — на палубе что-то говорят — ничего не слышу...»

Через двое суток пароход прибыл в Керчь, и новое письмо Полонский писал в керченской гостинице. Надо было дожидаться другого парохода — от Керчи до Редут-Кале. Сообщив об этом Гутмансталям, Полонский спрашивал виновато: «Разберете ли вы хоть что-нибудь в моем письме? Пренеловко писать — столик такой маленький, стулик такой низенький, перо такое гусиное...»

В Керчи пришлось ему ждать трое суток. Наконец он сел на борт военного парохода «Молодец», который «не ходит отсюда прямо

в Редут-Кале, а сперва заходит по крепостям, расположенным по черноморскому кавказскому берегу».

«Я теперь 4-й день опять в море... — рассказывал Полонский в следующем письме. — Ночью мы придем в Сухум-Кале, будем стоять там до 6 утра — потом, если погода будет благоприятствовать, в 2 часа пополудни надеемся быть в Редуте... Теперь мы у берегов Абхазии. Река Бзыба положила предел неприязненным берегам беспрестанно враждующих племен черкесов — я видел их аулы — целые отряды их ездили по берегу — в зрительную трубку можно было даже разглядеть лица их... Там (т. е. на «Дарго») у меня была своя каюта, здесь все каюты заняты офицерами. Там я платил за место деньги — и не спал. Здесь не плачу деньги — сплю на полу и сплю непробудно — могу утонуть и не проснуться. Там я мог курить сигару где хотел, здесь на палубе запрещено — говорят, много пороху...»

Подплыли 16 июня к Редут-Кале. «Цвет моря — темно-зеленый превратился в мутно-серый — в полуверсте от берега мы стали на якорь. В одну минуту целые десятки баркасов окружили пароход наш. Гребцы были в самых странных разнообразных костюмах... Черные всклокоченные волосы, выбритые лбы, обнаженная грудь, полосатые куртки, босые ноги, чалмы, вязаные шапочки белого цвета... Это были турки, греки, имеретины — владетели баркасов, — они являются всякий раз, когда в заливе покажется судно, чтобы перевозить вещи в город... От парохода до Редут-Кале около 2-х верст — нужно было плыть рекой [Хоби], которая привела нас в город. Когда мы плыли, я любовался бесконечной цепью парусов... Главная улица в Редут-Кале — это река, по сторонам тянутся во всю длину еще две улицы — вот и весь город, если это только город... Единственный дом с окнами — есть единственный трактир, куда велел я причаливать». Было жарко, влажно, заедали комары.

На другой день Полонский и остальные приезжие покинули Редут-Кале в нанятой большой лодке — поплыли сначала по короткому каналу, соединявшему устья рек Хоби и Риона, затем вверх по Риону. Плыли четыре дня, очень медленно, «шли, упираясь в берег длинными шестами», и «где было возможно, нас тянул за веревку один лодочник. Две ночи ночевали в имеретинских хатах, — рассказывал в письме Полонский, — сам в медном чайнике варил себе чай — пополам с тиной. Раз ночевал в лодке».

Наконец прибыли в Кутаис. Узнали, что отсюда до Тифлиса «нужно еще ехать дня три, потому что ночью не ездят, боятся речек и разбойников, т. е. беглых солдат».

Дальше Полонский катил на почтовых, сидел на чемоданах, привязанных к повозке.

«Помню, какое тяжелое, безотчетно-неприятное впечатление произвел на меня серо-каменный Тифлис, когда я впервые въезжал в него [в жаркий полдень 25 июня], — рассказывает Полонский, — и живо помню, как вечером, в тот же день, я не мог налюбоваться им».

Он остановился в квартире Золотарева, но хозяина дома не

застал. Полонский знал, что Золотарев еще зимой получил известие о смерти отца, уехал в Москву — и вот все еще не возвратился. И неизвестно, когда приедет.

«Тифлис очень картинный город... — писал Полонский Гутмансталям и добавлял: — Ужасно жарко — третьего дня было 46 градусов жары! — в глазах темнеет».

Чиновники и военные — все, кто имел возможность, — в летний зной уезжали из города.

Но Полонский должен был сразу надеть на себя служебную лямку. «Когда я поступил на службу и в первый раз проходил через канцелярию в кабинет директора Сафонова, я чувствовал к себе такое презрение... — вспоминал он впоследствии. — Слово *начальник* было мне невыносимо...»

Он сетовал в письме к Александру Бакунину и его подруге в Одессу: «Ехал я в Тифлис для того, чтобы, будучи помощником редактора, поднять «Закавказский вестник». Одним словом, преобразить его. Но увы! — первое слово моего начальника Сафонова было: займитесь теперь статистикой Тифлиса, а потом статистикой Тифлисского уезда. «Вестник» же пусть остается таким, как есть». Собственно, в редакции газеты Полонский должен был только держать корректуру, больше от него ничего не требовали. Впрочем, корректорский труд доставлял немало хлопот: «Здешняя типография меня мучит: наборщики — безграмотные и горькие пьяницы», — жаловался Полонский в письме Гутмансталю.

Тоска напала на него, и не с кем было душу отвести... Стихов он не писал со дня отплытия из Одессы.

Но вскоре познакомился он в Тифлисе с польским поэтом Тадеушем Лада-Заблоцким («он один посещал меня, читал мне, переводил мне стихи свои, и опять зажглась во мне неодолимая жажда высказываться стихами»).

Лада-Заблоцкий был ссыльным — уже восемь лет вынужденно провел на Кавказе и все эти годы тосковал по родным краям.

Год назад в далеком Петербурге друзья Лада-Заблоцкого издали сборник его стихотворений, собрав, как водится, по подписке деньги на это издание. Среди тех немногих, кто подписался в Тифлисе, была вдова Грибоедова Нина Александровна, урожденная Чавчавадзе. Значит, Лада-Заблоцкого она знала. В примечании к одному из стихотворений в его книге сообщалось, что храм святого Давида (на горе Мтацминда) Грибоедов называл «поэзией Тифлиса», — наверно, Лада-Заблоцкий услышал об этом от Нины Александровны.

И не лишено вероятности, что именно он при ближайшей возможности (в первой половине июля) познакомил с ней Полонского. Но где и как — этого, к сожалению, не знаем.

Полонский написал большое стихотворное письмо Льву Сергеевичу Пушкину, озаглавленное «Прогулка по Тифлису». Перо его нарисовало живейшую картину жизни тифлисских улиц и собственные первые впечатления:

...на дворе
Невыносимо жарко. — Мостовая,
Где из-под ног вчера скакала саранча,
Становится порядком горяча
И жжет подошву. — Солнце, раскаляя
Слои окрестных скал, изволит наконец
Так натопить Тифлис, что еле дышишь,
Все видишь не глядя и слушая не слышишь;
Когда-то ночь придет! — дождемся ли, творец! —
Вот ночь не ночь — а все же наконец
Пора очнуться. — Тихий, благодатный
Нисходит вечер...

Закатывается солнце, поэт стоит на склоне горы, чуть поднявшись над городом:

Мне виден замок за Курою...
И мнится мне, что каменный карниз
Крутого берега, с нависшими домами,
С балконами, решетками, столбами,
Как декорация в волшебный бенефис,
Роскошно освещен бенгальскими огнями.
Отсюда вижу я — за синими горами
Заря, как жертвенник, пылает и Тифлис
Приветствует прощальными лучами.

По его письменной просьбе Золотарев еще в мае посетил в Москве дом доктора Постникова и познакомился там с хозяином и с сестрами Марией Полонской и Соней Коризна, «славною, милою и теперь обворожительною» — так отозвался о ней Золотарев. И рассказывал в письме: «Недавно с ними обеими пробродил я целый вечер в чаще сосновой Сокольнической рощи. Много вас поминали. Зверинцу, кажется, не суждено уменьшаться». Знал он со слов Полонского, что поклонников своих Соня называла зверинцем.

В июле Золотарев прислал письмо: «Вчера виделся в Сокольниках с Софьей Михайловной и сообщил ей о приезде Вашем в Тифлис, она надула свои чудные румяные губки и отвечала мне: зачем вы утащили его так далеко? Я отвечал, что не я, не мы, а *«могучий бог ведет его далёко!»*

Позднее Золотарев писал о ней: «С. М. Вас помнит и вспоминает не без особенного чувства. Не к ней ли относится последний стих *Грузинки?*»

Стихотворение Полонского «Грузинка» было напечатано в начале августа в тифлисской газете «Кавказ». Кончалось оно так:

Ее любовь — мираж среди пустынных
Степей: не утоляет жажды в зной
И не врачует ран старинных!

Осенью Полонский послал Золотареву письмо, попросив показать это письмо Соне. Золотарев так и сделал. И, в свою очередь, попросил ее написать ответ.

Ах, какое письмо получил от нее Полонский!

«...Как живо сохранила я воспоминания о вас, как необходимо мне теперь верить в чувство вашей дружбы... Ваше письмо напомнило мне прошедшее, в котором я так полно жила душою, — тогда, как вы учили меня читать в моем сердце, анализировать мои мысли, учили не верить самой себе — а несмотря на то, я *верила* в то время...

Два года прошло с тех пор — переменилась ли я за эти два года? Не могу или не смею отдать себе в этом отчета...

О, приезжайте! Теперь как много бы я желала слышать от вас... Скажите, вы не забыли меня? Не забыли наших вечеров в саду и на красном диване? Нашей прогулки в Покровском? Не забыли того вечера, когда вам так хотелось уйти, а мне так хотелось, чтобы вы остались?»

Нет, сейчас выехать из Тифлиса он не мог. Связан был службой, и денег на дальнюю поездку у него не было.

Ненадолго приезжал в Тифлис по служебным делам Николай Орлов. «Я чуть-чуть с ним не поссорился, — рассказывал Полонский в письме Гутмансталям, — он хочет быть *другом*, а не умеет уважать во мне *человека*... В обществе моих сослуживцев, как ему, так и мне мало знакомых, он назвал меня *милый балбес* — и вообще был слишком глупо и некстати откровенен вслух. Когда все ушли, я кротко заметил ему, что такое обращение со мной может повредить мне во мнении людей, которые вовсе меня не знают, — он расхохотался, назвал меня сумасшедшим, по своему обыкновению, и сказал, что по дружбе он может назвать меня как ему угодно! Я вспыхнул и сказал, что *на такую дружбу, которая все себе позволяет, я плюю...* Он обиделся и ушел. Дня через два об нашем разговоре не было и помину — мы расстались как хорошие приятели!!!»

«К 1 сентября я готовлю статистику Тифлиса, — сообщил Полонский в другом письме Гутмансталям. — Смех и горе! Из официальных бумаг видно, что ни одной цифры верной, что никто, даже сам князь Воронцов не знает, сколько здесь жителей».

Полонский готовил статистический очерк Тифлиса для «Кавказского календаря на 1847 год».

Он любил бродить по городу. Заглядывал на базары, в духаны, в караван-сараи, посещал знаменитые серные бани. Ему нравились живописные тифлисские сады, виноградники, сакли с плоскими кровлями. На этих кровлях вечерами танцевали девушки — грузинки и армянки — в национальных костюмах.

Повседневная жизнь коренных жителей Тифлиса оказалась куда живее, колоритнее быта приезжих чиновников с обычной картежной игрой по вечерам.

«Мои товарищи [по службе], — писал Полонский Александру Бакунину, — ...почти все свободное от службы время просиживают за картами. Я не играю. Разговоров почти никаких, кроме городских пересудов, полученных чинов и орденов... Я слыву *оригиналом*».

«Мечтать мне некогда, — писал он Гутмансталям, — мне, изволите видеть, поручено составление статей: а) об иностранных семенах, посеянных в Закавказском крае, б) о хлопчатнике, в) о разведении табака и о шелкомотальных машинах. Стол мой завален кучами бумаг и переписки нашей канцелярии с департаментом сельского хозяйства, притом я держу корректуру Вестника, — итак, думать, мечтать мне нет времени...»

Близких друзей рядом не было. Золотарев все еще оставался

в Москве. Лада-Заблоцкого услали в селение Кульпы за рекой Араксом, у турецкой границы, назначили управляющим кульпинским соляным промыслом. В феврале он писал оттуда одному приятелю в Тифлис, что живет «воспоминаниями прошедшего, потому что в настоящем только заботы, скука и тоска. У нас еще жестокая зима — снег лежит по колено».

А в Тифлисе никакого снега не было.

Получил Полонский письмо от сестры. Она побывала в Москве и, вернувшись домой в Рязань, написала брату не без едкости: «...видела Евгению Сатину, только, тебе откровенно сказать, я ожидала лучше по твоему описанию. Но я в ней ничего привлекательного не нашла».

Теперь эти слова не могли задеть его за живое. Затронули в нем грустное воспоминание — и только.

Позднее получил он — не ожидая — письмо из Москвы от Кублицкого. Тот, как ни в чем не бывало, написал: «Вот уже с лишком три года, как мы с тобой не только не видались, но даже не обменялись письмами». И дальше рассказывал о своем путешествии за границу.

Весною 1847 года Полонскому дано было служебное предписание объехать «для собрания статистических фактов» обширный Тифлисский уезд. Он с радостью согласился.

Выехал 11 апреля. Сначала в восточную часть уезда — Сартичальский участок. Вернувшись к концу месяца, рассказывал в пространном письме к Александру Бакунину: «...верхом я уже объездил верст 300, объездил вдоль и поперек весь Сартичальский участок; посещал каждую деревню. Едва не потонул в реке Иоре — ночевал в пещерах — голодал — в Караязской степи ел с пастухами печеные на угольях какие-то грибы — проклинал азиатские седла, которые изломали мои ноги своими короткими стременами». Правда, не столь были коротки стремена, сколько он долговяз и длинноног. Он писал далее: «Поверишь ли, друг Александр, что Полонский собирал гербариум, навез с собой разных камешков, вывез образцы отсадков соли, найденной им по берегам некоторых ручьев, — красной глины, — что Полонский осматривает нефтяные колодцы, срисовывает плуги, серпы и так далее». Кстати, рисовал он очень неплохо.

Вернувшись в Тифлис, он уже дня через три снова отправился в путь. Теперь уже на юг, в Борчалинский участок. С ним вместе, тоже верхом, ехал армянин-переводчик, знавший не только армянский, но и татарский (вернее сказать, азербайджанский) язык.

Полонский рассказывал потом, как они переправлялись вброд через реку Храми. Река в это время разлилась, так что терялся из виду противоположный берег. Путникам дали провожатого — «татарчонка на серой кляче». Лошади вошли в быструю воду. «Не успел я приподнять к седлу ног, как лошадь моя пошла по грудь в воде и мои сапоги наполнились водою, — рассказывает Полонский. — ...Долго мы ехали в воде, медленно подвигаясь, потому что лошади имеют здесь похвальное обыкновение щупать дно копытами». Выбрались наконец на другой берег, поехали цугом. «Направо и налево —

в тумане зеленели низменные сады — татарские деревни. Час-два скакали мимо и доскакали до другой речки, называемой Дебет».

Дальше Полонский и его переводчик двинулись вверх по течению Дебета к Санаинскому мосту, затем к крепости Джелал-оглу и далее — до турецкой границы.

Встретились на пути селения русских сектантов-духоборов, выселенных в эти края. Полонский потом вспоминал, что ему «случалось не раз пользоваться гостеприимством и ночевать у духоборов в их чистых выбеленных мазанках... В этих мазанках было просторно и все отличалось необыкновенной опрятностью. Когда я бывал у них, пол был посыпаем свежей травой и полевыми цветами».

Сколько было незабываемых впечатлений...

«Однажды, — вспоминает Полонский, — ...верстах в 40 от Тифлиса, в деревне Демурчасалы, в знойный день остановился я под навесом духана, разостлал бурку, лег, утомленный долгой верховой ездой, и стал дремать; вдруг слышу звуки чунгури и, наконец, тихое жалобное пение, которое, превратившись в раздирающий крик, заставило меня поднять голову: в десяти шагах от меня, под тем же навесом, лежали три старика, и перед ними, на камне у столба, сидел ашуг, молодой татарин, и перебирал металлические струны. Никогда не забыть мне выражение лиц этих дряхлых слушателей: казалось, они дремали, но, приподнимая отяжелевшие веки, изредка поглядывали на меня, разделяю ли я с ними наслаждение — слушать такого певца, такие сладкие песни».

Месяцем позже Полонский оказался «среди татарского кочевья» на зеленых холмах близ Тапараванского озера. Вечером, когда стемнело, он забрался в войлочную юрту и лег. У открытого входа в юрту человек двадцать — в ожидании чая — «сидели, поджавши ноги, на мокрой траве и с каким-то благоговейным торжественным молчанием, при свете мерцающих звезд», слушали певца — пение, «сопровождаемое звуками чунгури».

И Полонский, до сей поры не воспринимавший этих странных для его слуха мелодий, вдруг почувствовал их своеобразную красоту, — «среди безмолвия пустыни, по соседству облаков, отдыхающих со мной на одном уровне — у подошвы тех же гор, — рассказывал он потом, — ...я не желал в эту ночь ни лучшего певца, ни лучшей музыки. До сих пор помню косматые шапки незваных гостей моих, которых черные профили, с трубочками в губах, рисовались в темно-синем, ночном, прозрачном и холодном воздухе».

В июне, когда он был в селении Белый Ключ (Аг-Булаг), до него дошел слух, что в Тифлисе холера.

Вернулся Полонский в августе — эпидемия в городе уже прекратилась. Узнал он, что в Кульпах умер от холеры бедный Лада-Заблоцкий.

Полонский съездил еще, также верхом на лошади, в северную, наиболее гористую часть Тифлисского уезда — Душетский участок. Он потом рассказывал: «Я ночевал в 7 верстах от Душета, в грузинском селении... После утомительного жаркого дня — ночь была свежа и, несмотря на то, что месячный серп светил в небе, так темна, что

в десяти шагах трудно было отличить кучу хвороста от задремавшего буйвола. По сторонам, в сумраке лесистых гор, мелькали костры пастухов; тихий ветер дул со стороны Мухранской долины и доносил отдаленный лай собак, стерегущих виноградники».

В середине сентября, все закончив, Полонский вернулся в Тифлис.

Все порученное старался он исполнить, но «со статистическими цифрами сладить не мог — чем больше собирал их, тем больше терял к ним доверие. Так, например, не только количество лошадей, но и количество пасущихся табунов и стад узнать не было никакой возможности. Сами участковые начальники, посмеиваясь, откровенно сознавались мне, — рассказывает Полонский, — что цифры, предъявляемые ими в отчетах, писаны ими просто наобум — как вздумается. Стало быть, надо было или официально лгать, приводя эти цифры, или от них отказаться». Чиновники предпочитали официально лгать.

Наверно, местные жители имели основание подозревать, что цифры эти нужны для взимания налогов, и понятно, что подлинные цифры называть никто не хотел.

Наконец вернулся в Тифлис Иван Федорович Золотарев.

«Я на новой квартире, — писал Полонский Гутмансталям, — мой кабинет по соседству с кабинетом Ивана Федоровича, дверь не запирается, и мы часто друг с другом видимся».

Полонский сочинял звучные стихи, печатал кое-что в «Закавказском вестнике» и «Кавказе» и привыкал к Тифлису. И не только привыкал — он уже любил этот город и этот край. Стихи его здесь обрели новые краски и новую силу.

Золотарев стал замечать, что Полонский под разными предлогами норовит как можно меньше бывать на службе в канцелярии наместника. Догадываясь, в чем дело, Золотарев однажды оставил записку: «О Яков, Яков, безалаберный, беспутный, влюбленный, рассеянный поэт, фельетонист, рисовальщик! Вчера ушедший ради фельетона, теперь сидящий над корректурою. Ты меня не надуешь... Ты или влюблен без памяти, или...»

В предместье Тифлиса Сололаках Полонский повстречал молодую армянку Софью Гулгаз, женщину замужнюю и в то же время без мужа: старый пьяница, он куда-то исчез из Тифлиса, и не было о нем ни слуху ни духу. Историю ее жизни Полонский узнал довольно подробно и впоследствии описал в рассказе «Тифлисские сакли», где Софья выведена под именем Магданы. Вот ее портрет: «Как черный бархат, ее глаза не имеют в себе почти никакого блеска и опушены длинными, кверху загнутыми ресницами... Зубы ее, ровные, как подобранный жемчуг, сверкают необычайной белизной всякий раз, когда она смеется, а посмеяться под веселый час она большая охотница, особливо когда дешевое грузинское вино заиграет жарким румянцем на щеках ее... Немного резкое очертание правильных, почти античных губ придает лицу ее выражение чего-то смелого, даже дерзкого; но это выражение совершенно исчезает, когда она весела или просто улыбается... Голос Магданы иногда тих, даже

вкрадчиво нежен, иногда, напротив, так же груб, как у разгневанного мальчика». Она умела объясняться по-русски, причем усвоила — неизвестно от кого — поговорку: «Чума возьми!»

Женщина эта была страстная, зажигательная. Сама приходила к Полонскому в его холостяцкую квартирку. Темные летние ночи в комнате с открытыми окнами были упоительны и прекрасны. Утром, когда Софья еще спала нагишом на постели, он брал карандаш и рисовал ее на листах своего альбома.

Однако вообразить ее своей женой Полонский не мог. И не был уверен в том, что Софья не изменяет ему. Записал в альбоме: «Она говорит мне — *я ваша*!.. А кто знает — кто владеет ею в иные минуты, где она уверена, что тот, кому она отдает себя, не следит за ней». Потом оказалось, что его подозрения не напрасны. «Я ревновал к тебе потому, что любил, и потому, что *имею причины ревновать*, — написал он ей. — ...Дай бог тебе еще лучшего друга, нежели я, — одним словом, такого, который бы все переносил от тебя с терпением, к чему я не способен, и давал бы тебе больше денег, чего я не в силах... Если ты успела в эти две ночи с досады на меня продать себя — ради создателя, не ходи больше ко мне, не мучь меня... Будь счастлива, весела и спокойна».

Софья нашла себе нового любовника — инженерного офицера Игнациуса. Случилось однажды, что приятель Игнациуса зашел к Полонскому домой и «чуть было не застал Софью Гулгаз, но она убежала и спряталась на чердаке».

Приезжал в Тифлис художник Тимм — он издавал в Петербурге «Русский художественный листок», много путешествовал и всюду, где бывал, делал зарисовки для своего издания. Полонский с ним познакомился. Тимм хотел набросать карандашом или пером портрет самой красивой женщины Тифлиса, и Полонский предложил ему нарисовать Софью Гулгаз.

Но, хотя она неизменно казалась поэту самой красивой в Тифлисе, красота ее не была уже для него всечасной необходимостью. Он написал уже такие стихи:

Не ты ли там стоишь на кровле под чадрою,
В сиянье месячном?! — Не жди меня, не жди!
Ночь слишком хороша, чтоб я провел с тобою
Часы, когда душе простора нет в груди...

В конце 1849 года удалось ему напечатать в тифлисской типографии сборник стихотворений «Сазандар». В предисловии к сборнику он написал:

«...В состав этой маленькой книжки вошло всего только двенадцать стихотворений, которые появлением своим на белый свет обязаны не столько мне, сколько пребыванию моему за Кавказом, преимущественно в Грузии.

Других моих стихотворений я не хотел с ними смешивать.

Посвящаю книжку мою всем тем, кто знает Грузию...

Приступая к изданию Сазандаря в Тифлисе, я ограничиваю число экземпляров числом подписчиков и вдобавок числом моих добрых знакомых.

Без всяких притязаний на литературную известность — я буду рад,

если стихи мои своими незатейливыми звуками способны будут разбудить хоть одно воспоминание о крае — в душе тех, кому я посвящаю их».

В начале лета 1850 года Полонский взял отпуск и решил поехать в Крым. Он чувствовал себя неважно, к тому же он был мнителен, и всякое недомогание наводило его на мрачные мысли.

По дороге, в Редут-Кале, получил он посланное вдогонку письмо Золотарева: «...два-три месяца в Крыму, среди спокойной, устроенной жизни, при морском купанье, совершенно восстановят твое здоровье, и ты осенью воротишься к нам молодец молодцом... Если у тебя началась болезнь позвоночного столба, то причиною тому твоя невоздержанность твоею тифлисскою красавицею да безалаберная жизнь, обращавшая ночь в день и дни в ночи».

Из Редут-Кале Полонский доплыл на пароходе до Ялты.

Остановился он в двух верстах от Ялты, в Массандре, в имении князя Воронцова. Из Массандры в Ялту совершал ежедневные прогулки пешком.

«Когда ветру нет и море не бурлит — с одного конца Ялты можно ясно слышать, как на другом конце города стучат копыта, гремит неожиданный экипаж или приезжий громко спрашивает, где гостиница». Таким запомнился Полонскому этот тихий городок.

В Ялте отдыхал тогда Лев Сергеевич Пушкин. Они встретились. Полонский впоследствии вспоминал: «...на террасе, в полночь, я читал ему стихи свои *Звезды*, которые ему очень нравились (но что это были за стихи, не помню). Он был очень светский человек, очень смешливый — и любил смешить — особливо дам, — немножко был циник, раз, при мне, в Крыму, читал княгине Урусовой *Царя Никиту* своего брата... (молодой Пиляр-фон-Пильхау за нее краснел, а она холодно смотрела на Пушкина и по временам как бы про себя восклицала: какие глупости!)»

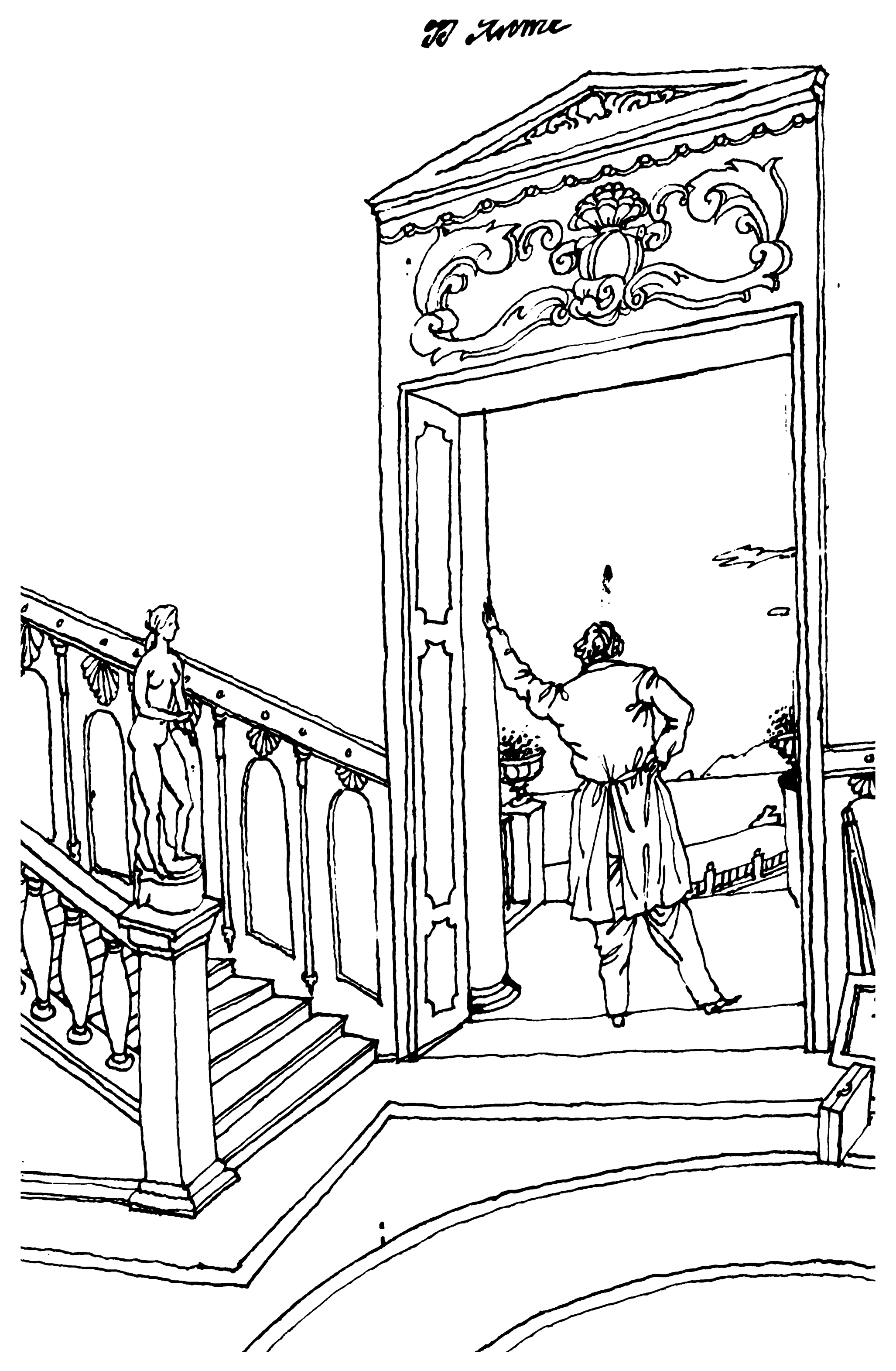
Лев Сергеевич был уже неизлечимо болен: доконал его алкоголь. Вскоре он уплыл на пароходе в Одессу.

Этим же летом в Ялте Полонский увлекся некоей мадам де Волан. Но знакомство оказалось кратким, увлечение — мимолетным. Уже в конце августа Полонский провожал эту даму на пароход — она возвращалась в Одессу. Прошел следом за ней в каюту, и получилось так, что он не слышал гудков и не заметил, как пароход отчалил от пристани. Когда Полонский спохватился, было уже поздно — пароход вышел в море...

В Одессу Полонский прибыл, таким образом, нечаянно. Без билета и без денег.

Он зашел на Дерибасовскую к Льву Сергеевичу — тот был очень слаб, но бодрился. Сказал молодой жене своей: «Пожалуйста, обо мне не молись: напомнишь обо мне богу — чего доброго, пристукнет». Подарил Полонскому на прощание портфель своего покойного брата Александра Сергеевича Пушкина.

Задерживаться в Одессе Полонский не мог. Занял у знакомых денег на дорогу. Успел познакомиться с поэтом Николаем Щербиной


В Риме

и молодым беллетристом Григорием Данилевским. Франтовато одетого Щербину можно было встретить на Приморском бульваре, с ним под руку прогуливался Лев Сергеевич — неуверенной походкой больного.

Данилевский оказался попутчиком Полонского до Ялты на пароходе «Тамань».

«На пути мы вынесли сильный шквал, половину пассажиров укачало, — вспоминал потом Данилевский. — В Ялте Я. П. Полонский, остановившись со мной в одной гостинице, прочел мне и вписал карандашом в мою памятную книжку новое свое стихотворение „Качка в море“».

Полонскому еще предстоял путь по морю до Редут-Кале.

Осенью в Тифлисе он заканчивал свое первое объемистое сочинение — драму «Дареджана, царица Имеретинская» в пяти действиях.

Замысел драмы возник у него еще в начале года. Случилось ему прочесть мемуары французского путешественника Шардена, который приезжал на Кавказ более ста лет назад. И вот, «читая Шардена, наткнулся я, — рассказывает Полонский, — на презамечательное описание имеретинского двора того времени и тогдашних интриг придворных, которые все почти вращались около единого центра — центром этим была красавица царица Дареджана, коварная, страстная и властолюбивая. Вся жизнь ее — ряд злодейств, обманов и приключений, — из одной такой жизни, казалось мне, можно выкроить целых три трагедии — и я решился выкроить хоть одну для *нашей* — т. е. для тифлисской сцены».

Минувшим летом, проезжая через Имеретию и главный город ее, Кутаис, увидев древний Гелатский монастырь, Полонский живо представил себе события, которые хотел воссоздать для сцены. И новые стихи его «Над развалинами в Имеретии» были подступом к этой теме, в них смутно, «как рой теней», возникали герои давних событий и его будущей драмы:

Когда на листья винограда
Слетала влажная прохлада
С недосягаемых вершин;
Когда вечерний звон Гелата
В румяных сумерках заката,
Смутив пустыни грустный сон,
Перелетал через Рион —
Здесь на кладбищах, позабытых
Потомством посреди долин,
Во мгле плющами перевитых
Каштанов, лавров и раин,
Мне снился рой теней...

Драму свою Полонский писал далеко не столь звучными стихами, без рифмы, и то, что получалось, больше походило на прозу.

Он надеялся напечатать драму в петербургском или московском журнале, получить за нее хороший гонорар и на вырученные деньги съездить в Москву, а затем в Петербург, где еще ни разу не довелось побывать.

Неожиданно появился в Тифлисе старый приятель его Николай Ровинский и вместе с ним художник из Петербурга Александр

Бейдеман. Оказалось, они путешествовали до Эривани, теперь возвращаются, и деньги у них вышли все до единой копейки.

Полонский пригласил их остановиться у него на квартире. И отдал им свое месячное жалованье — восемьдесят рублей.

«Странствующий художник Бейдеман собрался наконец в дорогу — и напяливает длинные сапоги... — писал Полонский в письме к Данилевскому 7 декабря. — Чудная теплая ночь — такая ночь, каких, быть может, в декабре и не бывает на севере, придает им (т. е. ему и Ровинскому) нечто вроде бодрости. Дай бог им достать денег доехать до Питера». Ясно было, что на долгую дорогу до Петербурга восьмидесяти рублей не хватит.

«В наш город прибыл известный русский литератор граф Соллогуб, — сообщила в феврале 1851 года газета «Кавказ», — высочайшим повелением назначенный состоять по особым поручениям при его сиятельстве князе наместнике».

Какие же особые поручения мог возложить на литератора-аристократа наместник? В Тифлисе, по распоряжению Воронцова, строилось на Эриванской площади здание театра, и вот директором будущего театра был теперь назначен граф Соллогуб.

Когда это здание было готово, уже в апреле, «последовал день его открытия, — рассказывает Полонский. — День или, лучше сказать, вечер этот открылся многолюдным, торжественным и блестящим балом — сцена и партер составляли одну залу, фантастически расписанную, с голубым потолком... Музыка гремела, но почти никто не танцевал — были только национальные пляски в присутствии князя наместника... Между прочим, в этот вечер, на этом празднике граф Соллогуб прочел стихи мои, написанные по случаю открытия театра, — какие стихи — извините, не помню ни единой строчки». Стихи эти «были встречены тифлисской публикой с большим сочувствием. Не ожидая таких рукоплесканий, я ушел, но на улице был пойман, как преступник, снова введен в залу, и князь наместник со свойственною ему улыбкою пожимал мне руку, снисходительно за эти стихи поблагодарил меня. Полагаю, что стихи эти не стоили никакой благодарности...»

Полонский подумал, что теперь-то его драма сможет появиться на сцене нового театра. Он с готовностью читал «Дареджану» всем, кто соглашался его слушать.

«Я читал мою драму по приглашению Нины Александровны Грибоедовой, вдовы нашего знаменитого Грибоедова, в доме брата ее князя Чавчавадзе — при гостях, приглашенных не без выбора, — и читал, если не ошибаюсь, с успехом. Читал ее и в доме самого наместника...

Да простит мне Аллах мою неопытность — в успех драмы на тифлисской сцене я верил, как Магомет верил в свои галлюцинации.

Но чтоб она могла быть на сцене, нужно было добиться разрешения.

Наместник имел право разорить любую неприятельскую область, построить театр или крепость, не спрашиваясь, но поставить пьесу на сцене не спросясь не имел права!

Искать разрешение нужно было в Питере...»

Он решил взять отпуск — и в путь!

Только что вышла в Тифлисе, тиражом в триста экземпляров, его новая книжка, озаглавленная просто «Несколько стихотворений». Ничего он на ней, конечно, не заработал. Но зато прислал денег отец, который давно уже звал его — хоть ненадолго — в Рязань, и Яков обещал приехать, когда будет возможность. Отец, посылая деньги, писал: «...вполне уверен, что ты, мой друг Яшенька, не изменишь своему слову, с получением их распорядишься об увольнении в отпуск...»

Отпуск он получил. Выписали ему подорожную: «От Тифлиса в Рязанскую, Московскую губернии и в С.-Петербург и обратно чиновнику канцелярии наместника кавказского титулярному советнику Полонскому...»

Выехал он 25 мая по Военно-Грузинской дороге.

Неприступный, горами заставленный,
Ты, Кавказ, наш воинственный край,
Ты, наш город Тифлис знойно-каменный,
Светлой Грузии солнце, прощай!

Впрочем, он рассчитывал вернуться.

Глава третья

«Ты пишешь, что попал в море семейных споров, несогласий и хлопот в твоей семье и удивляешься пошлости, тривиальности, глупому порядку жизни в Рязани», — писал Золотарев Полонскому в ответ на письмо с рассказом о приезде к отцу в Рязань.

Полонский тогда ясно ощутил, как отдалился он от своих родных, от их быта, от узкого круга их интересов и забот. И отец, который любил его, жил словно бы в ином мире. Озабоченный материальным и служебным положением сына, он был безразличен к его призванию литератора.

Яков Полонский задержался в Рязани всего на несколько дней.

Еще в Тифлисе он составил для себя список знакомых, которых непременно надо посетить в Москве и в Петербурге. В списке московских знакомых первым у него значился доктор Постников. Потому что в доме доктора можно было надеяться встретить Соню или ее сестру.

Правда, Соня уже носила другую фамилию — Дурново, она недавно вышла замуж, и, вероятно, Полонский об этом уже знал...

Застревать в Москве он теперь не собирался. У Постникова был, но увидеть Соню не привелось. Навестил многих знакомых — Вельтмана, Аполлона Григорьева, Кублицкого и других. Заглянул по старой памяти в университет, пожал руку университетскому сторожу Михалычу.

Кублицкий теперь считал себя музыкальным критиком: печатались иногда в «Московских ведомостях» его отзывы о спектаклях и концертах. При этом он, по словам Полонского, «очень гордился своим кабриолетом, своим костюмом, кой-какими успехами у дам и своими рецензиями...»

Григорьев снова жил в Москве. Он уже был постоянным кри-

гиком журнала «Москвитянин». Полонский прочел ему вслух «Дареджану», и Григорьев нашел, что эта вещь не без достоинств.

Надо было двигаться дальше.

Солнечным утром запряженный четверкой лошадей дилижанс привез его в Петербург.

Надежды свои возлагал Полонский в первую очередь на рекомендательное письмо князя Воронцова — касательно «Дареджаны» — директору императорских театров Гедеонову.

«Гедеонов принял меня гордо и холодно, — вспоминает Полонский, — не как заезжего гостя, а как подчиненного, пробежал письмо князя наместника и сказал мне, чтобы я потрудился за ответом обратиться в Третье отделение». То есть в то самое грозное учреждение, что вело тайный контроль за направлением умов и могло всякую неблагонадежную личность скрутить в бараний рог.

К кому же именно следовало обратиться? Гедеонов «назвал мне лицо (фамилии которого я не помню)... — рассказывает Полонский. — Я отнес ему рукопись *Дареджаны* — он принял ее и обещал мне свое содействие. Через месяц или два это же лицо с необыкновенной ласковостью в глазах и голосе убеждало меня, что драма моя не может быть на сцену допущена — по той простой причине, что она историческая, а историческая она потому, что в ней действуют цари и царицы — хоть и имеретинские 17 столетия — и все-таки невозможные для сценического представления. Лицо (очень приличное, длинноватое, гладко выбритое, с хитрым блеском в серых глазах и с тонкими улыбающимися губами) советовало мне отечески о драме отложить всякое попечение и написать что-нибудь другое, а лучше всего ничего не писать».

Полонскому стало ясно: шансов напечатать «Дареджану» в Петербурге нет. Что ж оставалось делать? Он сразу же переслал рукопись драмы в Москву — Кублицкому. В письмах Кублицкому и Григорьеву просил попытаться пристроить ее в «Москвитянин».

Получил он письмо от Сони — теперь уже Софьи Михайловны Дурново — и взволнованно отвечал:

«Я в сотый раз перечитываю письмо ваше и вижу, что на него отвечать никогда не поздно — но что отвечать? — что я помню все — что я уважаю вас — что видеть и слышать вас желал бы от всей души, от всего сердца — зачем? Я и сам не знаю. Много прожил с тех пор, как мы расстались... Из этого омута страстей и впечатлений, всего того, что мы называем жизнью, душа моя вынесла и до сих пор сохраняет свято образ ваш...

Вы пишете, что стали женщиной довольно *пустой и нелепой,* я вам не верю — что вам за охота унижать себя. В вас был такой богатый запас всего истинно прекрасного и прекрасно женственного, что я не верю вам — не верю точно так же, как когда-то я не верил вашему сердцу — и не ошибаюсь точно так же, как я не ошибался за несколько дней до моего выезда из Москвы...

Вы пишете, что во имя дружбы я многое могу *простить*, извинить вам. Боже мой! В чем вы виноваты? В чем я могу обвинять

вас. Разве не довольно для меня и того, что вы меня помните. Я был прав, когда без цели, без плана ускакал из Москвы, чтобы только испытать себя, чтоб *не обмануть и не обмануться.* Вы были также правы, когда отдали ваше сердце другому. И всего лучше обратиться к настоящему — как вы поживаете, что делаете? Скучны или веселы? Пишите к вашему старому другу!»

Она больше не написала ничего.

И что-то ни от Кублицкого, ни от Григорьева не было никакого ответа. Прождав месяца два и уже совершенно упав духом, Полонский послал письмо редактору «Москвитянина» Погодину — хотел узнать наконец о судьбе рукописи.

Другое письмо послал Золотареву. Спрашивал совета: не махнуть ли рукой на свою злосчастную драму и не вернуться ли, не задерживаясь дольше, в Тифлис?

За август и сентябрь ему из Тифлиса еще высылали жалованье, но затем перестали высылать. Не мог же он рассчитывать, что ему будут платить жалованье за время самовольной задержки в отпуске.

Однако Золотарев написал: «...советую оставаться в Петербурге... Подумай, во что обойдется дорога сюда, снова обзаведение всем нужным...»

«Вернуться на Кавказ я не мог, — вспоминает Полонский, — на дорогу не хватало денег, занять было не у кого — и я послал в Тифлис просьбу об отставке — признаюсь, послал не без невольного сожаления».

Утешало одно: Погодин взялся напечатать «Дареджану» в своем журнале.

В апреле 1852 года Полонский ненадолго прикатил в Москву. Драма его печаталась в «Москвитянине» с цензорскими исправлениями и сокращениями — начиная с заголовка «Дареджана, царица Имеретинская» — тут было вычеркнуто слово «царица».

Никакого успеха автору «Дареджана» не принесла. Журнал «Современник» поместил краткий и, надо признать, справедливый отзыв: «...г. Полонский человек несомненно даровитый, он пишет очень хорошие стихи, которые, между прочим, печатались и в «Современнике», но это еще не значит, что г. Полонский может создать драму».

Денег она ему тоже не принесла. Сохранилась записка Полонского, посланная Погодину в Москве: «Письменно я прошу вас о том же, о чем просил вас лично. Вы должны мне девяносто семь руб. 75 копеек; без этих денег не могу я двинуться в Петербург... Приехал бы сам, да дороги извозчики».

В Петербурге он снимал комнату в дешевой квартире на углу Колокольной и Дмитровского переулка. На службу устроиться не удавалось. За стихи в журналах платили ему по пятнадцать копеек за строку.

Ежедневно он шатался по Невскому проспекту, где всегда мог встретить кого-нибудь из новых знакомых.

В Петербурге «судьба свела меня, — рассказывает Полонский, — с одним милейшим человеком, всеми силами души своей преданным литературе, образованным, страстным любителем поэзии — почти энтузиастом — и в то же время простейшим из простейших смертных. Этот человек был маленького роста, худенький, одетый щеголевато, постоянно в желтых перчатках и в круглой новомодной шляпе, но — бледный, как мертвец». Его «как бы не совсем прорезанные глаза казались двумя черными щелками» под высоко поднятыми черными бровями. По близорукости он носил очки.

Это был молодой литератор Михаил Илларионович Михайлов. «Мы сошлись с ним сразу, — вспоминает Полонский, — я прочел ему свой рассказ «Тифлисские сакли», он наизусть прочел мне мои же стихотворения». И пригласил Полонского к себе — жил он на Малой Морской.

Полонский пришел, поднялся на четвертый этаж.

— Слушай, хочешь жить со мной рядом? — спросил Михайлов, едва Полонский вошел в его комнату.

— Разумеется, хочу, а что?

— Есть комната, пятнадцать рублей в месяц. Хочешь, посмотрим?

Вышли в коридор, Михайлов открыл соседнюю дверь. Предлагаемая свободная комната оказалась маленькой, с одним окном, зато чистой, с паркетным полом и высоким потолком. «Сразу она мне понравилась, — вспоминает Полонский, — позвали мы хозяйку и условились, на другой же день я переехал».

У хозяйки квартиры, польской дамы, был слуга Сигизмунд, по утрам он приносил самовар в комнату к Михайлову, затем стучался к Полонскому — звал чай пить.

Так что виделись они теперь каждый день; «чай, сахар, булки покупались на общие деньги, — вспоминает Полонский, — только обедали мы порознь — где бог послал. Естественно, что, поселившись так комфортабельно, надо было добывать средства» на повседневные расходы — хотя бы рублей тридцать в месяц.

Хорошо еще, что на том же этаже, только в другой квартире, жил доктор Каталинский: «Каталинского мы все называли литературным доктором, потому что ни с одного литератора за визиты он никогда не брал ни копейки».

Встретился Полонский с художниками, знакомыми по Тифлису, — Бейдеманом и Тиммом.

Бейдеман принимал его радушно у себя, но о тифлисском долге своем — о восьмидесяти рублях — словно бы начисто забыл, а Полонский стеснялся напомнить.

В июльском номере «Отечественных записок» был напечатан его рассказ «Тифлисские сакли», сокращенный безбожно. Упоминать в печати о любовницах и содержанках считалось безнравственным, так что цензор не оставил и намека на то, что героиня рассказа Магдана была чьей-то любовницей.

Номер журнала с этим рассказом прочли друзья и знакомые в Тифлисе. Один из них сообщил Полонскому: «Софья как узнала, что вы выставили ее в этой повести, — ужасно рассердилась. Она дала

слово никогда не связываться с писателями и потому, кажется, прилепилась к Игнациусу, который ей читал эту повесть». Впрочем, читая «Тифлисские сакли», ни Игнациус и никто другой не могли бы догадаться по тексту рассказа о былых отношениях Полонского и Софьи Гулгаз.

«Читал я на днях твои *Тифлисские сакли*»,— писал ему Золотарев,— цензура сделала из них настоящий тришкин кафтан, обрезала, окорнала, изуродовала... Но ты сам виноват, прислал бы ты твои *Сакли* в их отчизну—и статья твоя явилась бы в ином виде; конечно, может быть, ты не получил бы за них денег,—но едва ли и в Петербурге ты много взял за ⅓ твоего произведения».

Позднее, в другом письме, Золотарев написал: «Я недавно видел на Эриванской площади твою бывшую красавицу,— она все еще хороша, особенно глаза...»

Ради заработка сочинил тогда Полонский рассказ «Глаша». Уже зная по собственному опыту чрезвычайную строгость цензуры, выбрал он тему самую невинную—написал о влюбленности мальчика в сестру товарища. Рассказ приняла к печати редакция журнала «Современник».

Полонский вспоминает:

«Я с величайшим нетерпением ожидал гонорара—и вдруг удар—цензура не пропускает... Решаюсь на другой день самолично явиться к цензору и спросить его.

Являюсь к цензору—рекомендуюсь—говорю ему: так и так, за что такая напасть, помилуйте. Вот уж никак вообразить не мог...

— Э, батюшка!—говорит мне цензор (старичок в очках).—Нет, вы меня не надуете, не надуете! Пожалуйста сюда! Я вам покажу-с, я не придираюсь, помилуйте-с, за что я стану придираться! Вот она-с, ваша повесть... Я всячески желал бы ее отстоять, но не могу-с—никак не могу...

— Да что же в ней такое?

— А вот, извольте.

Оказалось, что я имел дерзость поместить лампадку в головах кроватки, на которой спал мой маленький герой, таким образом, что лампадка освещала его ноги.

— Это кощунство!—воскликнул цензор.—Это вы не без умысла...»

Полонский пытался уверить его, что никакого кощунства тут нет. В конце концов, про лампадку можно вообще вычеркнуть... Оказалось, однако, что цензор имеет и другую, более существенную претензию: в рассказе изображена школа, причем «всякий может вообразить себе, что это гимназия», а гимназию вообще изображать в печати не дозволено. Но почему ж? А просто—нельзя, и все тут.

— Мне самому за вас достанется,—говорил цензор.— Я сам нахожусь под вечным страхом.

Расстроенный автор ушел ни с чем.

Написал он после этого другой рассказ—«Статуя весны». На сей раз—о шестилетнем мальчике, который в школу еще не ходит. Рассказ принял в «Отечественные записки» Краевский.

«Заранее расчел, что получу около 100 рублей и расплачусь

с кем следует... — вспоминает Полонский. — Проходит недели две — вдруг записка от Краевского:

Съездите, пишет он, к цензору, узнайте, отчего не пропускает он вашего рассказа...

Теперь старичок в очках встретил меня и пригласил в кабинет.

— Я опять должен запретить рассказ ваш.

— За что?

— А! Вы от меня не скроете, какого это безнравственного мальчика вы нам вздумали изобразить!»

Старичок заявил, что ребенок, глядя на статуэтку, видимо, имел дурные эротические помыслы. Так что печатать рассказ невозможно...

Позднее Полонскому все же удалось напечатать оба рассказа — в сильно измененном виде. Вычеркнул все, что вызывало возражения. «Глашу» переименовал в «Груню» — наверно, для того, чтобы представить как якобы совсем новый рассказ.

В общем, литературным трудом прокормиться не удавалось. Осенью 1853 года Полонский поступил домашним учителем в дом генерал-майора графа Павла Матвеевича Толстого. Взялся подготовить пятнадцатилетнего сына графа к поступлению в самое привилегированное учебное заведение — Пажеский корпус.

В ноябре ему пришлось уехать в Варшаву вместе с семьей Толстых. Доро́гой он зябнул в экипаже; от холода — а может, не только от холода — из глаз его катились слезы.

В Варшаве Толстой снял квартиру на Крулевской (Королевской) улице. В этой квартире у графа часто бывали гости, но никто не обращал внимания на домашнего учителя, «одинокого посреди многолюдства». Должно быть, знакомства Толстого были тут ограничены узким кругом русских офицеров и чиновников, служивших в Варшаве.

Зимой Полонский написал знакомому литератору Гаевскому в Петербург: «Кланяйтесь от меня Андрею Александровичу Краевскому, спросите его, правда ли, что о Варшаве запрещено печатать, я бы мог прислать ему несколько варшавских писем... да что даром хлопотать — как нельзя!.. Тоска меня не покидает, но я привык к ней, начинаю понимать по-польски, но сам еще плохо говорю...»

Весной он вместе с Толстым вернулся в Петербург.

Летом они ездили в подмосковное имение поэтессы графини Ростопчиной — Вороново. Ростопчина к тому времени разорилась, и Толстой покупал ее имение.

Сын его поступил в Пажеский корпус, и Полонский с Толстыми расстался.

«Живу теперь сам по себе на новой квартире, — сообщал он в письме Николаю Щербине в Москву, — и пробавляюсь уроками, яко же и вы. Квартира моя находится на Гороховой, близ Адмиралтейской площади... В Питере легче находить труд, чем в Москве. В Москве, напротив, легче жить без труда. Москва глядит — Питер шлифует и нередко зашлифовывает людей до смерти. Много горя я здесь перенес — и этого горя никто не знает. Питер учит притворяться и прикидываться спокойным... Кланяйтесь герою нашего времени Кублицкому».

В конце лета 1855 года вышел из печати новый сборник стихотворений Полонского — впервые вышел в Петербурге.

Об этом сборнике он слышал единодушные похвалы. В «Отечественных записках» прочел о себе такой отзыв: «В особенную заслугу г. Полонскому поставим мы прежде всего отсутствие в его стихотворениях общих мест, давно заученных фраз, избитых, истертых предметов песнопения, обветшалых чувств, полинялых картин, заплесневелых мыслей. Мы не хотим сказать этим, чтоб поэт воспевал что-нибудь новое, — нет, содержание его стихотворений взято из окружающего нас обыденного мира; но г. Полонский придает новый колорит этим предметам, освещает их новым светом, смотрит на них иначе, нежели смотрели другие».

В журнале «Современник» редактор его, поэт Николай Алексеевич Некрасов, поместил рецензию, в которой отмечал: «...произведения г. Полонского, кроме достоинства литературного, постоянно запечатлены колоритом симпатичной и благородной личности».

Дочь известного в Петербурге архитектора Штакеншнейдера писала тогда в дневнике: «Поэтов изображают с лирой в руках, но у Полонского в руках не лира, а золотая арфа. Он так чуток, он передает такие для простых смертных неуловимые звуки человеческого сердца или природы, что кажется чем-то нездешним, небывалым; он, кажется, в самом деле имеет дар слышать, как растет трава».

В доме Штакеншнейдера на Миллионной улице Полонский стал бывать с прошлой зимы. Здесь был своего рода литературный салон: по вечерам за чайным столом собирались поэты Владимир Григорьевич Бенедиктов, Аполлон Николаевич Майков, Николай Федорович Щербина. С Майковым и Щербиной Полонский уже был знаком, с Бенедиктовым встретился тут впервые. «Он казался чистеньким, скромным, даже несколько застенчивым чиновником, — вспоминает Полонский, — глядел несколько исподлобья, говорил мало, улыбался добродушно, и только изредка в глазах его мелькал огонек светлого ума, и только иногда, когда он читал стихи (свои или чужие), голос его, густой и певучий, возвышался и становился неузнаваемым... Лично для меня он не был симпатичен, чувствовалось, что он несообщителен, неоткровенен и, быть может, внутренне недоволен собой и что, как улитка в раковину, при посторонних уходит и прячется душа его».

Бенедиктов особенно любил семью Штакеншнейдер.

В этом доме гостей встречала жена архитектора, Мария Федоровна; муж ее, Андрей Иванович, высокий, худой, неразговорчивый, появлялся далеко не всякий раз и большей частью молчал. Дочь Елена (по-домашнему — Леля) встречала гостей сидя в кресле, она была калекой и не могла ходить без костылей.

Снова предложили Полонскому место домашнего учителя. Жалованье — полторы тысячи в год.

Петербургский губернатор Николай Михайлович Смирнов пригласил его в свой дом быть учителем и воспитателем девятилетнего Миши, единственного сына Смирнова. В семье было еще три дочери, мальчик был самым младшим.

Полонский согласился. В доме Смирнова на Торговой улице ему отвели комнату в первом этаже, окном во двор.

В доме главенствовала жена Смирнова, Александра Осиповна, урожденная Россет. Это о ней в свое время писал Пушкин:

Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

Теперь ей было сорок шесть лет. Полонскому запомнилось «сухое, бледное лицо ее, черные строгие глаза и правильный тонкий профиль». «Шутки злости самой черной» можно было услышать от нее и теперь, но уже далеко не всегда она «судила здраво и светло».

Быть учителем ее сына оказалось совсем не просто.

«Больная, нервная, озлобленная на мир, пиетически православная, она беспрестанно звала меня читать ей жития святых,— вспоминает Полонский.— Заставляла сына своего учить акафисты, посылала в церковь и всячески старалась изучить мой образ мыслей, что ей никак, однако же, не удавалось».

Кто его понимал — так это Леля Штакеншнейдер. Она записала в дневнике: «Странный человек Полонский. Я такого еще никогда не видала, да думаю, что и нет другого подобного. Он многим кажется надменным, но мне он надменным не кажется; он просто не от мира сего... Доброты он бесконечной и умен, но странен. И странность его заключается в том, что простых вещей он иногда совсем не понимает или понимает как-то мудрено; а сам между тем простой такой по непосредственности сердечной... Он никогда не рисуется и не играет никакой роли, а всегда является таким, каков он есть».

В доме Смирновых Полонский не то чтобы играл какую-то роль, но усердно отмалчивался в разговорах с Александрой Осиповной.

«Я дал себе слово,— вспоминает он,— не проговариваться и не спорить с ней о религии; я был рад, что схожусь с ней в одном — в ее демократическом взгляде на жизнь.

В этот период своей жизни она действительно казалась демократкой. Презирала придворную жизнь, ненавидела свет и все его внешние условия. Одевалась очень просто и помогала бедным.

Не знаю, поняла ли она меня в то время, но я довольно скоро ее понял и перестал доверять ей. Из-под маски простоты и демократизма просвечивался аристократизм самого утонченного и вонючего свойства, под видом кротости скрывался нравственный деспотизм...»

Летом 1856 года Александра Осиповна решила отправить сына на дачу в Лесное, северное предместье Петербурга.

Полонский вспоминает: «Не хотелось мне переезжать в Лесное. Я хандрил, тосковал, упрекал судьбу свою, которая сделала из меня домашнего учителя, чуть не гувернера».

Александра Осиповна уехала к себе в имение. На даче в Лесном, кроме Полонского и Миши, жила старшая дочь Смирновых, Софья, с мужем, князем Андреем Васильевичем Трубецким, и детьми.

Дачники гуляли в парке, где бывало многолюдно; многие при-

езжали сюда из города по воскресеньям. Здесь Полонский однажды встретил Бейдемана, и, прогуливаясь под руку, они увидели в парке незнакомую голубоглазую девушку. «Вот с кого бы написать херувимчика!» — шепнул Полонскому Бейдеман.

Оказалось, что зовут ее Терезой, она воспитанница в семье Базилевских, живущих на соседней даче. Она уже просватана и в ближайшее время выходит замуж...

Вскоре проницательные дачницы заметили, на кого Полонский обращает внимание.

— Тереза очень просит вас написать ей какие-нибудь стишки, — сказала ему лукаво Маша Базилевская.

— О, это очень лестно! — ответил он.

И в тот же день, дома, с легкостью сочинил:

Промелькнув одним виденьем,
Для меня вы — светлый сон;
Кто же бредит сновиденьем,
Тот и жалок и смешон...
Встретить вас — и не встречаться,
Видеть вас — и не видаться,
Право, лучше пожелать
Снов подобных не видать...

Маша Базилевская охотно взялась передать стихи и пригласила его в ближайший четверг на бал к ним на дачу.

На другой день Полонский проходил мимо дачи Базилевских и увидел Терезу, она сидела на ступеньках террасы. Они встретились глазами, она смутилась и встала. И сказала неожиданно:

— Каким образом вы... Я вас не знаю... Вы меня вовсе не знаете... Чем же я заслужила ваше посланье? Что оно значит, позвольте вас спросить?

Стало ясно: вовсе она стихов не просила — это была выдумка Маши Базилевской...

Полонский рассказывает:

«Я почувствовал, что сердце у меня захолонуло...

— Вы произвели на меня сильное впечатление, — сказал я, приподнимая плечи и как бы преклоняя свою повинную голову».

В четверг он собрался на бал. «Вечером, часу в десятом, — рассказывает он далее, — при первых звуках бального оркестра, долетевших до меня через улицу, я надел фрак и зашел сначала к князю Трубецкому, который осмотрел меня, поправил на мне галстук, перенес часовую цепочку с нижней петли на верхнюю, словом совершенно по-родительски обошелся со мной (как великосветский лев с неопытным львенком)», — хотя Полонскому было уже тридцать шесть, и Трубецкой был года на два моложе.

«От Трубецкого я вышел на улицу... Увидев немало экипажей, как подъезжающих, так и отъезжающих, я заключил, что пора и мне.

Погода была сырая, на улице было грязно, и, несмотря на это, перед дачей Базилевских толпился дачный народ».

В зале, где уже начались танцы, Полонского представили хозяйке дома. Терезы еще не было. Он собирался сказать ей: «Сильное впечатление не всегда еще приводит к сильному чувству. От впе-

чатления до любви так же далеко, как от Петербурга до Неаполя...»

Но вот появилась Тереза, он пригласил ее танцевать — и почувствовал, что она ему далеко не безразлична... Она сказала:

— В понедельник меня уже не будет, я уеду в Тулу.

В воскресенье предстояла ее свадьба...

Полонский вернулся домой, разделся, лег. И подумал: «Роман мой кончен. Будь я богат, я, быть может, и протянул бы его. Кто знает, быть может, я и накануне свадьбы увез бы ее...»

В третьем часу он встал, снова надел фрак, перешел улицу. Бал еще не кончился.

«Пили за здоровье Терезы... — вспоминает он. — Я подошел к Терезе и, кажется, сказал ей, что и я пил за ее здоровье.

— Я верю, — сказала она, протягивая мне руку, — все будет так, как вы желаете.

...В воскресенье, 29 июля, Тереза была обвенчана. Весь этот день я сидел за моим мольбертом и мазал масляными красками».

Его новым увлечением были краски, кисти, палитра и холст.

Быть может, у него и щемило сердце, но чувство к Терезе не захватило его глубоко, не вдохновило. Он написал:

Не сердце разбудить, не праздный ум затмить —
Не это значит дать поэту вдохновенье.
Сказать ли Вам, что значит вдохновить?
Уму и сердцу дать такое настроенье,
Чтоб вся душа могла звучать,
Как арфа от прикосновенья...
Сказать ли Вам, что значит вдохновлять?
Мгновенью жизни дать значенье
И песню музы оправдать.

Вернувшись к осени в город, он снова стал частым гостем у Штакеншнейдеров. Они тоже вернулись недавно с дачи.

«Пока нас не было в Петербурге, — записывала в дневник Леля Штакеншнейдер, — преобразились журналы. Я до сих пор еще не дотрагивалась до них, но Бенедиктов и Полонский в два вечера, проведенные с нами, прочитали нам четыре статьи, до того непохожие на все, что выходило из чистилища цензуры в прошлом году, что не верилось, что читают с печатного».

В феврале прошлого года умер император Николай, и вот уже все заметнее становился ветер перемен. Особенно заметен в печати.

За границей печатались бесцензурные сборники «Полярная звезда» Герцена и Огарева, эти сборники нелегально привозились в Петербург. И читались во многих петербургских домах, в том числе, конечно, у Штакеншнейдеров.

Полонский мог вспомнить, что ведь когда-то он имел случай познакомиться с Герценом лично. Еще в 1843 году встретил он однажды у Вельтмана «очень красивого молодого человека с таким интеллигентным лицом, что в его уме нельзя было сомневаться. Мы были втроем, — написал в воспоминаниях Полонский, — и, между прочим, я с большими похвалами отозвался о статье Герцена в «Отечественных записках», напечатанной под заглавием «Дилетантизм в науке». Они засмеялись. «А вот перед вами и сам Герцен — автор этой статьи, — сказал мне Вельтман...»

Александра Осиповна Смирнова все более замечала, что учитель ее любимого сына не чужд нынешнего либерализма. Это ее беспокоило. Осенью 1857 года она уехала с двумя младшими дочерьми в Венецию, оттуда в начале января прислала письмо:

«Любезный Яков Петрович.

Отчего это вы не поздравили меня с новым годом и новым счастьем, по русскому обычаю?.. Ведь мы с вами не можем быть чужие, по крайней мере не должны быть чужие: у вас на руках мой милый и добрый Миша, которого вы любите...

Не знаю, имеете ли вы привычку всякий день молиться?.. Если нет, то обещайте мне только, что будете читать *Отче наш* со вниманием. Собственные слова нашего Спасителя содержат такую силу, что для вас откроется целый мир; они заключают все, что нам нужно. Тогда вы примиритесь с собою и со своим положением, которое вам тяжко, я в этом убеждена.

Западные народы вне себя делали революции. Русский человек делает в себе революцию и посредством этой внутренней, душевной и благодатной революции должен произвести медленное, спокойное и законное преобразование общества. Вот, кажется, задача русского, если он остается верен своей церкви, без которой ничто не созиждется, и своему характеру. Вот в каком смысле я хочу вести своего Мишу, и вам, любезный Яков Петрович, как его лучшему другу, передаю свои убеждения. Вы скажете, что я ошибаюсь, но я убеждена, что все мои выводы верны, сознавая затруднения, которые нас окружают».

Полонского она не могла убедить уже потому, что проповедь ее не подтверждалась всем ее жизненным поведением. «Как славянофилка, она воспитала дочерей своих так, что в них нет ничего русского... — едко замечал Полонский. — Как русская патриотка, она не могла жить в России...»

Но она была проницательна и поняла, хоть он и старался это скрывать, что ему — в его положении — тяжело.

«Гувернер Смирнова (так называли меня в свете) мог ли надеяться на чье-нибудь особенное внимание или сердечную привязанность... — с горечью писал он потом. — Раз, обманутый вниманием одной светской дамы, родившейся в Сибири от отца-изгнанника [молодой вдовы Елены Сергеевны Молчановой, урожденной Волконской], я употребил все средства, чтобы заслужить ее расположение, не любовь, о которой я не смел мечтать... И как пустой мечтатель был жестоко наказан. Вероятно, ей показалось, что я не шутя волочусь за ней, и, когда однажды я зашел к ней после обеда, она велела мне сказать, что *принять меня не может потому, что у нее гости*. Этот ответ, сообщенный через лакея, так поразил меня, что у меня подкосились ноги, когда я спустился с лестницы. Я не помню, чтоб кто-нибудь так жестоко оскорбил меня. Как *гувернер*, я мог бывать у нее по утрам... и, быть может, если бы не было гостей, она приняла бы меня вечером. Но гувернер — и аристократка! Мой приход ей показался дерзостью... Так кончилась моя единст-

венная в этот год начинающаяся привязанность. Быть может, она кончилась бы страстью, и я был бы несчастлив».

Весной он съездил в Москву. Там приятели попытались его сосватать, но он уклонился...

Редакция «Современника» приняла к печати его маленькую лирическую повесть «Шатков». Член редакции журнала, критик Николай Гаврилович Чернышевский, написал Полонскому о его новой повести: «...слог прекрасен, и я не такой вандал, чтобы решился, злоупотребляя Вашим позволением, изменить хотя бы одно слово».

Не во всякой редакции Полонский встречал такое отношение к себе...

С наступлением весны Александра Осиповна писала ему из Венеции: «Ожидаю с нетерпением выезда вашего за границу». Она хотела увидеть сына и мужа, а также, поскольку он был нужен мальчику, Полонского. Встреча была назначена в Германии, в курортном городке Баден-Бадене.

Николай Михайлович Смирнов взял отпуск. Купил билеты на пароход от Петербурга до Штеттина — по Балтийскому морю. Далее предстояло ехать в поезде через Берлин. Александра Осиповна написала Полонскому: «В Берлине у Шнейдера [книготорговца] есть ящик с книгами, они мои, можете взять что угодно для чтения, в том числе — дрянной Герцен». Догадывалась она, что именно интересует Полонского.

Из Петербурга отплыли 18 мая. «Помню, с какой радостью вступил я на пароход, — вспоминает Полонский. — Неясные предчувствия чего-то еще неведомого и неиспытанного влекли меня в даль».

Глава четвертая

Баден-Баден — нарядный городок среди невысоких зеленых гор. Здесь модный курорт при минеральных источниках и еще более модный игорный дом — рулетка.

Смирновы сняли на лето домик под черепичной крышей. Комнатку в мансарде предоставили Полонскому. Комнатка была узкая, помещались в ней только стол, комод и кровать.

«Окрестности Бадена чудо как хороши, — написал он в письме к Марии Федоровне Штакеншнейдер, — только жаль, что каждый день одно и то же». Дни его были расписаны по часам. Время, свободное от занятий с учеником, он отдавал рисованию. Брал с собой складной стул, альбомы, карандаши и уходил рисовать окрестные пейзажи. Особенно ему нравились руины замка, увитые плющом.

Приехал в Баден-Баден старый приятель Кублицкий, фланировал по аллеям. Состоятельных людей из России тут вообще было множество. Петербургские и московские дамы демонстрировали на променадах свои туалеты.

Появился в городке молодой и уже известный писатель Лев Николаевич Толстой. Полонский мельком встречался с ним в Петербурге.

В первый же день по приезде Толстой записал в дневнике: «Полонский добр, мил, но я и не думал о нем, все бегал в

рулетку. Проиграл немного». На том бы и остановиться, но Толстой вошел в азарт, на другой день играл с десяти утра до десяти вечера. «Я не мог оторвать его от рулетки, — сетовал Полонский в письме к Штакеншнейдер, — я боялся, что он все проиграет, ибо разменял последние деньги, — но, слава богу, к вечеру отыгрался и сидел у меня до 2 часов полуночи».

На следующий день Толстой проигрался в пух. Послал письмо Тургеневу, который в это время тоже был в Германии, — попросил срочно выслать пятьсот франков. «У Полонского нет денег», — записал Толстой в дневнике (и откуда им было взяться?). Полонский выпросил для него двести франков у Кублицкого.

И снова Толстой не удержался — эти двести франков тоже спустил в рулетку.

«Не играл, потому что не на что, — хмуро записывал он в дневнике. — Дурно, гадко, и вот уже скоро неделя такой жизни».

Приехал Тургенев. О встрече с Толстым рассказывал потом своему другу Боткину: «Он сидел в Бадене, как в омуте... решился немедленно ехать в Россию (его же и зовут туда). Я одобрил его намерение, и так как у меня собственных денег не было — то я обратился к Смирнову (мужу Александры Осиповны, которая, между нами сказать, есть *стервó*) — и он дал нужные деньги».

Не задерживаясь, уехали оба, только в разные стороны: сначала Тургенев, затем Толстой.

Александра Осиповна была Полонским недовольна. Но не было на примете такого человека, что мог бы удовлетворить всем ее претензиям, заменить Полонского и стать надежным воспитателем ее сына. Полонский в письме к Штакеншнейдер рассказывал о Смирновой: «...она стала говорить о каком-то *греке*, которого она давно желает для Миши и который тогда не соглашался его воспитывать, а теперь соглашается. На это я ей сказал: пожалуйста, мною не стесняйтесь, найдете кого-нибудь лучше меня, я готов охотно уступить ему мое место. Теперь у нее появилась идея, что только *немцы* могут и умеют воспитывать. Я сказал: наймите немца. — Что же вы будете делать зимой? — спросила она. Я отвечал, что не знаю, что буду делать, но что, вероятно, найду себе дело».

И вот однажды утром поднялся к нему в мансарду Смирнов и сказал:

— Знаете, что я придумал? Нечего вам тут учить... Какой вы учитель? Вы художник.

Предложил Полонскому отправиться в Женеву и там начать учиться живописи у модного пейзажиста Каляма.

— А если у вас теперь нет денег, я вам дам... по-приятельски, — добавил Смирнов. — Когда-нибудь отдадите...

Так Смирновы нашли способ деликатно расстаться с Полонским, и он не обиделся. Напротив. Он обрадовался и благодарил.

Он решил, что в Женеве сможет совмещать живопись и литературный труд: живопись — днем, писательство — вечером и ночью.

«Если увижу, что у меня есть талант [в живописи], останусь на целый год и буду работать, — написал он Марии Федоровне Штакеншнейдер. — Если нет, к зиме пошлю что-нибудь в журналы и, если редакторы меня выручат, приеду в Россию...»

В Женеве он рассчитывал жить экономно: пять франков в день.

В конце августа он уже был в Женеве.

Сначала поселился на частной квартире, но скоро перенес чемодан свой в пансион мадам Пико — в пятиэтажном доме на улице Роны (rue du Rhône), в двух шагах от набережной Женевского озера. В первом этаже дома было кафе; комната Полонского — как раз над кафе, окном на улицу. Днем в окно его комнаты светило солнце, вечером и ночью потолок ее был освещен тусклым голубоватым светом газовых фонарей.

«Утро же мое начиналось с того, — вспоминает Полонский, — что я под навесом кофейни, на чистом воздухе, за отдельным столиком пил кофе и читал местные газеты... Черт возьми, как было уютно и спокойно и ново — так жить, как я зажил.

...Ко мне, казалось, вернулись и моя юность и моя свежесть и беззаботность — та беспечность, которая придает такую легкость жизни... и добавьте к этому — никаких угрызений совести, никаких страстей, кроме единой — страсти мазать масляными красками.

Прежде всего, разумеется, я хотел знакомства с Калямом».

В доме Калямa, на набережной озера, первый этаж занимали выставочные залы и магазин. На втором этаже были жилые комнаты и мастерская художника.

Калям принял Полонского в своей мастерской. Стены ее были уставлены начатыми и законченными пейзажами. Деревья, горы, ручьи, водопады — все это было выписано тщательно, все было эффектно по освещению.

Художник — низенький, сухощавый, кривой на один глаз — в халате сидел у мольберта. В руках держал палитру и кисть. Он работал. Его новая картина изображала берег озера и полосу вспененных волн, освещенных солнцем.

Полонский представился. И обратился с просьбой принять его в число учеников. «Выслушав меня, — вспоминает он, — Калям извинился и сказал, что мастерская, где работают его ученики, уже переполнена, что нет ни одного свободного места и что он принять меня не может... Помню затем, как я отворил дверь на пустую лестницу и вышел на набережную...»

«Как после объяснили мне, — рассказывает Полонский, — в этом отказе я сам был виноват, назвавши себя дилетантом или просто любителем живописи. — Моя школа, — сказал он кому-то, — не для дилетантов, а только для тех, кто на всю жизнь отдается живописи».

Тогда Полонскому посоветовали обратиться к старому учителю самого Каляма, художнику Дидэ. Полонский пришел в мастерскую к Дидэ, показал ему свои рисунки и был принят в число учеников за небольшую плату. «Сейчас же мне был дан на выбор этюд с натуры, — вспоминает он, — и указано мое место в мастерской перед свободным мольбертом около окна».

Здесь он начал трудиться ежедневно, с десяти утра до пяти, копировал картины. «Дидэ не каждый день заходил в нашу комнату, заходя же, со своей трубочкой и в ермолке, он по обыкновению молча глядел на нашу работу или в коротких словах советовал употреблять ту или другую краску».

Три месяца прожил Полонский в Женеве — и впоследствии написал: «...оглядываясь назад, в прошлую жизнь мою, нахожу эти месяцы счастливейшими в моей жизни. Почему? Да потому, должно быть, что я только что избавился от занятий мне не свойственных... Впервые отроду я пользовался свободной жизнью, в надежде, что живопись в будущем даст мне возможность зависеть только от себя и от своего таланта».

Жил он в Женеве очень скромно.

«Моей же хозяйке, хлопотливой и доброй мадам Пико, — вспоминает он, — да и многим из числа моих сожителей [в пансионе] почему-то казалось, что я богач; происходило же это оттого, что я не умел торговаться там, где все поражало меня своей баснословной дешевизной, или же потому, что я был щедрее других, или просто оттого, что мне пришло в голову заниматься живописью, иначе сказать — гнаться за мечтой, что, по мнению людей положительных, позволительно только людям вполне обеспеченным.

Впрочем, я так был жизнерадостно настроен, что и сам себе казался богачом и на первых порах не заглядывал вперед, не задавая себе вопроса, надолго ли мне хватит моих благоприобретенных франков, если я буду накануне праздников садиться на пароход и, переплывая живописное, горами обставленное озеро, ночевать в Веве, посещать Монтре и Шильон...»

Он уже начинал жалеть, что весной в Москве уклонился от женитьбы, когда его сватали.

Да, пожалел он о том, что упустил минувшей весной, но еще больше жалел об утраченном давно и бесповоротно... Еще в Баден-Бадене написал он стихи, обращенные, по всей видимости, к Соне Коризне — к давней Соне, не к нынешней, где-то в России существующей Софье Михайловне Дурново:

Когда предчувствием разлуки
Мне грустно голос ваш звучал,
Когда, смеясь, я ваши руки
В моих руках отогревал,
Когда дорога яркой далью
Меня манила из глуши —
Я вашей тайною печалью
Гордился в глубине души.
Перед непризнанной любовью
Я весел был в прощальный час,
Но — боже мой! с какою болью
В душе очнулся я без вас!
Какими тягостными снами
Томит, смущая мой покой,
Все недосказанное вами
И недослушанное мной!

Это стихотворение («Утрата») он послал — уже из Женевы — Майкову в Петербург.

Однажды утром его разбудил стук в дверь — мадам Пико принесла письмо. Это было ответное письмо Майкова.

Оно так обрадовало Полонского, что он соскочил босиком с постели и, по его словам, «как Чичиков, сделал антраша».

Майков сообщал, что в Петербурге известный богач граф Кушелев-Безбородко собирается издавать литературный журнал «Русское слово». И «уже для ведения журнальных дел пробовал набирать помощников... Я как раз попал на такую историю, — писал Майков, — когда вышла грязненькая история с последним помощником, и предложил ему тебя, прибавив, впрочем, что не знаю, согласишься ли ты, — он, разумеется, был в восторге».

Никак не в меньшем восторге был Полонский, когда прочитал об этом в письме. Ведь открывалась возможность в скором времени стать помощником издателя журнала! Возможность целиком отдаться литературному труду и при этом жить безбедно — богатый издатель будет хорошо платить!

Ранее Полонский писал Майкову, что собирается зимой побывать в Риме, и вот Майков сообщал о графе Кушелеве: «Он будет зимой в Риме, где будешь и ты, и вы сойдетесь, поговорите, и ты посмотришь».

В конце письма Майков отозвался о стихотворении «Утрата»: «В пьеске, присланной тобой мне, есть два великолепные, пушкинские стиха, да и вся пьеска пахнет ароматом Пушкина: *Все недосказанное вами И недослушанное мной».*

В начале декабря Полонский выехал по железной дороге из Женевы — через альпийский перевал Монсенис и Турин — в Геную. По дороге — в Альпах, да и по ту сторону Альп, в Турине, — он зябнул ужасно и кутался в плед, а в Генуе сверкало теплое море, зеленели деревья, цвели розы.

Из Генуи он отправился на пароходе в Ниццу, куда прибыл в шесть часов утра. Ночью на море дул пронизывающий ветер, он простудился.

В Ницце нашел себе — на две недели — комнату в гостинице, комната оказалась холодной, приходилось топить камин. А по улицам можно было ходить в одном сюртуке.

И здесь он много рисовал с натуры, однако признавался в письме к Майкову: «Я в живописи так далеко ушел, что теперь начинаю сомневаться в моем даровании, ибо чем дальше в лес, тем больше дров. Вряд ли быть мне живописцем — чувствую, что природа, меня окружающая, сильнее души моей — т. е. магнетизма в ней больше, чем во мне... Для дилетанта природа — женщина, в которую он страстно влюблен и перед которой он робеет. Для художника природа — жена, которую он любит, но обходится с ней запросто, по-домашнему. Здесь под словом *художник* разумей живописца, — не знаю, можно ли это отнести к поэту. Может быть!»

Он вернулся на пароходе из Ниццы в Геную. Тут задержался совсем недолго.

И снова — в море, пароход до Чивитавеккиа, а там уже совсем рядом — Вечный город, Рим.

Запомнилось на всю жизнь и, годы спустя, отчетливо рисовалось в воображении:

Над Римом гаснет день. За Ватиканом
Зари вечерней красный океан
Становится лиловым океаном,
И в сумерки оделся Ватикан.

Он поселился на улице Виа Феличе (на той самой, где некогда жил Гоголь).

Дважды встречал он в Риме новый 1858 год — по новому и по старому стилю.

В начале января узнал он, что прибыли в Рим граф Григорий Александрович и графиня Любовь Ивановна Кушелевы-Безбородко, заняли просторные апартаменты в гостинице «Минерва».

Они путешествовали всей семьей и в сопровождении свиты: сын графини от первого брака — тихий шестилетний мальчик, старший брат и младшая сестра графини, две ее компаньонки, пожилая и молодая, домашний доктор, горничная, два лакея. И еще один деловой француз, как бы директор путешествия, — на его обязанности лежало избавлять графа от всех дорожных хлопот. Итого двенадцать человек. Да еще любимая болонка графини.

Супруги Кушелевы были молоды: ему двадцать пять, она — года на два старше. Он — высокий, холеный, болезненный, с вялой походкой и вялыми движениями рук. Она — красавица с копной каштановых волос и решительными зелеными глазами.

Они совсем недавно стали мужем и женой, их теперешняя поездка за границу была свадебным путешествием.

Свадьба их была великосветским скандалом.

Любовь Ивановна замуж выходила уже в третий раз. Первый муж ее, гвардейский офицер, умер, второго она оставила и приехала с сыном из Киева в Петербург. Здесь она сошлась с братом Григория Кушелева, Николаем. Затем ее увидел Григорий Кушелев, с первого взгляда влюбился и уговорил брата уступить ему эту женщину. «Он привязался к ней страстно, — рассказывает одна мемуаристка, — ее присутствие сделалось ему необходимым и, окружив ее сначала царской роскошью в нанятой и обставленной для нее квартире, он в скором времени перевез ее в свой дом или, точнее, в свой дворец на Гагаринской набережной». Он уговорил ее мужа дать согласие на развод и дал ему шестьдесят тысяч рублей отступного.

Отца и матери у братьев Кушелевых уже не было в живых, но вмешались родные сестры, считавшие недопустимой женитьбу Григория на такой женщине. Сестры обратились к царю Александру Второму с письмом — просили не разрешать этого брака, позорящего род графов Кушелевых-Безбородко и невозможного для человека, принятого при дворе царя (Григорий был камер-юнкером).

Тогда Любовь Ивановна решила сама просить аудиенции у царя.

Ему передали, что эта дама считает себя вправе просить высочайшей аудиенции, так как лет десять назад она оказалась избранницей ныне покойного императора Николая Павловича, лишившего ее девичества. Своеобразная мотивировка показалась Александру Второму заслуживающей уважения, и он принял смелую даму в своем кабинете.

После разговора с ней царь дал свое личное согласие на брак ее с графом Кушелевым-Безбородко.

Первое впечатление от знакомства с Кушелевым было таково, что Полонский дрогнул, заколебался: принимать предложение графа быть его помощником в издании журнала — или все же лучше не принимать? Может, вернее будет возложить надежды на живопись, на свою палитру и кисть?

Нет, лучшего выхода не было, и предложение Кушелева Полонский принял. Он не мог отказаться от предложенного жалованья в две с половиной тысячи в год. Но он был растерян и смущен: оказалось, что о таком серьезном деле, как издание журнала, граф имеет самые смутные представления. Круг будущих авторов журнала был ему совершенно неясен. В Петербурге недавно прилип к нему жалкий литератор Егор Моллер, этакий «душа Тряпичкин», и Кушелев накануне своего отъезда за границу поручил Моллеру собирать материал. Нашел кому поручить!

Полонский понимал: в деле издания нового журнала надо сперва определить круг постоянных сотрудников, профессиональных литераторов, на которых можно было бы опереться.

Самым надежным сотрудником, думалось ему, мог бы стать его друг Михаил Михайлов.

Дружба его с Михайловым длилась уже пять лет. И никаких трений между ними никогда не было.

Полонский ввел друга в дом Штакеншнейдеров, и среди постоянных гостей этого дома Михайлов тоже стал чувствовать себя в своем кругу.

Михайлов влюбился в жену лесовода (будущего публициста) Николая Васильевича Шелгунова, Людмилу Петровну, и посвящал Полонского в свои сердечные тайны. У Шелгуновых детей не было, мужа Людмила Петровна звала по имени-отчеству, оба говорили друг другу «вы»... Михайлову она ответила взаимностью, и Полонский тоже об этом знал. Но мужа она не оставила, и они поселились втроем — вместе с Михайловым, что шокировало многих знакомых, особенно Марию Федоровну Штакеншнейдер.

Михайлов писал Полонскому в Женеву: «Ты знаешь, что не только во всем нашем кругу, но и вообще нет для меня человека столь близкого, как ты».

Но так как Михайлов письма писать ленился, Полонский из-за границы охотнее вел переписку с Людмилой Петровной, зная, что Михайлову она все перескажет. И в письме из Рима он просил ее «уговорить Михайлова душой, пером, головой и сердцем быть моим помощником в деле издания кушелевского журнала — мысль об этом издании заранее меня сокрушает».

В Риме этой зимой жил Тургенев — в гостинице «Англетер».

Полонский с ним встретился. Сотрудничать в предполагаемом журнале Тургенев отказался: Кушелева считал он просто дурачком и мнения своего от Полонского, наверно, скрывать не стал.

Полонский переехал с улицы Виа Феличе в гостиницу «Минерва», жил теперь рядом с Кушелевым. Написал в Петербург Марии Федоровне Штакеншнейдер: «Граф Кушелев по временам кажется мне так глуп, что я внутренне прихожу в отчаяние. О русской литературе он знает не больше гимназиста 4 класса. Множество имен громких и в иностранной литературе для него неизвестны, а между тем говорит, что *Русское слово* произведет переворот в литературе и, что хуже всего, страшно в этом уверен. Это по секрету». По секрету — чтобы не компрометировать журнал, в котором сам собирался принимать участие.

Получив ответное письмо Шелгуновой и Михайлова, Полонский написал Шелгуновой:

«Благодарю за совет принять предложение Кушелева, я принял его потому, что нельзя было не принять, у меня оставалось в кармане несколько франков и за последним из них уже зияла черная бездна...

Я надеюсь быть в России в начале июня месяца и немедленно хлопотать о собирании статей. И в этом случае попросите Михайлова помочь мне — главное, не найдет ли он нам хорошего и с бойким пером критика. Рекомендуют нам Григорьева Аполлона, но Григорьев как критик, по моему мнению, бочка меду и ложка дегтя, — черт его знает, какие у него иногда нелепые страницы выходят, — да и то на непогрешимость его эстетического чутья я, грешный человек, не очень полагаюсь...»

Аполлона Григорьева рекомендовал Кушелеву Майков. Ныне Григорьев обретался во Флоренции — приехал туда как гувернер семьи одного из князей Трубецких.

Полонский рекомендовал Кушелеву приобрести для журнала новый — по слухам, уже законченный — роман Гончарова «Обломов». Кушелев выразил готовность заплатить за этот роман.

«Жизнь самая нелепая в Риме — каждый день гости до 4 часов ночи», — писал Полонский Майкову. Таков был стиль жизни графа и графини, приходилось к нему приноравливаться — хочешь не хочешь. Душой этих вечеров — или, вернее, ночей — была сама графиня, а также ее брат Николай Иванович Кроль, тщедушный, с козлиной бородкой и хриплым голосом. Человек это был неглупый, образованный, к тому же стихотворец (правда, посредственный), заинтересованный в будущем журнале.

Зима в Риме стояла необычно холодная, ночами бывали заморозки до трех градусов ниже нуля, так что замерзали фонтаны на площади дель Пóполо. Днем граф и графиня кутались, как только могли, и сидели у затопленного камина.

В начале марта они узнали, что в Рим приехал известный магнетизер и спирит Даниэль Юм. Он разъезжал по всей Европе (Полонский видел его в Баден-Бадене) и давал сеансы для избранной публики. Разумеется, за немалые деньги.

Вот что рассказывает сам Юм (в книге «Incidents in my life»):

«Я добрался до Рима в марте и отказался почти от всех приглашений, желая отдохнуть и поправить свое здоровье. Однажды после полудня мы с приятелем прогуливались по направлению к Пинчио, и он назвал мне одну русскую семью, тогда очень заметную в Риме, добавив, что эта семья очень хочет со мной познакомиться. Я извинился, сослался на здоровье... В этот момент проезжавшая мимо коляска остановилась, и мой друг, прежде чем я осознал, что происходит, представил меня графине Кушелевой, которая пригласила меня придти к ним сегодня поужинать, прибавив, что они придерживаются очень позднего часа».

Так Юм появился у Кушелевых. Он был молод, худ, рыжеват, веснушчат, у него были белые женственные руки в кольцах.

Его сеансы устраивались при лунном свете, иного освещения не допускалось. Скептиков Юм от участия в сеансах старательно отстранял. «Присутствующие на сеансе, — вспоминает один из видевших Юма, становились посреди комнаты, вокруг стола, всегда играющего главную роль, руки соединялись цепью, и стол начинал вертеться, потом подниматься вершков на восемь от пола и тихо опускаться... Когда же луна пряталась за облака, Юм поднимался на воздух. Это поднятие, как он уверял, происходило совершенно без его воли... На одном из таких сеансов граф Кушелев-Безбородко ухватился за ноги Юма, и в руках у него остались одни ботинки». Кроме того, Юм вел спиритический «разговор» — вернее, перестукивание — с духами...

Юм сразу стал у Кушелевых постоянным гостем. Полонскому он не понравился: «мелочно-самолюбивый, приторный и, по-моему, далеко не умный человек, хотя и способен морочить».

Шумной компанией — вместе с Юмом — выехали из Рима в Неаполь.

Среди попутчиков Кушелева была одна дама, которая показалась Полонскому привлекательной. Из-за этой дамы (как писал он потом Марии Федоровне Штакеншнейдер) его отношения с графиней «в Неаполе были из рук вон скверны, но это просто потому, что она женщина, а женщины терпеть не могут, чтобы кто-нибудь при них ухаживал за другой».

В Неаполе вся компания остановилась в гостинице «Рим», в комнатах с дивным видом на Везувий, море и остров Капри на горизонте.

Через несколько дней решили совершить морскую прогулку на Капри. Пароходик должен был отойти в десять утра. Накануне взяли билеты, утром сели в коляску и докатили до набережной. Прождали час, и наконец им сказали, что пароход на Капри сегодня не пойдет: слишком мало пассажиров.

Досадуя на потерянное время, вернулись в город. И тут Полонскому пришло в голову отправиться на Везувий — хотя вулкан курился белым дымом и в воздухе стояла мгла.

Восхождение по отлогому склону вулкана издали казалось совсем легким, на деле же — гораздо более трудным, хотя, в общем, вполне возможным.

Добравшись до края кратера, Полонский восторженно бросил туда свою визитную карточку.

Из Неаполя Полонский и Кроль вдвоем предприняли еще одно путешествие — на пароходе в Палермо.

Ночью в море сильно качало, они почти не спали, и к утру Кроль даже пожалел, что пустился в путь.

Сицилийский берег встретил их неожиданно жаркой погодой. В Палермо они провели три дня, любовались местными красавицами, прятались от солнца в тень и пили сицилийское вино.

Полонский сочинял стихотворное послание той самой даме — в Неаполь:

Мы наконец в Палермо — я и Кроль.
Так далеко от вас — а, кажется, давно ль
Мои уста касались вашей нежной
Руки...

Впрочем, возможно, он даже не собирался посылать ей эти стихи.

Давно ли с высоты террасы мы глядели,
Как море нежилось и как вдали синели,
Меняясь к вечеру, волшебные цвета
Вершины острова и кратера волкана.
Давно ли вечером под звуки фортепьяно,
От танца разгорясь, и щеки и уста
Дымились...

Вернувшись в Неаполь, Полонский и Кроль не застали в гостинице «Рим» ни графа, ни графини, ни всех остальных — они уже переехали в Сорренто. Полонский и Кроль последовали туда.

Сорренто! Что можно представить себе живописней этого городка под горячим солнцем, на обрывистом морском берегу? Дальше к югу ни граф, ни графиня двигаться не захотели. Зачем?

Все вместе вернулись в Неаполь, далее проплыли на пароходе до Ливорно, из Ливорно двинулись во Флоренцию.

Во Флоренции они не только бродили по музеям. Полонскому пришлось рыскать по всему городу, разыскивать Трубецких, при которых здесь жил Аполлон Григорьев. Разыскал и пригласил к Кушелеву.

Григорьев произвел на Кушелева самое благоприятное впечатление. Конечно, он согласился взять на себя отдел критики в новом журнале.

Проведя во Флоренции десять дней, Кушелевы и Полонский уже в начале мая прибыли в Париж.

В Париже они поселились в самом центре города — в гостинице Трех Императоров на углу площади Пале-Рояль и улицы Риволи.

Теперь, казалось, самые безудержные расходы не смущали графа и, тем паче, графиню.

Ночами, когда уже на улице были погашены все огни, на втором этаже гостиницы — у Кушелевых — ярко горел свет. Из открытых окон слышалась музыка. Балкон был украшен множеством цветов: розы, камелии, азалии. Где ж еще можно вести роскошную жизнь, как не в Париже? Графиня не стеснялась в тратах. Куплено было все, на что только хватило ее фантазии.

Юм был тоже здесь, и уже было известно, что сестра графини собирается за него замуж.

По просьбе Кушелевых Юм пригласил к ним знаменитого романиста Александра Дюма.

Было одиннадцать вечера, когда Юм посетил писателя и передал приглашение. Дюма отвечал, что сегодня, конечно, уже поздно. Но Юм заверил, что не поздно, а в самый раз. И Дюма поехал с ним в гостиницу Трех Императоров.

В эту ночь у Кушелевых Юм отказался устроить сеанс — должно быть, заметил иронический и трезвый взгляд Дюма. Но, так или иначе, ночь прошла оживленно, шампанское лилось в изобилии. Среди гостей Дюма заметил и Полонского, но разговора между ними не завязалось. Полонский плохо говорил по-французски. Потом Дюма написал о нем, что русский поэт оказался «мечтателен, как Байрон, и рассеян, как Лафонтен». Кажется, Полонский по рассеянности надел, уходя, чужую шляпу.

Дюма рассказывал:

«Я вышел из гостиницы Трех Императоров в пять утра, обещая себе никогда больше не ходить в дом, откуда уходят в такие часы.

Я вернулся туда на другой день и ушел в шесть часов.

Я вернулся на следующий день и ушел в семь».

Хватит, решил Дюма, чувствуя себя выбитым из колеи. Привычка к ежедневной работе за письменным столом была ему слишком дорога, он не любил пустой траты времени.

Но через три дня Кушелевы прислали за ним экипаж. Он счел неудобным отказаться и поехал. В этот вечер Кушелевы пригласили его в Петербург. Они собирались покинуть Париж через пять дней и приглашали Дюма ехать вместе.

И он согласился. Он вдруг ощутил необычайную заманчивость этого приглашения. Решил, что поедет не только в Петербург, но и дальше — в Москву, по Волге до Астрахани, затем на Кавказ. Он пропутешествует по России — и напишет о своем путешествии занимательную книгу — непременно!

Полонский в Париже первое время был в дурном настроении. У него болели зубы. Знаменитый дантист брался вылечить его зубы не быстрее, чем в месячный срок.

Приехал Тургенев. Полонский увидел его в театре, в партере, перед началом спектакля. Этот памятный вечер он потом описал стихами, обращенными к Тургеневу:

...уж за рядами
Кудрей и лысин мне видна
Твоя густая седина...

(К своим сорока годам Тургенев был уже совсем седым).

Но — чу! гремят рукоплесканья,
Ты дрогнул — жадное вниманье
Приподнимает складки лба
(Как будто что тебя толкнуло!);
Ты тяжело привстал со стула,
В перчатке сжатою рукой
Прижал к глазам лорнет двойной
И — побледнел:
Она выходит...

Полонский мог вспомнить, что об этой певице — Полине Виардо — он впервые узнал некогда из письма Кублицкого. Кублицкий видел ее на сцене в Петербурге и сообщал в письме: «Виардо Гарсиа это чудо. Что за глаза!.. Она высокая, стройная брюнетка. У нее большой рот, но это ее не портит».

Полонский познакомился с ней теперь, придя в отель к Тургеневу. Тургенев чувствовал себя больным, лежал в постели. Впоследствии Полонский вспоминал: «Тургенев, по уходе Виардо, которая с нами сидела у его постели и была в высшей степени мила и любезна, притянул меня к себе за руку и прошептал мне на ухо, как бы боясь звука собственных слов: «Ничему не верь, что она говорит, — ведь это леди Макбет!» Это меня страшно поразило, но больной, как бы недовольный тем, что вдруг сорвалось с его языка, резко переменил разговор и стал давать мне разные маленькие поручения на завтра...»

Встретил Полонский в Париже одного приезжего из России, которого встречал в Женеве, — некоего Зборомирского. Зборомирский дал свой адрес.

Полонский потом явился по этому адресу и, войдя в подъезд, намерен был подняться, как ему было сказано, на второй этаж. Но неожиданно увидел Зборомирского в раскрытой двери на первом этаже: оказалось, тут живет отставной офицер Шеншин.

«Зборомирский позвал меня к Шеншиным, — рассказывал Полонский в письме к Марии Федоровне Штакеншнейдер, — рекомендовал меня, и мы уселись. Минут через десять приехали две девушки». Одна из них произвела на Полонского, по его словам, «невыразимо приятное впечатление. Прежде чем я успел порядком разглядеть ее, — рассказывал он в письме, — ее голос — ласковый и приветливый — как-то особенно отозвался во мне, как давно знакомый мне музыкальный мотив, который долго не лез в голову и вдруг пришел на память совершенно неожиданно. Меня удивило, что хозяин, т. е. Шеншин, непременно хотел, чтоб она заговорила с ним по-русски. — *Все, что вам угодно,* — отвечала она совершенно по-русски и ушла в другие двери к жене его. Меня удивило, что не говорящая по-русски так хорошо произносит русские фразы, — что же она такое? Русская или иностранка? Я спросил об ней. — Это одна из редких девушек, — сказал Шеншин. — Она воспитывалась в Женеве в одном пансионе с моей женою — умная, всеми любимая, кто ее знает, и прекрасная музыкантша, а между тем она дочь здешнего церковного старосты, бывшего когда-то певчим.

В тот же день вечером я зашел к Шеншину — посидеть у него в палисаднике... и совершенно случайно провел с ней целый вечер. Она играла — колокольчики так и звенели под ее пальцами! — такой одушевленной и сильной игры я не ожидал от 18-летней девушки. И как она проста, естественна была весь вечер — ни кокетства, ни жеманства...»

Ее звали Еленой Устюжской. У нее были иссиня-серые глаза, тонкий профиль, нежная белая кожа, и когда она краснела, то краснели не только щеки, но и лоб.

«Божий голос или голос Мефистофеля в эту минуту,— рассказывал далее в письме Полонский,— шепнул мне: «Вот та, которую ты искал всю свою жизнь, и кроме нее для тебя никого нет на свете».

Этот голос был так силен, и я такой восторженно-радостный явился к Кушелевым на ужин и удивил всех, в особенности графиню, своей веселостью. В этот вечер граф и графиня вздумали еще пить со мной на брудершафт,— с тем, чтоб я говорил им *ты,* — кажется, им хотелось, чтоб веселость моя с помощью шампанского еще усилилась: одним словом, пришла фантазия подпоить меня, чего им не удалось,— но удалось то, чего ни они, ни я сам не ожидали.

Воротившись в свой номер, я схватил перо и написал письмо к Зборомирскому, содержание которого было следующее:

«Спросите, могу ли я искать ее сердца и руки. Неблагородного происхождения для меня не существует. Знать не хочу, есть ли у нее состояние или нет, ибо я сам без состояния и лгать не хочу».

Разбудив коридорного, я велел это письмо отправить на другой день утром по адресу. Лег спать весьма довольный решимостью, которой во всю мою жизнь в этих случаях недоставало.

На другой день к вечеру получаю ответ.

Зборомирский был уже у ее отца, madame Шеншина была уже у ее матери. *Ей* же, дочери, понятно, ничего еще не говорят. Мать желает меня видеть, ибо, не узнавши человека, никогда не решится выдать замуж дочь свою.

Было положено, чтоб им и мне быть в среду у Шеншиных вечером.

Такая быстрота меня самого сильно сконфузила. Мне стало досадно даже, что обратились с вопросом не к ней, как я писал, а к отцу и матери. Туча страшных сомнений и угрызений легла мне на душу, я написал Зборомирскому:

«Я виноват — первое впечатление, как бы ни было оно сильно, не давало еще мне права свататься. Мне не нужно знать, понравлюсь ли я матери, и если понравлюсь, то от этого еще дочь ее меня не полюбит...»

Зборомирский мне на это пишет (и правду пишет), что я бы должен был об этом подумать прежде; что они, как бедные и простые люди, могут подумать, что над ними тешатся, что он и Шеншин в затруднительном положении — что им делать?..

С намерением как можно больше на себя наклеветать... я вышел на свиданье, но тут весь мой план рухнул... В присутствии этого светлого, приветливо кроткого существа совершенно забыл предполагаемую роль...»

Узнав о скором отъезде Кушелевых в Петербург, Полонский сообщил об этом в письме к Майкову. «Я еще остаюсь в Париже, — писал он далее, — взял даже маленькую квартирку в том самом пансионе, где три года тому назад обитал великий Беранже [недавно умерший], а именно в Rue de Chateaubriand, № 3, Pension Mugnier. Это сравнительно очень тихая и уединенная улица — по утрам слышу

только птиц, и щебетанье воробьев меня даже радует, мое окно — на дворик с виноградной аллейкой, с плющом по стенам, с цветами...»

Теперь он каждый день устремлялся на улицу де Берри, где во дворе русской церкви жили Устюжские.

Это была большая семья. Елена — старшая среди детей — уже сама давала уроки музыки и дома занималась воспитанием младших сестер и братьев. Мать, француженка, по-русски не говорила совсем, Елена понимала, но почти не говорила — не привыкла. Букву «р» выговаривала по-французски, грассируя.

Накануне отъезда Кушелевых Полонский зашел к ней, и она спросила, не придет ли он вечером. Он объяснил, что, к сожалению, не сможет: у Кушелевых прощальный обед, придется быть там...

— А я хотела сыграть вам ту мазурку, начало которой вы знаете. Я достала ноты.

— О, в таком случае я непременно буду.

И вечером он, конечно, пришел сюда. К Кушелевым явился позднее — там пир горой длился всю ночь...

На другой день Кушелевы и Дюма уезжали, Полонский провожал их на вокзал. Граф и графиня еще ничего не знали о его сватовстве, — он объяснил: задерживается в Париже потому, что ему надо еще подлечить зубы.

На прощанье графиня многозначительно сказала Полонскому:

— Полагайтесь на меня, но, смотрите же, только на меня!

Что сие означало! Что его роль в журнале будет зависеть от ее благоволения?.. Так она и уехала, не объяснив ему этих прощальных слов.

Наутро к Полонскому пришел отец Елены, Василий Кузьмич Устюжский. Стал говорить о том, что дочь его еще слишком молода для замужества, еще сама себя не знает...

Но его слова не означали отказа, Полонский мог и дальше посещать дом на улице де Берри.

Когда он в первый раз прошел через комнатку Елены, он, по его словам, «чувствовал в душе своей то же, что чувствовал Фауст, когда в первый раз явился в комнате Маргариты». Ему казалось, что он снова молод, а ведь он был вдвое старше Елены...

Наконец он объяснился ей в любви.

Она этого ждала и просто, без всякой экзальтации, сказала о своем взаимном чувстве.

Он хотел отдать ей кольцо, подаренное ему графиней Кушелевой. Елена не взяла. Ответила: «Я не отказываюсь от кольца, только возьму его после, когда все будут знать, что я ваша...»

Мария Федоровна письма Полонского принимала близко к сердцу и писала ему, что, когда он женится и вернется в Петербург, его ждут в доме Штакеншнейдеров. Она знала из его писем, что Кушелевы предлагали ему по возвращении в Петербург поселиться у них, и против этого решительно возражала:

«Вы остановитесь у нас на все время, которое сочтете нужным,

чтоб избежать содома у Кушелевых. Я этого требую, как доказательства, что вы не считаете меня вам чужою... Комната большая и светлая будет приготовлена *Полонскому с женой*».

В другом письме Мария Федоровна возмущалась тем, что он пил с Кушелевыми на брудершафт: «Ну, можно ли, чтобы эта графиня говорила вам *ты*? И для чего?»

Полонский отвечал в письме:

«Вас удивляет, что я пил брудершафт с графиней. Меня ровно ничего не удивляет. Раз в Неаполе ей пришла фантазия — чтобы сущие в гостиной подходили целовать меня, — и вот я сел как далай-лама, и, начиная с нее и с графа, все присутствующие и мужчины и дамы стали ко мне прикладываться, яко к иконе.

...Графиня вовсе не без сердца... Она щедра — и если недобра, то добра порывами — и в минуту порыва готова все отдать. Правда, что правил в ней нет никаких... Все, что она делает, — делает явно, и графа это нисколько не шокирует — напротив, каждая выдумка его жены (вроде поцелуев и брудершафта) его даже тешит... Пожелай она, чтобы при журнале меня не было, — меня не будет. Может даже случиться, что и журнала не будет».

Достаточно было бы каприза графини, чтобы вся обещанная ему, Полонскому, материальная обеспеченность рухнула в один миг.

И вот Мария Федоровна получила от него отчаянное письмо: «...ныне, накануне моей свадьбы, долетели до меня слухи, будто граф нашел себе другого редактора. Об этих слухах я пишу к нему... Завтра иду под венец с любовью в сердце, с улыбкой на устах и с ледяным ужасом в душе за будущность моей подруги... Что ожидает нас в Питере, если действительно граф склонился на советы недоброжелателей...»

К счастью, слух оказался ложным.

Свадьба состоялась 26 июля по новому стилю.

Полонский был счастлив как никогда.

Днем позже приехали в Париж Николай Васильевич и Людмила Петровна Шелгуновы. Первый вечер они провели у молодоженов Полонских.

«Она была очень хороша собою и очень хорошая девушка... — написала в воспоминаниях Шелгунова о Елене Полонской. — Я приехала в Париж на другой день после свадьбы и спрашивала Елену Васильевну, что понравилось ей в Полонском, тогда не молодом и не красивом... Она подумала и потом мне отвечала, что il a l'air d'un gentilhomme [он выглядит благородно]».

Глава пятая

В Петербурге братья Кушелевы-Безбородко владели двумя роскошными особняками: Григорию принадлежал дом на углу набережной Невы и Гагаринской улицы, Николаю — соседний, облицованный мрамором дом на Гагаринской. Кроме того, Григорий владел дворцом на окраине города, в Полюстрове, на правом берегу Невы, почти напротив Смольного собора.

Здесь, в полюстровском дворце, остановился прибывший вместе с Кушелевым Александр Дюма.

Слух о приезде знаменитого писателя быстро распространился по всему Петербургу. Когда Дюма гулял по городу, его повсюду окружала толпа любопытных. Нельзя было не заметить его атлетическую крупную фигуру, его необычайно живое смуглое лицо, его черную с проседью курчавую шевелюру (он привык ходить с непокрытой головой).

Журнал «Современник» печатал заметки о пребывании Дюма в российской столице: «Счастливый г. Дюма! Ему все.. даже и петербургская суровая погода благоприятствует. В течение всего пребывания его в Петербурге стоит теплая... мало этого — жаркая ясная, чудная погода». И далее: «Чем чаще видишь г. Дюма, тем более удивляешься его неутомимой деятельности, его силе и здоровью... Он не разлучается никогда со своим портфелем и при первой возможности принимается за перо». Он уже начал работу над будущей книгой «En Russie» («В России»).

В полюстровском дворце, среди множества хронических бездельников, он один трудился и не тратил времени попусту.

Постоянным гидом его в Петербурге был писатель Григорович, говоривший по-французски как парижанин. Он не мог не ощутить разительного контраста в образе жизни Дюма — деятельного, любознательного, чрезвычайно подвижного — и всех многочисленных прихлебателей графа Кушелева-Безбородко. Григорович рассказывал потом в «Литературных воспоминаниях» о полюстровском дворце летом 1858 года: «Сюда по старой памяти являлись родственники [графини] и рядом с ними всякий сброд чужестранных и русских пришлецов, игроков, мелких журналистов, их жен, приятелей и т. д. Все это размещалось по разным отделениям обширного, когда-то барского дома, жило, ело, пило, играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, нимало не стесняясь хозяином, который, по бесконечной слабости характера и отчасти болезненности, ни во что не вмешивался, предоставляя каждому полную свободу делать что угодно. При виде какой-нибудь слишком уж неблаговидной выходки или скандала, — что случалось нередко, — он спешно уходил в дальние комнаты, нервно передергивался и не то раздраженно, не то посмеиваясь повторял: «Это, однако ж, черт знает что такое!» — после чего возвращался к гостям как ни в чем не бывало».

В этом доме поэт Мей, превращавшийся в несчастного алкоголика: сказал однажды за общим столом экспромт:

Графы и графини,
Счастье вам во всем,
Мне же лишь в графине,
И притом в большом.

Елена Андреевна Штакеншнейдер записывала в дневнике:

«Среда, 6 августа.

Ну, молодые наши дома, на Миллионной... Оказалось только, что она еще гораздо красивее, чем на портрете, а он худой и желтый, как лимон. От тревог и волнений последних дней, предшествовав-

ших венчанию, у бедного разлилась желчь. Но он все-таки смотрит счастливым, и хотя глаза у него желтые, но счастье сияет в них...

Пробыв с ним несколько часов сряду и поговорив то с ней по-французски, то с ним по-русски и потом как-то вперемешку, и на том и на другом, когда уже надо было уезжать [на дачу], вдруг мелькнул у меня вопрос: а как же оставим их одних? Ведь ему трудно говорить на ее языке, ей на его? Конечно, то была излишняя забота, они уже не в первый раз вдвоем и отлично поняли и понимают друг друга... Нам с нею приказано звать друг друга по имени без отчества, мы тезки, но она Елена, я Леля».

Как раз в день возвращения Полонского в Петербург уехал за границу Майков. Еще раньше за границу отправился Михайлов — следом за Шелгуновыми. Уехали Дюма и Кушелев: Дюма — в путешествие по России, Кушелев — в свое подмосковное имение.

Дела будущего журнала «Русское слово» не двигались никак, застыли на мертвой точке.

В сентябре Некрасов сообщил в письме Тургеневу: «Милый Полонский в Петербурге — с женой. Он зацепил ее в Париже, — прекрасное энергическое существо, судя по лицу... Полонский готовится быть редактором кушелевского журнала, — журнала без сотрудников, без материалов и без денег. Последнее всего страннее, но *верно.* Так, Кушелев хотел купить роман Гончарова, но скромный наш капиталист Краевский внес наличные деньги, и роман остался за ним».

Нет, дела обстояли не совсем так, как считал Некрасов. Кушелев не собирался скупиться на расходы по журналу, однако, уехав в подмосковное имение, не оставил никаких сумм своей петербургской конторе. Полонскому надо было вести переговоры с фабрикантами бумаги, с типографией, с книгопродавцами, но в его распоряжении не было ни гроша. Гончарову за рукопись «Обломова» Кушелев еще в июле предложил десять тысяч рублей, но Гончаров не питал доверия к будущему журналу графа («До сих пор все это довольно карикатурно. Один порядочный человек там — это Полонский, он редактор, а кто еще — никто до сих пор ничего не знает», — замечал Гончаров в одном письме). И предпочел он отдать свой роман — за те же десять тысяч — Краевскому, в «Отечественные записки».

Итак, с января «Русское слово» должно было выходить в свет, а в редакционном портфеле были только критические статьи Григорьева, поэма Майкова, очерк Михайлова, статья «Парижский университет» Благосветлова (с ним Полонский встречался в Париже) — и это почти все...

Свое выступление на страницах журнала Полонский решил начать стихотворениями «Утрата» и «Хандра», а также статьей о сборнике стихотворений Мея. Творчество Мея Полонский оценивал весьма сдержанно, но, главное, форма критической статьи позволяла ему высказать свое поэтическое кредо: «Поэзия есть истина в красоте и красота в истине; но не всякая истина поэтична и не всякая красота истинна...» И еще: «Трудиться над стихом — для поэта то же, что трудиться над душой своей».

«Вчера утром, — писала Мария Федоровна Штакеншнейдер Майкову 21 сентября, — проводила я своих милых журавлей Полонских в Москву. Надо вам сказать, что Полонский сам прозвал себя журавлем. Говорят, журавли приносят счастье дому, где совьют гнездо. Я уверена, что и нам милые жильцы мои принесут счастье. Полонские уехали в Москву на неделю повидаться с родными и заедут также к Кушелеву» — в подмосковное имение.

Кушелев вернулся в Петербург вслед за Полонским в октябре. Приехал из-за границы Григорьев. И вот, после многих хлопот и волнений, была подготовлена к печати первая книжка «Русского слова». В январе 1859 года она без опоздания вышла в свет.

Из Сибири прислал рукопись Достоевский — повесть «Дядюшкин сон». Ее набрали в третий номер.

Печатались в журнале «Воспоминания о поездке за границу» самого графа Кушелева — он подписывался литерами *К. Б.*

Но о благополучии в редакции журнала говорить не приходилось. Прибывший в Петербург Тургенев писал Фету в январе: «Григорьев пьет без просыпу, а Полонский смотрит полевым цветком, неделю тому назад подрезанным сохою». В начале февраля Тургенев писал Толстому: «У Кушелева происходит какая-то трескучая и унылая чепуха; Полонский сидит на одной ветке с женою и поет себе в зоб, как снегирь».

Кушелев воображал, что может сам руководить журналом. Он так и написал в записке Полонскому: «Вовсе не желаю играть роль купца-издателя... умею быть и главным редактором». Как он заблуждался! Составив штат редакции из трех сотрудников (Полонскому — двести рублей в месяц, Григорьеву — полтораста, Моллеру — семьдесят пять), Кушелев предоставил им действовать независимо друг от друга. Журнал не получил ни определенного направления, ни сколько-нибудь определенного лица.

Моллер вел из номера в номер «Петербургскую хронику» — совершенно бесцветные фельетоны.

К недоумению читателей, журнал печатал рядом статьи славянофила Григорьева и западника Благосветлова.

В мае Полонский получил письмо из Парижа:

«Я всегда понимал, — писал ему Благосветлов, — что Ваше дело по журналу Кушелева-Безбородко будет трудным, назойливым и нередко отвратительным... Чтобы прочитать безграмотную статью, чтоб удовлетворить всякое литературное самолюбие, которое, к сожалению, всегда растет в обратной пропорции с истинным умом и сердцем, — это стоит любой каторги, особенно для Вас, так свято и благородно отдавшего свою жизнь чистому искусству. Мы *все* это понимали в Лондоне и в Париже».

В Лондоне? Все? То есть, в том числе, Герцен?... Но Благосветлов ограничился лишь намеком.

«Мы знали, — продолжал он, — и Вашу честность, и уважение к литературе, и чистоту стремлений, и художественный такт, столь необходимый периодическому изданию, особенно у нас. С полной доверенностью к Вам я обратился со своими посильными листками

в «Русское слово»...» Но вот узнал Благосветлов, что в журнале первенствует чуждый ему Аполлон Григорьев, — вознегодовал и теперь выражал негодование в письме.

Кушелев же был недоволен всеми тремя своими сотрудниками в деле издания журнала. Считал, что они не прилагают должных усилий к тому, чтобы находить материал, и журналу нужен человек сугубо деловой, не обязательно литератор. Такой человек подвернулся графу под руку. Это был некто Хмельницкий, который брался добыть от русских писателей все, что возможно.

Узнав об этом, Полонский немедленно написал Кушелеву письмо:

«Если ты недоволен мною как соредактором — то знай, что едва ли кто-либо так горячо принимал к сердцу все, что касается до «Русского слова»... Вспомни, что два отдела, *критика* и *фельетон,* два единственных отдела, в которых журнал должен непосредственно относиться к публике, — совершенно от меня не зависели, и что, стало быть, за главное в нашем журнале я не могу отвечать ни перед тобой, ни перед публикой.

На совет ты меня никогда не звал — и многое узнавал я после. Когда спрашивали меня — правда ли, что Хмельницкий поехал по распоряжению графа собирать статьи для журнала? — я отвечал: не знаю, граф главный редактор, а не я».

В конце письма Полонский спрашивал напрямик: «...должен ли я искать другого места или хлопотать о том, чтобы примкнуть к другой редакции, — или оставаться при «Русском слове», с уверенностью, что ни жена, ни ребенок мой не умрут с голоду».

Полонский написал это, когда жена была на последнем месяце беременности.

Елена Андреевна Штакеншнейдер уже перебралась на дачу под Гатчиной на все лето. Она записывала в дневнике:

«Четверг, 4 июня.

У Полонского родился сегодня утром в пять часов сынок Андрей. Мама уехала к ним, завтра воротится. Назван он Андреем в честь папа́, а мама будет его крестной матерью...

Пятница, 5 июня.

Мама вернулась от Полонских. Мать и новорожденный слава богу, но сам Полонский, бедный новый отец, за несколько часов до рождения сына упал с дрожек и зашиб себе ногу. Ему бы делать холодные компрессы и лежать с протянутой ногой. С того было и начали, но началось и другое. Поглощенный этим другим, в тревоге и страхе Полонский позабыл про свою ногу, и вот она разболелась у него не на шутку».

Распухшее колено пробовали лечить всячески: прикладывали лед, ставили пиявки, мазали йодом — ничего не помогло.

В мае Кушелев уезжал из Петербурга. Вернувшись в июне, обратился к Полонскому и Григорьеву с предложением прислать ему — в письменном виде — свои соображения об издании «Русского слова» в будущем году.

Полонский из Гатчины послал Кушелеву записку: «...Взвешивая все расходы твои по журналу, знаю, что они далеко превышают доходы, и совершенно согласен с тобой, что постоянно вести так дело нет никакой возможности... По моему крайнему разумению, тебе необходимо раз и навсегда избрать одного редактора».

На следующий день Полонский послал еще одну записку:

«...Мнение Григорьева мне совершенно неизвестно—он у меня ни разу не был с тех пор, как ты уехал. Вот когда я узнал всю неурядицу—всю путаницу—всю нелепость разъединения в деле редакторства. Этот месяц—лучшая для меня и для тебя практика: типография не знает, кого слушаться, статей накопляется до 50 листов. Одно приказывают выкинуть—является другое, будто бы по твоему приказанию. Так, Моллер, который до 8 числа этого месяца еще и не думал о доставлении в типографию Петербургской хроники, поручил печатать статью свою о Гумбольдте. О, творец небесный! О Гумбольдте пишет Моллер!—Сам Гераклит, вечно плачущий, расхохотался бы от такой штуки...»

В черновике этой записки Полонский выразился еще резче и определенней: «Ты, избравши таких разнокалиберных соредакторов, как я, Григорьев и Моллер, запряг в экипаж лошадь, медведя и рысь. Будь ты хоть первый кучер в мире, на такой тройке далеко не уедешь... Был ли у меня Моллер хоть один раз, прочел ли он мне хоть один фельетон—нет, увидевши, что я нуль в твоей редакции, он посылает свои фельетоны прямо в типографию... Что же может быть нелепее такой редакции».

Все лето Полонские провели на даче у Штакеншнейдеров.

Елена Андреевна записывала в дневнике:

«Среда, 8 июля.

...Ему не только не лучше, а хуже. Он уже совсем не может ходить. Но, когда ему надоедает сидеть, он спустится с кресла или с дивана на пол и сидя поползет. Сначала было это всем как-то жутко видеть; теперь привыкли и уже даже не вздрагивают, когда вдруг, неслышно приблизившись, он оказывается возле кого-нибудь и заглядывает в лицо своими добрыми, усталыми глазами, подняв свою исхудалую бородатую голову. Ужасно только жалко смотреть. Прежде я его не очень любила, теперь чувствую к нему что-то такое и, не умея выразить то, что чувствую, зову его дядей. А он это слово подхватил и зовет меня теткой...

Понедельник, 27 июля.

Как хороша Полонская и как жалок он. И, главное, такая молодая, такая красавица—и такая добрая жена и внимательная мать...

13 августа.

Я лучше узнала Полонскую, и меня тронула привязанность этой молодой, цветущей женщины к ее больному мужу. Как же она за ним ухаживает, одевает, моет его, даже моет его ноги, и ласкает и бодрит его, и всегда только говоря ему полушутя: «Tu n'as pas de chance, pauvre Jacques! [Не везет тебе, бедный Жак!]»

Его редакторская карьера кончилась: с июля Полонский вышел из редакции «Русского слова».

В сентябре он рассказывал Фету в письме: «Граф уехал в Париж — 8 или 9 июля — и перед своим отъездом не согласился на мои условия, при которых я брался издавать журнал. Я хотел или быть независимым редактором в выборе статей и сотрудников, или не быть ничем — и не марать своего имени».

До него дошел, вероятно, слух, что Григорьев не лучшим образом отзывается о нем в разговорах с Кушелевым. Полонский — при мнительности своей — решил, что Григорьев интригует, копает ему яму...

Кушелев, уезжая, оставил самые широкие полномочия Хмельницкому. Тот оказался человеком бесцеремонным и по своему усмотрению выправил очередную статью Григорьева. Григорьев был возмущен до глубины души и отказался от всякого дальнейшего участия в журнале.

Так в редакции «Русского слова» двух писателей разом сменил делец, не бравший в руки пера. Как вспоминает Шелгунова, это был человек «желчный и грубый, с резкими и быстрыми манерами, с вечно оттопыренным карманом сюртука, в котором лежал толстый бумажник, и вечно куда-то спешивший. Впрочем, с сотрудниками, которыми Хмельницкий дорожил, он был не только мягок, но даже искателен и вкрадчив. Откуда пришел в журналистику г. Хмельницкий — никто не знал; говорили, что он сам явился к графу Кушелеву и предложил себя в управляющие «Русским словом».

«Ноге моей, слава богу, лучше, — записал Полонский в тетради 25 сентября, — другое горе: никак не могу поладить с М. Ф. Мы не должны были сходиться слишком близко — чем мы короче друг с другом, тем менее друг друга понимаем... Пребывание в одном доме заставляет поневоле видеть те или другие недостатки... Из десяти слов, мною сказанных, непременно найдется для нее одно, которое бог знает почему и отчего ее обижает. Я не могу этого понять, стараюсь шутить — шутки не понимаются или не принимаются. Делаюсь серьезен — и это не нравится...»

Нет, придется журавлю на другом месте вить гнездо...

Друзья наняли для него квартиру на углу Большой Подьяческой и Екатерининского канала. На Миллионную, в дом Штакеншнейдеров, Полонский возвращаться не хотел. В конце сентября переехал с дачи прямо на новую квартиру. «Наконец я не в чужом доме, а у себя, — написал он Фету, — это чувство для меня почти совершенно новое».

Доктора сделали ему две операции колена, но и после этих операций прошло два месяца, пока наконец он смог ходить.

Осенью вернулся из Парижа Кушелев. Узнал, в какое бедственное положение попал Полонский. Посочувствовал и прислал к нему Хмельницкого с предложением выплачивать — до мая будущего года — полтораста рублей в месяц с одним условием: в эти месяцы

Полонский будет печататься в «Русском слове» и нигде больше. Конечно, Полонский не стал отказываться.

Первый публичный вечер в пользу Литературного фонда состоялся в зале Пассажа 10 января.

«Зала была полна,—записала в дневнике Елена Андреевна Штакеншнейдер.—Первым читал Полонский. Бедный, бедный, сынок у него умирает.

И ради этого чтения сегодня в первый раз после болезни вышел Полонский из дома, в первый раз и с сокрушенным сердцем. Его пустили первым, чтобы он мог раньше уехать домой».

Полонский потом рассказывал в письме к одной старой знакомой:

«Только что я выздоровел и стал показываться на свет—заболел мой ребенок. Трое суток продолжались беспрерывные родимчики, и он—умер (от зубов) в ужасных страданиях. Жена моя долго была безутешна и много плакала...»

Еще в начале зимы открылась вакансия в комитете иностранной цензуры—место секретаря. Председателем комитета был весьма уважаемый поэт Федор Иванович Тютчев.

Сначала место секретаря было предложено Николаю Щербине, но тот порекомендовал—вместо себя—Полонского.

Узнав об этом из записки, которую прислал Щербина, Полонский отвечал ему: «...право, мне совестно пользоваться твоим великодушным отречением. Будь я холостой, да ни за какие блага мира я бы им не воспользовался. Если теперь ищу место, то, право, не потому, чтобы думал о себе. Я привык ко всем нуждам и лишениям, но—жена, семья и нужда—три вещи трудно совместимые... Если будешь у Тютчева, замолви сам обо мне словцо».

Хлопотали за Полонского также Тургенев и Майков, который служил в том же комитете цензором.

В марте 1860 года Яков Петрович был принят на службу. Жалованье—восемьдесят рублей в месяц. Не густо, но можно жить...

Записывала в дневник Елена Андреевна Штакеншнейдер:

«16 мая.

Были у нас Полонские. Ах, как она похудела и какою жалкою смотрит! Так перемениться, в такой короткий срок! Она все еще очень хорошенькая, но личико у нее стало какое-то маленькое, и она сильно кашляет...

22 мая.

Ездили [из Гатчины] в Петербург поздравлять с прошедшим днем ангела Елену и нашли ее в постели... У нее жар, но Каталинский говорит, что опасного ничего нет; ей только надо лежать. Она довольно весело болтала с нами и смеялась. И такая она хорошенькая с красными щечками и блестящими глазами. К обеду вернулись мы домой...

23 мая.

Приехал папа и говорит, что Елена очень больна. Он был у них,

но ее не видел. Дали знать в Париж, и ждут мать. Господи, что же это такое? Прошусь к ним, но говорят, что нельзя и не надо».

«Каталинский не хочет обнадеживать меня, — писал Полонский Елене Андреевне 1 июня. — У жены моей какая-то тифоидальная лихорадка — так, по крайней мере, сказал мне Каталинский, — с упадком жизненных сил. Уже пять суток, как не спит ни днем, ни ночью. Все внутри у ней горит, она харкает кровью, губы и язык черны. Вместо сна она только забывается на минуту или две. Вставать или подняться и сесть на постели она уже не может. Глядя на нее, все во мне рыдает и плачет, но плакать я не смею. Вот мое положение — и я один, совершенно один! При одной мысли, что мать может не застать уже дочь свою в живых, что я могу потерять ее, я готов с ума сойти...»

И вот письмо Полонского Шелгуновой:

«8 июня 1860 г.

«Моя Елена с 6 часов вчерашнего вечера и до сих пор лежит без памяти, изредка бредит — зовет меня, произносит имена своих знакомых. Она на пути к смерти. Если мои слезы, мои мольбы ее не остановят, если ни бог, ни природа не спасут ее, пожалейте разбитого жизнью вашего друга».

Она скончалась в тот же день.

Потрясенный Полонский не мог тогда написать ни единой стихотворной строки, но впоследствии он вспомнил смерть Елены в стихотворении «Последний вздох»:

«Поцелуй меня...
Моя грудь в огне...
Я еще люблю...
Наклонись ко мне».
Так в прощальный час
Лепетал и гас
Тихий голос твой,
Словно тающий
В глубине души
Догорающей.
Я дышать не смел —
Я в лицо твое,
Как мертвец, глядел —
Я склонил мой слух...
Но, увы! мой друг,
Твой последний вздох
Мне любви твоей
Досказать не мог.
И не знаю я,
Чем развяжется
Эта жизнь моя!
Где доскажется
Мне любовь твоя!

Ее похоронили на Митрофаньевском кладбище рядом с могилкой сына.

«День тот был такой ослепительный и знойный... — рассказывала в дневнике Елена Андреевна. — Мы все стояли над могилкой, машинально следя за заступами, ее засыпавшими... Никто не шевелился...

Наконец сам Полонский прервал оцепенение и пошел, и за ним пошли все...» Тут были Штакеншнейдеры, Майковы, Михайлов, Щербина и многие другие.

Выйдя из кладбища, Полонский зашагал пешком по дороге, его догнал доктор Каталинский. Тут кстати оказался извозчик — Каталинский усадил Полонского в пролетку и увез.

Приезжала мать Елены и уже не застала дочь в живых. Полонский отдал ей все вещи покойной. Говорил, что хочет уехать из Петербурга куда глаза глядят...

Вернувшись в Париж, она все подробно рассказала мужу, и Василий Кузьмич послал письмо:

«Любезный наш Яков Петрович!

Уважьте последнее наше желание, мы просим вас не оставлять Петербурга, это для нас будет последним утешением, что есть еще у нас один, остался наш родной, после милой нашей дочери Елены...»

Письма от Василия Кузьмича Устюжского Полонский получал и позднее, через год и через два... Эти письма трогали до глубины души. Вот, например, это: «...радуюсь, что еще бог вас хранит, читая ваше письмо, переводя моей жене, — она говорит *cher homme* [милый человек] с сильным вздохом, а я... поверьте мне, читаю ваши письма, слезы льются из глаз, так что жена говорит: что пишет он, а я не отвечаю, покуда не успокоится сердце. И это для нас большое утешение, что вы снисходительны к нам, спасибо вам, милый наш! Еленушка всякий раз к нам писала: Mama, si tu savais comme Jacques est bon pour moi [Мама, если бы ты знала, как Жак добр ко мне]».

Из Парижа писал Полонскому еще Тургенев:

«Ты не поверишь, как часто и с каким сердечным участием я вспоминал о тебе, как глубоко сочувствовал жестокому горю, тебя поразившему. Оно так велико, что и коснуться до него нельзя никаким утешением, никаким словом: весь вопрос в том, что надобно, однако, жить, пока дышишь; в особенности надо жить тому, которого так любят, как любят тебя все те, которые тебя знают...

Будь уверен, что никто не принимает живейшего участия в твоей судьбе, чем я. Будь здоров и не давай жизненной ноше раздавить тебя».

Летом комитету иностранной цензуры отвели новое помещение — на Васильевском острове, в здании университета. Там же Полонскому, как секретарю комитета, предоставили казенную квартиру.

Одному ему жить было тошно, он предложил поселиться вместе с ним знакомому художнику Ивану Ивановичу Соколову, одинокому холостяку. По вечерам Полонский уходил куда-нибудь в гости. Он печально признавался (уже в декабре — в письме к дочери старого приятеля Софье Адриановне Сонцевой): «И дома тоска — и в гостях тоска — и нигде места себе не нахожу. Соколов, мой сожитель, человек также не очень живого характера — все больше молчим...»

Всю зиму в душе Полонского и в его стихах негаснущей болью всплывала недавняя утрата. Как быть, как жить?

Я читаю книгу песен
«Рай любви — змея любовь» —
Ничего не понимаю —
Перечитываю вновь.

Что со мной! — с невольным страхом
В душу крадется тоска...
Словно книгу заслонила
Чья-то мертвая рука —

Словно чья-то тень поникла
За плечом — и в тишине
Тихо плачет — тихо дышит
И дышать мешает мне.

Словно эту книгу песен
Прочитать хотят со мной
Потухающие очи
С накипевшею слезой.

Глава шестая

Федор Михайлович Достоевский особенно любил стихотворение Полонского «Колокольчик» и прочувственно отозвался о нем в романе «Униженные и оскорбленные». С января по июль 1861 года этот роман печатался в новом журнале «Время» (издателем журнала был сам Федор Михайлович вместе с братом Михаилом Михайловичем).

Конечно, Полонский читал роман и не мог не обратить внимания на вот эту страницу:

«Мы замолчали, продолжая ходить по комнате.

— Я все тебя ждала, Ваня, — начала она вновь с улыбкой, — и знаешь, что делала? Ходила здесь взад и вперед и стихи наизусть читала; помнишь — колокольчик, зимняя дорога: «Самовар мой кипит на дубовом столе...», мы еще вместе читали:

Улеглася метелица; путь озарен,
Ночь глядит миллионами тусклых очей...

. . .

И потом:

То вдруг слышится мне — страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня:
«Ах, когда-то, когда-то мой милый придет
Отдохнуть на груди у меня!
У меня ли не жизнь! чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле
За цветной занавеской кровать...»

— Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня, и какая фантастическая, раздающаяся картина. Канва одна, и только намечен узор, — вышивай что хочешь. Два ощущения: прежнее и последнее».

Героиня романа Достоевского и дальше читает стихи Полонского наизусть:

То вдруг слышится мне — тот же голос поет,
С колокольчиком грустно звеня:
«Где-то старый мой друг? я боюсь, он войдет
И, ласкаясь, обнимет меня!
Что за жизнь у меня! — И тесна, и темна,
И скучна моя горница; дует в окно...
За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
И, быть может, погибла давно.
Что за жизнь! Полинял пестрый полога цвет;
Я больная брожу и не еду к родным,
Побранить меня некому — милого нет...
Лишь старуха ворчит...

«— «Я больная брожу»... эта «больная», как тут хорошо поставлено! «*Побранить меня некому*», — сколько нежности, неги в этом стихе и мучений от воспоминаний, да еще мучений, которые сам вызвал, да и любуешься ими... Господи, как это хорошо! Как это бывает!»

Журналу братьев Достоевских «Время» Полонский предложил тогда начатый им роман в стихах «Свежее предание». Передал журналу первые главы.

В майском номере появилось сообщение от имени редакции: «В следующей, июньской книге «Времени» мы печатаем одно из замечательнейших произведений нашей текущей литературы: первые три главы из романа в стихах Я. П. Полонского «Свежее предание». Мы говорим об этом произведении как о событии в литературе».

В этом стихотворном романе Полонский припоминал свою молодость, сороковые годы, Москву. Героем своим выбрал реального, некогда ему хорошо знакомого человека — поэта Клюшникова (вывел его, конечно, под другим именем). Невольно подражал Пушкину, — читая «Свежее предание», нельзя не вспомнить «Онегина», «онегинскую строфу». Правда, у Полонского роман получался не столь впечатляющим, но стих его был картинен и четок:

Метель, шумя по чердакам,
С дощатых кровель снег сдувает;
Фонарь таинственно мигает
Двум отдаленным фонарям,
Закрыты ставни у соседей;
Высоко где-то на стекле
Свет огонька дрожит во мгле.

Так умели писать немногие.

Получил он неожиданное письмо от Евгении Сатиной, — почему она вспомнила о нем? Сколько лет ее не встречал...

«Вас удивит, что я теперь вздумала писать к Вам, но я давно добивалась Вашего адреса, и никто не мог мне его сообщить, на днях же, читая «Время», мне пришло в голову адресовать Вам письмо в редакцию этого журнала, вероятно там знают, где Вы живете... Я теперь человек совершенно самостоятельный и живу совершенно *одна.*

...Пожалуйста, не смейтесь надо мною, что я вздумала писать к Вам,

поверьте, *прежних глупостей* у меня давно и в голове уже нету, и я не только *самостоятельный,* но и *положительный* человек, пишу же я к Вам, как к хорошему старому знакомому, ежели же не хотите отвечать мне, то пришлите это письмо назад Евгении С.

Адрес мой: в Москве, близ Арбата, у Успения на Могильцах, в доме Букина.

P. S. Может быть, Вам покажется странным, что я живу на квартире и не в моем доме на Рождественском бульваре, но я уже шестой год не живу там, т. е. с кончины маменьки, отец же женился на другой...»

Полонский это письмо не вернул ей, так что, видимо, ответил. Он, конечно, все вспомнил, но теперь, вероятнее всего, пожалел эту женщину и мягко, без обидных или резких слов, написал ей, что былого не воскресить...

Врачи советовали ему ехать на воды в Австрию, в горные альпийские курорты Ишль и Бад Гастейн — лечить колено: оно по-прежнему побаливало и опухало.

В июне он выехал из Петербурга по железной дороге в Вену. Оттуда — в Ишль. Из Ишля — в Бад Гастейн.

«Гастейнские воды мне, кажется, помогают, — писал он Марии Федоровне Штакеншнейдер. — ...Лапа моя сильно болела после 8 ванн — но потом вдруг легче стало, и я ею очень свободно двигаю... Горы меня не давят, но воздух здесь так чист и редок, что подчас как будто не хватает для дыхания».

Под конец пребывания в Бад Гастейне получил он письмо от Федора Михайловича Достоевского: «Бесценнейший Яков Петрович, простите великодушно, что до сих пор не писал к Вам ничего... Пишете ли Вы, драгоценный голубчик? 3 главы Ваши вышли еще в июне и произвели сильно разнообразное впечатление... Друг Страхов заучил все эти три Ваши главы наизусть, ужасно любит цитировать из них, и мы, собравшись иногда вместе, кстати иль некстати, приплетаем иногда к разговору Ваши стихи. В литературе, как Вы сами можете вообразить, отзывов еще нет, кроме тех, которым не терпится, чтоб ругнуть».

Уже в июльской книжке «Русского слова» молодой поэт-сатирик Дмитрий Минаев насмешливо отозвался о первых главах «Свежего предания», причем как образчик поэтической нелепицы процитировал такие (по-моему, отлично выписанные) строки:

Ночь на исходе. Снежным комом,
Уединенна и бледна,
Висит над кровлями луна,
И дым встает над каждым домом,
Столпообразным облакам
Подобно; медленно и грозно
Он к потухающим звездам
Ползет.
                Неужели так поздно?!
Лениво удаляясь прочь,
У башен спрашивает ночь,

Который час?
— Да уж девятый!
Звонит ей Спасская в ответ,
И ночь уходит. Ей вослед
Глядит, зардевшись, кремль зубчатый
Сквозь призму неподвижной мглы.
Над серыми его зубцами
Кресты и вышки и орлы
Горят пурпурными огнями,
И утро с розовым лицом
Стучится в ставни кулаком:
«Вставай, лентяй! вставай, затворник!»

«Если вы умеете наслаждаться поэзией, — иронически замечал Минаев по поводу этих строк, — то на вас должны обаятельно-страстно подействовать эти образы — ночи, которая говорит с башнями, и розолицего утра, которое стучит своим кулаком в ставни окон». И далее сатирик, демонстрируя прискорбную глухоту и невосприимчивость к поэтическим метафорам, печатал собственную пародию на вышеприведенный отрывок.

Достоевский отнес Минаева к числу тех, кому «не терпится, чтоб ругнуть».

Из Бад Гастейна Полонский поехал еще на курорт Теплиц.

Вернулся из-за границы 5 сентября.

А 14 сентября литературный мир Петербурга был поражен известием об аресте Михаила Михайлова. За что арестовали — никто не знал. Дня через два в доме графа Кушелева собрались многие литераторы — обсудить то, что произошло, и что-то предпринять, чтобы выручить собрата из беды. Решили подать петицию министру народного просвещения Путятину. Петицию поручили тут же составить публицисту Громеке, а подать ее — депутации из трех человек: графа Кушелева, Громеки и Краевского. Подписали петицию тридцать литераторов самых разных направлений.

Полонский ее не подписывал — это можно объяснить только тем, что на собрании у Кушелева он не был и подписать ему не предложили.

Путятин не соизволил принять депутацию в полном составе, сделал исключение для графа Кушелева. Граф заявил, что он пришел как представитель сословия литераторов, — Путятин сердито сказал, что такого сословия не знает, однако петицию принял.

О ней доложили царю. Царь был возмущен, счел письмо литераторов «совершенно неуместным» и повелел исключить графа Кушелева-Безбородко из числа камер-юнкеров.

Минувшим летом Михайлов вместе с Шелгуновыми снова был за границей. Они приезжали в Лондон, встречались там с Герценом, и он согласился напечатать в типографии прокламацию «К молодому поколению» (составил ее Шелгунов).

Прокламация была обращена в первую очередь к русской студенческой молодежи: «Не забывайте того, что мы обращаемся к вам по преимуществу, что только в вас мы видим людей, способных пожертвовать личными интересами благу всей страны. Мы обращаемся к вам

потому, что считаем вас людьми, более всего способными спасти Россию...» И наконец: «Мы хотим выборной и ограниченной власти, свободы слова, всеобщего самоуправления, равенства всех перед законом и в государственных податях и повинностях, точного отчета в расходовании народных денег, открытого и устного суда...»

Эту прокламацию в шестистах экземплярах Михайлов привез с собой в Петербург (он возвратился раньше, чем Шелгуновы). Ему удалось ее за два дня распространить, и об этом дозналось Третье отделение.

Непосредственно при Третьем отделении просидел он в камере месяц, затем его перевели в Петропавловскую крепость...

Студентам Петербургского университета неожиданно были объявлены новые правила. С начала учебного года министр Путятин вводил «матрикулы» — зачетные книжки, без предъявления которых в здание университета не впускали. Вводилась обязательная плата за обучение.

Студенты открыто возмущались.

«Университет в прошлое воскресенье закрыт и запечатан, — сообщал Полонский 27 сентября в письме к Софье Адриановне Сонцевой в Брюссель. — В понедельник толпа студентов, т. е. все студенты пошли к попечителю [от университета через весь город] узнать, что это значит, — их окружило войско... Ночью взято под арест до 70 студентов. Умы раздражены, весь город в волнении. Публика сочувствует студентам... Как хорошо, что вы не в Питере, как бы вы волновались, как бы негодовали!»

Две недели спустя толпа студентов собралась возле запертого университета, попыталась силой войти внутрь. Двести сорок человек было арестовано и доставлено в Петропавловскую крепость. Оттуда их через несколько дней перевели в Кронштадт. И заперли там в палатах госпиталя.

В числе арестованных студентов были сын Андрея Ивановича Штакеншнейдера Адриан и шестнадцатилетний Александр Сонцев, который и студентом еще не был. Отец его, Адриан Александрович, жил тогда в Витебске, и Полонский решил немедленно сообщить ему о происшедшем. «Нынче был я у Штакеншнейдеров... — написал он в письме. — За обедом, слышу, говорит Бенедиктов: «Вот и Сонцев был также взят, хоть он и не студент, и молодой человек сам не знает, за что его взяли».

«Милый друг Адриан! — писал Полонский Сонцеву-старшему 1 ноября. — ...Вчера пронесся слух, что кронштадтские пленники опять переведены в крепость. Нынче утром я туда отправился в объезд, ибо мосты все разведены. Виделся с комендантом [крепости], рассказал ему, в чем дело. Комендант сказал мне, что сейчас бы позволил мне видеться с твоим сыном, если бы он был в крепости, но все отвезенные в Кронштадт еще в Кронштадте. Ранняя зима с морозами до 10 градусов, застывшая Нева и снег по колено совершенно прервали всякое сообщение с Кронштадтом».

Софье Сонцевой Полонский послал еще одно письмо в Брюссель:

«Вы отчасти угадали причину моего молчания — я не очень здоров и хандрю... Но это вовсе не помешало бы мне написать к Вам. Если бы не было третьей причины, о которой Вы не догадываетесь. Это причина

чисто психологическая. Мне противно было думать, что мое дружеское письмо к Вам, прежде чем дойдет до Вас, будет прочитано — черт знает кем. Здесь в Питере все убеждены, что все заграничные письма вскрываются и читаются... Живешь в России — кажется, можно бы привыкнуть ко всему. Ведь взята же вся моя переписка с Михайловым — и где она, кто ее изучает? Господь знает... Отчего бы, кажется, не привыкнуть? Так нет! Никак не могу угомонить души своей...»

В начале декабря было освобождено большинство арестованных студентов. И стало известно, что Михайлов осужден на шесть лет каторги.

«Вчера был у нового генерал-губернатора, — сообщал Полонский Сонцеву, — просил позволения видеться с Михайловым. Мне завидно, что он идет на каторгу, — кажется, с удовольствием пошел бы на его место...» Даже так!

Не знал он утром 14 декабря, что в это утро Михайлова заковали в кандалы и еще затемно (зимой в Петербурге светает поздно) привезли на площадь у Сытного рынка. Посмотреть на привезенного арестанта собралась на заснеженной площади небольшая толпа — случайные прохожие. На специально сооруженном помосте был совершен над Михайловым обряд гражданской казни: при барабанном бое поставили его на колени, прочитали приговор, переломили над головой осужденного шпагу. Затем его отвезли обратно в крепость.

В полдень к нему на свидание допустили нескольких близких ему людей, в том числе Шелгунова и Полонского.

В тот же день Михайлова увезли на каторгу в Сибирь.

В доме Штакеншнейдеров стали бывать новые гости, в их числе — выпущенный из-под ареста бывший студент Пантелеев (вот из таких горячих молодых людей незаметно зарождалось революционное подполье).

Впоследствии Пантелеев вспоминал:

«На вечерах у Штакеншнейдеров я познакомился с Я. П. Полонским; он с первого же раза стал держать себя как старший товарищ. Одно время я нередко бывал у него, даже сделал в его квартире своего рода склад, когда что-нибудь находил неудобным держать у себя. Раз как-то Я. П. и говорит:

— А послушайте, Пантелеев, что мне достанется, если найдут у меня?

— Если сразу скажете, что получили от меня, то не особенно много, а упретесь, то вам с вашей музой придется перебраться в Сибирь.

— Черт побери, я не хочу ни того, ни другого!

— Так я унесу обратно...

— Нет, я не к тому говорю, а надо, значит, спрятать, чтобы кто-нибудь не увидал».

Еще одним посетителем вечеров у Штакеншнейдеров стал писатель Помяловский.

Полонский рассказывал в письме к Сонцеву (в начале декабря 1861 года): «Третьего дня вечером зашел ко мне некто Помяловский, человек молодой, очень умный и очень талантливый. Повесть его в *Современнике* имела успех. Когда он вошел, я ему сказал: — У вас распух

глаз, и поэтому водки я вам не предлагаю. — Ничего, можно! — отвечал он. Ему подали. Просидел он у меня до часу ночи. Был мороз и ветер — ему идти было далеко — я оставил его ночевать. Что же, вы думаете, он делает у меня ночью? Заметив, где стоят графины с водкой, он к утру осушил их до капли. Водки мне, конечно, не жаль, а было нестерпимо жаль и горько думать, что вот и этот человек пропадет — пойдет по следам Мея или Аполлона Григорьева...»

«И сколько людей принимало в нем самое сердечное участие и старалось удержать его от слабости, губившей его, — вспоминает о Помяловском Пантелеев. — Особенно им был увлечен Я. П. Полонский; в 1862 г. он даже перевез его к себе на квартиру». Об этом вспоминает и сам Полонский: «...он жил со мной, в моей университетской квартире, около трех недель, старался не пить, и я знаю, каков он был — трезвый... Более всего ценил я в нем оригинальность ума — осмысленный, трезво-практический взгляд на все явления жизни — и его замыслы». Пантелеев рассказывает, что Помяловский, пытаясь избавиться от пристрастия к алкоголю, «плакал иногда, как ребенок, делал над собой невероятные усилия, останавливался на одну-две недели и затем вдруг пропадал, и Я. П., бывало, немалых трудов стоило разыскать его в какой-нибудь трущобе, и можно себе представить, в каком ужасном виде».

Продолжение «Свежего предания» печаталось в журнале «Время», но этот роман в стихах так и остался неоконченным. Взявшись выстраивать подобие сюжета и покинув лирическую стихию, Полонский почувствовал себя неуверенно — и спасовал. Некоторые уже написанные строфы он зачеркнул. В том числе такую строфу в конце:

Не умники спасут Россию.
В безумце своего мессию
Они увидят, но прости —
Не мне идти на подвиг трудный,
Ведь я такой же отрок блудный,
Не знающий, куда идти.

К тому же, Полонского чрезвычайно смутили насмешливые отклики, прозвучавшие со страниц «Русского слова».

К этому времени граф Кушелев уже устал возиться с журналом и полностью доверил его Благосветлову. Главным сотрудником нового редактора стал молодой критик Писарев.

Еще осенью 1860 года Писарев, никому тогда не известный двадцатилетний юноша, принес Полонскому свой стихотворный перевод из Гейне. Полонский рекомендовал его Благосветлову, и тот прислал записку: «Милейший Яков Петрович, г. Писарева приму, усажу и поговорю с ним...»

Прошел год — и на страницах «Русского слова» Писарев заявил: «Гг. Фет, Полонский, Щербина, Греков и многие другие микроскопические поэтики забудутся так же скоро, как те журнальные книжки, в которых они печатаются. «Что вы для нас сделали? — спросит этих господ молодое поколение. — Чем вы обогатили наше сознание? Чем вы нас шевельнули, чем заронили искру негодования против грязных и диких сторон нашей жизни? Сказали ли теплое слово за идею? Разбили ли хоть

одно господствующее заблуждение? Стояли ли вы сами хоть в каком-нибудь отношении выше воззрений нашего времени?» На все эти вопросы, возникающие сами собою при оценке деятельности художника, наши версификаторы не сумеют ответить».

Огорченный Полонский сетовал на «Русское слово» в письме к Тургеневу. Тургенев отвечал: «Отрывок из статейки г-на Писарева, присланный тобою, показывает, что молодые люди плюются; погоди, еще не так плеваться будут! Это все в порядке вещей — и особенно на Руси не диво, где мы все такие деспоты в душе, что нам кажется, что мы не живем, если не бьем кого-нибудь по морде. А мы скажем этим юным плевателям: «На здоровье!» — и только посоветуем им выставить из среды своей хотя таких плохих писателей, каковы были те, в кого они плюют. Тогда они будут правы, а мы им пожелаем всякого благополучия».

Круг почитателей Писарева, увлеченных его радикальными взглядами и молодым задором, ширился с поразительной быстротой.

Полонскому запомнился вечер в художественном клубе в Троицком переулке: «Было тесно и душно; публика захватила все кресла и занимала все проходы между рядами их. И не мудрено: в этот вечер на балюстраде ожидалось появление одного из корифеев тогдашней журналистики. Неистовым громом рукоплесканий был встречен и провожаем этот любимец интеллигентной толпы, в особенности молодежи. Когда он читал, каждое слово казалось ей законом. И что же было темой его поучений? Этого нельзя забыть. Он проповедовал, что занятие поэзией — сущий вздор, пустяк, нечто простительное одним только малоумным и пошлым людям... Я, разумеется, молчал».

Полонский пытался понять этих молодых людей, постигнуть новые веяния. «Читаю я теперь Фейербаха... — писал он Софье Сонцевой. — Атеизм никак не гармонирует с моей натурой, но ум и его признаёт... Быть может, люди нового поколения и в сфере полнейшего неверия сумеют совершенно акклиматизироваться и отрастить новые крылья — не знаю. Говорю о себе — до сих пор я был идеалистом. В новом воздухе — прежде, чем летать, нужно еще дышать привыкнуть».

Он написал такие стихи:

Была пора, когда уединенье
Манило в свой приют измученных душой,
И люди шли в леса искать себе спасенья,
Последнее свое ожесточенье
Меняя на таинственный покой.

. . . .

Теперь не то, товарищ старый мой,
В уединенье нам не будет развлеченья,
Да и куда мы убежим с тобой?
Нет, что ни говори и как ни злись отныне,
Пустыня не для нас и мы не для пустыни.

Этим стихам он дал заголовок «Уединение». Поставил дату: 2 апреля 1862 года.

А 8 апреля Елена Андреевна Штакеншнейдер записала в дневнике: «Неожиданно сегодня приехал Полонский, удивил, обрадовал. Он привез свои стихи [должно быть, «Уединение»]. Еще привез он где-то добытую прокламацию...»

В его тогдашних черновиках сохранилась такая запись: «В настоящее время — как уверяют заграничные книгопродавцы — русские издания по Европе расходятся до 20 000 экземпляров ежегодно. Русские книги и газеты, издаваемые без разрешения русского правительства, продаются в Лондоне, в Париже, в Брюсселе, в Лейпциге, в Мюнхене, в Берлине и даже в Вене. Я сам видел их на водах в Австрии — в маленьких библиотечках в Ишле, в Бад Гастейне, в Теплице. Сколько же их расходится в Баден-Бадене, в Крейцнахе, в Эмсе, в Остенде, где русских каждое лето пребывает такое множество... Смело можно сказать, что в России, если сойдутся 5—6 человек и начнут беседовать, то эта беседа, если ее записать, будет не пропущена цензурой... Ведь то, что я пишу, я слышал 100 раз по крайней мере — а ведь не могу же я напечатать того, что пишу».

Что-то он тайно писал Герцену.

Не знал он, что 1 июля 1862 года агент Третьего отделения Балашевич, живший в Лондоне под именем графа Потоцкого, сообщил в Петербург коротенький список лиц, о коих ему стало известно, что они переписываются с Герценом. В этом списке значился Яков Петрович Полонский.

Елене Андреевне Штакеншнейдер он посвятил тогда такие строки:

Ползет ночная тишина
Подслушивать ночные звуки...
Травою пахнет, и влажна
В саду скамья твоя... Больна,
На книжку уронивши руки,
Сидишь ты, в тень погружена,
И говоришь о днях грядущих,
Об угнетенных, о гнетущих,
О роковой растрате сил,
Которых ключ едва пробил
Кору тупого закосненья...

Беспокойный был год. В мае — пожары в Петербурге, и как дым от них — слухи о поджогах. Якобы поджигали те, что хотят взбунтовать народ, — студенты, прокламаторами наученная молодежь. А корень зла — революционные идеи, проникшие в Россию через журналы, якобы растлевающие молодые умы вредными статьями. В июне правительство приказало прекратить на восемь месяцев издание журналов «Современник» и «Русское слово». В июле были арестованы и посажены в крепость Писарев и Чернышевский.

В Петербурге, в казармах лейб-гвардии Саперного батальона был задержан исключенный из университета восемнадцатилетний Алексей Яковлев — он пытался распространять листы герценовского «Колокола» среди солдат. Сразу после ареста Яковлев переправил записку другому бывшему студенту — Николаю Кудиновичу. Того также арестовали. Обоих посадили в крепость.

Оба уже попадали туда ранее — за участие в студенческих волнениях в прошлом году. После этого Кудинович бывал в доме Штакеншнейдеров, бывал и у Полонского.

Военный суд приговорил Яковлева к расстрелу. Смертный приговор был затем заменен шестью годами каторжных работ.

Полонский испросил разрешения свидеться с арестованным Кудиновичем, к которому относился с безусловной симпатией.

«На днях видел я К-ча — он еще в крепости, — сообщал он Софье Сонцевой в январе 1863 года. — Дело его кончено, и он осужден на 3 месяца». После того, как уже отсидел шесть. Итого — девять.

Привезли в Петербург из Сибири и тоже посадили в крепость Шелгунова (ему еще сидеть в одиночке полтора года, потом отправят в ссылку)...

Ко всему этому Полонский оставаться равнодушным не мог:

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.

В зале петербургского Благородного собрания 10 апреля многочисленная публика собралась на литературно-музыкальный вечер. Первыми выступили Помяловский, Достоевский, Полонский.

Полонский прочитал стихотворение «Одному из усталых» (новый вариант «Уединения»):

Устал ли ты науку догонять
Иль гнаться по следам младого поколенья —
Не говори, что хочешь ты бежать,
В глуши искать уединенья.
К чему!..

И заканчивал так:

Не говори мне, что природа — мать:
Она детей не любит одиноких;
Ожесточенных, так же как жестоких,
Природа не умеет утешать.
И ничего не сделает природа
С таким отшельником, которому нужна
Для счастия законная свобода,
А для свободы — вольная страна.

В зале присутствовал агент Третьего отделения. Он затем доносил своему начальству: «Стихотворения Полонского «Твой скромный вид» и «Одному из усталых» не произвели никакого впечатления, хотя последнее и оканчивалось стихом, явно рассчитанным на эффект».

На другой день после выступления в этом зале Полонский принес Тютчеву полученную, как он сказал, по почте прокламацию нового тайного общества «Земля и воля».

С начала этого года в польских губерниях началось восстание за независимость Польши, за ее отделение от Российской империи. Восставшие явно не рассчитали свои силы, к лету их поражение стало очевидным.

Отношение к польскому вопросу раскололо все русское общество. В поддержку восставших выступил «Колокол» Герцена, восстанию сочувствовали русские революционеры. Консерваторы и монархисты были против.

Журнал Достоевских «Время» в апреле поместил статью «Роковой

вопрос». Статья была продиктована стремлением подойти к польскому вопросу беспристрастно.

Тяжелым и неожиданным ударом для Достоевских было решение правительства запретить издание журнала — за эту самую злосчастную статью.

Федор Михайлович Достоевский писал Тургеневу: «...нас обвинили в антипатриотических убеждениях, в сочувствии к полякам и запретили журнал за статью в высшей степени по-нашему патриотическую. Правда, что в статье были некоторые неловкости изложения, недомолвки, которые и подали повод ошибочно перетолковать ее... Мысль статьи (писал ее Страхов) была такая: что поляки до того презирают нас как варваров, до того горды перед нами своей европейской цивилизацией, что нравственного (т. е. самого прочного) примирения их с нами не предвидится. Но так как изложения статьи не поняли, то и растолковали ее так: что *сами, от себя,* уверяем, будто поляки до того выше нас цивилизацией, а мы ниже их, что естественно они правы, а мы виноваты».

В июле Полонский писал Майкову: «М. Достоевский сильно надеется: что месяца через два журнал вновь будет разрешен».

Летом по приглашению семьи Тютчевых побывал Полонский в Овстуге — имении Федора Ивановича Тютчева в Орловской губернии. Полонский рассказывал в письме к Сонцевой, что в Овстуге он «провел только 10 дней — блаженных по невозмутимой тишине и присутствию одной очень милой особы» (дочери Тютчева Марии Федоровны).

В комитете иностранной цензуры открылась вакансия — должность младшего цензора, и Тютчев, председатель комитета, предложил Полонскому занять это место.

Полонский растерялся, не зная, как поступить.

Ему — стать цензором?

Правда, цензорскую должность занимал такой почтенный писатель, как Иван Александрович Гончаров, цензором — и давно уже — был Аполлон Майков...

Полонский решил посоветоваться с Некрасовым.

Впоследствии вспоминал: «Я пришел к нему в тот день, как открылось это место и мне стали предлагать его; я высказал ему, как я колеблюсь, как тяжело мне быть на таком месте, служенье которому идет вразрез моим убеждениям. Некрасов засмеялся. Он назвал меня Дон-Кихотом, чуть не дураком. — Вам дают место в 2500 рублей жалованья [в год], а вы, бедный человек, будете отказываться — да это просто глупо! Никто вам за это спасибо не скажет — за ваше самоотверженье вас же осмеют».

В письме Сонцевой Полонский тогда же рассказывал: «Я долго, очень долго колебался — изъявлять согласие, — наконец решился взять это неприятное для себя прозвище — ради той свободы, которую дает оно. Как секретарь, я не могу ни на один день покинуть Петербурга — каждый день может быть бумага, требующая немедленной справки или ответа. Цензор же совершенно волен... Правда, я лишусь казенной квартиры, но зато буду получать 2500 рублей жалованья и смогу кой-что откладывать на случай болезни или дальней дороги».

Так он уговорил сам себя.

Стал младшим цензором и переехал на другую квартиру — в дом у Харламова моста через Екатерининский канал.

Много лет спустя рассказывал он в письме к литератору Пыпину: «...В разгар польского восстания один неоспоримый факт поражал меня — невольно возникал вопрос: отчего наши юные офицеры, по крайней мере самые развитые, шли усмирять мятеж с явной неохотой и нисколько не скрывали симпатий своих к Польше, к полякам и их геройскому самоотвержению, а возвращались разочарованные и по отношению к Польше с нескрываемым озлоблением». Иных молодых офицеров Полонскому, видимо, встречать не привелось (но мы знаем, что озлобление вовсе не было общим). И вот «на основании кой-каких рассказов, фактов и соображений» задумал он сочинить «несколько сцен, чтоб, с помощью вдохновения, и для себя и для других решить вопрос — или причину такого явления».

В конце 1863-го и в начале 1864 года он быстро, в несколько недель, написал белым стихом свои «сцены». Местом действия выбрал белорусскую глушь, где поляками были только помещики и ксендзы и где восстание не имело и не могло иметь поддержки в народе. Изобразил помещика Славицкого — это ярый националист, убежденный, что Белоруссия должна войти в состав возрожденной Польши. Русский офицер Танин (по духу — двойник самого Полонского) знакомится с семьей Славицких. Возникает диалог:

С л а в и ц к и й:
Я вижу, с вами можно знаться, ибо
Вы, кажется, на русских непохожи.
Т а н и н:
Я? Странный комплимент! Не ошибитесь:
Насколько вы поляком будете, настолько
Я буду русским; будьте человеком,
И между нами разницы не будет.

Разворачивается несложный сюжет: любовь Танина к сестре Славицкого, душевный разлад между чувством и долгом, быстрое подавление восстания (но в этой глуши восставать почти некому), непримиримость польских националистов-фанатиков — и высказанная в конце убежденность Танина (то есть самого Полонского):

Зло не побеждают злом:
Два зла, борясь, в борьбе ослабевают,
И вот одно-единственное благо,
Которое мы ждем от их борьбы, —
Меч притупляет меч.

Полонский рассказывал в письме к Пыпину: «Первый, кому я прочитал, был [историк] Костомаров, и я, к удивлению моему, встретил в нем глубокое сочувствие. Он посоветовал назвать мое произведение *Разладом* — так я и окрестил его».

Затем Полонский прочел «Разлад» Тютчеву («Тютчев пророчил мне успех и оказался плохим пророком»). Читал Тургеневу, Боткину, Гончарову. Боткин сказал патетически, что Полонский въезжает в литературу на белом коне. Тургенев критиковал, но деликатно — не хотел, должно быть, автора огорчать. Гончаров отозвался одобрительно, но, как цензор,

сомневался в возможности пропустить «Разлад» без определенных сокращений. Рекомендовал Полонскому прочесть рукопись министру внутренних дел Валуеву, если, конечно, тот согласится выслушать. Именно Валуев в минувшем году потребовал запрещения журнала «Время» за статью «Роковой вопрос», и теперь его мнение о «Разладе» — произведении на ту же тему — могло бы стать решающим для цензурного комитета.

И вот, с согласия автора, о «Разладе» Гончаров сообщил председателю цензурного комитета, тот — министру. Наконец Полонский получил записку от Гончарова: «Министр желает выслушать поэму от Вас самих на следующей неделе». И еще одну записку: «...министр хочет назначить чтение Вашего произведения в понедельник или во вторник на будущей неделе, следовательно завтра (в пятницу) Вы свободны, почтеннейший Яков Петрович, и по обещанию, вероятно, не откажетесь прочесть сцены у А. Д. Галахова [профессора русской словесности], который Вас просит к 8 вечера с нетерпением...»

Полонский читал свой «Разлад» у Галахова, читал в кабинете министра.

Министру показалось, что эти «сцены не для сцены» получились у Полонского «во многом весьма удачно». Однако дать личное разрешение печатать «Разлад» он не счел возможным — рукопись должна пройти цензуру обычным путем.

Полонский принес рукопись в редакцию «Современника» Некрасову.

Некрасов прочел — и заколебался. Послал рукопись ближайшему своему сотруднику Антоновичу и приложил записку: «Пожалуйста, Максим Алексеевич, прочтите эту вещь поскорее (т. е. завтра, например, к обеду). Что до меня, то я такого мнения, что ее следует взять в «Современник». Она эффектна, об ней говорят и будут говорить, а относительно содержания (обстоятельство, по которому преимущественно я препровождаю ее Вам) тоже, кажется, не представляется препятствия. Этот вопрос предоставляют окончательно решить Вам».

Но Антонович и другие сотрудники редакции решительно воспротивились публикации «Разлада» в «Современнике». Они сочли, что вещь эта так или иначе оправдывает подавление польского восстания. Кроме того, они считали, что бестактно писать подобным образом о побежденных: лежачего не бьют.

Некрасов не хотел отказывать Полонскому напрямик и послал ему такое дипломатическое письмо:

«Я свел счеты по Современнику и пришел к неутешительным результатам: подписка уже кончилась, а денег у нас очень мало.

Заплатить Вам дешево не могу, да и Вы и не возьмете; дать много не из чего. Поэтому пристройте Вашу вещь в другой журнал. Если же вздумаете напечатать отдельно, то предсказываю большой сбор, и между тем на издание могу Вам дать *лично, из своего кармана,* что понадобится. Пьесу посылаю.

Весь Ваш *Н. Некрасов*».

Что же оставалось делать Полонскому?

«Разладом» заинтересовался редактор «Русского вестника» Катков: ему эту вещь рекомендовал в письме Галахов.

«Я еду в Москву,—рассказывал Полонский в письме к Пыпину.— Михаил Никифорович Катков собирает своих знакомых, зажигает лампы и просит меня приступить к чтению. Чем больше я читаю, тем больше он морщится. На другой день утром он возвращает мне мою рукопись. Узнаю, что Катков в негодовании. Сцены мои найдены лишенными всякого русского патриотизма...»

С подобной оценкой Полонский, разумеется, не мог согласиться. Удрученный вернулся он в Петербург.

Оставалась еще одна возможность: новый журнал Достоевских «Эпоха», разрешенный к изданию вместо запрещенного «Времени». В этом журнале и был принят и напечатан «Разлад».

Отзывы критики не заставили себя ждать: они были уничтожающими.

Рецензент «Отечественных записок» справедливо замечал: «Если бы в Польше все были одни паны Славицкие, восстание продержалось бы разве неделю, да и то при содействии наивности господ Таниных... Какая же необходимость была избрать *такие* лица?»

Рецензент «Библиотеки для чтения» восклицал: «И стоило положительно даровитому поэту тратить столько труда, времени на достижение столь скудных результатов!»

Это был провал. Напрасно автор взялся писать о том, о чем знал лишь приблизительно, однобоко, со стороны...

В сентябре 1864 года умер Аполлон Григорьев. Журнал «Эпоха» напечатал воспоминания о нем, написанные Страховым, и письма Григорьева к автору воспоминаний.

Среди этих писем одно прямо относилось к Полонскому—к его «Свежему преданию». Об этой вещи Григорьев писал: «Мелок захват, и оттого все вышло мелко: и Москва мелка, да и веянья могучей мысли эпохи захвачены мелко». Далее в печати опущены были наиболее резкие выражения в адрес Полонского. Приводились еще такие слова Григорьева: «...думаю, что Полонский никогда и не знал Москвы, народной, сердцевинной Москвы, ибо передние, или же, все равно, салоны разных бар,—это не жизнь, а мираж; а он в них только и жил».

Прочитав эту книжку журнала, Полонский написал Страхову:

«Григорьев был человек замечательный—был одарен несомненно громадными способностями...

Совершенно неумышленно раза два в мою жизнь и оскорбил самолюбие Григорьева—и этого он никогда мне простить не мог...

Григорьев пишет, что я только и жил в салонах московских бар,— это самое обидное и самое несправедливое обвинение!.. Григорьев был студентом, во всем обеспеченным, ездил в своем экипаже, на своих лошадях, был маменькин сынок и нигде не смел засиживаться позднее девяти часов вечера,—я же жил без всяких средств, часто не знал, где преклонить свою голову, ночевал беспрестанно в чужих домах, и если посещал салоны, то именно те самые, где было веянье той *могучей мысли,* о которой пишет Григорьев».

Много лет спустя Полонский писал Фету: «Григорьев напал на мой стихотворный роман «Свежее предание», утверждая, что московский дух

мне совершенно неизвестен, а я о московском духе и не думал...» В этом все дело: Григорьев искал и не находил в «Свежем предании» то, чего там не было и быть не могло — не входило в замысел автора. Григорьев и Полонский смотрели на жизнь разными глазами. И никогда не могли найти общего языка...

Москву Полонский снова вспоминал в начатой им поэме «Братья»:

Он помнил одинокие прогулки,
Старинные пруды, как озерá,
Кривые, спутанные переулки,
Кануны праздников и вечера
В ограде Спаса — ряд огней во мраке,
И пенье клироса, и «паки, паки
Помолимся», и дымные столпы
От ладана, и шорохи толпы
Молящейся, — и много, много, много
Такого, что являло в звездной мгле
На небе восседающего бога
И умирающего на земле.

Герой поэмы — русский художник — уезжает из Москвы в Рим и там принимает участие в восстании 1848—49 годов. Симпатии автора были очевидны.

Полонский писал о том, что слава

...зовет нас в поле, —
Где марширует смерть, меняя роли
Народов, полководцев и владык, —
Ведет на кафедру, раба язык
Вооружает жалом истин смелых,
В толпу заносит правды семена
И в глубину пустынь оледенелых
Людей заносит, — но не имена.

«В глубину пустынь оледенелых» занесло друга его Михаила Михайлова. В августе 1865 года пришло известие о смерти Михайлова в Сибири...

Полонский не раз принимался вести дневник — начинал и бросал. В начале 1866 года вел лишь самые краткие записи в календаре.

«*3 февраля.* — Мороз. Ясно. Утром в типографии — *Оттиски* уже напечатаны — дорого — чтоб окупилось издание, надо продать 600 экземпляров».

«Оттисками» назвал Полонский свой новый сборник стихов. Заработать на книге он не рассчитывал — лишь бы окупились расходы по изданию...

«*15 февраля.* — ...Граф [Кушелев] кладет на музыку мой „Последний вздох“».

Стихотворение Полонского об умирающей жене — «Последний вздох» — произвело на многих сильное впечатление. Кушелев иногда сочинял — и печатал — романсы (среди них есть очень неплохие — например, «Что ты клонишь над водами...» на слова Тютчева). Он был музыкально одаренным человеком, играл на фортепиано и на цитре и, кто знает, может быть, в состоянии был бы стать настоящим композитором, если бы... Если бы он, граф Кушелев-Безбородко, не был изнеженным сибаритом, не ведающим, что такое трудолюбие.

Жене своей граф уже надоел. Она жила отдельно, но разоряла его по-прежнему. Он был теперь далеко не так богат, как прежде...

Полонский записывал в календаре:

«*1 марта.* — ...Обедал у графа Кушелева-Безбородко. Прочел у него на себя пасквиль в „Будильнике"».

В этом юмористическом журнальчике об «Оттисках» Полонского без всякого стеснения писалось так: «Это просто собрание каких-то смутных недомолвок, полуслов, намеков, которых вся поэзия заключается в общей бессмыслице: какая-то музыка чепухи, какой-то неизлечимый лирический насморк...»

Ну, разве не обидно было все это читать?

Но прошел месяц, и Полонский уже не вспоминал про эту обиду — о таких ли пустяках стоило думать, когда произошло событие необычайное, потрясающее. О нем он записал в календаре кратко:

«*4 апреля.* — Покушение на жизнь государя неизвестного человека у Летнего сада».

Всякое насилие Полонскому было внутренне чуждо, и сочувствовать террору он не мог. Но его сразу же взволновал вопрос: почему стреляли в царя? Ради чего?

Он ожидал, что на этот вопрос ответить сможет человек, близкий к революционным кругам. Среди его знакомых таким человеком был Петр Лаврович Лавров.

На другой день после покушения на царя Полонский записал в календаре:

«*5 апреля.* — Вечером у Лаврова».

Когда еще Полонский жил в Риме, Лавров появился впервые в доме Штакеншнейдеров. Пригласить его настоятельно рекомендовал Бенедиктов. «Вы, вероятно, скоро познакомитесь с ним... — говорил Бенедиктов Елене Андреевне, — и тогда сами увидите, что в кругу ваших знакомых нет никого ему подобного, что он выше всех; и тогда все мы, которые окружаем вас теперь, отойдем на задний план, иначе нельзя, иначе нельзя!»

Лавров был полковником артиллерии и преподавал математику в артиллерийской академии. Но главным в его жизни было другое. «Его мечтой была революция, — читаем в воспоминаниях Елены Андреевны Штакеншнейдер. — Революция, которая сломает и унесет все старое, изжившее, все предрассудки и суеверия, весь износившийся строй жизни и расчистит место новому».

Как объяснял ему Лавров покушение молодого террориста Каракозова на царя, мы не знаем. Записи в календарике Полонского предельно скупы.

Из этих записей видно, что после выстрела Каракозова Полонский неоднократно заходил к Некрасову, зная обо всех опрометчивых шагах его в стремлении спасти от ожидаемых репрессий журнал «Современник»: о стихах Некрасова, читанных им 9 апреля в честь того, кто, как говорили, спас царя, и — неделей позже — об оде его генералу Муравьеву, который принялся искоренять в столице чуждый самодержавию дух.

Утром 19 апреля в зале Благородного собрания состоялось чтение в

пользу бесплатной школы. Полонский читал первую главу поэмы «Братья»:

Гражданскую и всякую свободу
Свободой поэтической моей
Предупредив, я буду петь природу,
Искусство, зло, добро, — родник идей —
Все буду петь — и все, что человечно,
То истинно, — что истинно, то вечно.
Так разум мой — есть разум общий всем,
Единый, не смущаемый ничем, —
Как бог, он светит всем народам в мире.
И если есть народы на звездах,
И там — все те же «дважды два четыре»,
И там — все тот же Прометей в цепях.

Впрочем, это чтение прошло незамеченным.

По городу прокатилась волна арестов. 25 апреля были арестованы Лавров, Минаев...

В этот день Полонский записал в календарике своем: «Обедал у Некрасова — очень грустен, мрачен — не в духе — больше молчал — я понимал причину и почти молчал».

По поводу ареста Минаева (в крепости его продержали около двух месяцев) Полонский написал тогда стихотворение «Литературный враг»:

Господа! я нынче все бранить готов —
Я не в духе — и не в духе потому,
Что один из самых злых моих врагов
Из-за фразы осужден идти в тюрьму...

Признаюсь вам, не из нежности пустой
Чуть не плачу я, — а просто потому,
Что подавлена проклятою тюрьмой
Вся вражда моя, кипевшая к нему.

Глава седьмая

Сестра и брат Жозефина и Антон Рюльманы были незаконнорожденными (носили фамилию матери), их родителей уже не было в живых. Средства к существованию давала им служба в доме Петра Лавровича Лаврова. Антон, студент-медик, был домашним учителем сына Лаврова, Жозефина — компаньонкой его жены Антонины Христиановны (родным языком обеих был немецкий).

Минувшей зимой Антонина Христиановна умерла. Теперь Лавров предложил Жозефине быть компаньонкой его старой матери. Девушка согласилась.

Положение осложнилось тем, что Петр Лаврович влюбился в Жозефину. Как рассказывает Елена Андреевна Штакеншнейдер, Жозефина, «приученная смотреть на него глазами его семьи как на нечто не от мира сего, не знала, что делать, и только трепетала. Он тоже не знал, что делать, но себя понимал отлично и поэтому глубоко презирал».

Жозефина решилась посоветоваться с братом, брат в свою очередь, обратился за советом к доктору Конради, который бывал у Лавровых.

Доктор Конради и его жена решили вмешаться. «Молодую девушку Конради взяли к себе и поспешили разгласить эту историю

под секретом повсюду, где только могли, — вспоминает Елена Андреевна, — от них узнала ее и я».

А тут наступило 4 апреля — покушение Каракозова на царя. Еще никто не мог предполагать, что ожидает Лаврова...

Жена доктора Конради, видимо, начала тяготиться взятой на себя ролью покровительницы Жозефины и решила уговорить ее выйти за Лаврова замуж.

20 апреля она сказала Елене Андреевне, что завтра едет с мужем за город, а Лавров и Жозефина пойдут в Эрмитаж. Вечером все соберутся на квартире Конради — в доме на углу Надеждинской и Саперного переулка.

В тот вечер Елена Андреевна также была приглашена к Конради. Ужинали поздно. Среди ночи вдруг раздался звонок.

Елена Андреевна вспоминает: «Конради встал и со словами «верно, к больному» пошел со свечой в темную прихожую. Звякнули шпоры, и послышался чужой голос: «Полковник Лавров здесь?» Лицо Конради было бледно и свеча нетвердо держалась в руке его, когда он объявлял Лаврову, что его спрашивает жандармский офицер. Лавров поспешно встал и вышел, но не прошло и минуты, как он уже снова был посреди нас и объявил, что ему надо ехать домой с присланным от Муравьева жандармским офицером. Он не был бледен, как Конради, напротив, лицо его оживилось... В начале вечера он был пасмурен, и Конради были не в духе, и тихая красавица была еще печальнее, чем обыкновенно. Прогулки по Эрмитажу и обед вдвоем, по-видимому, не подвинули дела ни на шаг».

В эту ночь в квартире Лаврова на Фурштадтской был обыск и кабинет его опечатали.

А 25-го вечером жандармы взяли его самого.

16 апреля Полонского пригласили на домашний спектакль в частный пансион для девочек. Он записал в календаре:

«Вечер этот для меня был тяжел: я встретил С. М. [Софью Михайловну Дурново], с которой мое знакомство 20 лет тому назад кончилось таким позорным для меня образом несмотря на то, что во мне не было ни дурных мыслей, ни дурных намерений. Напротив... Она теперь, как кажется, была задета неожиданной встречей. Странная во мне симпатия к этой девочке — хочется назвать ее и дочерью и сестрой...»

Она оставалась для него девочкой и теперь — в ее сорок лет. Но прежних чувств не было...

13 мая в календарике Полонского появляется запись:

«Был в первый раз у Конради. M-lle Рюльман — глаза».

У нее были темные глаза и темные волосы, матовый цвет лица.

Потом он ездил в Москву навестить больную сестру, вернулся в Петербург, и вот 30 мая записывает в календарь: «У Конради. *Жозефина Антоновна*».

Муж и жена Конради вместе с Жозефиной жили теперь на даче в Павловске, — Полонский, видимо, застал ее в городе случайно, во время краткого ее приезда.

«*31 мая.* — Сильный дождь с утра... Хотел ехать в Павловск, сильно тянуло...

1 июня. — ...поехал в Павловск. Вечер у Конради. Прогулка, музыка... Для моего сердца готовится или новое горе, или новая радость... Опоздал к последнему поезду в Петербург. Ночевал в кафе ресторана.

2 июня. — Весь день дождь. Обратный путь в Петербург... Конради у меня — я отдал ему письмо к ней. Он советовал подождать, но письмо взял — и так в несколько строк я заключил все мое будущее — я никогда не женюсь, если она откажет...»

Вот его письмо к Жозефине:

«Если бы в голове моей возникло хоть малейшее сомнение в том, что я люблю Вас, если б я в силах был вообразить себе те блага или те сокровища, на которые я мог бы променять счастье обладать Вашей рукою, если бы я хоть на минуту струсил перед неизвестным будущим, я счел бы чувство мое непрочным, скоропреходящим, воображаемым — и, поверьте, не осмелился бы ни писать к Вам, ни просить руки Вашей.

Не сомневайтесь в искренности слов моих, так же, как я не сомневаюсь в них.

Простите меня, если мое признание не обрадует, но опечалит или обеспокоит Вас...

Ваше «нет», конечно, будет для моего сердца новым, великим горем; но, во имя правды, я мужественно снесу его — не позволю себе ни малейшего ропота и останусь по-прежнему

Вас глубоко уважающий,
Вам преданный и готовый к услугам
Я. Полонский».

Она дала согласие.

Нет, она его не любила. Ведь он был даже старше Лаврова (уже стукнуло сорок шесть) и далеко не красавец. Но никто за нее не сватался, кроме Лаврова и Полонского, и Полонский имел то преимущество, что не был обременен семьей и не сидел теперь в крепости.

По словам Елены Андреевны Штакеншнейдер, Жозефина решила тогда выйти замуж потому, что «ей некуда было голову приклонить».

Полонский почувствовал ее холодность и с болью сказал, что без ее сердца ему не нужно ее руки. Она попыталась как-то изобразить, что любит его, — у нее это плохо получалось...

«Если не любишь, — написал ей Полонский, — ...скажи мне это перед свадьбой. Я скажу, что я не сумел приобрести твоего расположения — и ты, по чистой совести, отказала мне... Все это я мог бы на словах передать тебе, но обо всем этом мне тяжело говорить!»

«За несколько недель до свадьбы он посылал меня к ней, — вспоминает Елена Андреевна, — и просил: «Сойдись с ней и узнай ее, дойди до ее сердца и скажи ей, что если она меня не любит, то пусть мы лучше разойдемся». Я, после тщетных попыток проникнуть, куда он меня посылал, т. е. к ее сердцу, отвечала ему: «Дядя, у меня ключа от ее сердца нет».

17 июля Яков Петрович Полонский и Жозефина Рюльман венчались в церкви.

Счастливыми себя не чувствовали ни он, ни она.

Он невесело написал Елене Андреевне 24 августа: «У меня еще не было медового месяца, и, стало быть, отрезветь мне не от чего... Задаю себе одну из труднейших для меня задач в жизни — это приучить жену мою хоть со мною поменьше церемониться».

Надо же было как-то друг к другу привыкать...

А Лавров был выпущен из крепости в конце того же года и отправлен в ссылку — в лесную глушь, в Вологодскую губернию.

Осенью новый и малозаметный журнал «Женский вестник» напечатал первые две главы поэмы «Братья».

Летом 1867 года Федор Иванович Тютчев, едучи в Москву, взялся передать третью главу «Братьев» и новые стихи Полонского Каткову, для «Русского вестника». И третью, и несколько последующих глав поэмы «Братья» Катков принял и напечатал.

Запальчивые строки о поэзии прозвучали в четвертой главе:

Бросайте же в нее комками грязи
Вы, загрязненные, вы, пошляки,
Которым нужны взятки, сплетни, связи,
Чины, покой, рога и колпаки!
И вы, аскеты, вы, идеалисты
Без идеала, или реалисты
Без знанья жизни, вы гоните прочь
Безумную, гоните с тем, чтоб ночь
Невежества была еще темнее.

Решил Полонский снова обратиться к прозе и написать большую вещь — роман. Придумал заголовок: «Признания Сергея Чалыгина».

Из письма его к Тургеневу узнаём:

«Мысль или, лучше сказать, план романа объясняется в двух словах.

Юный Чалыгин вдруг оказывается без бумаг и без всяких доказательств на свое законное происхождение (друг матери его, взятый под арест, забыл эти бумаги у себя в кармане, и они отобраны следственной комиссией или жандармами)...

Десять лет Чалыгин борется с людьми николаевского времени, с бюрократией, с полицией, со своими страстями и, когда достигает прав своих, чувствует, что он уже устал для дела, что прошла его молодость, что нечего ожидать.

Что значит в России человек без документов и как вся жизнь от них зависит — вот что я хотел показать.

И конец должен был быть такой же грустный, как начало романа, и заключать в себе *грусть николаевского времени*».

Над романом Полонский трудился год и оборвал повествование, написав только о детстве и юности своего героя.

Роман почти одновременно писался и печатался — с марта по декабрь 1867 года — в новом журнале «Литературная библиотека». В то же самое время прояснялась, к большому огорчению Полонского, сугубая реакционность этого журнала и нетерпимость его издателя к писателям-демократам.

Полонский решил объясниться с издателем «Литературной библиотеки» Богушевичем и порвать с этим журналом. В черновом письме

к Богушевичу написал: «...лучше быть преследуемым, нежели преследующим людей за то только, что они заблуждаются или же не так думают, как я. В лагере Ваших противников я не нахожу такой нетерпимости... Я должен заявить о том, что между мною и Вашими сотрудниками нет ничего солидарного». Переписывая письмо начисто, Полонский решил выразиться иначе: «Вы правы — я должен быть или с Вами — и казаться вполне солидарным со всем тем, что высказывали *и будут еще высказывать* Ваши сотрудники, или удалиться... К сожалению, характер мой мягче моих убеждений... но я поставлен в положение, не допускающее молчания (наиболее свойственного моему характеру)... С Вами я должен разойтись во имя убеждений».

Но тут прекратился и выпуск этого журнала (издатель прогорел), так что печатание романа оборвалось бы все равно, если б даже Полонский не порвал отношений с редакцией.

Журнальные критики не обращали внимания ни на его поэму «Братья», ни на «Признания Сергея Чалыгина». Самолюбие Полонского страдало, в этом он признавался в письмах к Тургеневу.

Тургенев отвечал: «...можешь утешиться мыслью, что то, что ты сделал хорошего, — не умрет и что если ты «поэт для немногих» — то эти немногие никогда не переведутся».

И в другом письме: «...подобно тому как, в конце концов, никто не может выдать себя за нечто большее, чем он есть на самом деле, точно так же не бывает, чтобы что-нибудь действительно существующее не было признано... со временем; твой талант тобою не выдуман — он существует действительно — и, стало быть, не пропадет».

Так что оставалось уповать на будущее.

Печатание поэмы «Братья» в «Русском вестнике» было прекращено. Полонский рассказывал: «Русский вестник» не печатает продолжения моей поэмы «Братья» — просит изменить тон и не хвалить Гарибальди. Изменить тон я не соглашаюсь, делать исключения дозволяю — неволя велит: деньги получены вперед за рукопись и, издержав их, воротить не могу — средств не хватает».

Неудивительно, что последние главы поэмы «Русский вестник» не напечатал: они были неприемлемы для такого убежденного монархиста, каким был Катков.

Новая жена Полонского, по словам Елены Андреевны Штакеншнейдер, первое время была холодной и молчаливой, «как статуя». «Потом обошлось, они сжились. Голубиная душа отогрела статую, и статуя ожила».

Летом 1868 года у них родился сын. Назвали его Александром.

Рождение сына принесло родителям не только радость, но и необходимость новых расходов. Эта необходимость вынудила Полонского вновь принять на себя нерадостную роль домашнего учителя в семье богатых людей. На сей раз его пригласил крупный делец Поляков, наживший миллионы на строительстве железных дорог. Он предложил Полонскому пять тысяч в год. Таких денег бедному поэту еще никто никогда не предлагал...

Он мог взять на себя обязанности домашнего учителя, не оставляя службы в комитете иностранной цензуры. Мог совмещать. Будучи младшим цензором, обязан был являться на службу раз в неделю, на остальные дни ему давали работу на дом — груду новых иностранных журналов и книг, — следовало разрешить их или не разрешить к продаже в России. Полонскому давали на прочтение журналы и книги на французском, английском и итальянском языках. По-французски он уже читал довольно свободно, по-английски и по-итальянски — с трудом, никак не без помощи словаря. Но он не столько читал, сколько просматривал, так что свободного от служебных занятий времени оставалось достаточно.

Он писал Тургеневу, что есть много причин, заставляющих его согласиться на предложение Полякова: «Первая из них — жажда хоть когда-нибудь на закате дней добиться независимости, о которой я мечтал всю жизнь и которая мне, вечному рабу безденежья, никогда не удавалась, — для того, чтобы иметь возможность поселиться и жить в более благодатном климате (хоть в России), для того, чтобы писать не для журналов и не для цензуры — а так, как бог на душу положит. Надо годика на три или четыре закабалить себя — приготовить моего птенца [сына Полякова] к какому-нибудь общественному заведению, хоть к 1 классу гимназии, потом раскланяться и удалиться хоть с небольшими средствами».

У Полякова было три дочери и — самый младший — сын Даниэль, которого дома звали Котей, предельно избалованный мальчик лет семи.

Летом 1869 года Полонский принял предложение Полякова и должен был ехать с ним в Липецк — на липецкие минеральные воды.

Как железнодорожный магнат, Поляков разъезжал в особом вагоне.

Полонский рассказывал в письме к жене, как они выехали из Москвы на юг: «В вагоне ехали Поляков Самуил Соломонович, казначей Майден с женой, с двумя сестрами жены — очень милыми, образованными и приличными особами, профессор медицинского факультета Кох — красивый и очень любезный старик, в белом галстуке и, по моему мнению, очень похожий в профиль на Гете — того Гете, который поддерживает нашу керосиновую лампу». Стены вагона оказались обиты бархатом и увешаны зеркалами. «В вагоне были всякие удобства и роскоши, была зельтерская вода — в изобилии, были сливы, апельсины, конфеты, сухой шоколад и превосходные сигары, но твоему мужу пришлось не спать, ибо все места были заняты и я должен был спать сидя. И что я ни делал, чтоб заснуть, никак не мог, — так прошла бессонная ночь; несмотря на грозу ночью и несмотря на то, что все почти окна были открыты, жара была страшная — даже ночью».

В августе семья Поляковых вместе с домашним доктором (Кохом) и домашним учителем (Полонским) перекочевала «в великолепном, чуть ли не в царском вагоне» из Липецка в Харьков.

В Харькове Полякову пришло по телеграфу известие, что строительство железной дороги в Крым предоставляется ему. «Поляков

просиял,— рассказывал Полонский в письме к жене,— да и нельзя не просиять — новые миллионы впереди ожидаются».

Наконец они вернулись в Петербург.

Поляков снял для семьи прекрасную квартиру в доме на Исаакиевской площади. В том же доме пришлось нанять квартиру и Полонскому — только подешевле.

Он замечал, что расходы его растут и откладывать удается гораздо меньше, чем он предполагал.

Он рассказывал в письме к Тургеневу:

«Встаю я в 7 часов утра, стало быть, и по ночам работать [над сочинениями своими] не могу, а и без работы страдаю бессонницей и часто дремлю целый день, перемогаясь и бодрясь.

Не за легкое взялся я дело.

В доме меня все любят и уважают, но мне от этого не много легче. Что всего более меня смущает, это то, что едва ли и цель моя будет достигнута, т. е. цель составить себе на старость хоть какой-нибудь капиталец ради спокойной жизни или хоть ради воспитания моего сына».

О службе своей у Полякова писал он Тургеневу и в другом письме:

«На этот новый шаг в моей жизни я смотрю как на выгодное для себя несчастие — как на такое несчастие, которому многие завидуют и которого я стыжусь...»

Петербургский издатель Вольф предпринял издание сочинений Полонского в четырех томах.

В сентябре 1869 года «Отечественные записки» напечатали отзыв на вышедшие первые два тома. Отзыв без подписи, но в литературных кругах не было секретом, что автор его — такой известный писатель, как Салтыков-Щедрин.

Щедрин отозвался о Полонском сурово и едко: «По-видимому, он эклектик, то есть берет дань со всех литературных школ, не увлекаясь их действительно характеристическими сторонами... Бесконечная канитель слов, связь между которыми обусловливается лишь знаками препинания; несносная пугливость мысли, не могущей вызвать ни одного определенного образа, формулировать ни одного ясного понятия; туманная расплывчатость выражения, заставляющая в каждом слове предполагать какую-то неприятную загадку,— вот все, чем может наградить своего читателя второстепенный писатель-эклектик... С именем каждого писателя (или почти каждого) соединяется в глазах публики представление о какой-нибудь физиономии, хорошей или плохой; с именем г. Полонского не сопрягается ничего определенного. Во внутреннем содержании его сочинений нет ничего, что поражало бы дикостью; напротив того, он любит науки и привязан к добродетели, он стоит почти всегда на стороне прогресса, и все это, однако ж, не только не ставится ему в заслугу, но просто-напросто совсем не примечается. Начните читать любое стихотворение этого автора, и вы можете быть уверены, что во время чтения будете чувствовать себя довольно хорошо; но когда вы кончите, то непременно спросите себя: что ж дальше?»

Щедрин далее привел для примера слабое стихотворение «Царство

науки не знает предела...», которое счел, однако, «одним из лучших во всем собрании», дал уничтожающий его разбор и закончил отзыв словами: «Пора наконец приучаться употреблять слова в их действительном значении, пора и поэтам понять, что они должны прежде всего отдать самим себе строгий отчет в том, что они желают сказать».

Тургенев, прочитав этот отзыв, решил выступить в защиту Полонского и написал открытое письмо в «Санкт-Петербургские ведомости». В письме заявлял, что критик, произнесший подобный приговор поэзии Полонского, тем самым показал, что «лишен *чутья* — понимать, лишен умения проникнуть в чужую личность, в ее особенность и значение». И если про кого должно сказать, что он «пьет хотя из маленького, но из *своего* стакана, так это именно про Полонского. Худо ли, хорошо ли он поет, но поет уж точно по-своему». «Талант его представляет особенную, ему лишь одному свойственную, смесь простодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлений». В заключение Тургенев не удержался от резких слов по адресу Некрасова, которого не любил. «Что же касается до критика «Отечественных записок», — написал Тургенев, — то ограничусь тем, что выражу ему одно мое убеждение, над которым он, вероятно, вдоволь посмеется. Нет никакого сомнения, что в его глазах патрон его [редактор журнала], г. Некрасов, неизмеримо выше Полонского, что даже странно сопоставлять эти два имени; а я убежден, что любители русской словесности будут еще перечитывать лучшие стихотворения Полонского, когда самое имя г. Некрасова покроется забвением. Почему же это? А просто потому, что в деле поэзии живуча только одна поэзия и что в белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях «скорбной» музы г. Некрасова — ее-то, поэзии, и нет ни на грош...»

Письмо Тургенева появилось на страницах газеты.

«Читая письмо твое, — написал ему Полонский, — я чувствовал то же самое, что, вероятно, чувствует полувысохшее в зной растение, когда его поливают.

Но благодарность не исключает правды. Выскажу тебе откровенно, что заключение твое о Некрасове меня немножко покоробило. Ты скажешь мне, что это твое искреннее убеждение, — но не всегда возможна и должна быть подобная откровенность».

Полонский почувствовал необходимость объясниться с Некрасовым и написал ему по поводу выступления Тургенева в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «Из этого письма я увидел, что одна несправедливость в литературе вызывает другую, еще большую несправедливость. Отзыв И. С. Тургенева о стихах Ваших глубоко огорчил меня...»

«О письме твоем к Некрасову, — написал ему позднее Тургенев, — я узнал от Анненкова, которому сказал Салтыков. Но у меня — и у него — в мыслях не было осуждать тебя за это; напротив — я нашел, что ты и тут поступил с той прямой добросовестностью,

которую я так высоко в тебе ценю. С какой стати ты бы стал разделять мое мнение о стихах Некрасова, потому только, что оно было высказано в статье, посвященной твоей защите?»

В сентябре 1870 года появилась большая статья Страхова о Полонском в журнале «Заря».

«Едва ли у нас есть в настоящую минуту поэт, которого поэзия была бы более естественна, который бы при всех своих недостатках так мало пыжился и топорщился, как Полонский», — замечал Страхов. Он старался показать читателю лучшие стороны творчества поэта — обаяние непосредственности и музыкальность, — и это в статье удалось.

«Статья о Полонском понравилась очень», — написал Страхову Достоевский.

«С удовольствием прочел в «Заре» критику твоих произведений, — написал Полонскому Тургенев, — тут по крайней мере есть уважение к таланту и признание его...»

А с другой стороны свалилась на Полонского неприятность в комитете иностранной цензуры. Год назад он, как цензор, разрешил к продаже в России и к переводу на русский язык книгу Артура Бута «Robert Owen, the founder of socialism in England» («Роберт Оуэн, основатель социализма в Англии»). Теперь русский перевод этой книги был задержан петербургским цензурным комитетом. Главное управление по делам печати предписало сделать выговор младшему цензору Полонскому и указало на неудовлетворительность работы комитета иностранной цензуры.

Не будь во главе комитета Федор Иванович Тютчев, возможно, Полонский не отделался бы одним только выговором...

В черновой тетради он набросал стихотворение «Письмо» (не знаем, кому). Оно так и осталось в черновике — неоконченным:

Мы болтуны, привыкшие к молчанью,
Тогда как есть хоть что-нибудь сказать.
Разлуку нашу к смерти иль изгнанью
В неведомые страны приравнять
Всего удобнее...

Он мог бы еще написать, как собственная тягостная служба заставляет писать с оглядкой, сковывает язык. «Мы болтуны, привыкшие к молчанью...»

На деньги, заработанные у Полякова, Полонский издал новый сборник стихов и прозы под общим заголовком «Снопы».

Семья прибавилась: родилась дочь, Наташа. Так что расходы росли.

Все же Полонский решил с Поляковым распрощаться и написал ему: «Совесть моя всегда была и будет для меня дороже выгоды... Я чувствую, я понимаю, наконец, что Вы должны со мной расстаться. Для Коти Вашего нужен воспитатель более здоровый, чем я, и более опытный...»

Распрощался — и гора с плеч. Нашел себе новую квартиру — на

Обуховском проспекте, в том же самом здании (вблизи Сенной площади), где помещался комитет иностранной цензуры.

На книгу «Снопы», как и следовало ожидать, откликнулся в «Отечественных записках» Салтыков-Щедрин.

Вспомнив прошлогоднее письмо Тургенева в защиту поэта, Щедрин написал, что новая книга не дает оснований «отступиться от прежде высказанных заключений» о творчестве Полонского и лишь дает основание утверждать, что «неясность миросозерцания есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю».

Щедрин увидел в книге, точнее — в аллегории «Сон в Летнем саду» (в общем туманной и невнятной), протест «против буйственного духа времени».

«Любопытно было бы знать, каковы же идеалы самого автора?» — спрашивал Щедрин и отвечал:

«Презрение к полезному.

Концентрирование знания в среде ограниченного меньшинства, в массах же — поддержание невежественности».

Вот этот последний вывод об идеалах автора «Снопов» был полемическим перехлестом и больше всего Полонского обидел.

Он не выдержал, написал и напечатал за свой счет брошюру: «Рецензент «Отечественных записок» и ответ ему Я. П. Полонского». С горячностью объяснял, что рецензент его неверно понял («Издавая «Снопы» мои, разве мог я предвидеть, что журнал, печатающий такие дельные рассуждения о том, что такое справедливость, назовет меня, бывшего сотрудника «Современника», врагом народного образования или поборником невежества»). И разве можно утверждать, что он, Полонский, отрицательно относится к «буйственному духу времени»! Он укорял Щедрина: «Последняя глава моей поэмы «Братья», напечатанная в «Вестнике Европы», кажется, могла бы подсказать вам хоть на ухо, как именно отношусь я к проявлениям этого духа».

В прошлом году «Вестник Европы» напечатал две главы из поэмы под заглавием «Рим и революция 1849 года».

Но Щедрин, может быть, этой поэмы и не читал.

Полонский решил написать что-то такое, что со всей определенностью подчеркнуло бы его отношение к духу времени. Он придумал стихотворение о нигилистке:

Пытливым огнем из-под темных ресниц
Мерцая, в ней мысль загоралась.
В те дни много-много запретных страниц
В бессонные ночи читалось...

Стихи невыразительные, словно бы не своим голосом произнесенные, но в них зато была эта самая определенность... Он послал их редактору «Вестника Европы» Стасюлевичу, сопроводив письмом:

«...Если почему-либо Вы найдете неудобным поместить это стихотворение на страницах Вестника Европы, то не церемоньтесь... При встрече я спрошу Вас — потому ли Вы воротили мне мои стихи, что они плохи, или потому что не цензурны?

Если не цензурны — то для меня это *опаснее, чем для Вас,* — у ме-

ня такое начальство [в Главном управлении по делам печати], что как раз меня выгонит вон со службы (этого я бы и сам пожелал, если бы изобрел средство иначе содержать семью мою)...»

Стасюлевич нашел, что ничего нецензурного в стихотворении нет, спокойно поместил его на страницах журнала.

Полонский, ободрившись, передал ему еще одно стихотворение. Начиналось оно так:

Блажен озлобленный поэт,
Будь он хоть нравственный калека,
Ему так искренен привет
Больных детей больного века!

В целом стихотворение заставляло вспомнить стихи Некрасова «Блажен незлобивый поэт». И никак не хотел Стасюлевич публиковать в своем журнале нечто такое, что наверняка было бы воспринято читателями как выпад против Некрасова. Вернул стихи Полонскому и приложил записку:

«Добрейший Яков Петрович, если бы не Вы мне сами отдали эти стихи, то не поверил бы, что они Ваши. Это совсем не похоже на Вас: Вы не умеете злиться и ругаться, а тут то и другое есть. Наконец, слепой увидит, к кому Вы адресуете эти строфы...»

Полонский ответил уже на другой день:

«...К нему [то есть к Некрасову] обращать стихи мои — *и только к нему* — было бы прилично, если бы было справедливо. Но это несправедливо, а стало быть, и неприлично.

...В 19 веке европейское общество сочувствует не *незлобивым,* а *озлобленным* — и стихи мои не что иное, как поэтическая *формула,* выражающая этот факт. Почему это так? Какая причина, что, чем глубже, смелее и всестороннее отрицание, тем более в нас восторженного сочувствия, и почему положительные идеалы, как бы крупны и блестящи они не были,

Восторгом сладостным наш ум не шевелят?

Это решать уже не мое дело — это дело критики (если таковая имеется). Я сам наполовину сочувствую отрицателям, сам не могу освободиться от их влияния и нахожу, что в том есть своя великая, законная причина, обусловливающая наше развитие...

Знаете ли Вы, скажу Вам между прочим, отчего происходят мои скитания по редакциям? Вероятно, Вы думаете, что это происходит по слабости моего характера. Напротив, оттого, что у меня его слишком много. Никак не могу я к чему-нибудь или к комунибудь примениться — писать в одном тоне, связать мысль мою. Никому я вполне угодить не в силах, никакая редакция не станет печатать всего того, что мне вздумается написать, — каждая непременно хочет, так сказать, процедить меня. Может ли при этом сохраниться личность или характеристические черты писателя? Едва ли. Уничтожьте дурные стороны лица, сгладьте угловатости, сотрите тени — и лица не будет».

Глава восьмая

Осенью 1872 года в комитет иностранной цензуры был принят на службу новый цензор Егоров. Он потом рассказал в воспоминаниях:

«Комитет был разделен на три отделения, которыми заведовали старшие цензора. Я попал в немецко-итальянское отделение, начальником которого был престарелый Есипов. Остальными двумя отделениями заведовали: французским и английским — Любовников, а бандерольным и польским с прочими славянскими наречиями — А. Майков. Кроме названных старших цензоров были еще и младшие, между которыми разделялось чтение книг сообразно их знанию языков. Так, Полонский читал французские, английские и итальянские книги, Миллер-Красовский, прославившийся своей брошюрой о необходимости розги в школьном воспитании, исключительно немецкие, Дукшта-Дукшинский — польские, и был еще один такой цензор-полиглот, Шульц, который не затруднялся читать книги и другие издания на всех существующих языках».

Приезжал в комитет председатель, Тютчев, «в широко распахнутой енотовой шубе — всегдашняя манера носить ее — и меховой шапке, из-под которой выбивались его длинные седые волосы, и с небрежно обмотанным вокруг шеи шерстяным шарфом...»

Полонский отличался тем, что его «рассеянность доходила до крайних пределов. Бывало, говорит с вами, а по глазам его видно, что он не только не думает, о чем говорит, но даже едва ли узнаёт того, с кем говорит. Уходя со службы, он обязательно что-нибудь оставлял после себя: то забудет свой портфель, то ключи, то носовой платок, а раз забыл даже свой костыль, с которым никогда не расставался, постоянно хромая на обе ноги, и старик Долотов [сторож] должен был пуститься за ним вдогонку, чтобы вручить ему его потерю». Догонять было просто, ведь Полонский жил в том же доме. Тот же сторож охотно брался выполнять его личные поручения, ходил для него на почту — и за то, разумеется, получал на водку.

Комитет занимал в доме второй этаж, и в окне со двора был устроен блок: с его помощью поднимались наверх тюки с книгами.

Доктора советовали Полонскому в 1873 году съездить в Италию — полечить больное колено на курорте Монсуммано, в сталактитовой пещере с теплыми солеными озерами. Целебными — при ревматизме, подагре и других болезнях — считались испарения этих озер.

Зная, что Тургенев страдает подагрой, Полонский в письме предложил ему вместе поехать в Монсуммано.

Тургенев ответил, что в радикальное излечение подагры не верит, поэтому в Монсуммано не поедет. Но Полонскому советовал съездить. «А так как для этого нужны деньги, — замечал Тургенев, — то позволь мне, в силу нашей старинной дружбы, предложить тебе на поездку 350 рублей серебром. Надеюсь, что ты так же просто и бесцеремонно их примешь, как я их тебе предлагаю. Меня это не разорит — а, напротив, доставит великое удовольствие помочь больному приятелю».

Полонский был смущен, но согласился взять деньги, благодарил.

Он выехал из Петербурга в конце мая (по старому стилю). Поезд до Вены шел двое суток, от Вены до Триеста — еще целый день.

Наконец Полонский прибыл в тихий городок Монсуммано. Снял для себя комнату с террасой, оплетенной виноградом — просвеченной солнцем резной листвой.

Каждый день он в легкой коляске ездил к пещере. Камни мостовых в городке были выложены тщательно, как паркет.

Сумрачный сталактитовый грот был освещен стеариновыми огарками, сюда впускали за небольшую плату, больным полагалось тут сидеть определенное время — в теплом и влажном воздухе.

Полонский приезжал сюда шесть дней подряд и почувствовал себя лучше: больная нога легче сгибалась. Но денег он взял с собой в обрез и не мог задерживаться дольше, надо было трогаться в обратный путь.

Осенью он писал из Петербурга Тургеневу:

«...Я много-много тебе обязан за нравственную поддержку — мне кажется иногда, что, не будь ты моим другом, я давно бы погиб.

...Очень рад, искренно, душевно рад, что твое здоровье поправляется и что ты не хандришь, — но тоска бездействия, о которой ты мне пишешь, мне в тебе не нравится, потому что в старости нет ничего убийственнее бездействия.

...Мне кажется, что тот год, в который я не напишу ни строчки, ни одного стиха не состряпаю, будет последним годом моей жизни».

Он еще мечтал о славе.

«Скажут, что я славолюбив, — записал он в дневнике, — но у меня нет ни сребролюбия, ни чинолюбия, ни честолюбия, ни властолюбия, ни сластолюбия — надо же живому человеку хоть какую-нибудь страсть иметь...»

И что же — была у него слава?

«Раз зашел я к одному доктору — кажется, Красильникову, — рассказывал Полонский, — он меня спрашивает: лежал ли я в такой-то больнице?

— Никогда не лежал ни в какой больнице.

— Никогда?

— Никогда!

— Странно — там лежал недолго какой-то Полонский, который называл себя поэтом, буянил, посылал прислугу за водкой и грозился во всех газетах напечатать на больничное начальство донос или пасквиль, если оно будет стеснять произвол его».

А вот, пожалуйста, еще пример:

«Сослуживец мой, член комитета [иностранной цензуры] Любовников, раз ехал в дилижансе на Парголово. В дилижансе шла речь о русских поэтах:

— Все пьяницы, — сказал один из пассажиров.

— А Полонский? — спросил другой.

— С утра без просыпу пьян, — утвердительно сказал тот же пассажир».

Любовников молчал, только про себя посмеивался. Знал он, разумеется, что Полонский — абсолютный трезвенник, но не стал вмешиваться и спорить.

О такой ли, с позволения сказать, славе мечтал поэт?

Умер Федор Иванович Тютчев. Председателем комитета иностранной цензуры был назначен князь Павел Петрович Вяземский (сын известного поэта Петра Андреевича Вяземского).

Случилось так, что как раз в день появления нового начальства Полонскому дали на прочтение новую английскую книгу под заголовком «Mormonyland» («Страна мормонов»), которую он должен был бы запретить по мотивам религиозным. «Книги этой я не дочел, — записал он в дневнике, — и не хотел запрещать, так как это было первое заседание с новым председателем кн. Вяземским, — не хотел показывать ему излишнего усердия».

Таким образом эта книга не попала в число запрещенных и, как думал Полонский, именно поэтому не обратила на себя внимания читателей английских книг в России.

«Конечно, я давно проклял бы самого себя, — записывал он в дневнике, — если бы должность моя — как иные думают — заключалась в том, чтобы препятствовать распространению идей или быть гасителем просвещения. Ничего на самом деле этого нет — и в этом отношении совесть моя совершенно спокойна».

Он считал, что его должность «бесполезна для государства и не нужна для общества». Писал: «...сознанье не может мне не подсказывать, что казна платит мне 2500 рублей за то, что я толку воду... Все, что иностранная печать говорит о России и о русском правительстве, — все это не более как слабое *эхо* того, что громко, чуть ли не в каждой образованной семье, говорится в России...»

Далее в дневнике Полонский сетовал: «Наша критика укрепила в толпе читателей мысль, что я пою как соловей — что стихи мои ничего не знаменуют и ничего никогда не отражали... Если России суждено правильное развитие, то и через 100 лет найдутся люди, которые беспристрастно отнесутся к трудам моим».

Написал он длинную поэму о греческом монахе — «Келиот». Идею поэмы определял как «борьбу личного чувства с тем долгом, который человек сам на себя навязал».

Некрасов отказался печатать ее в журнале — имел резон: поэма была многословна, далека от современности.

Выручил автора Благосветлов — согласился взять «Келиота» в свой новый журнал «Дело». Оговорился: «Что цензура скушает несколько стихов — это несомненно», — но с этой неприятностью автор смирялся заранее.

В мае 1875 года родился у Полонских второй сын — Борис.

А сам Яков Петрович совсем обезножел — больная нога не сгиба-

лась, и ходить даже на костылях было трудно. Он почти никуда и не ходил — только на службу в комитет.

В июне пришло известие из Москвы: умер Кублицкий. «Смерть застала его вдруг; при нем никого не было; его нашли мертвым в постели», — сообщалось в газетном некрологе. Тот самый Кублицкий, что казался когда-то счастливчиком, баловнем судьбы... Поначалу он жизнь свою прожигал, потом влачил, а в последние годы возле него не было близких людей, кроме прислуги, — ей он и завещал все свое имущество. За исключением библиотеки. Точнее — за исключением книг, так как прислуге он завещал и всю мебель, а значит, и книжные шкафы. Богатое книжное собрание завещал Полонскому.

Полонский почувствовал себя в затруднительном положении: сейчас ехать в Москву и забирать оттуда книги он физически не мог. Библиотеку покойного пришлось продать...

Семья Полонских переменила квартиру: переехали в дом на углу Ивановской и Кабинетской.

Вышел из печати новый «Дневник писателя» Достоевского — январская книжка за 1876 год. С каким блеском она была написана! И сколько в ней оказалось мыслей, созвучных мыслям Полонского... «Нет счастья в бездействии», — утверждал Достоевский. И даже резче: «Счастье не в счастье, а лишь в его достижении». В конце Достоевский привел замечательную турецкую пословицу: «Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели».

Полонский написал Достоевскому письмо: «Только что прочел январский № Вашего дневника — и загорелось во мне сильное желание побывать у Вас и с Вами побеседовать; но уйти из дому мне мешают ноги — опять распухло левое колено, опять я прикладываю к нему холодные компрессы, опять мажу йодом, и опять не пускают меня шляться по лестницам (а я люблю шляться по лестницам — это моцион, весьма полезный для писателей, осужденных жить в петербургском климате)». И дальше: «...читая дневник Ваш, я волей-неволей должен был почувствовать, что мы с Вами дети одного и того же поколения...»

Достоевский послал ответное письмо в тот же день — благодарил. И приписал в постскриптуме: «Да кем же нам и быть, как не одинакового пошиба людям?»

Но, правда, сходились они далеко не во всем. Будучи людьми одного поколения, «одинакового пошиба», отличались друг от друга многими сторонами своей натуры.

Полонский позднее записал в тетради: «Достоевского я встретил однажды у Майковых, и при мне он говорил, что аскетизм, самобичевание, презрение к телу, самоистощение, как умерщвление плоти, есть свойство воистину человеческое, что аскеты — это люди по преимуществу, что они ближе всего к природе и ее законам». Яков

Петрович, который никогда аскетом не был, согласиться с подобным утверждением никак не мог.

На службе его произвели в очередной чин — на этот раз уже действительного статского советника. Теперь его полагалось величать: «ваше превосходительство».

Полонский явил пример редкого несоответствия между должностью и чином. Ведь он оставался младшим цензором. Уже неоднократно имел возможность получить повышение по службе и стать вместо младшего старшим, но сам этого не хотел. Упорно отказывался от повышения в должности. И никакого «смирения паче гордости» тут не было, все объяснялось просто. Младший цензор мог являться на службу раз в неделю, и работу ему давали на дом, — старший цензор обязан был ходить на службу каждый будний день. Но Полонский слишком дорожил свободным от службы временем для своей литературной работы.

Он тогда сочинил и записал в тетради такие стихи:

С бюрократических вершин
Бог весть за что слетел ко мне ненужный чин.
Превосходительство дает ли превосходство?
Вопрос решенный — не дает.
Так знай же, Муза, наперед,
Что без свободы — благородства
Я никогда не признавал
И что на службе идеалам
Я никогда не буду генералом.

О правительстве царя Александра Второго Полонский уже составил себе определенное мнение и летом 1876 года записал в дневнике:

«Оно [царское правительство] не может ни стать во главе общественного мнения — стать руководителем народного чувства, — ни подавить его железной николаевской рукой...

Царь никогда ничего не знает. Всякая бумага, которая идет к нему, проходит через цензуру министерства и никогда не доходит до него в целости, т. е. без выпусков и переделок.

— Но неужели же царь не читает русских газет и журналов?

— Ничего. Для него делаются выписки — с выбором...

Насчет окружающих нашего государя и великих князей я слышал вот что от покойного Тютчева.

Они только и могут говорить с теми, к кому привыкли, — с новыми лицами им жутко и неловко. Они воспитываются в своей дворцовой среде, как в оранжерее, и свежего воздуха не любят — как экзотические растения...

Все это Тютчев говорил мне после того, как услыхал от императора жалобу, что *людей нет*».

Григорович в разговоре с Полонским тоже утверждал, что «в правительственном мире нет человека, способного на то дело, к которому он призван, ни одного дельного министра — все они окружены плутами и ворами. Ничтожество и бездарность по протекции получает места и назначения».

Полонский записал в дневнике:

«На днях, сказал мне Григорович, виделся он с одним из придворных Аничкова дворца, и, когда говорил с ним о печальном положении России, придворный сказал ему:

— Вот погодите, Александр III все возьмет в ежовые рукавицы и все подтянет.

— Что ж он сделает? — спрашивает его Григорович.

— Он стеснит теперешнюю свободу.

Хорошо пророчество, нечего сказать!

...Никто не чувствует себя свободным — а нам угрожают не карою зла, а стеснением свободы. По мнению Григоровича, для России еще нужна палка Петра I и его железная воля — но не для стеснения свободы, а для обуздания чиновничьего и дворцового произвола, разграбления казны...»

В феврале-марте 1877 года общее внимание приковал к себе судебный процесс над большой группой русских революционеров-народников. Это был так называемый «процесс 50-ти». В день его открытия Тургенев из Парижа писал Полонскому: «Очень бы мне хотелось приехать пораньше в Петербург, чтобы застать еще тот процесс нигилистов, который должен сегодня начаться; но это, к сожалению, невозможно».

Одним из главных обвиняемых на процессе была Софья Бардина (в числе пятнадцати приговоренных к каторге оказалось шесть женщин). На суде она заявила: «Преследуйте нас, как хотите, но я глубоко убеждена, что такое широкое движение, продолжающееся уже несколько лет сряду и вызванное, очевидно, самым духом времени, не может быть остановлено никакими репрессивными мерами...»

О том, что происходило на суде, и о суровых приговорах Полонский узнавал из газет. И волновался, и переживал, и задавал себе вопросы, на которые не находил ответа:

Что мне она — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь,
Так отчего ж ее доля проклятая
Ходит за мной день и ночь?
Словно зовет меня, в зле неповинного,
В суд отвечать за нее —
Словно страданьем ее заколдовано
Бедное сердце мое.
Вот и теперь мне как будто мерещится
Жесткая койка тюрьмы,
Двери с засовами, окна под сводами,
Мертвая тишь полутьмы...

Только в сентябре 1878 года эти стихи (в переделанном виде, причем была выброшена вторая строфа) появились на страницах «Вестника Европы». Редактор Стасюлевич, с разрешения Полонского, вычеркнул заголовок — «Узница».

В стихотворении прозвучало глубокое сочувствие поэта к женщинам, осужденным по «процессу 50-ти». Но, может быть, перед его

глазами образ лишь одной из шести? На этот вопрос поэт не оставил нам ответа.

Полонский записывал в дневнике (8 августа 1878 года):

«...Вчера вечером принесли мне на просмотр выписку из высочайше одобренного журнала особого совещания по вопросу «О причинах, препятствующих положить предел усиливающейся противоправительственной ажитации, и мерах, кои полезно было бы принять к ее ослаблению».

Записка, конечно, составлена нашими государственными людьми, и, когда я читал ее, я думал, что ее составили дети под руководством своих гувернеров — до такой степени она пуста и несостоятельна.

Наши государственные люди видят вред в распространении образования в России и, чтоб убить социализм, придумывают средство — ограничить число учеников, т. е. хотят подлить масла в огонь! О слепцы! О маленькие люди, которые хотят остановить поток идей и силу всесокрушающего времени!»

Глава девятая

В конце лета 1878 года Полонские переехали на новую квартиру: в дом на углу Николаевской и Звенигородской. Из окон их виден был пустынный Семеновский плац.

Здесь Полонский писал роман «Дешевый город» — беллетризованные воспоминания об Одессе.

Здесь начались вечерние собрания друзей и знакомых по пятницам. Якову Петровичу из-за больной ноги трудно было ходить по гостям. Визиты знакомых избавляли его от преодолевания петербургских лестниц. Не то чтобы он совсем перестал бывать у друзей, но предпочитал видеть их у себя.

В конце 1879 года Полонские снова сменили адрес, переехали на Фонтанку. Квартира была окнами во двор, на четвертом этаже (выбирали подешевле). Нога у Якова Петровича как будто перестала болеть, так что он решился поселиться повыше.

Он написал Достоевскому: «...не смею приглашать Вас... Ведь я очень хорошо знаю, какую бездну нервной и нравственной силы истрачиваете Вы на Ваш труд, — и я буду претендовать, чтобы Вы лезли ко мне на четвертый этаж, и я буду назначать время, когда Вам быть у меня... Я Вас не приглашаю в такой-то день и в такой-то час, потому что во всякий день и во всякий час буду рад Вашему посещению».

28 января 1881 года Федор Михайлович Достоевский умер — на шестидесятом году жизни. Полонский, конечно, был на панихиде и на похоронах.

Месяцем позже — 1 марта — в Петербурге, на набережной Екатерининского канала, был убит Александр II.

Узнав об убийстве царя неизвестными людьми, Полонский единым духом написал стихотворение «1 марта 1881 г.» Начиналось оно словами: «И думали враги России...» Террора он не только не одобрял, но и не понимал. Вообразил, что это какие-то враги России решили довести страну до анархии — для этого убили царя. Выразил надежду, что, несмотря ни на что, «прогресса постепенным ходом пойдет Россия...».

Это стихотворение он послал не в газету, не в журнал, а обер-прокурору правительствующего Синода Константину Петровичу Победоносцеву.

Почему же именно ему?

Не только потому, что это был могущественный человек, от которого теперь зависела в России вся печать.

С ним познакомился Полонский давно, в Москве, — тогда Победоносцев был еще совсем юношей. Встречались у Николая Ровинского, «в старом доме у Успения на Могильцах, в компании с давно прошедшим Кублицким», как вспоминал потом Победоносцев. Дружеских отношений не завязалось, знакомство осталось шапочным. Много лет не видались. Когда встретились в Петербурге, Победоносцев был уже высокопоставленным чиновником и, вместе с тем, оказался почитателем лирических стихотворений Полонского и Фета. С прошлого года он вознесся высоко, но Полонский предполагал, что с государственным деятелем, не лишенным понимания поэзии, можно будет найти общий язык.

Прочитав стихотворение «1 марта», Победоносцев ответил письмом:

«Благодарю, любезнейший Яков Петрович.

Ваши стихи были бы хороши, когда бы вы не отравили их сами пошлым словечком *прогресс.* От этой-то фальши все и беды наши. Это мне больно, что у вас такие слова попадаются».

Где уж там находить общий язык...

Стихотворение «1 марта» Полонский спрятал в стол. Ему стало ясно, что печатать эти строки нельзя, да и не стоит. Но тема его беспокоила, и написал он о террористах другие стихи. Именовал тех, кто ныне прибегает к террору, «мучениками заблужденья». Его поражало, что «они — Антихриста предтечи — с апостолов пример берут». Вместе с тем поэт сознавал, что либеральные интеллигенты российские, мечтающие о свободе, соединенной с порядком, ничего не умеют сделать для достижения этой цели:

...что же мы,
Мы — просвещенные умы,
Друзья свободы и порядка,
Чем ныне жертвуем? Собой?
Чем боремся? Не речью ль сладкой,
Не благодушной ли слезой
За наш сомнительный покой.

Еще до 1 марта Тургенев сообщал Полонскому из Парижа, что летом приедет в свое имение в Орловской губернии — Спасское. Приглашал всю семью Полонских на лето к себе: «...если ты не

можешь по службе отлучиться — то пусть твоя жена с детьми приедет; воздух там отличный, сад огромный, сообщение самое удобное! Впрочем, мы обо всем этом переговорим в Петербурге — но уже отныне я считаю тебя и твоих своими гостями».

В Петербург Тургенев приехал 1 мая, остановился в меблированных комнатах в доме на углу Невского и Малой Морской.

Полонский был обрадован встречей, на лето уже собирался ехать со всей семьей в Спасское.

А 2 мая неприятно был поражен неожиданным письмом:

«Любезнейший Яков Петрович!

Вижу по газетам, что Тургенев здесь. Некстати он появился. Вы дружны с ним: что бы вот по дружбе посоветовать ему не оставаться долго ни здесь, ни в Москве, а ехать скорее в деревню. Здесь он попадет в компанию «Порядка» [новой газеты, издаваемой Стасюлевичем], ему закружат голову — и бог знает, до чего он доведет себя. Я применил бы к нему теперь, от лица всех простых и честных людей, слова цыган к Алеко: «Оставь нас, гордый человек».

Душевно преданный

К. Победоносцев.

Прошу вас оставить это письмо *совершенно между нами*».

Странное письмо. Чего, собственно, опасался Победоносцев? До чего мог «довести себя» Тургенев? До общения с петербургской молодежью, взволнованной казнью тех, кто убил царя?

Полонский ответил в тот же день:

«Ваше высокопревосходительство, многоуважаемый
Константин Петрович!

...Записку Вашу я никому не покажу; но могу ли посоветовать Тургеневу уехать как можно скорей, не поразив его или не возбудив в нем разного рода подозрений.

...В Петербурге Тургенев не предполагает остаться более одной недели.

В Москве намерен пробыть один день и тотчас ехать в деревню.

...Вы опасаетесь, что кружок «Порядка» может вскружить ему голову, — но что значит «Порядок» перед массою французских газет и журналов, которые он читал и читает! Каким наивным и бессодержательным покажется ему любой русский журнал. Да и не одному Тургеневу... Ведь то, что теперь пишется и печатается в русских газетах, не составляет и сотой доли того, что слышишь в каждом доме, в каждой семье! И вот мое горькое убеждение: чем строже цензура, тем нецензурнее разговоры».

Можно себе представить, как поморщился Победоносцев, прочитав такое письмо...

Годом позже Полонский написал на него едкую эпиграмму. Прежние иллюзии сменило отчетливое ощущение — от могущественного обер-прокурора Синода ничего хорошего ждать нельзя:

Человек он идеальный,
Духом агнец он пасхальный,

Сердцем факел погребальный,
Труженик многострадальный.

В философии — недальный,
Для обжорства и для спальной
Человек давно негодный,
Словом, господу угодный,
Для России же — фатальный.

Победоносцеву даже умеренный во взглядах Тургенев казался личностью беспокойной, его присутствие в столице — нежелательным. Поскорей бы убирался вон.

Тургенев не собирался задерживаться в Петербурге, но внезапный приступ подагры привязал его к постели, так что выехать он смог только в конце мая.

Убийство царя и казнь народовольцев наводили его на невеселые размышления. В народе распускались злонамеренные слухи, что царя, отменившего крепостное право, убили якобы дворяне, недовольные этой отменой. Эти слухи должны были укреплять монархические чувства, и в то же время — не опасно ли становилось помещику ехать в деревню?

«Я помню, — рассказывает Полонский в воспоминаниях, — как в одно прекрасное утро он [Тургенев], посмеиваясь, передал воображаемую им сцену, какая будто бы ожидает нас у него в деревне: будем мы, говорил он, сидеть поутру на балконе и преспокойно пить чай, и вдруг увидим, что к балкону от церкви приближается толпа спасских мужичков. Все, по обыкновению снимают шапки, кланяются и на вопрос: ну, братцы, что вам нужно?

— Уж ты на нас не прогневайся, батюшка, не посетуй, — отвечают. — Барин ты добрый, и оченно мы тобой довольны, а все-таки, хошь не хошь, а приходится тебя, да уж кстати вот и его (указывая на меня) повесить.

— Как?!

— Да так уж, указ такой вышел, батюшка! А мы уж и веревочку припасли... Да ты помолись... Что ж! Мы ведь не злодеи какие-нибудь... тоже, чай, люди-человеки... можем и повременить маленько...»

Вот так — «выйдет указ» — и не вступятся крестьяне за помещика, даже такого, как Тургенев. И веревочку припасут.

Эту придуманную сцену он изображал «в лицах» не только Полонскому, но и Стасюлевичу, и другим знакомым.

Полонский не мог выехать из Петербурга раньше конца июня, но семью, разумеется, в городе задерживать не хотел. Отправил жену с детьми и горничной. Еще поехал нанятый на лето репетитором к мальчикам студент-медик Коцын.

Из Спасского Тургенев 1 июня послал письмо Стасюлевичу:

«Я со вчерашнего дня здесь... Благодарю Вас за пересланные письма — но «Порядка» не нашел, и, по словам учителя Полонских, приехавшего вчера из Петербурга, он и там не появился. Что

должно из этого заключить? Или гром грянул — и Победоносцев перекрестился?»

Нет, гром не грянул — газета «Порядок» продолжала выходить, запрещались только отдельные номера.

«Здесь все тихо, — писал далее Тургенев. — Мужички уже успели посетить меня... Глядя на все эти знакомые, патриархально-смиренные — или убогие — лица, я никак не мог себе представить, что вот-вот они меня и т. д. Правда, они все надеялись получить ведерочку водки — и надежда их исполнилась! Посмотрим, что будет далее».

Но и далее в деревне жизнь текла по-прежнему. Когда приехал Полонский, удручающее впечатление произвело на него повальное пьянство. Он записал в дневнике 27 июня: «...вчера после уборки сена в саду у Тургенева бабы выпили по два стакана водки... Все пьют — это вошло в обычай».

— И то уже меня радует, — говорил Полонскому Тургенев, — что поклон мужицкий стал уже далеко не тот поклон, каким он был при моей матери. Сейчас видно, что кланяются добровольно — дескать, почтение оказываем; а тогда от каждого поклона так и разило рабским страхом и подобострастием. Видно, Федот — да не тот!

«Никто из нас, гостивших в Спасском, конечно, не пожалуется на спасских крестьян, — писал Полонский. — Дом Ивана Сергеевича был почти что без всякой охраны, особливо днем... Часто в хорошую погоду, когда мы все расходились, стоял он пустой, с открытыми окнами и дверями... Ни двор, ни сад не были огорожены». Но «ничего не было унесено, ничего не было украдено».

С другой стороны, бывшего барина своего мужики вовсе не боялись. Однажды пригнали в сад Тургенева своих лошадей — пастись между деревьями.

«Тургеневу было это не особенно приятно, — рассказывает Полонский, — он подошел ко мне и говорит: «Велел я садовнику и сторожу табун этот выгнать, и что же, ты думаешь, отвечали им мужики? — «Попробуй кто-нибудь выгнать — мы за это и морду свернем!» Вот тут и действуй!» — расставя руки, произнес Тургенев.

И оба мы рассмеялись. Действительно, никакого действия нельзя было придумать».

«Лето 1881 года в Спасском, — вспоминает Полонский, — не очень баловало нас — были серые, дождливые и даже холодные дни, и Иван Сергеевич часто роптал на погоду.

— Вот ты тут и живи! — говаривал он, поглядывая на небо, с утра обложенное дождевыми тучами.

Но в хорошие, ясные дни, утром, я уходил куда-нибудь с палитрой и мольбертом, а Тургенев и жена моя блуждали по саду».

Полонский признавался, что «сидеть да макать перо в чернильницу в то время, как поют птицы, пахнет сеном или цветами», ему «всегда было тяжело и незавлекательно».

Жена управляющего тургеневскими имениями Щепкина написала потом в воспоминаниях: «Яков Петрович все лето писал ви-

ды Спасского масляными красками. Его частенько можно было встретить в красивых уголках парка под громадным дождевым зонтом от солнца, за мольбертом, в своей черной куртке». И еще о нем: «Полонский был очень мягкий, добрый человек, большой мечтатель. Бывало, среди вечернего чая выйдет из-за стола, прислонится спиной к стене, поднимет высоко голову, точно где-то парит, иногда вслух декламируя стихи, частенько вставляя невпопад слова в общий разговор, отчего казался рассеянным».

В доме было очень чисто, полы недавно выкрашены, стены оклеены новыми обоями,—там, где жил Тургенев, иначе и быть не могло.

«Аккуратность Тургенева не уступала его чистоплотности,—вспоминает Полонский.—...Раз он ночью вспомнил, что, ложась спать, позабыл на место положить свои ножницы: тотчас же зажег свечу, встал и тогда только вернулся в свою постель, когда все уже на письменном столе лежало как следует. Иначе он и писать не мог... Иногда, в наше отсутствие, заходя к нам в комнату, все приводил в порядок, без всякой ворчливости; убирал стол и платье вешал на гвоздики. Подметив это, мы сами сделались аккуратнее и заботились о том, чтобы все было в отменном порядке».

Старшему сыну Полонского, Але, Тургенев подарил седло, и мальчик с упоением ездил верхом—«очень плохо и очень бойко»,—замечал Яков Петрович. Он радовался, что дети «учатся и веселятся насколько можно. Иван Сергеевич их муштрует и балует. Жена очень довольна, что живет в деревне».

«Тургенев и я были очень рады,—рассказывает Полонский,—что наш репетитор Коцын бескорыстно и горячо взялся за лечение крестьян», и теперь «каждое утро ехали и ползли к нему больные». Молодой студент-медик «только и говорил, что о своих больных,—никакого иного разговора у него с нами или с Тургеневым не было».

Из Спасского Полонский съездил в Рязань, где не был почти тридцать лет. Увидел старый дом, где жил когда-то, сад, прежде густой и тенистый, а теперь запущенный, увидел «крапивою заросший огород, с развешанным бельем по веревкам и покривившейся баней...» И не захотелось ему задерживаться в родном городе—провел там всего два дня. И вернулся в Спасское.

Тургенев приглашал в Спасское Толстого и ожидал его приезда. Поезд из Москвы приходил на станцию Мценск в десять вечера; к поезду, когда ждали приезда гостя, из Спасского посылали коляску.

Полонский рассказывает в воспоминаниях:

«На другой день после моего возвращения в Спасское, а именно 8-го июля, в среду, Тургенев получил телеграмму от Л. Н. Толстого с уведомлением, что во Мценск он прибудет в 10 часов вечера, в четверг.

Тургенев распорядился о высылке во Мценск лошадей на следующий же день, в четверг, как значилось в телеграмме.

В этот же день после чая мы скоро разошлись по своим комнатам. Я сел к столу, придвинул свечу и, записывая свои дорожные впечатления, незаметно просидел до 1-го часа пополуночи. Вдруг слышу, на дворе кто-то свистнул, и затем чьи-то шаги и лай собаки. Я поглядел в окно и в безлунном мраке, с черными призраками чего-то похожего на кусты, ничего разглядеть не мог.

Я опять сел писать и опять слышу, кто-то мимо дома прошел по саду. Прислушиваюсь — топот лошадей. Удивляюсь и недоумеваю. Затем в доме послышался чей-то неясный голос... Иду в потемках через весь дом и отворяю двери в ту комнату, откуда идет дверь на террасу, а направо дверь в кабинет Ивана Сергеевича. Вижу — горит свеча и какой-то мужик, в блузе, подпоясанный ремнем, седой и смуглый, рассчитывается с другим мужиком. Всматриваюсь и не узнаю. Мужик поднимает голову, глядит на меня вопросительно и первый подает голос: «Это вы, Полонский?» Тут только я признал в нем графа Л. Н. Толстого».

Они не виделись — после Баден-Бадена — двадцать четыре года, немудрено, что Полонский Толстого не сразу узнал.

Оказалось, гость перепутал дни недели, сегодня была среда, не четверг, так что его не ждали, лошадей за ним не выслали. В Мценске, возле станции, нанял он ямщика, ямщик плохо знал дорогу и плутал. В Спасское Толстой добрался к часу ночи.

Тургенев тоже еще не спал.

В столовой зажгли лампу, на столе появился самовар. За столом Толстой рассказывал, как он пешком ходил в Оптину Пустынь, одетый простым мужиком (его слова Полонский, вернувшись в свою комнату, записал в дневник).

— Если я чему удивляюсь, — говорил Толстой, — то это тому, что в России нет еще революции. Девять десятых всего народа не знают, чем они будут кормить детей своих, — что может быть ужаснее? Если нет еще революции, то разве только потому, что крепостное право дало народу какой-то закал, и он стал вынослив, но это до поры до времени. Положение так натянуто, что достаточно одного лишь повода.

И еще:

— Оптина Пустынь — монастырь удивительный по своему местоположению — и двум старцам. По нравственности, грубости и невежеству монахов производит тяжелое впечатление. «Вам бы только жрать, — говорят одни из них в церкви крестьянам, — а мы еще и сами ничего не ели...»

Толстой рассказывал, что в гостиницу при монастыре простых людей не пускают, и ему, оттого что был в лаптях и рваном зипуне, сказали, будто в гостинице свободной комнаты нет, а когда узнали, что он граф, лести не было конца и стали зазывать его из заезжего дома, где он остановился, в гостиницу...

Толстой, Тургенев и Полонский проговорили до трех часов ночи.

«В Спасском он пробыл, — вспоминает Полонский о Толстом, —

не более двух суток и уехал, торопясь в свои самарские имения к тому времени, как начнется жатва».

Толстой кратко записал в дневнике:

«9, 10 июля. У Тургенева. Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писаньем, неосуждающий и — бедный — спокойный. Тургенев — ...тоже наивно-спокойный».

Видимо, Толстого удивило и даже несколько покоробило, что его рассказ о поездке в Оптину Пустынь и его слова о надвигающейся революции не произвели ожидаемого впечатления.

Но вернее предположить, что при этом ночном разговоре Тургенев и Полонский спокойными оставались просто потому, что, по сути, ничего нового для них Толстой в эту ночь не сказал.

Приезжали в Спасское и другие гости. Приезжал Григорович. Гостила несколько дней артистка Савина, к которой Тургенев был неравнодушен.

В конце лета усадьба опустела. Тургенев уехал — через Петербург — во Францию, в давно обжитой им дом Виардо в Буживале, под Парижем.

Полонские вернулись домой.

Снова Яков Петрович стал ездить на службу — по средам, брал извозчика. Но уже не на Обуховский проспект: комитет иностранной цензуры был перемещен в здание на Театральной улице, за Александринским театром.

Потянулись дни, все более однообразные. Осенью — дожди, зимой — снег. Ночи Яков Петрович проводил за письменным столом.

«Уверен, что в наши годы ничто так не поддерживает наших сил, как горячая, нервная деятельность, — утверждал он в письме Григоровичу. — *Не бойся усталости, бойся слишком продолжительного отдыха».*

Следующее лето собирались опять провести вместе, в Спасском, но весной Тургенев тяжело заболел, слег, и надежды на выздоровление были призрачны. В письмах Тургенев уговаривал Полонских не отказываться от летнего отдыха в Спасском.

Как и в прошлом году, Яков Петрович сначала отправил в Спасское жену с детьми, сам же выехал из Петербурга в конце июня.

Тот же самый поезд в десять вечера пришел в Мценск. Жена встречала Якова Петровича на станции. Молча сели в коляску. Было уже темно.

«В усадьбу приехали поздно... — записал он в дневнике. — Столовая и диванная комнаты показались маленькими — меньше, чем были прошлого года. Те же портреты глядели со стен, когда подали самовар. Казалось, что я никогда и не выезжал из Спасского, что всю осень, зиму и весну я спал и видел во сне Петербург...

и опять проснулся на прежнем месте в Спасском. Недоставало только одного, что придавало этому Спасскому и жизнь, и смысл, и значение, — не было Ивана Сергеевича. Но жил я или спал — все равно, прошел год, и как я в этот год состарился!»

С августа новым председателем комитета иностранной цензуры стал Аполлон Николаевич Майков. Полонский мог рассчитывать, что в его служебных отношениях не произойдет никаких неприятных перемен.

Тургенев писал ему печальные письма, все меньше надеясь на выздоровление.

«На прощанье, — написал он в конце одного письма, — позволь тебе сообщить несколько афоризмов, которые созрели во мне в течение уже довольно долгой жизни:

a) *Никогда* ничего неожиданного не случается, — ибо даже глупости имеют свою логику.

b) Предчувствия *никогда* не сбываются.

c) Сообщенные за вернейшие известия *всегда* ложны.

Следует:

размышлять о прошедшем,
удовлетворять требованиям настоящего
и *никогда* не думать о будущем.

И, наконец, самый главный афоризм:

Человек, желающий жить спокойно!
Никогда ничего не предпринимай,
ничего не предполагай,
ничему не доверяйся и ничего не опасайся!!»

Но Полонский не мог не думать о будущем, да и «самый главный афоризм» больного Тургенева принять не мог...

В переписке их возник еще спор о живописи, — Тургенев понимал ее, безусловно, лучше, чем Полонский. Манеру новых французских художников Полонский воспринимал как небрежность, предпочитал тщательную передачу деталей, — Тургенев убедительно возражал: «К живописи применяется то же, что и к литературе, ко всякому искусству: кто все детали передает — пропал; надо уметь схватывать одни *характеристические* детали; *в этом одном* и состоит *талант* и даже то, что называется творчеством».

Летом 1883 года Полонский отправился в Одессу: знакомый доктор рекомендовал ему отдых на одном из одесских лиманов и ванны с подогретой — из лимана — водой.

Он не был в Одессе тридцать лет, за это время город вырос и стал, пожалуй, еще красивее. Но из прежних знакомых Полонский нашел только одного старика — бывшего редактора газеты «Одесский вестник». И не была уже Одесса «дешевым городом», напротив, поразила дороговизной: так, за каждую ванну с подогретой водой из лимана приходилось платить рубль.

Он уже собирался уезжать, когда дошло до него известие, что Иван Сергеевич Тургенев умер в Буживале...

Несколько лет спустя Полонский получил письмо из Парижа от человека, которому довелось провести возле Тургенева последние дни, — от Александра Федоровича Онегина. Онегин сидел у постели смертельно больного Тургенева, когда тот уже бредил. «С закрытыми глазами он, наедине со мной, в Буживале, — писал Онегин Полонскому, — воображал, что едет с Вами на телеге и спешит на пожар: «А какие мы с тобою молодцы, Яша! Церковь-то как горит! Скорее, скорее! Только бы напиться». Я поднес ему стакан воды, он жадно сделал несколько глотков, не открывая глаз. «Ну, вот и отлично, Яша! Чудесная какая вода! Церковь-то, церковь-то как горит!».

Глава десятая

В одном семейном доме в Москве он увидел поразительный женский портрет (это был портрет Лопухиной работы Боровиковского). Полонский восхищался им и попросил владелицу прислать ему в Петербург фотографический снимок с этой картины.

Фотография была прислана в письме. В ответ он послал стихотворение «К портрету»:

Она давно прошла, и нет уже тех глаз,
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви, и мысли — тень печали.
Но красоту ее Боровиковский спас.
Так часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, молчать.

Так написал Полонский о портрете и, в то же время, о собственных чувствах. Ведь и его страданье было тенью давней любви, и его мысли — тенью живой печали.

В августе 1886 года он вспоминал на страницах своего дневника:

«Лев Пушкин не раз пророчил мне славу на поэтическом поприще, — даже подарил мне портфель своего покойного брата Александра. Портфель этот был со мной в Тифлисе и куда-то девался — не могу себе представить! Неужели я его кому-нибудь отдал! Впрочем, все может быть — мое тогдашнее равнодушие к вещам, от кого бы они ни были, было феноменальное, я же очень порядочный растеряха...

А недавно, год тому назад, раз зашла ко мне очень пожилая дама, бедно одетая, и, напомнив мне, что она Пушкина (так как я не узнал ее), стала просить меня достать ей место переводчицы для какого-нибудь журнала, так как она очень нуждается в деньгах... Мне было очень жаль жены Льва Сергеевича, но что я мог для нее сделать? Переводчиц — видимо-невидимо (особенно переводчиц с французского языка)».

Яков Петрович становился еще более рассеянным, чем прежде. После того как он неоднократно выходил на улицу, забыв сменить домашний халат на пальто, Жозефина Антоновна решила вообще заменить ему халат легким пальто.

Рассеянность его становилась предметом постоянных шуток в кругу знакомых, о ней рассказывали анекдоты. Григорович однажды пошутил: «Вчера Яков Петрович, ложась спать, положил костыль в постель, а сам стал в угол и прислонился».

С осени 1883 года Полонские жили в доме на углу Знаменской и Бассейной, где занимали угловую квартиру на пятом этаже. Окна кабинета Якова Петровича выходили на солнечную сторону, на Бассейную.

По-прежнему раз в неделю он ездил на извозчике в комитет иностранной цензуры.

Цензор Мардарьев впоследствии вспоминал: «Появление Якова Петровича в комитете обыкновенно привлекало к себе всеобщее внимание. Несмотря на отдаленность нашего отделения от швейцарской, мы уже слышали мощный голос Якова Петровича, когда он только еще снимал с себя пальто или шубу и беседовал с курьером Павлом. Затем с шумом раскрывалась дверь, и Яков Петрович, постукивая костылем, басил: «Здравствуйте, господа», — и на ходу уже рассказывал что-нибудь, нарушая тишину и спокойствие, царившие обычно в комитете».

По другим воспоминаниям, на заседаниях комитета «Яков Петрович скучал, и его сослуживцы, пользуясь его привычкою постоянно чертить и рисовать, зачастую подкладывали ему листы с чернильными пятнами, которые Яков Петрович зарисовывал, вводя эти пятна в общий рисунок».

«В качестве цензора, — вспоминает Мардарьев, — Яков Петрович был большим сторонником свободы обращения в русском обществе произведений иностранной литературы».

Полонский писал в дневнике: «...высшие сферы считают меня либералом, чуть не красным, а господа литераторы и журналисты — слугою правительства, потому что я ношу ненавистное имя цензора, хотя я в 100 раз менее строгий цензор, чем эти самые редакторы и издатели, — и то, что пропускается мною в иностранных книгах, они сами будут вычеркивать из боязни предостережений или просто из личных соображений».

Пятьдесят лет назад было напечатано стихотвореньице юного Полонского, тогда еще гимназиста, напечатано без его ведома, и сам он об этих стишках давно забыл, но друзья решили, что пора отмечать юбилей.

Главное, в последние два года вышло собрание сочинений Полонского в десяти томах, да еще новый роман «Проигранная молодость». В декабре 1886 года Полонский был избран членом-корреспондентом Академии наук.

Подготовку юбилея возглавил Майков.

За месяц до намеченного юбилея Полонский прислал ему письмо:

«Я давно знаю, что вы готовите мне какое-то торжество по случаю моего полувекового союза с Музой. Сначала новость эта меня озадачила. И не верилось, и... начинало льстить моему самолюбию (у кого его нет, этого самолюбия!), но теперь, чем больше я об этом думаю, тем все тяжелее и тяжелее у меня на душе.

Бывают минуты, когда — так бы, кажется, и убежал.

Сам посуди, разве это не чистейшая случайность, что какое-то мое стихотворение попало куда-то в печать несколькими годами раньше, чем твое или Фета? Да и в чем заслуга, что я живу седьмой десяток и пережил таких поэтов, как Мей, Щербина и Тютчев! Это милость божия, а не заслуга.

Но не одно это меня тревожит и беспокоит.

Всякое юбилейное торжество есть уже овация. И благо тому, кто с юных лет привык к венкам и восторгам... Но оглянись на мое прошлое... и ты не увидишь ничего подобного. Ни оваций, ни денег. Если бы не служба, я бы и существовать не мог...

До сих пор юбилей мой казался мне чем-то совершенно от меня не зависящим — чем-то роковым. Но на днях я прочел в газетах отказ Боткина [известного врача] от затеваемого для него юбилея... А! подумал, значит, это возможно — печатно поблагодарить вас за лестное для меня намерение и хлопоты и от юбилея отказаться.

А что, если отказ мой покажется вам обидным или вы примете его за симптом своего рода самолюбия!

Без твоего дружеского совета я ни на что не решаюсь».

Но Майков решительно отвел его попытку отказаться от юбилея. На 10 апреля было назначено торжество.

Давно привыкнув ложиться спать под утро и вставать поздно, Яков Петрович и в день своего юбилея проспал до одиннадцати. Его разбудил звонок у дверей — явилась депутация от Академии наук. Яков Петрович даже не успел одеться, вышел в пальто, заменявшем ему халат, и в домашних туфлях.

На шесть вечера был назначен обед в зале Благородного собрания и приглашено более ста пятидесяти гостей.

«В шестом часу, — рассказывает Полонский, — посадили меня, раба божьего, в карету и повезли — яко жертву на заклание. Пока везли меня, мне все казалось, что я жених и везут меня в церковь венчать с какою-то особой женского пола, о которой я не имею ни малейшего понятия, — и мне было жутко».

В зале Благородного собрания посадили его за столом между министром финансов Вышнеградским и композитором Рубинштейном.

Началось торжественное чтение множества поздравительных адресов, писем и телеграмм. Громко прочел юбилейные стихи Майков. В числе прочих выступил знаменитый датский критик Брандес, который как раз тогда оказался в Петербурге и был приглашен. Поскольку знаменитый критик русским языком не владел и Полонского не читал, он произнес речь свою по-французски, говорил о дружбе Полонского с Тургеневым и о русском искусстве вообще. И предложил тост за уважаемого юбиляра.

Григорович по болезни отсутствовал, и на другой день Полонский рассказывал ему в письме: «Поверь мне, что слушать публичную похвалу то же, что слушать брань. На брань можно вспылить, ответить такой же бранью, показать кулак, вызвать на дуэль... а что ты будешь отвечать, когда в глаза тебе говорят, что ты такой, сякой, немазаный! Юбилеи тогда только хороши и естественны, когда они подготовлены целым рядом блистательных успехов... Переход же из одной крайности в другую всегда кажется сомнительным — чем-то случайным и скоропреходящим».

Из всего, что вслух читалось на юбилейном торжестве, самым отрадным оказалось для Полонского чтение стихов Минаева (автора не было в Петербурге, стихи он прислал в письме). Минаев обращался к юбиляру с такими словами:

Твоя задумчивая муза,
Поэта нежная сестра,
Не знала темного союза
С врагами света и добра.
К призывам буйного их пира
Глуха, шла гордо за тобой
И не была у сильных мира
Ни приживалкой, ни рабой.

Вот это было признание. Тот самый Минаев, который некогда высмеивал его печатно и пародировал...

В конце обеда Полонский уклонился от ответной речи. Как сообщала потом «Петербургская газета», «отклоняя от себя приписываемые ему заслуги, он предложил тост за процветание искусства и литературы в России».

К концу вечера Яков Петрович чувствовал себя совершенно разбитым и около двенадцати, когда начались танцы, уехал домой.

«Вчерашнее юбилейное торжество, — писал он Григоровичу, — конечно, далеко не все отличалось своей благовоспитанностью. Многие нализались...»

После юбилея поэта известили, что его желает видеть царь. 22 апреля Полонский приехал в Гатчину, во дворец, где в то время пребывал Александр III.

В дневнике Полонский записал: «Он поздравил меня с юбилеем. Я поблагодарил его. Он спросил меня, часто ли посещает меня вдохновение, и вспомнил слова А. Н. Майкова. Спрашивал, был ли я на юге, даже — где буду жить летом. Все, что я собирался сказать ему, — ничего не сказал».

Знакомый Полонскому литератор Иероним Ясинский впоследствии рассказывал этот эпизод иначе. Но, должно быть, не сам выдумал, а записал со слов Полонского.

«Когда был его юбилей, — пишет Ясинский, — царь пожелал видеть его. В назначенный день напялил он генеральский мундир и отправился представляться. Был он не один, с несколькими такими же счастливцами. Их выстроил церемониймейстер, и вышел царь, прямо направившись к Полонскому, обращавшему на себя внимание высоким ростом и костылем.

— Позвольте узнать вашу фамилию? — спросил царь.

Полонский растерялся и забыл свою фамилию...

— Это известный поэт, ваше величество, Яков Петрович Полонский! — доложил церемониймейстер.

Царь милостиво улыбнулся.

— Очень приятно, с детства знаю вас. Не окажете ли честь мне и моему семейству позавтракать с нами?

С придворной точки зрения это была неслыханная милость. Полонский, однако, ответил:

— Нет, покорно благодарю, ваше величество, я только что позавтракал, а дважды обременять желудок не имею привычки.

— Ну, как вам угодно, — отвечал царь.

— Экая ты телятина, — сказал ему Аполлон Майков, когда узнал об этом ответе царю».

Нет, не таким уж простодушным был Яков Петрович.

Завтрак вместе с царем не мог его прельщать уже потому, что действия царского правительства его далеко не восхищали.

В сентябре 1887 года он записывал в дневнике: «...какие идеалы, какие предчувствия или какие надежды дает нам хотя бы пресловутый циркуляр министра Делянова...» Этот министр народного просвещения издал циркуляр об ограничении приема детей «из недостаточных классов населения» в средние учебные заведения. Каким надо было быть мракобесом, чтобы издать такой циркуляр! «Я даже не мог опомниться, когда прочел его, — писал Полонский, — это не только воплощение глупости, но и чего-то подлого до гадости, до омерзения».

И, по всей видимости, еще в начале того же года написал он такое стихотворение, оставшееся ненапечатанным:

А! вот и месяц вышел и глядит —
И белым заревом на наши кровли светит.
Я не спрошу его — и он мне не ответит:
Что станется с Землей? Какой бы страшный вид
Вдруг приняла она, когда б, законы тяготенья
Нарушив, спутник наш земной
Пошел бродить, как привиденье,
Без óрбиты в пучине мировой!
Но нет, такого нарушенья
В природе и не может быть —
Такого произвола у природы.
Где ж произвол? Где может он царить?
Лишь в той стране, где разуму свободы
Не верят, как мечте пустой.

«В литературе все такая же тишь да гладь, да божья благодать, — писал он Григоровичу. — Самое лучшее в этой пустыне — это, разумеется, посвященные тебе рассказы Чехова. Буду хлопотать, чтоб ему дали за них Пушкинскую премию».

Полонский сам послал письмо молодому Чехову, восхищенно отозвался о его рассказах и написал, что хотел бы посвятить ему свое новое стихотворение «У двери».

Чехов отвечал:

«Несколько дней, многоуважаемый Яков Петрович, я придумывал, как бы получше ответить на Ваше письмо, но ничего путного и достойного не придумал и пришел к заключению, что на такие хорошие и дорогие письма, как Ваше, я еще не умею отвечать. Оно было для меня неожиданным новогодним подарком...

Мне стыдно, что не я первый написал Вам...

На Ваше желание посвятить мне стихотворение я могу ответить только поклоном и просьбой — позволить мне посвятить Вам в будущем ту мою повесть, которую я напишу с особенною любовью».

Чехов посвятил Полонскому рассказ «Счастье».

В декабре 1887 года в Петербург приезжал Фет. К Полонскому он не зашел, и огорченный Яков Петрович написал такое стихотворное письмо Страхову:

Гранит и небеса и все в туман одето.
По улицам в толпе брожу я одинок.
Не греет даже слух, что здесь недавно где-то
Мелькал в морозной мгле румяный образ Фета,
Я этого певца нигде поймать не мог.
Кой черт — почем я знал, что случай или поток
Житейских волн, его пригнав, угонит снова,
Что он, как музами взлелеянный цветок,
Уронит здесь один отпавший лепесток,
А для меня, злодей, не выронит ни слова.

Страхов Полонскому все объяснил.

Давным-давно, еще в 1874 году, Полонский в письме Тургеневу передал слух, что, по словам Фета, он, Тургенев, говорил с какими-то юношами и «старался заразить их жаждой идти в Сибирь» — иначе говоря, настраивал на революционный лад. Тургенев процитировал письмо Полонского в письме к Фету и написал: «...полагаю лучшим прекратить наши отношения, которые уже и так, по разности наших воззрений, не имеют raison d'être [разумного основания]».

Полонский не знал, что его сообщение послужило поводом (не причиной — причина была глубже) для разрыва между Тургеневым и Фетом. И содержание своего злополучного письма он забыл: «Хоть убей, не помню, что такое мог я Тургеневу о тебе писать! — уверял он теперь Фета. — А если не помню, то и не могу оправдываться, — никто не без греха. Почем я знаю, может быть, я и передал ему какую-нибудь литературную сплетню, которой я не придавал никакого значения».

Но Фет и сам рад был дружеские отношения восстановить.

«Собираюсь на недельку в Киев, — сообщал ему Полонский. — Сильно хочется мне хоть под старость посмотреть на Днепр». В Киев его приглашал Адриан Андреевич Штакеншнейдер.

Только что Полонский получил за долголетнюю службу «звезду» — орден Станислава 1-й степени: «Есть же на свете люди, которые думали, что они меня таким сюрпризом обрадуют... Эх, ну что бы этим великим мира сего, которые мне звезду прислали

(за которую придется платить), наградить бы меня даровым билетом в Киев и обратно».

Фет пригласил Полонского заехать по дороге — хоть на день или два — к нему в имение. Находилось оно в Курской губернии, недалеко от железнодорожной станции Коренная Пустынь. Полонский решил навестить друга на обратном пути.

По железной дороге, через Москву и Курск, он 26 мая приехал в Киев. Остановился у Штакеншнейдеров на Большой Житомирской.

Погода стояла чудесная, настроение у Якова Петровича было превосходным.

Вспомнив, что в Киеве живет Ясинский (они познакомились, когда Ясинский приезжал в Петербург), Полонский узнал его адрес и зашел к нему. Ясинский рассказывает в книге «Роман моей жизни»: «Благоуханный воздух, тополевые бульвары, южное солнце ободрили старика, подняли его нервы, он как-то вдруг помолодел, и костыль не помешал ему исходить со мною пешком чуть ли не весь город».

Полонского особенно восхитила архитектурой своей Андреевская церковь — на крутизне над Днепром — светлая, легкая, праздничная («лучшая по архитектуре церковь не только в Киеве, но и, думаю, в России»).

Не успел оглянуться — пролетело девять дней, надо было уезжать.

На обратном пути из Киева он сошел с поезда на станции Коренная Пустынь и провел в имении Фета Воробьевке два дня.

Вернувшись в Петербург, послал ему письмо: «Как я рад, что побывал у тебя...» С удовольствием вспоминал «сад, полный росы и птичьего гама».

Фет из Воробьевки писал ему:

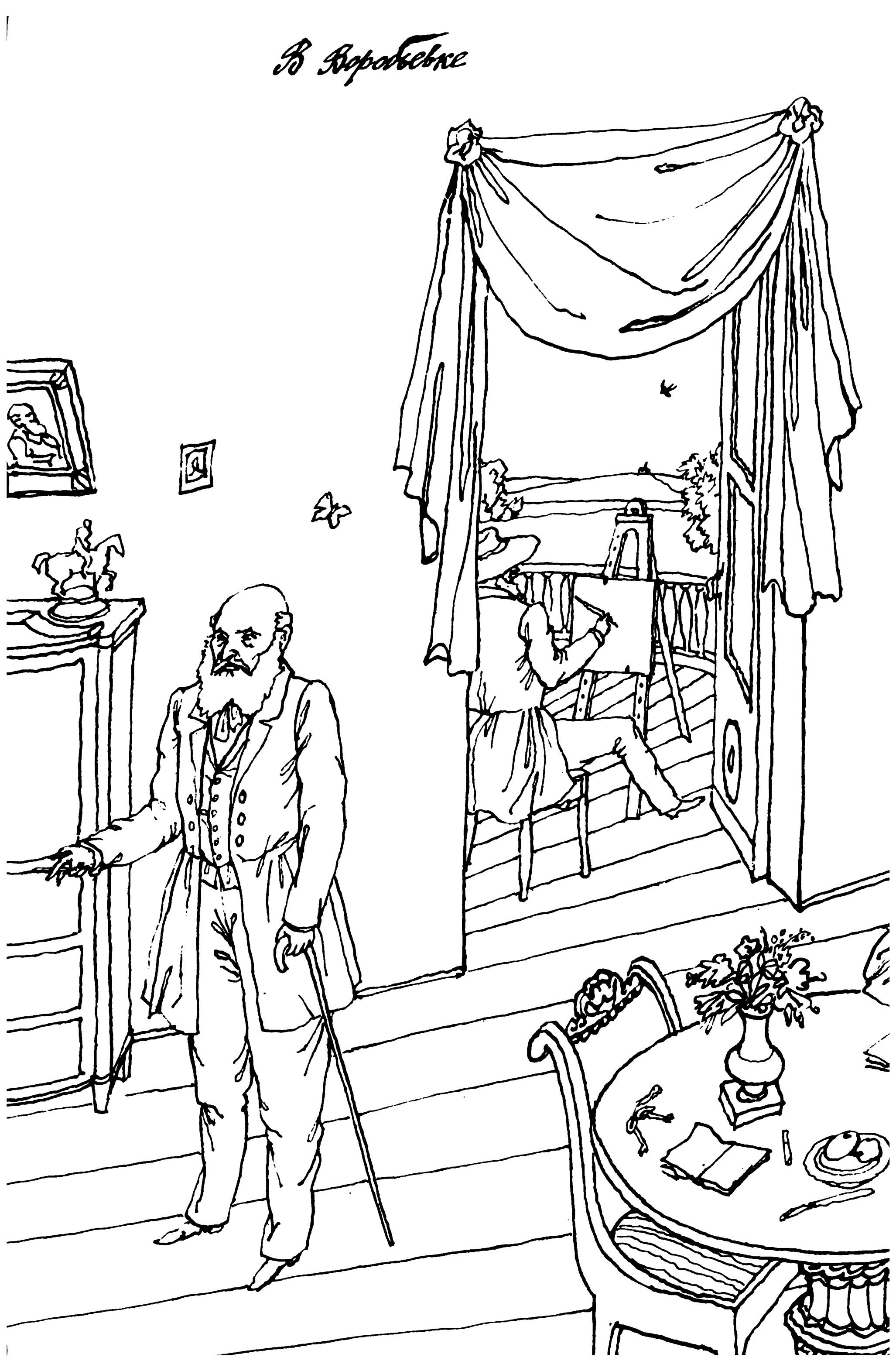
«Тургенев говорил, что блаженствует, когда лежит перед женщиной носом в грязи, а я всем кричу, что блаженствую, когда лежу перед истинным поэтом, начиная с тебя...

Ты говоришь, что, помня наизусть мои стихи, не помнишь ни одного майковского, я говорю то же самое по отношению к тебе».

Но при том, что Полонский высоко ценил поэтический талант Фета, а Фет — Полонского, при том, что оба от души радовались вновь обретенной дружбе, они оставались очень разными людьми. Разные сложились у них мировоззрения...

Фет склонялся к чрезвычайному консерватизму, был сторонником крутых полицейских мер по отношению к революционерам и утверждал в письме: «...лучше у человека, бегущего с горящей папироской в пороховой погреб, выбить последнюю кулаком по рылу, чем читать ему мораль до тех пор, пока он все не взорвет на воздух».

Полонский возражал: «...я не ворвусь, как буян, в область твоего миросозерцания, ты тоже не начнешь меня дубасить за то, что я не считаю государство пороховым погребом и преспокойно курю свои сигары. А вообрази я, что государство пороховой погреб и что в нем невозможен никакой очаг, никакой горн, никакая лампада, у меня явилось бы страстное желание взорвать его — что за охота жить в пороховом погребе!» Ведь если правительство вообразит,



В Воробьевке

«что государство — пороховой погреб, оно каждого будет лупить за всякое употребление огня — а как жить без огня!» И далее Полонский замечал: «Хотим мы с тобой прогресса или не хотим, а все-таки и твоя и моя поэзия — маленькие толчки к прогрессу...»

В декабре 1888 года он писал Фету: «Кто-то, вероятно в шутку, говорил мне, что ты просишься в камергеры. Верить этому не хочу, потому что не можешь ты не сознавать, что звание поэта выше, чем сотня камергеров, из которых, наверно, целая половина гроша медного не стоит».

Фета больно задело это письмо. Потому что слух был верен: действительно, он желал возвыситься «в свете», получив камергерское звание. В свое время он уже постарался отделаться от своей недворянской фамилии Фет и добился, чтоб ему разрешили носить дворянскую фамилию отчима — Шеншин. Тогда же Тургенев с беспощадной резкостью написал ему: «...как Фет, Вы имели имя, как Шеншин, Вы имеете только фамилию».

Но честолюбие — странная болезнь...

И вот Полонский написал Шеншину, который для него оставался Фетом: «Если верить сегодняшнему № газеты «Новое время», ты — камергер высочайшего двора... Если ты этим порадован, то радуюсь и я. Если ты доволен, то и я доволен. Судить о тебе по своей собственной натуре считаю несправедливостью».

В июне 1889 года Полонский с дочерью отправился в путешествие по Волге. Ведь он, дожив до старости, до сих пор Волги не видал... Сели на колесный пароход в Рыбинске, решили плыть до Сарепты (за Царицыном). В каютах по вечерам зажигался — это было новостью — электрический свет.

Через месяц, уже на обратном пути из Сарепты, они сошли с парохода в Саратове. Остановились в гостинице. К ним в номер постучался кто-то, желавший видеть Полонского, — оказалось, это Николай Гаврилович Чернышевский. Он теперь жил в Саратове (несколько лет назад вернулся из сибирской ссылки). Полонский рассказывал потом (в письме к редактору «Исторического вестника»): «Чернышевский, узнавши, что я проездом нахожусь в Саратове, прибежал ко мне в номер и весь следующий вечер провел у меня за чайным столом. Словом, мы встретились по-братски, и тогда не мог я не убедиться, до какой степени он был душевно расположен ко мне». Ну, что касается степени душевной расположенности, то, возможно, Полонский несколько заблуждался. Но, конечно, если бы Чернышевский видел в нем человека чуждого, вряд ли он стал бы искать этой встречи.

Фет звал его в свою Воробьевку — если не теперь, то на следующее лето.

Полонский отвечал:

«Прошлое лето я был в отпуску, и по закону могу получить новый отпуск только через два года на третий...

Прошли незабвенные времена, когда у нас председателем был

Тютчев, когда можно было на целые полгода уезжать и когда на это никто не обращал внимания.

Но ты же не прочь от того, чтобы на Руси была дисциплина.

И вот дисциплина завелась: подписавши мне в июле отпуск, начальник Главного управления по делам печати тотчас же прислал в комитет бумагу — уведомить его, вернусь ли я в срок, т. е. ровно через два месяца, или не вернусь? И если бы я не вернулся, у меня бы вычли жалованье за все мной просроченное время...

— Вот ты тут и живи! — повторяю восклицание покойного Ивана Сергеевича Тургенева.

...Но мы живем в стране неожиданностей.

Может случиться, что меня выгонят со службы и я останусь искать себе места дворника.

...Если случится моей семье в будущем году быть в Воробьевке, все, что могу я, это взять свидетельство (а не отпуск) и прикатить к тебе на неделю (так я ездил в Киев — по одному свидетельству, подписанному А. Н. Майковым, без всякого разрешения от высшего начальства)».

Как бы то ни было, на следующее лето Полонские смогли приехать в Воробьевку всей семьей.

«Вот уже две недели, как я у нашего поэта Фета, — сообщал Полонский Майкову в конце июня. — Истины нет, говорит Фет, мы ничего не значим, поэзия есть не что иное как безумие, а потому она ближе к истине... Если поэт не сумасшедший — то какой же он поэт! Чепуха в стихах — это лучшая похвала стихам, и тому подобное.

На этом я часто ловлю его, и когда он говорит, что в России происходит чепуха, я подхватываю это слово и говорю, что в устах его это лучшая похвала России... И право, если бы мы не спорили, было бы скучно. Если бы Фет (или Шеншин Аф. Аф.) не был оригиналом и притом не был бы чем-то цельным и единым, несмотря на сотни противоречий и софизмов, трудно было бы с ним ужиться, — но я его понимаю, и живем мы, слава богу, по-приятельски.

Нас здесь балуют, и скупой, расчетливый Фет не скупится на всякого рода угощения...

Только от мух нет житья...

Я иногда беру в руки палитру и малюю. Теперь списываю с натуры фонтан, воздвигнутый Фетом. На днях он негодовал, что фонтан этот с починками обошелся ему около 600 рублей, — и зачем он его воздвиг! — так как он его никогда не видит, одышка мешает ему спускаться с горы вниз [к фонтану] и подниматься к дому, на гору».

По возвращении в Петербург Полонский послал Фету только что вышедшую из печати новую книжку стихов своих «Вечерний звон».

Позднее писал ему:

«По твоим стихам невозможно написать твоей биографии и даже

намекать на события из твоей жизни, как нельзя по трагедиям Шекспира понять, как он жил...

Увы! по моим стихам можно проследить всю жизнь мою. Даже те стихи, которые так тебе нравятся: «Последний вздох», затем «Безумие горя», «Я читаю книгу песен» — факты, факты и факты — это смерть первой жены. Мне кажется, что, не расцвети около твоего балкона в Воробьевке чудной лилии, мне бы и в голову не пришло написать «Зной, и все в томительном покое»... А не будь действительно занавешены окна в той комнате, где я у тебя спал, может быть, не было бы и стиха «Тщетно сторою оконной».

Ночами сочинял он стихи не только за письменным столом, но и позднее, лежа в постели. «Нередко видел я, — рассказывал он Фету, — как на потолке моей комнаты исчезали отражения уличных фонарей и становилось темнее, это значило, что фонари погашены, так как наступает время появиться новой заре, — тут только я догадывался, что ночь прошла, что нужно заснуть хоть один, хоть два, если не на три часа, чтобы весь день не походить на таракана, посыпанного персидской ромашкой».

Еще год назад прочел Полонский новое произведение Толстого «Крейцерову сонату». В России эта повесть была запрещена цензурой (сочтена безнравственной), но в литографированных оттисках читалась повсюду и вызывала горячие споры. Полонскому она показалась «гениальной по своей уродливости».

В марте 1890 года он рассказывал в письме к Фету: «В воскресенье (11 марта) неожиданно посетил меня К. П. Победоносцев и часа полтора со мной беседовал, — я нападал на запрещение «Крейцеровой сонаты», которое не мешает ей расходиться в тысячах литографированных оттисков и в то же время мешает писать о ней, критически разбирать ее, и на ту честь, которая удостоила жалкую картину Ге «Христос перед Пилатом» — тем, что приказано убрать ее с выставки».

Но вот в конце года Майков как председатель комиссии иностранной цензуры поручил Полонскому как цензору сделать доклад об английских изданиях (в английском переводе) книг Толстого, запрещенных в России.

Впервые Полонский попал в столь тяжелое и сложное положение: по всем существовавшим правилам он обязан был эти английские издания запретить...

Он мог утешаться разве только мыслью, что издания эти все равно не получили бы разрешения комитета, независимо от его личной позиции.

По пятницам у Полонского дома бывало теперь многолюдно. Нередко появлялись личности незнакомые, кто-то рекомендовал их Якову Петровичу, — к этому он привык.

Однажды приключилась история конфузная. Вместе с издателем журнала «Осколки» Голике пришел приехавший из Москвы Чехов, которого Полонский еще не знал в лицо. Чехов представился, но

Яков Петрович его фамилии не расслышал. «Полонский и остальные гости не обратили на меня никакого внимания, — рассказывал потом Чехов, — и просидел я молча целый вечер в уголке, недоумевая, зачем я понадобился Полонскому или зачем нужно было знакомым уверять меня, что я ему интересен. Наконец стали прощаться. Полонскому стало неловко и захотелось сказать мне что-нибудь любезное. «Вы, — говорит он мне, — все-таки меня не забывайте, захаживайте когда-нибудь, ведь мы с вами, кажется, и прежде встречались, ведь ваша фамилия Чижиков?» — «Нет, Чехов», — сказал я. «Батюшки, что же вы нам раньше-то этого не сказали!» — закричал хозяин и даже руками всплеснул. Очень смешное приключение вышло...»

Молодой литератор Виктор Бибиков написал Полонскому из Москвы... «Странный человек Чехов! Он Вас, Яков Петрович, крепко любит, но... Вы ему (да простит его господь!) кажетесь немножко «литературным генералом», и так как Чехов — воплощенная скромность, то боится «навязываться»... Напрасно я разубеждал его, он стоял на своем и в доказательство рассказал мне, что однажды, придя к Вам с Голике, был узнан Вами только перед его уходом, а около двух часов сидел в Вашем кабинете в качестве таинственного незнакомца... Не знаю, правда ли это (сбивается на анекдот!), и если правда, чем Вы виноваты, что не узнали Чехова? Не Наполеон же он Первый, не Байрон, лица которым всем известны... Но все-таки он очень хотел навестить Вас в этот приезд».

Кто только к Полонскому по пятницам не приходил...

В числе новых знакомых был знаток древнего искусства и церковной живописи Михаил Петрович Соловьев — человек, близкий Победоносцеву.

Соловьев был навязчив, стремился проповедовать и поучать. Общественная позиция Полонского была ему неясной, но он считал, что поэта можно привести к общему знаменателю — общему с кругом Победоносцева — и, так сказать, приплюсовать к этому кругу. Он написал Полонскому письмо с изложением своей позиции: «Я позволю себе приравнять себя к Майкову в одном отношении. В духовном мире для нас общее важнее частностей. У нас идей немного, но наличные царствуют, и кроме них мы решились не видеть другого ничего... Оттого мы тенденциозны, оттого мы в тенденцию верим и ею руководимся. Это может показаться узким и доктринерским, но так уж богу угодно — пожалуй, осуждайте нас. Вам вложил бог любовь к свободе — благо Вам; я же на Вас вижу страдания, ею причиненные, и не принадлежу к ее ратникам». Далее Соловьев заявлял, что для борьбы с «тлетворным духом» социализма «есть два могучих орудия, ресурсы которых безграничны: самодержавие и церковь, далеко не развернувшие всех своих сил; их нет на Западе. Силен папа римский, да рук-то у него нет, и давно ему ни одно государство не верит».

Полонский ответил с плохо скрытым раздражением: «Вы пишете, что в папу уже никто не верит, а кто верит в нашего константинопольского патриарха?! Кто из народа знает его хотя бы по имени?

Один раз Тертий [Филиппов, государственный контролер, подголосок Победоносцева]... да те члены Синода, которые почему-то никогда не ходят пешком, как ходили апостолы и наши св. иерархи... Отчего ни на одном образе не видать ни одного едущего в карете праведника, а наше высокопоставленное духовное лицо иначе и вообразить себе нельзя, как едущим в карете...»

О себе Полонский сказал потом — в ответах на вопросы «Петербургской газеты». Вот некоторые из них:

«Главная черта моего характера. — Уживчивость.

Достоинство, которое я предпочитаю у мужчин. — Оригинальность и неподкупность.

Достоинство, которое я предпочитаю у женщин. — Глубокое понимание близких ей людей, в особенности недюжинных.

Мое главное достоинство. —Все мне кажутся главными.

Мой главный недостаток. — Излишняя откровенность.

Мой идеал счастья. — Слишком далек, чтобы говорить о нем.

Кем бы я хотел быть. — Человеком — так, как я его понимаю.

Мой девиз. — Все, что человечно, то и божественно».

Большим почитателем его поэзии был директор одной из московских гимназий Поливанов. По поручению Академии наук он написал рецензию на сборник стихов «Вечерний звон», и Академия присудила Полонскому за этот сборник Пушкинскую премию.

После юбилейных комплиментов не часто слышал о себе Полонский лестные отзывы. Поливанов его растрогал.

Завязалась переписка. Лично они еще не встречались, но уже чувствовали друг к другу глубокую симпатию.

Полонский сетовал в одном из писем к новому московскому другу: «...спросите теперь любого молодого студента или юношу, какой его любимый поэт? Он удивится. Молодежь — и в том числе мой сын — прямо заявляют мне, что в поэзии они не находят ничего дурного, но она их мало занимает, она отошла уже на последний план или уступила место иным вопросам — вопросам политики и социологии. Я даже и понять не могу, откуда такое множество стихов и новых стихотворений! Их в журналах пропускают даже сентиментальные барышни!»

В ноябре 1892 года Полонский узнал о смерти Афанасия Афанасьевича Фета. Умер последний из друзей его юности...

Летом следующего года побывал он в тех местах, куда приезжал тридцать девять лет назад, — в Воронове, под Москвой, бывшем имении поэтессы графини Ростопчиной. Теперь сюда пригласил Полонского нынешний владелец имения граф Шереметев.

В Воронове Яков Петрович хорошо отдохнул. Здесь он, между прочим, набросал маленькое стихотворение — карандашом на листке бумаги:

Мысли вычитанной
    Не хочу вписать.
Рифмой выточенной
    Не к чему блистать.

Стиха кованого
    Я люблю огонь —
То из Воронова
    Ростопчинский конь.
Стих, исследующий
    Глубину идей, —
Конь, не ведающий
    Кучерских плетей.

Старый поэт рифмовал здесь так, как будут рифмовать в XX веке: «вычитанной» — «выточенной», «кованого» — «Воронова». Он владел музыкой стиха, владел словом, как истинный мастер.

Его младший сын Борис, уже студент, отправился вместе с приятелем в путешествие по Волге и дальше — на Кавказ и в Крым.

Яков Петрович слал вдогонку письма.

«Пиши из Тифлиса подробнее — ведь это мне родной город...» Теперь он чувствовал это яснее, чем прежде, и тем горше было сознавать: «Было время, когда мне был весь Тифлис знаком, — теперь никого нет».

Глава одиннадцатая

«Поверьте, Петр Петрович, пятницы мои делаются как-то сами собой, — написал Полонский литератору Гнедичу. — Из числа тех, кого вы у меня встретили, не было ни одного приглашенного, ни одной приглашенной».

Действительно, приходил кто хотел. Гости съезжались в разное время, иногда очень поздно, уходили тоже когда кому вздумается.

«К нему вела несносно крутая, петербургская лестница в сотню с лишком ступеней, — вспоминает литератор Перцов. — Даже мне, в мои тогдашние двадцать с чем-то, было трудно ее одолевать. Для Полонского же путь в его квартиру без посторонней помощи был совершенно недоступен, и его вносили наверх в кресле».

На дверях квартиры блестела медная дощечка с выгравированной надписью «Яков Петрович Полонский».

Из передней гости входили в просторную столовую (или «залу»), где весь вечер со стола не убирался самовар. Слева дверь вела в комнату дочери Якова Петровича, Наташи; у нее, так же как у братьев Александра и Бориса, был свой кружок друзей — эта молодежь обычно заполняла столовую.

Ясинский вспоминает: «Сам Полонский, пока шумели, играли и спорили гости в большой зале, просиживал в кабинете, где стоял полумрак, курил крепкие сигары, пил чай и кому-нибудь из любителей поэзии читал свои, еще не вышедшие в свет, стихотворения загробным, певучим голосом».

«Читал густо, тромбонно, с непередаваемой, устрашающей завойкой, — вспоминает одна, тогда еще молодая, поэтесса. — Его чтение у меня в ушах, я могу его приблизительно «передразнить», но описать не могу... Сначала делалось смешно, а потом нравилось:

Есть фо-орма, — но она пуста!
Краси-иво, — но не красота!

Эти строки, сами по себе недурные, значительные во всяком случае, производили большое впечатление в густом рыкании Полонского».

Когда Наташа садилась за рояль, Яков Петрович появлялся в дверях столовой, укутанный в плед. Стоял, опираясь на костыль, и слушал.

В день его именин, 26 декабря, собиралось особенно много гостей. Теперь, когда его спрашивали о здоровье, он отвечал: «Слава богу, скверно».

В день именин появлялись — без приглашений — и гости нежданные, особые. Вспоминая толпу гостей на именинах, молодая знакомая Полонского рассказывала об одной поразившей ее встрече: «Среди толпы, то в той, то в другой комнате, прохаживался особняком какой-то странноватый человек. Мы с ним все поглядывали друг на друга, я на него, он на меня. Не очень высокий, худощавый, походка неторопливая, зацепляющая каблуками пол. Бледный... старик? нет, неизвестного возраста человек-существо, с жилистой птичьей шеей и — главное (это-то меня и поразило) — с особенно бледными, прозрачно-восковыми ушами. В этих ушах было даже что-то жуткое».

Кто же это был? Оказалось, Победоносцев.

Что же притягивало на «пятницы» Полонского самых разных людей?

«И отчего, — задавался вопросом писатель Александр Амфитеатров, — все эти высоко и просто превосходительства здесь совсем не те Юпитеры, какими знают их не только их собственные ведомства и департаменты, но даже обыкновенная «улица» [Победоносцев, должно быть, составлял исключение]... Мы, взаимно чуждые всюду, здесь свои, равные, — точно студенты разных выпусков на общем университетском празднике...

— Еду к Полонскому, — помню, сказал мне с мрачным видом один талантливый поэт русский в какую-то из пятниц.

— Зачем?

— На душе скверно... Для нравственной дезинфекции...

И я поехал с ним, потому что и у меня было скверно, и жизнь была темна и противна, и мне хотелось нравственной дезинфекции... И бог знает каким чудом: ведь ни о чем особенном мы не беседовали, никаких излияний не творили, этических вопросов не поднимали, исповедоваться не исповедовались — а получили, чего желали: вышли от Полонского бодрее духом, светлее взглядами на жизнь. Он создал вокруг себя как бы очищающую атмосферу...»

«Я никогда не признавал себя ни нигилистом, ни либералом, ни ретроградом, — писал Полонский Поливанову, — я всегда хотел только одного: быть самим собой».

То же самое он повторил в своей статье «По поводу одного заграничного издания новых идей гр. Л. Н. Толстого» (о книге «Царство божие внутри вас»): «Иные, высказываясь, боятся прослыть

консерваторами или, боже избави, ретроградами — жалкая трусость! Я хочу быть только самим собой, и ни до каких прозвищ мне никакого дела нет...»

Он выступил против книги Толстого. Уничтожающую толстовскую критику несправедливостей социальных Полонский не оспаривал, — нет, он оспаривал то, что показалось ему главным: выводы Толстого.

Толстой утверждал: «Противны же совести христианина все обязанности государственные: и присяги, и подати, и суды, и войско. А на этих самых обязанностях зиждется вся власть государства. Враги революционные извне борются с правительством. Христианство же вовсе не борется, но изнутри разрушает все основание правительства». Разумеется, церковь в понимании Толстого не отвечала истинному христианству, так как была опорой самодержавия, а Толстой подчеркивал: «Христианство в его истинном значении разрушает государство».

Эти выводы Толстого, считал Полонский, толкают людей на гибельный путь анархии.

Издатель Маркс начал печатать собрание стихотворений Полонского в пяти томах. Летом 1895 года Яков Петрович вдвоем с женой отдыхал в Швейцарии, в Лугано, и держать корректуру всего издания поручил в свое отсутствие сыну Александру.

Сын, к сожалению, от истинного понимания поэзии был далек. В стихотворениях отца многие — как раз наиболее своеобразные — строки ему казались чем-то непоэтичным и даже неприличным. Особенно не нравилась ему поэма «Свежее предание». Он послал отцу корректурные листы, где вычеркнул карандашом все то, что, по его мнению, не стоило печатать.

Яков Петрович рассердился и в ответном письме потребовал восстановить все, что Александр надумал вычеркнуть. Возмущался:

«Ты выкинул отрывок, где есть стих

Байро́нствующий Подколесин

По-моему, один этот стих стоит всей поэмы, так как двумя словами рисует сотню людей того времени...

Ты вычеркнул о Листе — *«Был пьян и бесконечно мил»*. При мне Лист приехал к баронессе Шепинг, чуть не упал на паркет от угощения шампанским — и затем острил и играл на рояле как бог... Зачем мне лишать поэму таких исторически верных черточек!»

Новые стихи он печатать не спешил. Исправлял их, неоднократно переписывал. Наконец вносил поправки в текст, уже набранный в типографии: в корректуре недостатки оказывались виднее, нежели в написанном от руки. Однажды он получил от редактора московского журнала «Русское обозрение» корректурный листок с новым своим стихотворением и в ответ написал: «Очень, очень обрадовали вы меня тем, что прислали корректуру. Стихотворение это требует не только корректуры, но и отдышки... Не торопитесь печатать. Лучше поздно, чем посредственно, а в поэзии посредственное хуже, чем скверное».

Его статья о заграничном издании книги Толстого была напе-

чатана в «Русском обозрении» и вызвала неожиданный для автора резонанс. Она была воспринята в близких к правительству кругах как антиреволюционная, с одобрением отнеслись к ней Михаил Петрович Соловьев, Тертий Иванович Филиппов и даже министр Делянов.

Получив хвалебное письмо Филиппова, Полонский не без некоторого смущения отвечал: «Статья моя, к сожалению, не вполне обстоятельна, написана сгоряча...» Сообщил, что недавно посетил его товарищ министра народного просвещения: «От последнего узнал я, что и министр граф Делянов читал ее и даже выразил желание разослать статью по учебным заведениям, если она будет издана в виде брошюры. Издать, конечно, не долго, да это и не будет дорого стоить, но... Тотчас же пойдет молва, что я писал по заказу, писал, чтоб угодить нашему правительству... Заподозрится искренность моих убеждений...»

В записной книжке на новый 1896 года Полонский отмечал:

«*2 января.* — Вечером был у меня А. Н. Майков. Говорил о том, что нет ни одного лица, способного быть министром народного просвещения... Поневоле Делянов держится еще на его министерском месте.

30 января. — ...В синодальную типографию послан последний лист моих заметок о графе Л. Н. Толстом».

Все-таки, попечением Делянова, эти заметки вышли отдельной брошюрой. И разошлись в два дня.

В марте Полонскому прислал письмо издатель газеты «Новое время» Суворин:

«Яков Петрович,
я получил письмо от кн. Н. Голицына, который у Вас делал сообщение о положении ссыльных на пути в Сибирь. На этом вечере у Вас, по его словам, было положено обратиться ко мне с просьбой открыть подписку в пользу этих несчастных.

Так как кн. Голицын своего адреса не оставил, то не будете ли Вы так любезны передать ему, что я не могу открыть такой подписки без разрешения министра внутренних дел. Независимо от этого я считал бы такую попытку бесполезной демонстрацией, которая бы собрала очень мало. Что это за «всероссийская подписка»?

...Желаю Вам здоровья, милый поэт».

Едва переехав к лету на дачу (на берегу Финского залива, в Усть-Нарове), Полонский написал письмо Михаилу Петровичу Соловьеву, назначенному ныне начальником Главного управления по делам печати:

«В нашем с Вами последнем разговоре о цензуре нахожу для себя много поучительного. Но Ваш намек на то, что «Неделя» доживает последние минуты, признаюсь, огорчил меня... В последнее время «Неделей» был в особенности недоволен К. П. Победоносцев — и увы! по моей вине: я вырезывал и сам посылал ему статьи, где описывались недостойные священнического сана подвиги наших сельских попов.

Так, в прошлую зиму я послал ему статью о сельском священнике, который ругал крестьянскую девушку лет 12 за то, что она ходит в школу, а потом, в день пасхи, при всем народе, *наплевал ей в лицо*!

Константин Петрович отвечал мне, что так как статья подписана (одним из с.-петербургских профессоров, проводивших в деревне летние вакации), то он не оставит этого известия без расследования. И действительно, следствие было наряжено, и все оказалось правдой...

Но поверьте мне, что «Неделя» и сотой доли не высказывала того, что было на самом деле...»

В начале июля пришло из Петербурга письмо от Майкова:

«Милейший друг Яков Петрович!

Пишу тебе спешно, потому что дело очень важное. Из Главного управления [по делам печати] выходит в отставку Еленев, член Совета, и Михаил Петрович Соловьев *предложил* уже и *получил* на то согласие министра (Горемыкина), выраженное им весьма к тебе сочувственно, назначить тебя на открывающуюся ваканцию... Жалованье будешь получать 4000 р. Нужно только твое согласие, которое ты и напиши поскорее».

«Первая мысль, которая пришла мне в голову, — рассказывал Полонский Поливанову, — это мысль ко дню нашей свадьбы (17 июля) порадовать жену мою добавкою оклада в 1500 рублей...» Ведь он получал до сих пор две с половиной тысячи в год.

«Я тотчас же по получении твоего письма, — сообщил он Майкову, — писал Мих. Пет. Соловьеву о своем согласии, но не поступил ли я опрометчиво? Совесть моя не совсем покойна — во-первых, потому, что я совсем не знаю, в чем именно заключаются обязанности члена Совета по делам печати. Буду ли я в силах исполнять их без всякого насилия над самим собой, над тем нравственно сложившимся во мне убеждением — бороться со злом явно и прямодушно, а не исподтишка — и в то же время снисходить ко всякого рода увлечениям и заблуждениям, ибо *errare humanum est* [человеку свойственно ошибаться]... Наконец, не припишут ли это мое повышение за приятельскую протекцию — и за мои домогательства...»

О сомнениях кандидата на вакантную должность Майков сообщил Соловьеву, и тот написал Полонскому:

«Теперь, батюшка, уже время для «но» прошло. Уж назвались груздем, так полезайте в кузов, пожалуйте в Совет читать русские журналы и газеты и очищать русскую литературу от гадов, в ней расплодившихся». Соловьев определял свой главный тезис: «Правду нужно говорить во благовремение! Не все стоят на одном уровне духовном». То есть правду нужно говорить не всегда, ибо не все могут ее всегда воспринимать как должно.

«Сегодня я получил ругательное письмо, — сообщал Соловьев. — Для вящей огласки оно написано на почтовой карточке... Я положил его на видное место на моем столе и буду всем показывать. Конечно, оно не последнее».

«Буду я в Вашем Совете, — отвечал Полонский, — потому что

назвался груздем, но не забывайте: *назвался*! На самом же деле я вовсе не груздь, и едва ли *кузов* удовлетворит меня. Я не то, что покойный приятель мой Фет, добивавшийся камергерства...»

Проходили дни, и все яснее понимал Яков Петрович, в какой «кузов» он согласился влезть. Из Петербурга знакомые сообщали, что новый всероссийский начальник по делам печати уже грозит закрытием некоторых журналов и газет.

Вышла книга Победоносцева под заголовком «Московский сборник». Великой силой, противостоящей революционным преобразованиям, Победоносцев считал силу исторической инерции: «Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории... Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, безусловно необходима для благосостояния общества. Разрушить ее — значило бы лишить общество той *устойчивости*, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения». Что же может нарушить эту драгоценную устойчивость? Пресса! Победоносцев утверждал: «Пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени». «Каждый день, поутру, газета приносит нам кучу разнообразных новостей. В этом множестве — многое ли пригодно для жизни нашей и для нашего образовательного развития?» Так вопрошал Победоносцев, и, видимо, Соловьев решил следовать его программе, то есть зажать прессу в тиски.

В сентябре 1896 года старик Полонский официально вступил в должность члена Совета по делам печати. «Хотя я и не добивался этого звания, — писал он Поливанову, — и если не отказался от него, так только потому, что со всех сторон слышал одно и то же: как можно отказываться, тут ты (или вы) можешь (или можете) быть полезным — бороться за бóльшую свободу нашей прессы...»

Однако с первых шагов оказалось, что Полонский призван украшать и облагораживать своим именем список членов Совета, но реального влияния тут у него нет. При первом же резком споре Соловьев сказал ему, что он может оставаться при своем образе мыслей, но это ничего не изменит.

Вернувшись домой, Яков Петрович сгоряча написал ему письмо:

«...Неужели поступить в разряд Молчалиных и иногда, мысленно с Вами не соглашаясь, безмолвствовать... Но, заметивши, что я исподличался, Вы сами, как порядочный человек, разве не будете презирать меня!.. Вы уже не прежний Михаил Петрович. Вы — мой начальник, я — Ваш подчиненный. Вот какую злую шутку сыграла со мной вечно мне противоречащая судьба моя!»

Он был просто подавлен.

«И вот я занят втрое больше, чем прежде, — жаловался он в письме к Поливанову. — Прежде я имел дело с книгами мне совершенно неизвестных авторов, теперь имею дело не с одними книгами, но и с авторами, и с начальством... Является в журнале


В Петербурге

статья, цензор ее запрещает, редактор на это запрещение подает в Совет свою жалобу. Главное управление посылает мне оттиск статьи и жалобу, с тем чтобы я дал свое заключение. Даю заключение: «Статья не заключает в себе ничего вредного... и, стало быть, может быть дозволена»... Бумага читается — отдается на общее обсуждение — и потом по количеству голосов или по-прежнему запрещается, или дозволяется...»

Но так как прочное большинство голосов в Совете было на стороне Соловьева, голос Полонского значил тут очень мало.

И самое печальное: Полонский чувствовал, что поэзия покидает его, вдохновение не подсказывает новые строки, и стихами он не может больше высказать — как сам выражался — ничевым-ничего...

В марте 1897 года умер Аполлон Николаевич Майков.

Полонский рассказывал Соловьеву: «Между мною и Майковым та разница, что Майков был оптимистом и, сколько я знаю, постоянно был самоуверен и почти всегда в одинаково спокойном настроении духа. Я же по обстоятельствам жизни моей был пессимистом и был недоверчив не только к людям, но и к самому себе». Тем более теперь, когда он был стар и болен.

Он стал плохо видеть, едва мог разобрать написанное, признавался: «Не могу писать и при двух свечах: вижу только кончик пера». Ослабел слух: «...стука часов, не приложу их к самому уху, совсем не слышу». «Могу ли я рассчитывать, чтоб и голова моя могла работать по-прежнему, — жаловался Яков Петрович в одном письме. — Бывало, придет в голову мысль — хотя бы ночью, — и она живуча, ее не забываешь. Стихи, которыми начнешь бредить, по утрам как бы ищут своей отделки — продолжают шевелить мою душу, прежде чем я взялся за перо, и на другой, и на третий день. А теперь придумается ночью какое-нибудь стихотворение, и что же — просыпаешься и ничего не помнишь. Все пропадает и — без следа!..»

Пришло письмо из Москвы. От кого это? Кажется, почерк Толстого...

«Дорогой Яков Петрович!

По разным признакам я вижу, что вы имеете ко мне враждебное чувство, и это очень огорчает меня.

...Я всегда, как полюбил вас, когда узнал, так и продолжал любить... Я мог ошибаться в этом искании лучшей жизни и более полного исполнения воли бога, но я знаю, что руководило и руководит мною одно это желание, и потому хороший и добрый человек, как вы, никак не может за это разлюбить человека.

Очевидно, тут есть какое-то недоразумение, и я очень желал бы, чтобы оно разрушилось...

Так, пожалуйста, дорогой Яков Петрович, простите и не нелюбите меня.

Любящий вас *Л. Толстой».*

Полонский ответил сразу же:

«Я уже настолько слеп, что не могу сам писать, и поневоле должен диктовать это письмо.

Напрасно думаете Вы, что я разлюбил Вас или имею к Вам враждебное чувство... Но Вы и Ваши идеи и Ваши поучения для меня не одно и то же... Любя Вас и поклоняясь Вам как гениальному художнику, я не могу рядом с Вами идти даже в царство божие...

Не думайте, что я желаю застоя или поворота назад, — нет, и проповедуйте Вы реформы, я примкнул бы к Вам как реформатору... Но не могу же я раскаиваться в том, что душа моя несет свои идеалы, иные, несовместимые с Вашими...»

Прошло недели три, и Полонский почувствовал: не все он высказал Толстому, что надо было бы сказать, и послал еще одно письмо:

«Не удовлетворился я моим длинным и многословным ответом на Ваше доброе, воистину братское послание, и Вы, конечно, недовольны им, но спрошу Вас: мешает ли Вам это недовольство по-прежнему любить меня? Так и мне недовольство слишком резкими страницами Вашей книги «Царство божие внутри вас» не мешает любить Вас по-прежнему... В Вашей статье об искусстве страницы о Вагнере так хороши и превосходны, что я не могу им вполне не сочувствовать, но Ваше заключение, где Вы говорите о науке, проникнутой христианским чувством, или, как Вы говорите, сознанием, непонятно мне. Наука верит только опыту, анализу... До веры, какой бы то ни было, ей никакого дела нет, да и не будет. Что касается веры, то она перестает быть верой, если вдается в научные рассуждения, так как знать и верить — две вещи несовместимые: тому, что я знаю, я уже не верю, а знаю. И область веры доходит только до границ знания и никогда безнаказанно не переступает их».

Он мог бы добавить, что еще Герцен замечал: «...верить только в то и надобно, чего доказать нельзя».

Толстой получил второе письмо Полонского, прислал ответ:

«Спасибо, дорогой Яков Петрович, за ваше доброе письмо. Я не был недоволен и тем письмом, но вы, как чуткий к доброте человек, захотели растопить последние остатки льда и вполне успели в этом».

По поводу высказываний Полонского Толстой не написал ни слова — не считал возможным вступать в полемику.

В спорах с Михаилом Петровичем Соловьевым Полонский твердил: «Я далек от того, чтобы стоять за безусловную свободу печати, но дерзаю иногда находить вредными те циркуляры наших высокопоставленных, которые запрещают говорить печатно о том, что для них не выгодно, забывая пословицу: что у кого болит, тот о том и говорит».

Соловьев отвечал назидательно и раздраженно:

«Миросозерцание Ваше сложилось в ту эпоху, когда литература и правительственная деятельность, т. е. политика, были не только

отрешены друг от друга, но даже стояли в прискорбном антагонизме.

...Все правительственные учреждения должны идти к одной цели, рука об руку. Нам так же необходимо постоянное содействие департамента полиции, как сему последнему — наше, ибо цель одна — сохранение внутреннего мира и предупреждение вредных для порядка действий как в области печатного слова, так и в сфере житейских отношений. Можно только сожалеть, что отношения между Главным управлением по делам печати и департаментом полиции недостаточно близки и интимны».

Он мечтал об интимных отношениях с департаментом полиции! Да еще выговаривал Полонскому в письме: «Храня лучшие заветы литературы, Вы, по моему мнению, должны бы ради чести знамени отвернуться от пиратов и флибустьеров взбаламученного моря повременной печати, а, к сожалению, выходит совсем иное... Вы даже берете на себя защиту разнузданного распространения посредством листков всяких слухов, упуская из виду, что иногда, почти всегда, *такая* свобода кроме смуты и вреда ничего принести не может. На такие препоны безудержной болтовне могут Вам жаловаться только люди, не имеющие понятия о литературно-политическом воспитании, которое и составляет главную задачу цензуры. Гоняться за такими блохами в отдельности за каждой нельзя: необходим персидский порошок».

Потом — уже в другом письме — замечал: «Если бы Вы знали, что за скука царит в печати, какая зевота одолевает, когда начнешь перелистывать журналы, о газетах уже не говорю». Ему не приходило в голову, что в этом, может быть, уже сказалось действие его собственной политики «персидского порошка»...

Наташа Полонская вышла замуж и уехала с мужем в Либаву. Летом к ней приехал отец.

Из Либавы он продолжал свой нескончаемый спор с начальником Главного управления по делам печати.

«Газеты, наиболее любимые публикой, запрещаются, — возмущался Полонский. — О чем же можно писать, например, как не о голоде, посетившем значительное количество наших уездов?.. Хотя в наших газетах вижу я гораздо меньше лжи и угодничества, чем в наших официальных доносах, отчетах и донесениях, но все же не из газет привык я почерпать свои сведения.

О голоде я знаю из писем сестер милосердия и моих двоюродных сестер, обитающих в Рязанской, Воронежской и других губерниях».

И в следующем письме: «...поддерживать дух русского народа, позволять ему уличать зло и даже негодовать мы обязаны, если только желаем не погасить последнего огня, который гаснет среди всеобщей апатии, безверия и равнодушия к интересам России...»

Нет, не было это равнодушие всеобщим, но старику Полонскому казалось, что оно царит не только на столбцах печати, но и в жизни, повсюду...

А его высокий начальник в очередном письме зловеще шипел:

«Верьте, что и для идей существуют карантины и кое-что еще».

Нет, бесполезно было спорить с таким человеком, пытаться его переубедить. Яков Петрович не написал ему больше ни строчки. Проклятая высокая должность и высокое жалованье... Он расплачивался своими расшатанными нервами, слишком стар он был для того, чтобы начинать борьбу.

Служебная лестница, по которой он поднялся, привела его на такую, с позволения сказать, высоту, где уже дышать нечем...

Всю жизнь его спасением была иная высота — на иной лестнице, где ступенями становились его лучшие поэтические строки.

Старый поэт думал о близкой смерти: «Что ты такое? — Тень; но тенью была вся жизнь...» Бедная радостями жизнь его тускнела, как тень на закате. Скоро придется закрыть глаза.

Виноват ли он в том, что судьба его сложилась так, а не иначе? Да, ему не хватало твердости, упорства, он бывал излишне уступчив, сговорчив... Но, может, все эти несовершенства и слабости искупит в глазах потомства его живой поэтический голос?

Ну, вот он перестанет дышать — что останется?

Десять томов собрания сочинений — это ведь далеко не все, что он написал. Правда, стихи у него получались крепче, нежели проза... Но поэма «Братья» — быть может, самое значительное, что он создал, — осталась почти незамеченной. И многие ли стихи его стали широко известны?..

Вероятно, он и не знал: в бескрайней российской провинции, в самых глухих ее углах можно услышать, как поют молодые голоса:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой, темной лестницей,
С завешенным окном.

Ведь это же он написал — давным-давно, еще в Тифлисе.

Пели еще:

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.

Пели — и, чаще всего, представления не имели, кто ж такой сочинил эти строки.

1975—76

Основные произведения
В. Теплякова, А. Баласогло, Я. Полонского

Поэты 1820—30-х годов. Л.: Сов. писатель, 1972. (Б-ка поэта. Большая сер.)
Поэты 1820—30-х годов. Л.: Сов. писатель, 1961. (Б-ка поэта. Малая сер.)
Поэты пушкинской поры. М.: Худ. литература, 1972.

Поэты — петрашевцы. Л.: Сов. писатель, 1957. (Б-ка поэта. Большая сер.)
Поэты — петрашевцы. Л.: Сов. писатель, 1966. (Б-ка поэта. Малая сер.)

Я. П. Полонский. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1935. (Б-ка поэта. Большая сер.)
То же, 1954.
Я. Полонский. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1957. (Б-ка поэта. Малая сер.)
Я. Полонский. Стихотворения. Л.: Худ. литература, 1969.
Я. Полонский. Стихотворения. М.: Сов. Россия, 1981.
Я. Полонский. Лирика. Проза. М.: Правда, 1984.

Содержание

Сергей Сергеевич Тхоржевский

ПОРТРЕТЫ ПЕРОМ

Зав. редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *Н. В. Дашковская*
Художник *А. Л. Костин*
Художественный редактор *Н. В. Тихонова*
Технический редактор *И. А. Лукашова*
Корректор *Н. И. Скворцова*

ИБ № 1384

Сдано в набор 12.08.85. Подписано в печать 8.12.85. А-15041. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. офс. № 1 — 70 г. Гарнитура Таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 22,0. Усл. кр.-отт. 44,25. Уч.-изд. л. 26,04. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4053. Заказ № 633. Цена в коленкоре 2 р. 30 к., в бумвиниле 2 р. 10 к.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Тхоржевский С. С.
Т 92 Портреты пером. — М.: Книга, 1986. — 351 с. — (Писатели о писателях).

Художественно-документальные повести посвящены русским писателям — В. Г. Теплякову, А. П. Баласогло, Я. П. Полонскому. Оригинальные, самобытные поэты, они сыграли определенную роль в развитии русской культуры и общественного движения.

Т $\frac{4702010200-040}{002(01)-86}$ 80—86 84.Р7-4

Поправка

На стр. 351 в выходных данных напечатано: цена в коленкоре 2 р. 30 к., в бумвиниле 2 р. 10 к.

Следует читать: цена в коленкоре 2 р. 10 к., в бумвиниле 2 р.

Зак. 633. Тхоржевский «Портреты пером»